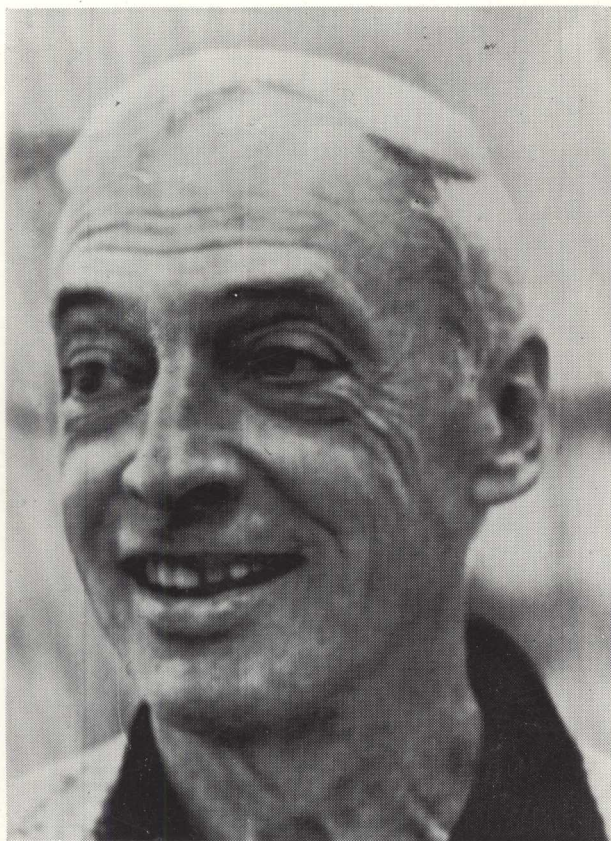


КОНТИНЕНТ 10

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ



Сол Беллоу

Лауреат Нобелевской премии по литературе
за 1976 год

Главный редактор: Владимир Максимов
Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов
Ответственный секретарь: Евгений Терновский
Заведующая редакцией: Наталья Горбаневская

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Ценко Барев · Джордж Бейли
Сол Беллоу · Иосиф Бродский · Николас Бетелл
Александр Галич · Ежи Гедройц
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Милован Джилас · Вольф Зидлер · Эжен Ионеско
Артур Кестлер · Роберт Конквест · Наум Коржавин
Михайло Михайлов · Андрей Сахаров · Игнацио Силоне
Странник · Иозеф Чапский · Зинаида Шаховская
Александр Шмеман · Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

Англия	Владимир Тельников Wladimir Telnikov, 28 St. Luke's Rd. London W 11
Израиль	Михаил Агурский Michael Agoursky, Ramot 6/30 Jerusalem, Israel
Италия	Сергей Рапетти Sergio Rapetti, via Beruto I/B 20131 Milano, Italia
США	Юрий Ольховский George Olkhovsky, 3801 Windom Place N. W. Washington D. C. 20016, USA
Япония	Госуке Утимура Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7 189 Tokyo, Japan



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

10

Издательство «Континент»
1976

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

СТАРАЯ ПЕСНЯ

«...Там спина к спине у грота
Отражаем мы врага».

Джек Лондон

В. Максимову

Бились стрелки часов на слепой стене,
Рвался к сумеркам белый свет,
Но, как в старой песне, спина к спине,
Мы стояли и — ваших нет!..

Мы доподлинно знали, в какие дни
Нам — напасти, а им — почет.
Ибо мы — были мы, а они — они,
А другие, так те не в счет!

И когда нам на головы шквал атак,
(То с похмелья, а то спьяна!)
Мы опять-таки знали — за что и как,
И прикрыта была спина!

Ну, а здесь, среди пламенной этой тьмы,
Где и тени живут в тени,
Мы порою теряемся — где же мы,
И с какой стороны — они?!

И кому подслащенной пилюли срам,
А кому поминальный звон?!
И стоим мы, открытые всем ветрам,
С четырех, так сказать, сторон!..

СКАЗКА

...А бабушка внученьке сказку плела,
Про то, как царевна в деревне жила,
Жила-поживала, не знала беды,
Придумывать песенки — много ль заботы?!
Но как-то в деревню, отстав от охоты,
Зашел королевич — напиться воды.
Пришел он пешком в предрассветную рань,
Увидел в окне золотую герань,
И — нежным сияньем — над чашей цветка,
С фарфоровой лейкою чья-то рука!..

С тех пор королевич не ест и не пьет,
И странный озноб королевича бьет,
И спит он тревожно и видит во сне
Герань на своем королевском берете,
И вроде бы он, как тогда на рассвете,
Въезжает в деревню на белом коне.
Деревня разбужена звоном копыт,
Из окон глядят удивленные лица...
Старушка плетет и плетет небылицы,
А девочка — спит.

Ей и во сне покоя нет,
И сон похож на бред,
Как будто ей не десять лет,
А десять тысяч лет.

И не по утренней росе
Стремглав бежит она,
А словно белка в колесе —
С утра и до темна.

Цветов не рвет, венков не вьет,
Любимой куклы нет,

А всё плывет, плывет, плывет,
Все десять тысяч лет!

И голос, скучный, как песок,
Как черствый каравай,
Твердит одно:
— Еще разок!
Давай, давай, давай!

Ей не до школы, не до книг.
Когда ж подходит срок —
Пятерки ставит ей в дневник
Послушный педагог.

И где ей взять ребячью прыть?
Когда баклуши бить?
Ей надо плыть и плыть и плыть.
И плыть. И первой быть!..

А бабушка девочке сказки плела...

Какой же сукин сын и враль
Придумал действо —
Чтоб олимпийскую медаль
В обмен на детство?!

Какая дьявольская власть
Нашла забаву —
При всём честном народе красть
Чужую славу?!

Чтоб только им, а не другим.
О, однолюбы!
И вновь их бессловесный гимн
Горланят трубы!..

...А бабушка сказку прядет и прядет,
Как свадебный праздник в столицу придет.
Герольд королевский на башне трубит,
Пиликают скрипки,
Играют волынки!..
А девочка спит. И в лице — ни кровинки.
А девочка — тш-ш-ш! — спит!

2 августа 1976 г.

МАРШ МАРОДЕРОВ

1

Упали в сон победители. И выставили дозоры.
Но спать и дозорным хочется.
А прочее — трын-трава.
И тогда в покоренный город вступаем мы — мародеры,
И мы диктуем условия
И предъявляем права!

Слушайте марш мародеров!
(Скрип сапогов по гравиию!)
Славьте нас, мародеров,
И веселую нашу армию!
Слава нам!..

2

Спешат уцелевшие жители, как мыши, забиться в норы.
Девки рядятся старухами
И ждут благодатной тьмы.
Но нас они не обманут,
Потому что мы — мародеры,
И покуда спят победители — хозяева в городе мы!..

Двери срывайте с петель,
Ташите ковры и шторы,
Всё пригодится — и денежки, и выпивка, и жратва!
Ах, до чего же весело гуляем мы, мародеры,
Ах, до чего же веские придумываем слова!

3

Сладко спят победители — им снятся золотые горы,
Им снится знамя Победы, рябое от рваных дыр.
А нам и поспать-то некогда,
Потому что мы — мародеры,
Но спятив с ума от страха,
Нам рукоплещет мир!..

4

Но это еще не главное. Главного вы не видели.
Будет утро и солнце в праздничных облаках.
Горнист протрубит побудку.
Сон отряхнут победители.
И увидят, что знамя Победы — не у них, а у нас в руках!..

5

И тут уже нечего спорить. Пустая забава — споры.
Когда улягутся страсти и развеется бранный дым,
Историки разберутся — кто из нас мародеры,
А мы-то уж им подскажем,
А уж мы-то их просветим!..

6

Играют оркестры марши над пронастью плац-парада,
Девки машут цветами.
Строй нерушим и прям.
И стало быть — все в порядке!

И стало быть, все как надо —
Вам, мародерам, пуля,
А девки и марши нам!..

Слушайте марш победителей!
(Скрип сапогов по гравиию!)
Славьте нас, победителей,
И великую нашу армию!
Слава нам!..

ВЗГЛЯД И НЕЧТО

В журналах можешь ты,
однако, отыскать
Его отрывок — Взгляд и Нечто
Об чем бишь Нечто?
Обо всем.

*Репетилов из «Горе от ума»
д. 4, явл. 4*

— Простите, пожалуйста, за нескромный вопрос, Виктор Платонович, но чем же вы думаете заниматься, когда окажетесь за границей?

Этот нескромный, допустим, но вполне естественный, хотя и коварный, вопрос задал мне доктор исторических наук Евгений Валентинович (или Валентин Евгеньевич) Маланчук, секретарь ЦК Компартии Украины в день второго, прощального собеседования моего с ним два года тому назад, в августе 1974 года.

Что я ему ответил и вообще о чем мы «собеседовали» в его громадном, знакомом мне по его предшественнику, кабинете, я расскажу чуть позже, сейчас же начну с того, с чего я и собирался начать, а начал так, а не иначе, потому что считаю, что читателя надо сразу заинтересовать, сразу же брать за рога.

«— Бац-бац! — раздалось два одновременных выстрела. Пасшася неподалеку корова получила одну из пуль в бок, что было для нее в чужом пиру похмелье...» «— Мы поднимаемся! — Нет, мы опускаемся! — Нет, поднимаемся!...» Это первые строки из «Путешествия на воздушном шаре» и «Таинственного острова» Жюль Верна. Оба начала помню с детства, так они понравились мне своей стремительностью и хватанием меня за рога. Есть, правда, и другие начала, тоже прекрасные, спокойные, повествовательные, постепенно-вводящие, например: «В конце лета 187*** года в заштатном городке N произошло событие, всколыхнувшее весь город...»

Колеблясь между двумя манерами начал — жюль-верновской и чисто русской XIX века — и не зная, на какой из них остановиться (я придаю этому большое значение — из-за нудного начала я долго не мог одолеть «Сагу о Форсайтах»), я в конце концов предпочел первую манеру, но и тут стал в тупик. Было у меня два начала — то, с которого я начал, и то, с которого собираюсь начать сейчас, хотя получится так, что это уже не начало...

Из тупика вывело, как у всех нерешительных людей, нечто ком-

промиссное — начать с обоих начал. Первое, как некая затравка, второе же просто, как начало.

Так вот...

Мог ли я подумать?.. Могли ли мы с тобой представить себе?.. Кто бы мог сказать?..

Бог ты мой, сколько раз эти фразы в разных вариациях задавались самому себе, в одиночестве, или другу-москвичу (москвичке...), сидя где-нибудь в «Дё маго» у Сен-Жермен-де-Пре и глядя... На что глядя, это уже отдельный длинный разговор, его не избежать, пока же скажем — посасывая «orange» или «citron pressé», сверхпрохладительный напиток, которому я отдаю предпочтение даже перед разнообразнейшими голландскими, эльзасскими и английскими пивами...

Прости, читатель, что начинаю не без некоторого кокетства и хвастовства — вот ты не знаю чем там сейчас занимаешься, а я сижу в парижском кафе, что-то сосу, блаженствую, и мне больше всего хочется рассказать об этом блаженстве. И рассказать во всех деталях (например, что в «моем» кафе у моего дома, тот же «orange pressé» стоит 4 франка, на Сен-Жермен — 6 франков, а вечером у Оперá — 9 франков), и я с трудом удерживаюсь, чтоб не сделать это сейчас же, но воздерживаюсь, зная, что все-таки до этого доберусь (знаю, знаю, и ты не сопротивляйся — это куда интереснее, чем «В Лувре, стоя у Джоконды, я думал...»), хотя и это тоже будет...)

Так вот... Мог ли я подумать? Могли ли мы с тобой представить, сидя у тебя на кухне за круглым столом (каждый может отнести мое обращение на свой счет, детали не имеют значения, их часто для живости придумывают), так вот, сидя за круглым столом и в десятый раз разогревая чайник, могли ли мы подумать, что мечты вот так вот осуществляются. «Ах, побродить бы нам с тобой вместе по Елисейским полям...» Почему-то мечталось именно о Елисейских полях, как о чем-то самом шикарном и недоступном, а вышло так, что именно по этим-то полям мы с тобой ни разу и не бродили, но зато... Начали с того самого, знаменитого «Дё маго», и я запечатлел даже на фотопленку твой первый визит туда, потом не менее знаменитый, хемингуэвский «Клозери дё Ли́ла», потом, вернее до этого, студенческая забегаловка на рю Бонапарт, потом на берегу Сены на кэ Малакэ, потом где-то у Сен-Сюльпис, и еще где-то, не помню уже где, и возле моего дома, где я по утрам обычно выпиваю чашечку своего кофе, листая «Фигаро» (леваки за это косо на меня смотрят, но там такие прелестные карикатуры), и чуть дальше, на маленькой живописной площади Сен-Жорж у памятника Гаварни (какой милый, чудный памятник с персонажами из его книг — ну что за прелесть памятники с персонажами — Крылов в Летнем саду с мартышками и мишками, Дюма-пэр на пляс Мальзерб — там такой лихой д'Артаньян и так хочется на его фоне сняться...), потом Муфтар, конечно же Муфтар, ты помнишь Муфтар?

— Да, я помню Муфтар, — скажешь ты, — и крохотный ресторанчик на углу рю де ля Монтань Сент-Женевьев, и вверху была церковь Сент-Этьен сюр Мон, и мы ели что-то очень вкусное, и запивали белым вином, и трепались, пока нам не намекнули, что уже третий час ночи и пора...

И все это ты сейчас рассказываешь своим и моим друзьям за тем самым круглым столом и кажется это тебе теперь сном и сама себе ты повторяешь: «Неужели это было?» — так же, как, сидя в том самом угловом ресторанчике, мы говорили в сотый, двухсотый раз: «А могли ли мы подумать?»

Господи, почему всё это так нелепо? Почему?

Я невольно вспоминаю Гену Шпаликова, милого забулдыгу и пьяницу Генку Шпаликова (я к нему еще вернусь, он заслуживает того, чтобы о нем наконец-таки поговорили всерьез, а не только: «А, Генка! Мировой парень!») в последнюю нашу встречу, в Москве, за месяц или два до моего отъезда. Это был грустный вечер. Мы вышли из почтового отделения на Калининском проспекте у Арбатской площади (я звонил в Киев), и вдруг выяснилось, что нам, в семимиллионной Москве, не к кому пойти. Тот уехал, тот на даче, та больна, у тех, вероятно, гости, а тот забурел, а тот вообще стал дерьмом. И с горя, перелистав все записные книжки, мы двинули в гостиницу «Украина». Там, у стойки, на высоких стульях мы пили кофе и разговаривали в последний раз в жизни — через три или четыре месяца Генка повесился...

— Вика, возьми меня в Париж, — говорил он мне с такой бесконечной, беспробудной тоской, что будь перед нами не кофе, а водка, он наверное бы расплакался. — Возьми меня в Париж... Не могу я больше... Не могу я видеть эти морды... ЦДЛ, ВТО, Дом журналиста, «Мосфильм», студия Горького... В дрожь бросает, когда только подумаешь обо всем этом... Возьми меня в Париж... Мне здесь делать нечего... Не выдержу...

И не выдержал.

И говорил это один из самых талантливых людей, которых я знал в жизни. Возьми меня в Париж!.. Вопль, крик, шепот... И знал же, что никто никогда его туда не пустит. И не пытался даже... Вам? В Париж? А общественной работой вы когда-нибудь занимались? На политзанятия ходили? И вообще, кто не знает, кто такой Шпаликов? Хулиган и скандалист, пописывает какие-то сценарии и советскую власть ругает... В Париж ему, видите ли, надо, хорошо, что в Москве еще держат.

Нет, нельзя!

Почему?

Ну почему нельзя человеку поехать в Париж, когда ему этого хочется? Почему об этом говорится, как о чем-то несбыточном? Почему все Амстердамы, Брюгге и тот же Париж набиты летом до отказа мальчишками и девчонками всех национальностей, а русских,

если иногда и увидишь, то сразу отличаешь по какой-то запуганности и сбитости в кучку? Почему? Почему даже для братской Болгарии нужно получать эти идиотские характеристики — «треугольник», мол, считает тебя вполне достойным высоко нести знамя, ну и т. д. А потом жди сколько-то там месяцев. А если получишь отказ, чувствуешь себя всю жизнь парией, неполноценным...

Почему?

А потому...

Естественно, правда, было бы задать другой вопрос — почему все же выпускают? И не только в туристские, на две недели, а даже на два-три месяца, по приглашению. Ведь при Сталине никто и помышлять об этом не смел. Ну, Эрэнбург, Борис Полевой, Давид Ойстрах, Корнейчук — от них хоть польза какая-нибудь, одни несут культуру и приносят деньги, другие просто умело врут. Конечно же, разумнее не выпускать — чего ты там не видел, любишь кататься, изучай архитектуру и музеи дома — Эрмитаж не хуже... Но, вот, выпускают. И, как ни странно, есть в этом определенная логика, хотя она, как известно, отнюдь не главное достоинство нашей системы.

Герметичным системам этим нужна видимость, нужны фасады. Почему-то считается, и в это очень верят, что, глядя на эти без конца подкрашиваемые фасады, никто не догадается, какие за ними «вороньи слободки». Туризм — одна из деталей, одна из завитушек на его фронтоне. Простите, у нас не хуже, чем у других. Прочитайте статью товарища такого-то, директора А/О «Интурист». Видали, сколько наших побывало за границей? Сколько-то там тысяч в ста с чем-то странах. А вы говорите...

И говорю... Я сам был туристом и знаю, что это такое. «Не рассредотачиваться, всем вместе. Нет, нельзя! Только втроем. И к одиннадцати чтоб были в гостинице. Один, два, три, четыре, шестнадцать... А где Васильев? Товарищ Петров, а где Васильев?» Один мой знакомый русский парижаанин рассказывал, как он однажды подшутил над одним из таких руководителей. Увидев группу советских туристов в Лувре и сразу определив, кто их начальник, прошел мимо него и как бы невзначай кинул: «Не распускайте людей, компактнее, компактнее!» «Есть компактнее», — автоматически ответил тот и тут же лихорадочно стал собирать людей.

И что же, несмотря на «компактность», на то, что денег в обрез, а хочется всё купить и хочется, конечно же, ходить по магазинам, по всем этим Лафайетам, Брумелям, Самаритэнам, Тати («Идите в Тати, там в три раза дешевле!»), а не по всяким там Луврам, несмотря на все это, 90% возвращающихся из поездок говорят о безработице, забастовках, дорогих квартирах и отсутствии газировки на улицах. Что, впрочем, естественно — хочется еще раз поехать, а во-вторых и в главных, жить-то дома и перестраивать на

новых началах жизнь никто из этих 90% не собирается... Приучились, привыкли, очередями и перебоями не удивишь...

И вот тут-то мы и подходим к самому трагичному, к самому главному.

И опять же я откладываю этот разговор на потом. Это всё у меня пока затравки, нечто вроде оглавления — вот об этом поговорим, и об этом, и о том. И вообще не хочется начинать с трагического. Слишком много грустного и печального будет впереди. А лучше какую-нибудь идиллию.

* * *

Маленькая деревушка в Каталонии, в тридцати километрах от Таррагоны. Называется Сан-Виценте. Все ее домики, замкнутые, с двориками посредине, все ее улочки с кактусами и агавами, церковь и водонапорная башня, все это лепится и ползет по чему-то крутому, то ли холму, то ли горбу, то ли бугру (забавно, но истинный сталинградец, житель города, а не солдат, защищавший город, никогда не скажет «Мамаев курган», только «Мамаев бугор»), лепится, расплзается, и таким силуэтом рисуется на вечернем небе, когда едешь в соседний городок Вендрей, что сразу понимаешь — это Испания! (За эту фразу каталонец меня убьет. Какая Испания? Каталония! Это то же самое, что сказать, что я однажды и сделал, выступая перед канадскими украинцами, — у нас в России, в Киеве... Сказал и чуть язык не проглотил.)

И в этой самой деревушке (San-Vicente по-испански, Sant-Vicenç по-каталонски, а если уж по всем правилам, то Sant-Vicenç de Calders (poble) и есть у нее собственный герб — святой Винцент с какой-то ветвью в руках и опирающийся на нечто вроде жернова), так вот, в этой самой деревушке, сразу возле церкви, я и живу сейчас. В очень красивом доме. Собственно, снаружи никакой красоты нет — стены и всё, но зато внутри... Комнаты комнатами, только мебель в них старинная, испанская (каталонская?). Но зато террасы, лестнички, садик, дворик и всё увито чем-то цветущим, голубым, розовым, красненьким и прямо под окном громадное фиговое дерево и опять же цветущие олеандры — розовая и белая. А за воротами, за каменной стенкой две агавы выпустили свои пятиметровые стволы, не похожие ни на что, даже описать их не могу. И все это на фоне каталонско-таррагонского пейзажа, сухого, желто-зеленого, с разбросанными по нему круглыми, точно маленькие взрывы деревцами, с прекрасным названием карубье, а дальше, как декорация, как театральные задник, холмы, заросшие лесом, возможно, где-то дальше переходящие в Пиренеи. А слева море. Из моего окна его не видно, но если выйти из дома и начать спускаться вниз по дьявольски крутой Кая дель Поза, то виден весь берег, и Сан-Сальвадор, и Камарруга и автострада Барселона—Таррагона, шум с которой, кстати, несколько

мне не мешающий, доносится до моих окон и придает даже какой-то уют, как в свое время паровозные гудки.

И вот в этом самом доме, со всеми его террасами, каменными полами, тяжелыми комодами и фонариками над дверями, я живу один (хозяйева уехали в Париж, заболела дочка) в компании двух уродливейших, сопящих мопсов и беззвучной (а она считает меня беззвучным) дамой по имени Флорен, ухаживающей за мопсами.

У меня маленькая комната, беленькая, с деревянными балками по потолку, и половину ее занимает широченная кровать, задняя спинка которой в виде то ли портала, то ли фронтона с барочными завитушками просто привешена к стенке и на ней нарисована золотая, подвешенная на ленточке, загадочная монограмма. Кроме того, комод с сотней ящиков и ящичков, на нем три чугунных плоских утюга с ручками в виде лошадей. И еще плетеное кресло, которое я принес с террасы и в котором сижу сейчас и пишу эти строки, поглядывая на холмы и вьющуюся среди них белую, пыльную дорогу, по которой, не сомневаюсь, трясся когда-то на своем ослике и Санчо Панса вслед за Дон Кихотом... Где-то, очень далеко, надрывается петух, а в соседнем дворе, там, где агавы, бестолково брешет идиотская собака, как у нас говорят, пустообрёх — особенно любящая это делать после 12 ночи.

Да, никогда я еще так не жил. Один в целом доме. В каталонской деревне, среди холмов и агав. Флорен с мопсами где-то внизу. Иногда только слышу их сап у меня под дверью. Один из них черный, другой цвета сиамского кота, и, говорят, они педерасты. Но Бог с ними, они мне не мешают...

А внизу, если спуститься по Кая дель Поза, у дороги, в очень странном доме — как выяснилось, в прошлом это была оливководильня (слово я сам придумал) — живут две прекрасные дамы, заботам которых я и обязан тем, что живу среди холмов и агав.

С одной из этих дам семь лет назад мы вышли вместе из киевского ОВИРа, и на ней тогда лица не было. «Ну почему он на меня кричит? Что я ему сделала?» Она ничего ему не сделала, она просто хотела уехать к своему мужу во Францию. И уехала — в конце концов. И живет теперь в Париже, работает в больнице, она врач.

А другая — в свое время она окончила философское отделение Московского университета — приезжала на своем белом «Триумфе» со своей подругой Николь из Парижа в Киев, и я водил их по старым киевским улицам, и садам, и паркам. Сейчас она по-прежнему живет в Париже и, когда ей хочется, пишет романы. Она писательница, хотя, как всякий нормальный человек, не любит, когда ее так называют. А может, и любит, Бог ее знает. Между прочим, кроме всего остального, нас сближает и то, что оба мы не считаем себя профессионалами, пишем тогда, когда нам хочется...

И вот в компании этих двух дам, или, скорее, приятельниц,

подруг, кормилиц, ангелов-хранителей, но будем их называть все-таки дамами, так красивее — я и живу.

В этой компании (одна — курчавая брюнетка и курносая, другая — длинноволосая шатенка и тоже, вроде, курносая, но не совсем, и у обеих очень живые, но по-разному глаза) и еще четырех человек — годовалого сына первой, девятилетнего сына другой и четырнадцатилетнего третьей, мадам Алэн, помогающей в хозяйстве, мы сидим за обеденным столом и...

— Могли ли бы мы, Вика, с тобой подумать...

Познакомились мы с Жанной (курчавой брюнеткой) 15 лет тому назад в самолете Прага — Братислава. Она услышала русскую речь и бросилась ко мне. Жила и работала в Братиславе, муж — словак. А мама ее в Киеве, как выяснилось, живет в двух шагах от меня. Вот так и завязалось знакомство, перешедшее потом в дружбу. Встречались мы не так уж часто, но всегда радовались друг другу — и в Киеве, и в Москве, потом — в Париже (теперь у нее муж — француз), а сейчас, пока я еще не надоел своим хозяйкам, и здесь, в Каталонии, на берегу Средиземного моря.

— Могли ли бы мы только с тобой подумать?

Мама родила ее и угодила в лагерь, а она — в детдом для детей врагов народа. И пробыла там с шести до четырнадцати лет. Маленькая, чернявая, не всеми любимая, так как единственная, кажется, среди всех была еврейкой. «И чем же вы там занимались, в своем детдоме для детей врагов народа?» — спрашиваю я. — «Да всё больше думали о еде. Где бы что-нибудь да стибрить. Ходили на базар, воровали там, что могли... Потом маму выпустили и она познакомилась со своей дочкой уже почти взрослой...»

Мы сидим за столом на кухне — нас семеро, и у одного из семей прорезались сразу три зуба, и он почему-то этому не радуется — и едим заказанную мной картошку, поджаренную так, как жарила мне когда-то мама, большими круглыми ломтями, сначала одну сторону, потом другую, сидим, хозяйки мои попивают белое вино, я — воду со льдом и ...

— А могли ли мы, девочки, подумать?

Очевидно, не могли. А вот произошло...

И я лежу на пляже и думаю. Переворачиваюсь с боку на бок, вернее, с живота на спину, и думаю... О чем? Да все о том же...

Потом бросаюсь, нет, захожу, в море — оно здесь мелкое, метров за двадцать только начинается глубина — и плыву себе. Точно так же, как когда-то в Ялте, в Коктебеле. Только там слева был Хамелеон, Хобатепэ, а справа — волошинский профиль Карадага, а здесь все ровное и слева — Камарруга, а справа — Таррагона (ах, какие роскошные «р» — Тар-р-р-рагона, Камар-р-р-руга, а есть еще Тор-р-редембар-р-р-ра, она видна со своей веретенообразной колокольней — отсюда, вероятно, и гаудиевская Саграда-Фамилия — когда плывешь обратно к берегу). Море теплое, дно и берег песчаные

и, когда я после заплыва возвращаюсь обратно, ориентир у меня — агава со своим сосноподобным торчком. А вокруг нее, в песке, растут песчаные лилии — в песке лилии! — очень нежные, очень изящные и очень пахучие...

Я плыву себе по направлению к агаве, а на пляже резвятся трое мальчиков. У одного — папа француз, а мама русская, у другого — и папа и мама французы, а третий — чистокровный испанец, тьфу! каталонец, и зовут его, как и меня, Виктор, он очень толстый, веселый и почему-то всегда, когда встречается, целует меня в щеку. А может, в этом краю это так положено, целоваться при встрече, совсем как на Внуковском аэродроме Брежнев и Герек, Подгорный и Кадар... А другого из этих пацанов зовут Иван, но по-русски он знает только с полдесятка слов и среди них одно, которое он очень хорошо выговаривает — п о д л е ц! Откуда он знает это слово — я никогда не слышал, чтоб мама его так называла. Если уж очень хочет выругать его, то делает это по-французски.

Тоже сложность. Папа француз, мама русская, и очень русская, а папану уже девять лет и по-русски ни бум-бум...

Как же быть, думаю я, растет наполовину русский мальчик и мама очень хочет, чтобы он был больше русским, чем французом, но сама-то она русская-прерусская, а пишет свои романы по-французски...

Вот о чем я думаю, лежа на пляже, где слева — Камарруга, а справа — Таррагона... И еще я думаю о том, что завтра мы с Нелей (матерью Ивана) поедем в эту самую Таррагону на корриду (в Тар-рагону на кор-риду), и увижу я наконец живых торреадоров, и мулетту, и веронику, и черного бычка, которого ждет смерть...

И вот тут-то настало, наконец, время вернуться в просторный кабинет доктора исторических наук Валентина Евгеньевича (или Евгения Валентиновича) Маланчука, второго секретаря ЦК Коммунистической партии Украины.

В свое время, при Шелесте, в этом самом кабинете, очень большим, с чисто вымытыми окнами, двумя столами (одним — рабочим, с немыслимым количеством остро отточенных карандашей в стаканчике (можно подумать, что секретарь ЦК за своим рабочим столом в основном занимается писанием романов или мемуаров), другим — длинным, у окна, для совещания) и мягкими располагающими к беседе креслами, сидел другой доктор, только не исторических, а химических наук, кажется даже академик, Федор Данилович Овчаренко. Обходительнейший и интеллигентнейший, умеющий вести дружественную, непринужденную и в то же время не лишённую поучительности беседу, а когда надо, выступать с трибуны и в приятно-интеллигентных выражениях разъяснять писателям их очередные задачи, он после скольких-то там лет работы не удержался на своем посту и вместе с Шелестом — первым секретарем — вынужден был расстаться с громадным зданием на Банковой улице,

с длинными, тихими, устланными коврами коридорами и вежливыми часовыми у входов.

Уход Шелеста объясняли (канадские украинцы особенно почему-то верят) его, мол, националистическими убеждениями и стремлениями к некоей самостоятельности. Не уверен, что в действительности было так (ну какие у секретаря ЦК могут быть устремления к самостоятельности, к какой?), но определенный, а может быть назовем его элементарный, государственный ум у него, по-видимому, был. При нем, например, Иван Дзюба после своего на шумевшего на весь мир письма Шелесту («Интернационализм или русификация?») мог все же спокойно работать. Правда, на маленькой, не соответствующей его возможностям, должности рядового редактора в Гослитиздате Украины, но все же работал. При появлении нового министра КГБ, его тут же, по указанию Шелеста, с извинениями восстановили. Когда Шелеста убрали, Дзюбу тут же арестовали.

В 1964 году, сразу после того как Хрущев оказался волюнтаристом и субъективистом, Петр Ефимович Шелест соизволил провести со мной довольно длительную беседу.

На меня он произвел довольно приятное впечатление — внимательность при разговоре и умение слушать как-то не вязались у меня с образом первого секретаря и его круглой, плоской как блин, с маленькими глазками не очень-то выразительной физиономией. Перво-наперво он осведомился о здоровье Зинаиды Николаевны, моей матери (именно Зинаиды Николаевны!), о которой так много слышал хорошего, потом и меня малость похвалил — «у вас, говорят, были неприятности по партийной линии и вы очень мужественно держались, теперь это не часто случается...» Потом разговор пошел о том, о сем — о войне, о задачах литературы, о Солженицыне, о нынешней молодежи. Разговор был настолько непринужденным (учитывая все-таки стол с карандашами, разделяющий нас), что я позволил себе даже спросить, когда речь коснулась модной тогда темы «преемственности поколений»:

— Вот у вас есть дети, — сказал я, — которые, очевидно, многим интересуются. И задают вопросы. Вопросы, на которые не всегда легко ответить. О Сталине, Хрущеве, их ошибках.

Шелест ничуть не смутился, а я немного надеялся на это, и сказал:

— Я им ответил так же, как, вероятно, ответили б и вы. Сталин и Хрущев могли ошибаться, но Партия никогда не ошибается.

После этого я вопросы задавать перестал.

Вскоре беседа, смысл которой я никак не мог уловить, подошла к концу, и тут все стало ясно. Оказалось, что готовится какая-то конференция, встреча интеллигенции с руководителями партии, и вот желательно, чтоб я на ней выступил и рассказал о том, как Хрущев меня критиковал.

Вот, оказывается, для чего я был вызван. Потоптать повержен-

ного Хрущева. Что ж, можно было кое-что и рассказать. Как над-рывался, например, специально приехавший тогда для этого из Москвы Корнейчук, прерывал и требовал от меня:

— Вы не вилийте, а прямо скажите, как вы относитесь к критике Никиты Сергеевича!

Как прерывал меня в другом уже месте секретарь Ленинского райкома Линец, когда я назвал Хрущева без слова «товарищ». Чуть ли не кулаком по столу стукнул:

— Какой он вам Хрущев! Тоже Бога за бороду схватил. Никита Сергеевич он для вас, а не Хрущев!

И об этом мог рассказать. И о том, как прерывал меня другой секретарь, уже постарше, первый секретарь Компартии Украины, ныне здравствующий Николай Викторович Подгорный. Тот уж действительно в тупик меня поставил. Не могу не вспомнить.

Шла очередная встреча интеллигенции с руководством. В сессионном зале Верховного Совета УССР. В президиуме все правительство, во главе с Подгорным. В речи своей он, как говорится, под-верг меня критике. Мне надо было отвечать. Олесь Гончар, тогда председатель Союза писателей, человек неплохой, зла никому не делавший, взял меня под руку и по-дружески посоветовал:

— Ну признайся, что тебе стоит. Все ж знают, что прав ты, а не они, не Хрущев. И себе облегчишь и нам не надо будет тебя про-рабатывать. Ты думаешь, нам это приятно?

Но признаваться мне было не в чем, хотелось только зачем-то объяснить, что когда писал я о сносе Михайловского златоверхого монастыря XI века, то писал потому, что... Тут Подгорный меня и прервал (они очень любят прерывать, чтоб сбить с толку, чтоб нить потерял):

— А откуда вы это знаете?

Я не понял.

— Что знаю?

— Что собор сносили.

— Как откуда? Просто на наших глазах все это происходило.

И тут Подгорный сразил меня насмерть.

— Ну так что? — пожимая плечами, сказал он, и мне уж крыть было нечем.

Много о чем можно было рассказать. В частности, о выступлении Ивана Дзюбы на том собрании, где прерывал меня Корнейчук. Спокойно, не торопясь, оперируя только фактами и цитатами из газет, Дзюба по очереди разложил на обе лопатки всех, сидевших в президиуме. Просто напомнил, освежил, как говорится, в памяти, кто и как из членов президиума высказывался в свое время о товарище Сталине. Это было довольно любопытно. На Корнейчуке лица не было. Бил по графину карандашом, пытался лишить Дзюбу слова и, вконец растерявшись, не крикнул, а взвизгнул: «Что ж, ми-лицию что ли звать?» Дзюба и бровью не повел. Разделавшись с

последним из президиума, он под гром аплодисментов «галерки» (там сидели его поклонники, а их было немало, хлопавших заодно и мне) спокойно сошел с трибуны и вернулся в свой туберкулезный госпиталь, из которого сбежал специально на это городское собрание представителей киевской интеллигенции, посвященное тому, как эта самая интеллигенция собирается ответить на очередные решения очередного пленума ЦК...

Обо всем этом я, конечно, мог бы рассказать на новом, очередном, посвященном решениям другого, очередного, но оно по неведомым мне причинам не состоялось, и выступать мне нигде не пришлось.

Прошло десять лет. И вот я опять в здании ЦК. Сажу в приемной тов. Маланчука и, пока он занят какими-то другими важными делами, беседую с его помощником тов. Ищенко, как выяснилось, тоже, как и я, членом Союза писателей и автором ни больше, ни меньше, как шести романов. (Сейчас, в Париже, я увидел его портрет в журнале «Дружба народов» и мне стало даже приятно — он, Ищенко, в общем-то в тот день был весьма обходителен.)

— Вы знаете, Валентин Евгеньевич (или Евгений Валентинович) в тридцать лет уже стал доктором, — поведал он детали биографии секретаря по агитации и пропаганде, пока тот заканчивал свои другие важные дела. — Весьма эрудированный человек, и не только в вопросах истории.

Откровенно говоря, познакомившись вскоре после положенного ожидания в приемной с приветливо, но в меру (вышел из-за стола, но далеко не пошел) встретившим меня секретарем, я особой эрудиции в нем не обнаружил, но какую-то хитрость, возможно, даже и не очень скрываемую, уловил.

Небольшого роста, с совершенно не запоминающейся внешностью, он пригласил меня жестом к тому, второму столу у окна (определенная доверительность) и, сообщив, что ему поручено со мною побеседовать по поводу моего письма Брежневу*, завел длительный, с подходами и тактическими обхватами разговор о том, о сем (следовательское прошупывание), проявляя временами ту самую эрудицию, о которой говорил тов. Ищенко — где-то что-то, к слову, о якобинцах, где-то о жирондистах. Потом — удар шпагой!

— Насколько мне известно, у вас во время обыска были обнаружены кое-какие материалы, не очень-то украшающие архив советского писателя (я приподнял брови и развел руками, что одновременно должно было обозначать — «знаете ли, не уследишь» и «архив писателя трудно сразу так прямолинейно классифицировать»). Так вот, должен вам сказать, что в связи с этим я специально поинтересовался специальной юридической литературой (и на-

* В письме Брежневу я просил разрешить мне выехать по таким-то и таким-то причинам за границу.

шей, и зарубежной), чтобы определить, так сказать, меру нарушенный определенных общественных норм.

Это он меня запугивал. Как за полгода до этого запугивал меня в своем большом кабинете заместитель председателя Комитета государственной безопасности, тов. Трояк. Тогда мне тоже было сказано, что я что-то нарушил и за это ему, генералу Трояку, ничего не стоит хлопнуть в ладоши и придут двое, ну и так далее... Но об этом я уже писал. Пассажем по поводу ознакомления с юридической литературой мне дано было понять, что я, если и не изменник Родины, то элемент в какой-то степени все-таки подозрительный и что обыск у меня был проведен все-таки не зря.

Потом что-то опять о якобинцах и о революции 1848 года,* о том, что ему надо ехать в Москву читать какую-то лекцию в аппарате ЦК КПСС, и внезапно — второй удар! Из-под лежавших на столе папок вытащена была нью-йоркская газета «Новое Русское Слово» и развернута передо мной с моей статьей, или воззванием, или криком души, под названием «Кому это нужно?», которую я весной 1974 года передал иностранным корреспондентам, решив, наконец, говорить впрямую.

Испытываясь глядя на меня и выдержав паузу, он произнес:

— Что вы можете сказать по поводу того, что советский писатель, к тому же удостоенный государственной премии, печатается в махровой антисоветской печати?

И опять взгляд — а? загнал в угол?

Но даже из угла этот удар не так уж трудно было парировать.

— Я писал не для этой и не для какой-нибудь другой газеты, — сказал я, — это обращение к мировой общественности. И если оно было напечатано во всех газетах мира — правых, левых, пусть даже фашистских или маоистских — я был бы только рад. Кстати, две газеты, которым я непосредственно послал текст, не удосужили даже ответом. Это «Правда» и «Литературка»... — и после паузы, — может, у вас по существу самой статьи есть замечания?*

Замечаний не последовало, и речь опять пошла о том, о сем, и все закончилось тем, что он не исключает возможности еще одной встречи, но это произойдет после его поездки в Москву с тем самым докладом перед аппаратом ЦК, о котором он уже говорил (к слову скажем, три или четыре раза).

После поездки в Москву было какое-то совещание секретарей обкома, потом еще что-то, не менее значительное, потом он ушел в отпуск и встретились мы с ним уже перед самым моим отъездом.

Судя по всему, к этой второй встрече особого стремления у него не было, но я все же настоял на ней, так как хотел поставить все

* Статья эта, «Кому это нужно?», была передана иностранным корреспондентам в Москве 7 марта 1974 года и в выдержках опубликована во многих западных газетах.

точки над *i*. Эти-то точки я и стал расставлять в ответ на вопрос, с которого я начал свое повествование.

Что же я думаю делать, оказавшись за границей?

— Во-первых и в-главных — писать. Поскольку я не имею возможности делать это у себя дома, я думаю делать это где-нибудь, допустим, на берегу Женевского озера, благо выезжаю я официально по приглашению моего дяди из Лозанны. О чем писать? Ну, так сразу на это не ответишь, надо приехать, осмотреться по сторонам, но, если говорить начистоту, то не мешало бы взяться за какие-нибудь «Былое и думы» — Герцен их начал лет в 40, а мне уже за шестьдесят, пора подводить кое-какие итоги. И дальше. Подкладывать бомбы под советские посольства и призывать к свержению советского правительства не собираюсь, но следить за всем тем, что происходит у меня на родине, буду очень внимательно и, конечно же, буду выступать в защиту своих друзей (и не только друзей), если эта защита будет необходима.

На все, что я говорил, более или менее доброжелательно кивалось головой (даже на мое намерение приняться за «Былое и думы»), но после высказывания о друзьях было весьма уместно мне указано, что наша страна, как известно, придерживается строжайшего выполнения всех законодательных норм. Я принял это к сведению, но оговорился, что в тех все-таки случаях, когда эти нормы будут нарушены, я воспользуюсь услугами западной прессы, хотя, как мы знаем, она и падка иной раз до дешевых сенсаций.

— Вообще же, — закончил я изложение своего кредо, — так как человек я в работе не очень усидчивый, к тому же с детства любящий путешествовать, я надеюсь на старости лет осуществить две свои самые заветные мечты — побывать на корриде и съездить на остров Таити...

Хотелось еще сказать о Монте-Карло, о мечте выиграть в рулетку, ну, хотя бы сто тысяч, но посчитав эту мечту все-таки мелкой, я так и не упомянул о ней. Теперь жалею, так как из трех мечт, трех обещаний два уже выполнил — в самом знаменитом в мире казино, если и не выиграл, то франков двадцать проиграл, и на корриде (позавчера!) побывал. Ну, а Таити, как говорится, никуда не денется. Доберемся и до него.

Вы думаете, что мое такое непосредственное и искреннее желание поведать секретарю ЦК и его помощнику о своих сокровенных мечтах вызвало у них хоть какую-нибудь реакцию? Ничуть. На их лицах ничего нельзя было прочесть. Я понял, что на этом надо ставить последнюю точку, и встал.

Мы обменялись рукопожатиями. На мое пожелание одному успехов в его общественной деятельности, другому — в творчестве, ничего в ответ не было сказано. Так, некое подобие улыбки, которая автоматически, помимо желания, появляется у человека, когда он прощается.

(Кстати, когда я перед отъездом нанес прощальный визит в редакцию журнала «Москва», где лежала моя рукопись, зам. редактора Толя Елкин долго обнимал меня и говорил много хороших слов, и даже случайно вышедший главный редактор Михаил Алексеев, который нигде и никогда не назвал бы меня своим единомышленником, ткнулся подбородком куда-то мне в плечо и сказал: «Успехов, успехов желаю».)

Не знаю, возможно, элементарная вежливость требовала бы от меня сейчас взять купленную после корриды в Таррагоне открытку с очень эффектными «верониками» у морды быка и послать ее по адресу — Киев, ул. Орджоникидзе, ЦК КП Украины, тов. Маланчуку В. Е. (или Е. В.). Так, мол, и так, на корриде побывал, очень интересно. Желаю успехов в работе и личной жизни. И наклеить марку с королевской четой — Хуан-Карлос и симпатичная, очень простенькая королева Соня. И все это удовольствие — 12 пезет.

*
*
*

Жил-был в Киеве в первой четверти XX века мальчик. Раннее детство свое он провел за границей, но помнит ее туманно, зрелое же прошло в Киеве: зимой — в городе, летом — на даче. Дача, вернее, крохотная в ней комнатка, снималась у друзей, родителей старшего друга мальчика, Виктора Елистратова. Находилась она в Ворзеле, лесистом дачном поселке в тридцати километрах от Киева.

В этом самом Ворзеле и прошли те самые годы мальчика, когда что-то там завязывается, формируется. Родители не очень мучили его разного рода поучениями и нравоучениями — «Главное, не будь первым учеником, — говорила ему мать, — в наше время это считалось неприличным». Тетка, та, правда, не прочь была вмешаться в воспитание — следила, чтоб мальчик не клал локти на стол во время еды (до сих пор в ушах его звучит теткино французское «*ôtes tes coudes*») и тщетно пыталась переключить его с Жюль Верна на Тургенева. С тех пор мальчик особенно невзлюбил Тургенева. Впрочем, Кнута Гамсуна, который через несколько лет сменил Тургенева («Прочти «Викторию». Как можно в твоём возрасте не читать «Виктории»; ему было тогда лет 14-15), он не только полюбил, но потом стал даже в ранних писаниях своих усиленно ему подражать.

Так вот, жил по летам мальчик в Ворзеле, играл, как положено было еще в те годы, в крокет, ходил купаться на пруд, тихий, заросший, с островком посередине, и, конечно же, упивался, лежа на раскладушке (тогда это называлось «раскидачка»), похождениями Филеаса Фогга и Гектора Сервадака. Кроме того, строились во всех углах участка шалаши, проводилась железная дорога с семафорами на ниточках, а между огородами, клубничными грядками и крокетной площадкой разыгрывались военно-морские баталии. Корабли — крейсера и дредноуты — делались из досок забора, выхо-

дящего на Лесную улицу, миноноски и прочая канонерская мелочь — из досок покороче, найденных в сарае. Надводная часть кораблей — артиллерийские башни, капитанские мостики и все то, что изображено было на вызывающей дрожь картинке «Морское сражение у Фалькландских островов» из журнала «Природа и люди», лепилось из глины. Корабли все были героические, тонули, но не сдавались, и при спуске на воду нарекались (мальчик был франкофилом) именами, нет, не Жанны д'Арк или хотя бы маршалов Мюрата или Нея, а французских президентов (из Лярусса) — Эмиль Лубэ, Казимир Перье, Карно, Фальер, Мак-Магон, даже палач Парижской Коммуны Тьер. (Франкофильство у мальчика было какое-то странное — роясь сейчас в чудом сохранившихся рисунках своего детства, всяких Мостах вздохов и солнечных закатах на Адриатическом море, он не обнаружил ни одного Наполеона Бонапарта, но зато трех Наполеонов III, с бородкой и в эполетах, которого не должен был бы любить, так как во время Крымской кампании при всем своем франколюбии был на стороне русских.)

И все же самым любимым занятием было, растянувшись на раскладушке, глотать одну за одной «Черные Индии», «Архипелаги в огне» (о, это полное собрание сочинений Жюль Верна, аккуратные томики, завернутые в синюю бумагу!) и не торопясь листать «Природу и люди» за 1916 год.

1916-й год был годом войны, годом Вердена. В конце журнала, после всяких «Есть ли жизнь на Марсе?» и «Тайн подводного царства» была «Хроника военных действий». Вот ею-то и упивался мальчик. Героические форты Во и Дуамон стали ему как родные. Они переходили из рук в руки, гул сражений не прекращался ни днем ни ночью, земля вся была вспахана снарядами, лили дожди, солдаты мокли, шли в атаки, маршал, тогда еще генерал, Петен обходил и воодушевлял войска. Жоффри, Галиени, Петен, Фош — все эти генералы занимали мальчика куда больше, чем Деникины, Петлюры и Щорсы, которые в это время то занимали, то с боем покидали его родной Киев.

Мальчику в предшествующие «Природе и люди» годы хотелось поочередно быть пятнадцатилетним капитаном (осталось еще три года, два, один, Боже, уже пятнадцать лет, а он все еще не капитан...), паровозным машинистом (Боже, что он отдал бы только, чтоб подняться по вертикальной лесенке в эту будку с толстыми, красивыми буквами на боку НУ-253 и хоть до станции Клавдиево постоять рядом с этим усатым, пахнущим маслом и углем неубаюющимся дядькой, выглядывающим в окошко, а левой рукой крутящим какие-то ручки), торреадором (только через полстолетия, в последней четверти XX века ему удалось увидеть живого, вытирающего пот матадора и его завязанную на затылке косичку-«колетту» и даже внутренность этой забавной ни на что не похожей шапки, красной, если костюм красный с золотом, голубой, если голубой с

серебром, которую он так небрежно и изящно бросает на песок перед тем, как, взяв шпагу и намотав на нее мулетту, начать дразнить черного, коротконогого бычка с рогами врозь). Но тогда, в году тысяча двадцать каком-то, мальчику хотелось быть не 15-летним капитаном, не машинистом, не матадором, а обыкновенным французским «poilu», обросшим, в каске, героически отстаивающим руины форта Дуамон от этих паршивых «бошей» с их кровожадным, усатым Вильгельмом II...

И вот, через шестьдесят лет после победы под Верденом и через пятьдесят с чем-то после «Природы и люди» мальчик оказался среди тихих, пустынных развалин форта Во и Дуамон с табличками и мемориальными досками. Молча постоял он у «Tranchées des bayonnettes» — «Окопа штыков», где, по боевой легенде, засыпало взрывом готовящихся к атаке солдат, остались на поверхности только штыки (полк, в который входили эти солдаты, бретонцы и вандейцы, был 137-м, а мальчик в студенческие годы был бойцом, как ни странно, тоже 137-го стрелкового полка, и это на него как-то подействовало), потом долго сидел на стальном пулеметном колпаке на вершине форта Во и думал. Кругом была тишина и красота. Спокойные леса и рощи, попеременно с тихими, зелеными долинами, высоко в небе заливался жаворонок, и только ржавая колючая проволока (тех времен или появившаяся позже для колорита, для иллюзии?) напоминала о том, что давно или недавно — это как кому — здесь было не так уже уютно, и лесов и рощ этих не было, а были обугленные стволы, палки и воронка на воронке. А в воронках... Сейчас белые кресты рядами вытянулись у «Ossuaire de Douamont», гробницы, мавзолея (слово «ossuaire» по-русски перевести нельзя, оно от слова «os» — кости), воздвигнутого на месте боев, о которых во Франции никто уже не вспоминает, если не считать президента Республики, посещающего эти места в дни определенных дат, и тех седоусых, с палочками, 85-летних «poilus», которых, а их с каждым годом все меньше и меньше, подвозят сюда на специальных автобусах, а потом отвозят домой.

Мальчик, несколько поседевший и погрузневший, сидел на полузабытом стальном колпаке, сеявшем когда-то смерть, и думал...

О чем же он думал?

А думал он о том, что в тысяча девятьсот двадцать каком-то году, через четыре-пять, допустим, лет после того, как закончилась самая кровавая война, которую испытало на себе человечество, он, мальчик, точно знал, что французы были хорошие, а немцы плохие, они сожгли Лувен и разрушили Реймский собор. Какими были тогда русские, он не совсем разобрался, поскольку вскорости они стали «белыми» и «красными», но с французами и немцами все было ясно. Французы защищали свою родину, la belle France, прекрасную Францию, а немцы хотели ее поработить.

С годами все стало несколько сложнее. Выяснилось, что ни

немцы, ни французы, то есть французские и немецкие рабочие и крестьяне, ни в чем не повинны. Повинны во всем даже не Вильгельм с Францем-Иосифом и каким-то там носатым Абдул-Гамидом, а империалисты и капиталисты, лишенные какой-либо внешности, злые, ненасытные Круппы и Шнейдер-Крезю, наживающиеся на крови этих самых французских и немецких крестьян и рабочих. Верден оказался просто-напросто мясорубкой, а Версальский мир «грабительским договором».

Но случилось так, что через 20 лет после окончания самой кровавой в истории человечества войны, началась новая, оказавшаяся еще более кровопролитной. И мальчик, еще не поседевший, но уже подобранный к тридцати, попал на нее и даже воевал в Сталинграде. И тогда, в Сталинграде, окружая вырытые пехотинской лопаткой в оледеневшем грунте окопы неполной профили спиралями Бруно, он знал, что сделает все, чтобы не пропустить к Волге этих гадов-фашистов, которые хотят поработить его родину. И когда, при помощи солдат его саперного взвода и других солдат из стрелковых и артиллерийских полков, при поддержке авиации и танков, под руководством боевых генералов и членов Военного совета и под верховным командованием товарища Сталина, ему это удалось, он вступил в Коммунистическую партию. Он поверил в нее и решил стать коммунистом, хотя единственного во взводе коммуниста очень не любил — по приказу свыше его надо было беречь и на ответственные задания не пускать.

Потом война кончилась, после нее произошло много разных событий, и вот сейчас мальчик, поседевший и погрузневший, сидит на бронированном пулеметном колпаке форта Во и спрашивает себя, через тридцать три года после конца Сталинградской битвы, за что же он там воевал, во имя чего ставил свои минные заграждения и спирали Бруно...

Он воевал против фашизма!

Но — за что?

Хорошо... Начнем сначала. Знал ли он, тот совсем уже не молодой мальчик в свои тридцать лет, что незадолго до войны были 37-й и 38-й годы? А до того коллективизация? А до того гражданская война, на которой убили, засекли шомполами его старшего брата? Он не был никаким «белым», а просто 18-летним мальчиком, приехавшим недавно из Франции, и нашли у него «красные» французские книжки, а жил он тогда один, в Миргороде, и решили, что он шпион, и убили. Знал ли все это младший брат убитого Коли? Знал. Все знал... Больше того, даже не верил, что Тухачевский и Якир — враги народа... В чем же тогда дело? А дело в том, что не только он, а десятки, сотни тысяч, миллионы людей поверили, что позор тридцать седьмого года и все предыдущие необъяснимые жестокости смыты кровью тех, чьи отцы и деды, возможно, погибли в лагерях. Смыто все! И вранье, и хвастовство, и само-

обман. Нельзя больше врать, как ввали, нельзя обманывать и себя и народ. Научились глядеть правде в глаза, когда приперло. Возврата к прошлому нет. Несмотря ни на что, несмотря на отсутствие танков и самолетов, подбитых в первые же дни войны, несмотря на все эти «Если завтра война»... и «Ни вершка своей земли не отдадим»..., несмотря на опустошенную, оставленную врагу землю, на расстрелянных, убитых и повешенных врагом, мы выстояли, и вот здесь, в Сталинграде, нанесли фашизму — самому страшному, что есть на земле — смертельный удар!

И тут-то все поверили — уж слишком много об этом кричалось, говорилось, писалось, печаталось, талдычилося на всех собраниях, во всех газетах, но главное, не только поэтому — все поверили, что к победам этим самое прямое отношение имеет партия. Она удержала, она эвакуировала на Восток заводы, она собрала, сколотила, кликнула, объединила, вдохновила, окружила и вот разбила — посмотрите на вереницы этих пленных, замерзших, обмотанных шарфами и одеялами Зигфридов и «Übermensch»ей... И тридцатилетний мальчик тоже поверил и стал кандидатом Партии, а через год, где-то уже на Западной Украине, незадолго до вступления в Польшу, ему вручили настоящий партийный билет.

Почему же посевший, погрузневший мальчик этот, которому в московском метро давно уже говорят «дедушка, садитесь» (в парижском этого, увы, нет), лежит сейчас на песчаном пляже «Costa Dorada», на золотом берегу Каталонии, и знает, что нет ему возврата в страну, которую он, хорошо или плохо, но с такой верой в торжество справедливости защищал от гадов-фашистов?

А потому, как говорили мы в детстве, что кончается на «у».

Каждый объясняет прошедшее и происшедшее (а кое-кто предсказывает и будущее) по-своему. Академики, члены-корреспонденты, математики, биологи, писатели, эмигранты, народно-трудовые союзы. У каждого, как говорится, болит свое, у кого личное, у кого пошлере, у кого совсем широко. Одни считают, что марксизм ошибался, другие, что провалился, третьи, что его совсем нет, четвертые, что есть, но надо как-то его подправить, пятые, что у них всё будет по-другому, но все сходятся на одном, что в общем-то дело пока дрянно. И только те, кто утверждают, что всё, что они делают, делается на марксистско-ленинской основе, считают, что всё (у них) хорошо.

Ну, а если подумать, как говорится в одном анекдоте? Ночью, одному, укрывшись с головой одеялом? После всех президиумов, заседаний, XXV-х съездов? Ведь все разлезается, расплзается, трещит по швам. Новой медалью за успехи в соцсоревновании вряд ли что исправишь. Все это понимают. И вверху и внизу. И академики (и те и другие), и математики, и члены президиумов, и даже их председатели, и колхозники, и сталеваы, и старшие лейтенанты, и мичманы, и генеральные секретари...

Так что же делать?

Весной 1975-го года приехал я в Канаду. И вот первый вечер. В неведомом мне городе Гамильтоне. Посадили на аэродроме Торонто в машину и привезли сюда. Украинцы. Их здесь так много, что за их лицами, улыбками, а иной раз и недоверчивыми взглядами, я не успел разглядеть других, как здесь говорят, этнических групп, по-моему их просто нет, одни украинцы... Зал. Большой. Набит людьми. Кто они? Петлюровцы, бандеровцы, бульбовцы, мельниковцы, просто старики дореволюционных лет. На стенах портреты. Несколько ошарашен. Слева — Петлюра, справа — Бандера, а спереди, на противоположной стенке — английская королева... Не слишком привычно.

К концу вечера вопросы. Задают в основном старики. Есть дельные, есть и глупые, есть и просто речи — ужасно все-таки людям хочется высказать свою точку зрения. Молодежь больше молчит — потом уже я с ней разговорюсь, не в клубе, за ужином, без стариков.

Главный и чуть ли не первый вопрос, — в Торонто, Монреале, Виннипеге, Соскачеване, Гамильтоне, в десятках аудиторий — это как я отношусь к самостоятельности Украины. И кто я такой — «единонеделимец» или за «незалежну» Украину?

Конечно же, я отвечал, что я за «незалежну» (независимую) Украину, что каждый народ имеет право выбрать ту систему, то правительство, которое ему нравится, но как это можно сделать, я, мол, не совсем представляю. В особые подробности не вдавался.

С молодежью я был откровеннее.

Скажу прямо, глупость некоторых стариков, да и не очень даже стариков (сужу по некоторым украинским канадским газетам), заключается в том, что ярый их антисоветизм выливается в формы и высказывания, которые на Украине в лучшем случае вызовут улыбку. Ну, зачем писать, что на Украине не найдешь украинских книг или что за украинскую речь исключают из институтов? Это ж курам на смех. Нет, дело куда хуже. Книгами на украинском языке все магазины завалены, но кто их покупает, кто читает? Скажу по секрету — мечта украинского писателя быть изданным не в Киеве, а на русском языке, в Москве. В этом трагедия украинского языка. Он постепенно умирает. И не потому, что его запрещают — абсурд! — газеты на украинском языке (параллельно, правда, и на русском — «Радянська Україна» и «Правда Украины» одно и то же, и обе — органы ЦК КПУ), все вывески и названия улиц на украинском, и «Кассандра», и Лопе де Вега в Академическом ордена Ленина театре им. Франка тоже на украинском, и даже в судопроизводстве первая фраза приговора «Ім'ям Української Радянської Соціалістичної Республіки» читается по-украински (далее, правда, и всё до этого по-русски, исключением был только суд над Иваном

Дзюбой, но тут уж просто было б неприлично). Само собой разумеется, что и Шелест, и Маланчук разговаривали со мной тоже по-русски, но это — давайте помечтаем — из уважения к сединам и заслугам.

Нет, никакой дискриминации язык не подвергается, но тот же украинский писатель, который и в Спілці письменників и дома говорит только по-украински, сына своего предпочитает отдать в русскую школу — русский язык, мол, не подведет, он и до Киева доведет. (В 20-е годы, годы украинизации, когда всем надо было сдавать экзамен по украинскому языку и не сдавший увольнялся с работы, острили: «Русский язык до Киева доведет, а украинский выведет».) Да любой колхозный паренек, попадающий в армию, научается там русскому языку (в мое время мы проходили военную подготовку в украинских полках — «Ліво-руч!», «Право-руч!», «Кр-роком руш!», «Струнко!») и очень этому рад, в колхоз возвращаться он не собирается, а если дальше учиться (в армии все же учат — моторист, танкист, связист), то уж, конечно же, лучше по-русски. И вянет, сохнет прекрасный украинский язык (Собинов говорил, что приятнее всего ему петь по-украински, потом по-итальянски), превращаясь в «суржик» (смесь русского и украинского), а потом — в плохой русский.

Но вернемся к канадским хлопцам. Это они пригласили меня в Канаду — Комитет в защиту Валентина Мороза. Умные, серьезные и, конечно же, тянутся ко всему украинскому с Украины. «Ах, яка в вас мова, Вікторе Платоновичу!» — хвалили они мой плохой украинский язык, на котором мне дома, на Украине, никогда говорить не приходилось. Звучит анекдотом, но за две свои канадские недели я наговорился по-украински больше, чем за предыдущие шестьдесят с лишним лет.

И вот сидим мы с этими хлопцами в каком-то из торонтских или виннипегских ресторанов (кругом куманци, глечики и блузки на милых официантах с трогательным почти украинским узором и такие милые «прóшу») и ведем разговор об этой самой «незалежности».

Можно о ней говорить и серьезно, даже, вероятно, нужно, но как не примешать к этому и немножко шутки, украинцы любят юмор.

— Так вот, хлопцы, — говорю я по-украински, заканчивая вторую тарелку галушек, — дело в том, что для того, чтобы добиваться «незалежности», кроме желания, нужно еще и время. А у украинского колхозника его просто нет — «нема часу». Нема часу не то, чтоб о государственном устройстве думать, но просто, чтоб сеять и жать, благо этим занимаются студенты и научные работники. Нема часу, тому що сьогодні весілля, свадьба, віддають заміж Наталку. Три дні усе село п'є. На четвертий похміляється. А на п'ятий, диви, женять Петра. Три дні п'ють. На четвертий похмі-

ляются. А тут як раз помер старий Павло. Чотири дні п'ють. На п'ятий похміляються. Не встигли ще поховати Павла — Пасха, Великдень. Тиждень (неделю) п'ють. На восьмий похміляються. А на дев'ятий — бац! — Перше травня (Первое мая). Ну, як не випити, сам Бог наказав. У календарі — червоне. Потім Дев'яте травня — День Победы. А потім Храм, а потім...

Шутки шутками, а вот гляжу я на сидящих передо мной Миколу и Андрия и живо рисую их визит на Киевщину или на Черкащину. Да они еле ноги унесут. Пьют-то там не рюмочками, и на своей Торонтщине или Виннипегщине вряд ли они с самогоном встречались.

Я нарисовал прекрасную, но грустную картину и не очень-то переборщил. Прекрасную, потому что есть что пить, есть чем закусить. Самогон собственный, копейки (оно-то, конечно, законом карается, но кто запретит? Милиционер? Да он сам за столом сидит, а не сидит, так под полой уносит). А закуска? Что греха таить, есть теперь чем закусить. Не те времена. У колхозника (украинского, подчеркиваю, с русским, особенно на севере, не сравнить, там дела куда хуже) и коровка, и кабанчик, и курки, и гуси, и приусадебный участок, с которого живет не только он, но и вся страна. И хата у него теперь под железом, и телевизор, который, правда, если и смотрят, то только хлопцы и то футбол или хоккей, и у того же хлопца, как правило, мотоцикл, велосипедом уже не интересуется.

Что и говорить, на селе не так уж плохо. И если советская власть не придумает чего-нибудь нового (а она, вроде, что-то уже придумала, колхозы с совхозами объединить, например, но, вроде, обещала не торопиться), то жить можно...

Жить можно...

Вот эта-то формула и самой советской власти помогает жить («Народ и партия едины!»). Между народом и ней нечто вроде джентльменского соглашения (кто тут джентльмен, сказать трудно, но есть такое понятие). Советская власть требует, нажимает, чего-то не прощает, но на что-то закрывает глаза. На воровство, например. Как кто-то сказал, воруют все, кроме Сахарова. Того или другого под суд отдадут, если уж очень наворует и дачу из мрамора себе построит, как, говорят, случалось в Грузии. А остальные сто миллионов?

Я как-то шел тылами Крещатика. Туда выходят так называемые подсобки магазинов. И вот, проходя мимо одной из таких подсобок, я увидел некое Мамаево побоище, или матч регби, который я видел позже по французскому телевидению. Люди влезали на какие-то ящики, сыпались с них, в воздухе стоял густой, не провернешь, мат, выволакивали несчастную, потерявшую сознание старуху. Оказывается, «выбросили» чешский хрусталь! Ну кто, кроме воров, полезет в эту свалку? Учительница? Районный врач?

Моя приятельница, москвичка, пересказывала мне раз беседу

между двумя продавщицами продуктового магазина в Химки-Ховрино. Одна жаловалась другой:

— Давали, понимаешь, в ювелирторге вчера бриллианты. По два кольца на рыло. Три часа простояла, а когда подошла, кончились. Такое везение. С горя золотой половник купила. Не уходить же с пустыми руками...

Это к вопросу о нищете в нашей стране. Нет, не так уж плохо дело.

Моя домработница Ганя любила после вечернего чая, а у нас он кончался поздно, прохладжаться на балконе. «Вы бы уже спать ложились, — говорила ей мама, — скоро уж час». — «А вы подойдите сюда, — отвечала ей Ганя. — Сейчас официантки из ресторана «Метро» будут выходить, поглядите на них». А поглядеть было на что. Я б такую авоську от земли оторвать не смог бы, а у нее их две...

Нет, жить в Советском Союзе все же можно...

Больше всего в жизни мне не хочется кого-либо поучать. Тем более советскую власть. И уж конечно же, народ, у которого, как с детства мне втолковывали (нет, не родители, а те, кто любит поучать), мы должны учиться.

Но когда, тем не менее, выступая перед бывшими петлюровцами, считающими, что Петлюра, хотя и знал, что такое «независимость», но, возможно, не все сумел учесть, я говорю, что все зависит от народа, он, мол, знает, какую систему правления надо выбрать, — здесь я, конечно, малость лукавлю. Не знает этого народ. Не знает он — ни дядько Павло, которого недавно схоронили, и воевавший, очевидно, в свое время за веру, царя и отечество, ни мой друг Митька, электросварщик, с которым мы лежали в Баку, в госпитале, куда он попал, защищая идеалы социализма, ни тот 20-летний солдат, который въехал на танке в Прагу, чтоб защитить ее от коварных немецких реваншистов. Весь мир обошла фотография советского танкиста — не та, где к нему тянется и в чем-то его убеждает молодой чех, тоже очень хорошая, а другая — выглянул из своей башни танкист, закурил и думает. И такая у него славная морда, и так он ничего не может понять — куда, зачем, против кого?

Я не хочу и не могу утверждать, что народ оглупили (хотя и очень к этому стремятся), просто он очень устал. И от войны, и от того, что было до нее, и оттого, что после, и ни в какую власть он не верит. Старики еще помнят, как убеждали их и красные, и деникинцы, и петлюровцы и все, кто только ни занимал их город или деревню, что только они знают, что народу нужно и как ему помочь.

Не верит народ власти. Никакой. А эту, советскую, он хоть знает. И знает, как ее обмануть, как к ней приспособиться. А то,

что он не пользуется правом выбора на выборах в Верховный Совет и не каждый день может прочесть «Монд», ну что ж, с этим можно примириться. И случись новая война (не дай Бог, все надежды на то, что все бояться водородных бомб), он так же будет защищать советскую власть, нелюбимую, осточертевшую, но привычную, как защищал ее в прошлую войну. А если копнуть глубже, то воевал он не так ЗА, как ПРОТИВ. Против чужого, неведомого, стреляющего и бомбящего его, против врага. И все же защищал и защитил ее, опостылевшую.

Ну, а те, кому хочется все же почитать «Монд»? Что ж, советская власть пошла им навстречу — после Хельсинкских соглашений разрешила открытую продажу этой газеты в количестве сорока (!) экземпляров. Так что и этой категории населения жаловаться не на что.

Но вернемся к тому, с чего я начал. А начал с того, что никого я не собираюсь поучать...

И тут я вижу укоризну в глазах моих друзей. Ну, не поучаешь, а разглагольствуешь. Бог ты мой, сколько уже писали и о народе, о том, что ему нужно и чего он хочет, ну чего тебе еще вмешиваться... Случилось так, что тебе выпала возможность писать то, что ты хочешь, так не злоупотребляй этим. И вообще, давай выясним, для кого ты пишешь — для французов, среди которых ты сейчас живешь, или для нас? Если для нас, то все эти истории про чешский хрусталь, золотые половники и ворующих официанток нам известны не хуже тебя, а французу они просто не интересны, он начитался ГУЛага, там пострашнее. А если ты думаешь все-таки о нас, то пиши о том, чего мы не знаем!

Вот я и стал в тупик.

Для кого же я пишу?

Вероятнее всего, для самого себя.

Некоторые писатели утверждают, что пишут для того, чтоб избавиться от чего-то, накопившегося в них и ищущего выхода. Вероятно, это основное. Но не всё. Все-таки я, например, выбираю какие-то начала, обращаюсь к читателю, то знакомому, то не знакомому, рассказываю некие истории, давно мне известные. Нет, значит, не только для себя пишу. Но, конечно, и не для того, с возросшей и возрастающей из года в год требовательностью, так называемого широкого советского читателя, у которого советские писатели всегда в долгу (см. доклады и прения на съездах писателей). Ох, уж этот «широкий читатель» со своими письмами авторам и в газеты, к настоящему читателю никакого отношения не имеющий! Французский читатель еще меньше меня интересует. Наши проблемы его не волнуют, а в его проблемах я еще не разобрался. И выходит так, что пишу я именно для вас, с укоризной глянувших на меня и малость одернувших.

Для вас, для вас я пишу, для вас, с кем столько прожито, прой-

дено, выпито... И для тех, с кем судьба не свела, но могла свести, и «свои сто грамм» тоже могли быть пропущены, и жизненные километры пройдены. И для тех, с кем, может, еще и сведет судьба и окажется, что есть о чем перекинуться парой слов. Но в первую очередь, для вас...

Я вижу круглые столы на кухнях и висящую над ними сухую рыбу, и квадратные, с двумя парижскими тарелками на стенке, и длинный письменный стол в глубине сейчас, кажется, уже не холостяцкой комнаты, под которым всегда батарея этих мерзких бутылок, которые не сданы только потому, что пункт закрыт, и угол другого письменного стола, покрытого черной клеенкой, и еще много, много столов, кухонь, коридоров, улиц, бульваров, скамеек, ступенек, тропинок... И сейчас я вижу вас всех, вместе и по отдельности, каждого в своей или чужой кухне (о, кухня! Милая, тесная советская кухня, где пьют водку, и чай, и пиво, и кофе и где рождаются самые веселые, трогательные, печальные и забавные из рождающихся мыслей), и из-за одного из этих круглых или квадратных столов вы и глянули на меня с укоризной... И я понял вас. И расскажу вам про то, что вы не знаете. Я расскажу вам про Испанию, фиесту, корриду...

* *

Ну, что Испания? Дон Кихот, Лопе де Вега, инквизиция, Веласкес, Гойя, Эль-Греко, кастаньеты, веера, матадоры, альгвазилы, оливки, мадера и малага, Бурбоны, мавры, шпаги, фиесты, фламенко, Альфонс XIII, «Над всей Испанией чистое небо», Франко, Гвадалахара, Герника, «голубая дивизия»...

Дальше глухо. Фашизм и всё...

Евтушенко, правда, пробился туда, читал стихи, даже кого-то из знаменитейших матадоров, Домингина или Эль-Кордобаса, не помню уже, подбил прочесть перед началом корриды его, Евтушенко, стихи, написанные по-испански, но воспротивилось испанское КГБ. Больше никого не знаю, кто был в Испании.

А сейчас тут я. В испанском королевстве. Портреты короля видел, правда, только на марках, да в каком-то таррагонском магазине: 100 пезет — в одиночестве, 150 — с королевой. А так, как-то не слышно о нем. Во всяком случае, в моей деревушке и соседнем городке, Вендрей. Говорят, у него умный и дельный папа, герцог Барселонский. А вообще — поживем увидим, говорят, кортесы кортесами и социалистическую партию разрешили, но старая франкистская гвардия все еще сильна... Все это я узнаю из французских газет, но читаю их не регулярно, что-то не хочется.

Во все страны, в которые я попадал (а побывал я уже за два года — о, Господи! — в пяти республиках, семи королевствах, одном княжестве и в Канаде, которую не знаю, куда отнести), во

все эти государства я попадал со столиц. Сел в поезд — и через четыре часа в Амстердаме, сел в самолет — и через три с половиной часа в Осло. Или с больших городов — Торонто, Мюнхен... А тут с барселонского аэродрома — в такси и в деревню. Не в шикарный «Холлидей-Инн», с громадными вестибюлями, внутренними магазинами и с видами из окна на колючий силуэт собора Св. Стефана, и не в крохотный, как в Лондоне, отельчик с восемью номерами, крутой скрипящей лестницей и портретами юных принцев в фижмах и жабо, а в ту самую «оливкодавильню», где встретили меня русские распростертые объятия и где я сейчас и обитаю — мопсов увезли в Париж, Флорен — к себе в Мадрид, а я перебрался из Сан-Виценте альто (верхней) в бахо (нижнюю).

Как давят оливки, я могу представить себе только по громадно-му, метра три в диаметре, каменному кругу посреди помещения, которого одним словом определить не могу. Сарай не сарай, конюшня не конюшня (хотя тут и стояли когда-то лошади и мулы) высотой метров в пять. Вверху деревянные балки, а внизу посередине этот камень, а на нем другой, конусообразный, который, поднатужившись, и катали в четыре или в шесть рук по нижнему, а масло, надо думать, стекало в крутой желоб по окружности нижнего камня. Сейчас оливок здесь не давят, а на каменном этом долмене праздновалась годовщина Винцента, или просто Васьки, того самого, у которого во рту теперь уже пять зубов. Был торт с одной свечкой, а сам он сидел на крохотном, плетенном соломой стульчике, увитом белыми цветами, а гости учили его, как эту самую свечку задуть. Но не получилось, дуть, и усиленно, он стал перед сном и без всякой свечки. «Заторможенное восприятие», — сказал кто-то, и заговорили о Фрейде.

Есть в той конюшне и ворота, и камин (всё собираемся затопить), и каменная в десять ступенек лесенка, ведущая на большой, внутренний балкон-террасу. С этой террасы выход на другую, открытую, и в две комнаты, спальни. Я сплю и работаю на внутреннем балконе. Из двойного широкого окна — вид на виноградники, за ними — Камарруга и Сан-Сальвадор, пляжные курортники, а дальше — море. Полы в доме каменные на обоих этажах, стены беленые.

Есть в доме и кухня — опять-таки центр интеллектуальной жизни, и ванная в темно-коричневом кафеле с душем. На дворе, на веревках, сохнет белье. Платан с птицами, которые будят меня в шесть утра. Напротив бар «Лаура» с напитками и телевизором. Хозяйка его — очень красивая каталонка Анита, внук которой — тот самый, что при встрече всегда целуется.

Вот так мы и живем. Тихо, спокойно, не суетясь. Топчется и поминутно падает на каменном полу голенький Васька, детей постарше (девять и четырнадцать) все время гонят: «Ну, займитесь каким-нибудь делом, что вы без толку слоняетесь, видите, мы разговариваем...» А мы разговариваем. Кухня наша ничем не уступает

московской... «Могли ли мы себе представить?...» Сейчас эта тема несколько исчерпалась, и ее заменили тревожными Николь, художницы, живущей в сверхстаринном и прекрасном дворце в Вендрей со своим 77-летним мужем, знаменитым каталонским скульптором, работающим сейчас над памятником Пабло Казальсу — он выходец из этих мест. В одиннадцать часов Николь заезжает за нами и мы едем на пляж.

На пляже, прикрыв физиономию красной махровой шапочкой, купленной в Париже, в мужском магазине «Бруммель», за 39 франков, я погружаюсь в размышления. Иногда пролетает маленький самолетик, тянущий за собой на веревке рекламу таррагонского ресторана, иногда, очень низко, вертолет, проверяет, все ли в порядке на пляже, а заодно тоже рекламирует какие-то вина. После пляжа обед, сон, немного работы, и в Вендрей — к Николь или на почту, сдать фотопленку, купить газету. Иной раз и на бульваре посидим, попьем кофейку.

Вот так и живем — тихо, размеренно, без тревог...

И ворвалась в эту тишину фиеста.

Не знаю, как где, но здесь, в Вендрей, это в основном шум — нестерпимый, оглушающий шум. На площади, возле почты и памятника Примо де Ривера (с трудом припоминаю его по старым, довоенным газетам, какой-то премьер-министр, сейчас во всех городах ему памятники и авеню его имени), балаганы, карусели и это новое развлечение — маленькие электроавтомобильчики, все время сталкивающиеся. Тиры. Продажа всех видов орехов, орешков, арахисов, фиг, фисташек и семечек. Да, каталонцы любят семечки. Конечно, им далеко до нашего украинского «конского зуба», длинного, черного, не оторвешься, но здешние, подсоленные, мелкие, тоже ничего. И тыквенные, белые тоже есть. Я заплывал ими все пространство возле столика на бульваре, когда мы пили кофе и любовались национальным танцем «сарденас». Впрочем, любовались, это не то слово. Просто смотрели. Не хочу обижать каталонцев, но опять же, нет, не наш украинский гопак, не грузинская лезгинка... Довольно вялый хоровод, держатся за руки, поднимают их вверх, как наши вожди, когда демонстрируют дружбу народов, и топчутся, топчутся на одном месте.

Потом загремели барабаны. Ненстово. Не шпицрутенами ли кого-то наказывают? Нет, просто какие-то военизированные мальчишки, в голубых рубашках с погонами, с красными аксельбантами. Впереди несут штандарт. И барабанят, и в горны дудят. Постоят, подуют, побарабанят, и дальше. Не понравилось, что-то гитлерюгендовское.

Другие мальчишки. В желтом с красным. (При всей вражде Каталонии и Испании цвета у них одинаковые — желтый и красный; испанский флаг — красный, желтый, красный по горизонтали, желтого больше; каталонский — желтый и красный в виде равных полос

по вертикали.) В руках у них деревянные дубинки. Ходят по городу табунчиками, вдруг останавливаются и довольно ловко фехтуют этими дубинками, поднимая кастаньеточный треск. Им хлопают.

И все же не все так скучно.

В час дня, у церкви, на площади доктора Мурильо, напротив разукрашенной флагами и коврами мэрии собирается толпа. Все ждут чего-то особенного. И особенное это, пришедшее, как говорят, еще из Рима, когда Таррагона была второй столицей империи, это человеческая пирамида. Двое постарше и поплотнее внизу, потом двое влезают на их плечи, двое на плечи вторых и, наконец, двое мальчишек завершают пирамиду. Все в красных рубашках, красных косынках на головах и с широкими черными поясами.

Вторая пирамида — пятиэтажная — когда влезает друг на друга не по два, а по три. Аплодисменты. Потом шестиэтажная, когда по четыре. Это наиболее эффектная и, очевидно, наиболее трудная. После того, как все пососкакивали вниз, начались объятия и поцелуи. Потом мне говорили, что один из стоявших внизу упал в обморок и его вынесли.

Пирамида эта — «Niños de Vendrell» (Вендрейские ребята) сохранилась, как древняя традиция, только в Вендрей и в другом городишке, Велш (там она называется «Xiquets de Wells»), и происходит, говорят, с тех же времен, когда таким вот образом, взбираясь друг на друга, штурмовали крепостные стены.

Вот вам и вся фиеста.

Был еще и конкурс красоты, я на нем не был, но победительниц видел — с лентами через плечо, довольно красивые, чем-то немного напоминающие наших украинок, они стояли на балконе мэрии во время пирамидного действа и дарили нас улыбками.

Каталонки... Каталонцы. Те самые, которых ни в коем случае нельзя путать с испанцами, иначе обида, тяжелейшая обида. Они гордые, еще более гордые, чем испанцы, по-настоящему свободолюбивы. (К слову, заметили ли вы, что у нас в стране единственный народ, к которому не применяется это понятие — это русский. Трудолюбивый, талантливый, героический, даже многотерпеливый — см. Сталина — но никогда, оказывается, не уважал он свободы. Все остальные народы — да, даже монегаски, жители Монако, а русский — нет.) Так вот, каталонцы да — свободолюбивые, и всегда давали приют изгнанникам. И парламент у них был раньше даже, чем в Англии. При Франко им было худо. Язык был запрещен, могли даже в тюрьму посадить. Впрочем, сажать не сажали, но могли. До сих пор сохранилось автономистское движение, сейчас менее активное, не то, что у басков, но все же есть.

Первый каталонец, с которым я познакомился, был таксист, который вез меня из Барселоны в Сан-Виценте. Круглолицый, чернявый, немолодой уже. Я забыл у него в машине сумочку с деньгами и со всеми документами. Спихватился, когда он уже был далеко.

Мы поахали, поохали, меня успокаивали, говорили, что все будет в порядке, завтра позвоним в Барселону... И, глядь, он стоит в дверях с моей сумочкой.

Приглашен был, конечно, к столу, угощен вином. Посидел с полчаса, поулыбался. Его улыбка запечатлена даже на первом кадре моей первой испанской пленки. Славная улыбка.

Теперь я присматриваюсь к ним, сидя за той самой чашечкой кофе на бульваре. Он же пасео Генералиссимо. Надо мной платаны, сросшиеся вверху в виде сводов. С полсотни столиков с железными стульями. По одну сторону — принадлежащие ресторану Kik (про-франкистскому), по другую — Pi (республиканскому). По старой памяти и расположению к этим последним (хотя не берусь теперь, через 40 лет, разобраться, кто из них был прогрессивнее, а кто реакционнее), пользуемся услугами быстрых, но заставляющих себя ждать официантов Pi. У Kik они еще быстрее. Особенно один — бежит со своим подносом, лавируя между столиками, будто за ним гонятся.

Пью кофе. Курю «Дукадос», испанские «Голуаз», но вдвое дешевле, глажею. Забавно — если не обращать внимание на вывеску, ну прямо Одесса, или скорее даже Херсон или Феодосия. Причем, может быть, даже довоенные. Здесь еще носят ковбойки (в Киеве, помоему, один только я носил), и брюки мешковаты, ни клёш, ни дочки.

Женщины в пестрых, но не очень, почти мосшвеевских платьях. Брюк почти не видно. Ходят парами, с детьми. Туда и обратно. Жгучести ни во взглядах, ни во внешности никакой. Есть и блондинки, вовсе не крашенные. И особой стройности тоже не обнаружил. Иногда промелькнут ребята с обтянутыми задами, но, ей-Богу, джинсов в Киеве сейчас куда больше, хотя достать их, может, и сложнее. Херсон, Херсон, Одесса! И только одно здесь совсем не херсонское, не одесское, не киевское. Нету пьяных! Нет и всё! Пьют свое винишко и никаких тебе «Ты меня уважаешь?», и бродит себе унылый, пожилой, неторопливый полицейский в серенькой рубашке, и никаких тебе дружинников. Скучно...

Когда я возвращаюсь к себе домой по узкой, прямой Кайе Кристина бахо, опять же, наш юг. Сидят на ступеньках, на ящиках, на складных стульчиках, провожают тебя взглядом. Орет ребяшня. Женщины судачат, мужчины возятся со своими машинами. Сквозь открытые широкие двери или ворота видна домашняя утварь, столы, шкафы, а в глубине легковушка SEAT (испанский ФИАТ) — в свое время, возможно, топтались мулы... А сейчас SEAT. В этом здешняя нищета — нет гаража.

Это Вендрей — соседний городок, два километра от нашего Сан-Виценте. Городок ни так, ни сяк, тысяч на десять жителей, достопримечательностей никаких. Улочки узенькие, машинам проехать трудно, в двух местах — регулировщики. Магазины, лавочки, и при

всей заштатности Вендрея, в них все то же, что и в Барселоне, ну, выбор поменьше. Впрочем, вру. Есть там мебельный магазин «Мирза». Двухэтажный. Возможно, в Париже я не заходил в мебельные магазины — но такого количества спален, столовых, гостиных, кабинетов, детских комнат, кухонь я не видел нигде — модерн, ампи́р, Луи Каторз, Сез, тяжелая испанская мебель, ажурная садовая, а письменные столы большие и маленькие, с ящичками внизу и сверху, сядь за него, «Войну и мир» напишешь. А перед ними кресла — кожаные, вращающиеся, с покатыми спинками, мягкие, уютные, именно те самые, что в детстве я представлял себе как президентское кресло.

Есть в Вендрее и банки. В Киеве один, государственный, а тут и Банко де Сантандер, и Банко Каталано, и Банко Меркантиль (!) де Таррагона, и еще три или четыре, не менее звучных.

В центре города катедраль какого-то там века. Рядом рынок, даже крытый. Ну и главная, если не единственная, достопримечательность города — дом, замок, дворец нашего Фенозы. Самый что ни на есть XIII-го века. С башней, галереями, террасами, порталом, с бойницами и даже с собственной химерой (вторая отвалилась), той самой, что на всех готических и романских соборах Европы, с открытым ртом, изрыгает дождь. Каменной стеной обнесен сад, гордость нашей Николь — все там цветет, распускается и вьется по стенам. И громадная, на всю высоту дома, замка, дворца, пальма. Толстая, ветвистая, если так можно сказать о пальме, вероятно, моя ровесница. А внутри... Ну, тут уж и слов нет. Вещей... И все старинных, настоящих, никаких подделок...

Странное дело, этого, вероятно, надо стыдиться, но я как-то не очень преклоняюсь перед стариной, раритетами. Купил себе в Таррагоне старинный, как я решил, герб Барселоны. Деревянный, тяжелый, по диагонали — два красных креста, по другой — каталонские полосы, сверху — корона, и вид у него древний, пошарпанный. Должно быть, над какими-то воротами, над въездом висел. Меня подняли на смех — да это же для туристов, подделка. Ну и чёрт с ним, сказал я, зато хорошая. И продолжаю покупать похожие на обрезы пистолеты XV века, сделанные полгода тому назад в каком-нибудь толедском Главпистолетпроме, и кинжалы, и статуэтки Георгия Победоносца, убивающего какую-то корову, и все равно мне нравится, и дома буду говорить, что достал это по случаю, у старика в лавке древностей на кайе Кабалеро, в Таррагоне.

Не помню, кто из моих друзей сказал как-то очень верно, разглядывая фотографии в «Пари-матч». Там изображена была вдова кого-то из великих — то ли Сезанна, то ли Дерена, то ли Марке — стоит старушка над костром, а в пламени пылают подделки ее мужа. Причем, как в статье было сказано, с великим трудом удалось доказать, что это не оригиналы. И друг мой сказал: «А может, это сжигают произведения другого великого художника. Подделать Дерена,

может, и не легко, но подделывают и Рембрандта и Леонардо да Винчи, да так, что всякие нью-йоркские метрополитены покупают. Это тебе не Ларионов какой-нибудь, это уметь надо...»

Вот я и доволен вполне своим барселонским гербом... Появится у меня когда-нибудь камин — повешу над камином.

*
*
*

Но ладно... Фиесты фиестами, но не пора ли нам, наконец, обратиться к тому, из-за чего я, собственно, и приехал в Испанию. К тому, о чем мечталось с детства и известно было только по картинкам, Хемингуэю и опере «Кармен» — «Тор-реа-дор, сме-е-лей в бой...»

О, эта «Кармен»! Одно из первых, надолго запомнившихся жизненных огорчений. Родители купили абонемент в оперу. Мне тогда было лет десять. Очевидно, считалось, что так лучше всего приучать к прекрасному. Там, в четырнадцатом ряду галерки, за мной было еще только два ряда, я впервые познакомился с «Евгением Онегиным» (ох, если б только не это письмо Татьяны...), «Пиковой дамой», «Демоном». Там же впервые в жизни свела меня судьба и с тореадором. В «Кармен». О, это было ужасно. Очень толстый, на тонких ножках, с трясущимися щеками и неуверенно семенящими ногами, когда, наконец, кончив петь, вроде бежит дразнить и убивать быка — он был мне ненавистен. И потому, что был толст, и слишком долго пел, но главное, потому что самого интересного так и не показали. Где же бой быков? Где? Вон там, в глубине? Я вижу только спины зрителей, слышу, как они кричат, и там, вообще, самое главное, захватывающее, а я обречен слушать все эти «О, Кармен!» Я чуть не плакал. И, может быть, даже радовался смерти этой идиотки, сменившей более или менее сносного Хосе на жирного, противного тореадора, которого не то что бык, курица с ног свалила бы...

Думаю, что именно с «Кармен», с этого так и не увиденного — по усам текло, а в рот не попало — боя быков все и началось. И желание самому стать тореадором, и вполне искреннее признание тов. Маланчуку в своей заветной мечте.

И вот, на 66-м году жизни эта мечта осуществилась.

PLAZA DE TOROS DE TARRAGONA

Domingo 18 de julio de 1976

GRANDIOZA CORRIDA DE TOROS

6 Hermosos y bravos toros 6

Я стою в очереди за билетами. Уже приятно. По совету, данному тут же, в очереди, беру в тени, *sombre*, за 700 пезет. Это не так уж мало. На эти деньги можно купить две прекрасные, черные анда-

лузские мантильи и на всю жизнь осчастливить кого-нибудь из москвичек или киевлянок. Но сейчас я эгоист — хочу приличное место. И еще программку за 100 пезет. Даже две — одну пошло в Киев, развесело друга. Там все написано, что к чему и после чего, и название всех приемов, и масса цветных фотографий. Портреты самых знаменитых тореро за последние сто пятьдесят лет. Могу купить или, возможно, взять напрокат кожаную подушечку (тоже 100 пезет), если побаиваюсь радикулита, скамейки здесь каменные, и, в случае плохой работы тореадора, могу швырнуть ее в знак осуждения на арену. Но я обхожусь без нее, все три часа сижу на камне, не замечая этого. Место у меня хорошее, под президентской ложей, украшенной желто-красным ковром. Там трое судей — президент, платочком дающий сигналы, старый заслуженный матадор и ветеринар. Немолодые и вроде как скучающие.

Ровно в шесть тридцать (в программке сказано, что только здесь испанцы бывают точны) открываются ворота и под звуки «pasodobles» появляются участники зрелища, равного которому нет в мире...

Ох, не загнул ли ты, брат?

Нет, не загнул.

Мои дамы на корриду не пошли — не любят убийства, не любят крови. Я пошел, хотя к убийству и крови отношусь, вероятно, так же, как и они. Потом, после корриды, они утверждали, что вид у меня был разочарованный. Нет, это не совсем точно. Я был не разочарован, я был огорчен. Огорчен самим собой. Огорчен тем, что, как выяснилось, мне совсем не жалко быка.

Поединок, в конечном счете, безусловно не равный. Бык и больше, и сильнее, и злее, и удар его рога смертелен, но он, да простят мне столь категорическое утверждение, просто глуп. И гибнет от собственной глупости, а не только потому, что его загоняли. Из шести быков, участвовавших в корриде, ни один в поединке с матадором не бросался на него, только на мулету, кроваво-красную мулету, развевающуюся то справа, то слева от его морды. Матадора он будто и не видел.

А матадор все время на краю гибели. Это то самое лезвие ножа, которому уподобляют все отчаянно смелое. Вот главное, вот существо того, что делает корриду зрелищем, ни с чем не сравнимым.

Второе, и тоже главное, — изящество, с которым это хождение по лезвию осуществляется. Во всех деталях отработанный, отшлифованный, доведенный до совершенства танец. Свои пируэты, антраша, адажио, фуэте, за которыми знатоки следят и не прощают ошибок, как не прощают танцовщику, будь он самим Нижинским. Только там это — количество пируэтов, высота прыжка, а здесь — количество сантиметров от рога быка и степень величавого спокойствия, с которым тореро, после очередной вероники, отходит, не оборачиваясь, от разъяренного быка. И то, и то — искусство. Ис-

кусство движения, искусство поз, но рядом с быком — еще и преодоление страха.

В-третьих — это веками освященная традиция, классика, не допускающая отклонений. Ни в чем. Наряд, косичка-колета, распорядок, условность, минуты. В корриде немислим модерн, поиски нового, кажется, только легендарному Манолетто разрешено было ввести новую «Lancio», новую позицию, пируэт, носящий сейчас его имя: «манолетинас». А знаменитейшего из знаменитых, ныне здравствующего Эль-Кордобеса, говорят, знатоки осуждают. Он в своем бесстрашии, в немислимом риске отодвигает танец на второй план, и это считается безвкусным, не прощается, хотя публика ревет от восторга.

Все вместе, переплетаясь — традиции, танец, игра со смертью и сама смерть — именуется «тавромахией». Ей посвящено много книг (мне они пока в руки не попались, на книжных полках таррагонских магазинов их нет) и дань ей отдали и Гойя, и Пикассо.

И все же второй раз на корриду я не пошел. Первый раз толкнуло любопытство и долг, второй же раз надо, чтобы рядом с тобой сидел знаток, говорящий тебе: вот это «chicuelina», это «revolega», а это «suerte», и Антонио Ордонес в 1932 году делал это вот так, а за десять лет до него знаменитый Пепе Луис Васкез иначе, вот так. Кроме того, надо кого-то хватать за колено, когда вместе со всеми зрителями захочется тебе немного понеистовствовать.

Так что же все-таки коррида, кроме красоты, традиции и крови? Не имея права и возможности разобраться в тонкостях тавромахии, расскажу о том, что я видел и что вычитал в программке.

Коррида не только развлечение, но занятие вполне серьезное и требующее к себе серьезного отношения. До начала корриды проверяется вес, общее состояние как быка, так и его соперников. В случае какого-либо отклонения участники от боя отстраняются. После боя, как правило, специальная комиссия еще раз проверяет, не были ли у быка подпилены рога, и если появляются сомнения, рога отправляются для окончательной проверки в «Dirección General de Seguridad» — дирекцию безопасности (какое-то, очевидно, ихнее корридское КГБ).

В корриде участвуют обычно шесть или семь быков. В моей было шесть, выращенных и вскормленных в «Aereditada ganadería de cos Sres» некого Hermanos Sanches Arjona в городе Родриго (Саламанка) con divisa verde i plata. Señal: orejisana — с девизом зеленое и серебро, пароль: окровавленное ухо. Девиз — это ленточки определенного цвета, прикрепленные к загривку быка. Что такое пароль, никто из моих каталонских друзей, корридой не увлекающихся, объяснить не смог. Кто-то предположил, что это телеграфный адрес. Возможно.

Итак, быки.

Черные, коротконогие, на расстоянии кажутся маленькими, и рога у них растут как-то врозь, сбоку, с загнутыми вперед концами. Выбегают очень ретиво и гоняются по всей арене за дразнящими их желто-розовыми «капо» тореро. Те подразнят — и за загородку. Бык бодает загородку. Потом среди тореро выделяется один. Тут-то и начинается балет. Тореро разными «Lancio» (фигурами) проверяет, испытывает быка. Потом после очередного взмаха белым платком из президентской ложи (а их четыре: белый, зеленый, красный и голубой и каждый означает свое, осуждает или одобряет матадора) в дело вступают пикадоры. Это единственное унылое действие во всей «Lidia» (бой с данным быком). Неторопливые лошади, одетые в предохранительные нагрудники, и какие-то неповоротливые на них пикадоры подвергаются нападению быка — он упирается рогами, вернее лбом, в бок лошади, а пикадор в это время тычет в спину быка копьем. К счастью, это длится недолго. Пикадоров сменяют бандерильерос. Ловко воткнутые в спину быка три пары бандерилий еще больше раздражают и ожесточают его. Из загривка его текут потоки крови, и он становится особенно свиреп.

И тут-то начинается главное — «suerte de matar» — подготовка быка к смерти. До этого происходит краткое, но эффектное посвящение или предложение в дар быка («brindis») тореадором «даме сердца», другу, какой-нибудь уважаемой персоне (ей вручается на время боя «montera», шапка матадора), а если таковых нет, бык дарится всем зрителям, и после соответствующих поклонов матадор бросает «montera» на песок.

И начинается поединок. Вот здесь вспыхивает фейерверк всех «Lancio». Делаются они внешне спокойно, хотя и быстро, иногда молниеносно — мулета то в правой, то в левой руке — и завершаются той самой торжественно-павлиньей походкой, причем стан самого тореро как-то по-особенному изгибается слегка животом вперед, плечи назад. По-видимому, очень большое значение имеет положение ног. Нет никаких прыжков, только шаги, и в паузах ноги в розовых чулках плотно сжаты, колено к колену.

Наконец, наступает последний этап «La estocada de muerte» — смертельный удар шпаги («estoque»). Бык и тореро друг перед другом. Движениями мулеты у земли тореро пытается опустить голову быка. Потом нацеливается и, сделав очень красивый на этот раз петушиний шаг левой ногой, вонзает шпагу в «cruz» (крест), в самую высокую точку спины быка. Редко с одного удара удается его убить. Бык шатается, но не падает. Тогда наносится ему удар другой шпагой «descabello», у нее на кончике маленькая перекладина и удар наносится в затылок. Один из быков рухнул только после четвертого удара. Если вся эта процедура затягивается, президент зеленым платочком делает первое предупреждение («aviso»), через три минуты — второе и еще через две минуты — третье. Если к

этому времени матадор не справляется с быком, его освистывают, а убитый в конце концов бык за стойкость свою удостоивается (голубой платочек) посмертного круга почета. Все встают. Под гром аплодисментов поверженного быка влекут вокруг арены разнаряженные мулы. В случае удачи матадора круг почета совершает он. В случае особой удачи — зрители машут платочками, обернувшись к президентской ложе, — просят наградить тореро ухом быка, или двумя, или высшей наградой — хвостом. Неподкачавших любимцев иной раз на руках носят по улице и доставляют домой.

На моей корриде ушей и хвоста удостоился «Rejoneador» Анхель Перальта, тореро-всадник. Всю «Lidia» он провел так безупречно, и лошади его, а он сменил трех, были так прекрасны, так горячи и тонконоги, и сам он, не очень уже молодой, в своей черной, с широкими плоскими полями шляпе, был так красив, стремителен и изящен, что будь я помоложе и поиспанистее, сам бы понес его на руках домой.

Девять часов. Коррида окончена. Прощальные аккорды «pasodobles», и слегка усталый от напряжения и почти трехчасового сидения с вытянутой шеей, я прыгаю через каменные лавки по направлению к выходу. И очень жалко, что не умею по-каталонски — зрители в общем-то довольны, но так хочется услышать мнение знатоков, разобраться в деталях этого кровавого, благородно-жестокоего зрелища...

Кто-то когда-то рассказывал мне, что будто бы знаменитый тореро Луис Мигель Домингин, ушедший на покой и женившийся на знаменитой киноактрисе Лючии Бозе, предложил советским властям, в порядке, так сказать, культурного обмена, устроить «гастроли» боя быков в Москве. По каким-то там причинам высокие договаривающиеся стороны не сторговались и москвичи лишены были удовольствия покричать «олле!» и «торро!» где-нибудь на стадионе «Динамо».

В перерыве между «Lidia» я на минуту представил себе, что было бы, если б в Испании, после гражданской войны, воцарился коммунизм. Правда, в свое время, Хосе Диас, генсек испанской компартии, в ответ на вопрос Эренбурга, сказал, что корриду, как зрелище жестокое, придется отменить, но на последнюю корриду он пойдет, а потом всю ночь проплачет... Думаю, что его план запрета осуществить было бы невозможно, испанцы не допустили бы. И тут-то я представил себе «тавромахию» в советских условиях. «Куадрилью» надо было бы укреплять коммунистами. И избиралась бы партиячка. И секретарь ее, кто-нибудь из «мурийерос», погонщиков мулов. И проводились бы партсобрания, соцсоревнования, тореро бы призывались еще выше держать мулету и был бы план по забоям быков и, возможно, введено звание заслуженного деятеля тауромахии... Но тут выбежал бык и рассуждения мои прекратил.

Мои дамы не пошли на корриду. Я сидел один. Они против крови и смерти. А я? Когда-то я даже написал рассказ об истреблении котиков. Я видел это на Камчатке, на Командорских островах. Я был подавлен этим зрелищем массового убийства. Кровь текла буквально потоками, стояла озерами. И в этой крови копошились молодые ребята, участники избиения. А их командир, лихой красавец алеут учил их к тому же, когда свежевали неостывшие туши — «Не бойся, глубже, глубже, вырывай сердце к чёрту!» (Сердца вырывались, чтобы варить из них потом суп.) И ребята, робко, но вырывали...

Это было непостижимо страшное зрелище. Четырнадцати-пятнадцатилетние ребята воспитывались, росли на крови. Она с детства входила в их жизнь...

А здесь уши и хвосты... Намного ли лучше?

Я совсем не знаю испанцев, встретился с ними впервые. Мне кажутся они скорее добрыми, чем злыми. И не думаю, чтоб они были жесточе и кровожаднее других народов. А вот смотрят корриду, и любят ее, и носят матadora на руках...

*
*
*

Барселона... Таррагона... Для моего русского уха эти названия так же заманчивы, как и коррида.

Гулял я по этим городам, глазел по сторонам, но писать о них не буду. Во-первых... Нет, давайте без «во-первых». Просто мне кажется, я несколько утомил уже читателя испанскими своими рассказами — надо и честь знать! — когда-нибудь, в другом месте, к случаю, по поводу расскажу и о них (а они стоят того), но не сказать несколько слов о Sagrada Familia все же не могу.

Sagrada Familia — Святое Семейство — это собор. В Барселоне. (До сих пор не могу сообразить, как надо писать иностранные слова и названия — латинскими буквами, русскими или в переводе. Писать ли Concorde, Конкорд или площадь Согласия? Rue Cherche-Midi, Шерш-Миди или улица Иши-Полдень? А Елисейские поля — Шан з'Элизе, что ли? Что-то вроде нашего детского «Жан тэля пасэ, Мари лён трэ»... Так и не разобравшись, буду писать, как Бог на душу положит.)

Итак, Sagrada Familia, Саграда Фамилия... Я уже о ней и о ее авторе, Антонио Гауди, писал. В «Записках зеваки». Не издавши ее. Теперь увидел.

Модерн. К тому же каталонский. Его в студенческие мои годы мы не знали. Так же, как и самого Гауди и его собор. Нас этому не учили. Модерн же — елисейских магазинов, рябушинских особняков и сандуновских бань — презирали. Антихудожественно и, главное, антиконструктивно. Второе было равносильно смертному приговору.

Последний признаваемый стиль был ампир — павловский, александровский, николаевский. Потом пошла эклектика и модерн. Стиль зубных врачей, бёклиновский «Остров мертвых», Штук, «Грезы Бетховена», по-французски «искусство пожарных», arts des pompiers. А все вместе La belle époque — Прекрасная эпоха, начало века. По-нашему же, годы реакции, упадок, декаданс.

А теперь?

Как-то, гуляя с приятельницей в парке у Конк., виноват, Concorde, там, где начинаются Шанз., простите, Елисейские поля, мы разглядывали экспонаты выставки молодых скульпторов. Здесь, на открытом воздухе, на аллее не более и не менее как Марселя Пруста, ежегодно, обычно в мае, молодежь выставляет свои произведения. В основном из проволоки, жести, клёпанных угольников, что-то иногда раскачивается, вращается, иногда ставит в тупик, когда мусорную корзинку ты принимаешь тоже за скульптуру. И вот пройдя мимо одной из таких скульптур — в траве было вбито много колышков и между ними натянута проволока (на военном языке это называлось МЗП — малозаметное препятствие, а здесь даже фамилия автора была... Микельанжелли!), мы вышли к некоему павильончику, так себе павильончик девятисотых годов, тот самый модерн с волнистыми карнизами, овальными окнами, растениями и листьями на фасадах. Остановились мы перед ним и переглянулись: «А? Ей-Богу, как-то милее сердцу...»

Всегда хочется что-то с чем-то сравнивать. Дворцы с дворцами, соборы с соборами. И тех и других я за свою жизнь видал много. В соборах отдаю предпочтение готике. Видал самые великие творения ее. Нотр-Дам, Шартрский собор, Реймский, Миланский, Св. Стефана в Вене, Вестминстерское аббатство... И вот рядом с ними модерн... Не святотатство ли?

Подходя к собору, я немного даже волновался...

Самое сложное в этой встрече это то, что у собора нет внутреннейности. Есть только фасад. Остальное — стройка. С 1884 года, когда он был начат, до сегодняшнего дня. Девяносто два года!

Собор окружен заборами, над ним — кран. Внутри строительная площадка. Закончен только один, восточный фасад — La Fachada del Nacimiento. Вчерне выведен и западный — La Fachada de la Racion, уже после смерти Гауди. Третий — de la Gloria, южный, еще не начат. Как обещают путеводители, к 1982 году, когда в Барселоне должна открыться Всемирная выставка, два фасада должны быть закончены.

Обогнув заборы, выходим (нас было двое) к фасаду Nacimiento*.

* Nacimiento, по-французски Nativité — рождение, в данном случае Рождество Христово. Чтоб проверить себя, я посмотрел в свой карманный словарь, Рождества там не оказалось, даже Noël, праздника. Ну, понятно, словарь маленький, в нем только очень необходимые слова. Такими словами оказались: партбилет, партбюро, партийность, партия, парторг, парторганизация, партсъезд...

Останавливаемся. Задираем головы. Смотрим. Первое, что поражает — непохожесть ни на что. На орган, может быть? Возможно. На флейту, например. Четыре испанских флейты. Если не впервые (готика), особенно близко ощущаешь близость музыки и архитектуры. И еще это похоже на то, что лепят дети из песка на пляже — замки, дворцы, гроты, сталактито-сталагмитовые шедевры из мокрого, сползающего песка...

От готики — стрельчатость портала, круглое окно-роза, скульптуры (даже не для готики, слишком, пожалуй, реалистические) и все это тонет в мокром песке, расцветающем неожиданно цветами, растениями. Все течет, плывет... И вдруг из песка этого вырастает кипарис, а по сторонам от него тянутся к небу органные трубы, или флейты, четыре веретена, четыре кукурузных початка. И завершаются они чистейшей воды абстракцией, четырьмя вроде бы крестами, цветными, в керамике. И это нечто новое, внизу этого нет. А стены, слева и справа, — сказочные замки, иллюстрации Дорэ!

Когда я вторично ездил в Барселону, уже знакомый с Саграда Фамилия, я увидел в окно поезда нечто весьма любопытное. Мы проезжали мимо громадного, самого крупного в Испании, а может и в Европе, цементного завода. И что-то в окружающем пейзаже, в домах, в железобетонных будках, баллюстрадах, вокзальном здании напомнило мне знаменитый собор. Что? А тот самый мокрый, сползающий песок. Только это был не песок, а цемент. Осевшая на карнизах и выступах цементная пыль от дождей поплыла и застыла. Особенно эффектно на скалах, сквозь которые пробита железная дорога... И я невольно подумал — не отсюда ли?

В свое время я уже писал, что, возможно, для того, чтобы все увидеть, нужен бинокль. И не ошибся. Многие туристы запаслись ими и разглядывают фасад, как картины Брейгелей или Босха. Ах, вот еще что-то странное ползет, вот еще один человечек... Разглядывают, пытаются разобрать надписи — на фасаде их много, не совсем понятно, для чего. Sanctus, Sanctus, Sanctus, то тут, то там разбросано по башням. И что-то совсем уже трудно читаемое, по вертикали, сверху вниз, вроде exorcium... Оно как орнамент, но это слово, возможно, молитва.

Слова, многословие... В буквальном и переносном смысле. Не вредит ли это искусству? Нужны ли все эти скульптуры, сцены из жизни Христа, святые, ангелы, трубящие в трубы в сооружении, которое само по себе скульптура? А может, не стоит задавать этого вопроса? Когда стоишь перед барочными, пышными, в золоте алтарями испанских соборов, где все вьется, переплетается, блестит и сияет, ты не задаешь себе этого вопроса. Давайте и тут не задавать. Зодчество не литература, обойдемся без редактора...

Саграда Фамилия — лебединая, недопетая песня. По всему миру разлетелась. Книжки, альбомы, открытки, фильмы, миллионы туристов. Саграда Фамилия? Ах, это Гауди... Гауди? Это тот, что

Саграда Фамилия? И только до нас эта песня не долетела... Шесть лет проучился я в институте, на архитектурном факультете, и слыхом не слыхивал. И это через десять лет после смерти самого Гауди... Саграда Фамилия, Каса Мила, Каса Баттло, парк Гюэль — нет, не слыхали, не знаем... Точно так же, как много лет спустя (в середине пятидесятых годов) мы недоуменно пожимали плечами и переглядывались, когда Альберто Моравиа спросил нас, четырех советских писателей (из них трое — лауреаты Сталинской премии), какого мы мнения о Кафке... О чем? — спросили мы. — О Кафке? А что это такое? ЧТО?

Это к вопросу о герметичности.

*
*
*

Я возвращался поздно вечером из Вендрей домой. (Может, именно так и надо начать повествование?) Светила луна. Справа и слева за длинными, совсем как в Крыму, из дикого камня оградами, тянулись виноградники, кое-где кукуруза. Впереди на своем скалистом холме чуть светился огнями Сан-Виценте. Было очень тихо. Тоже как в Крыму. Со стороны моря доносился равномерный, усливающийся перестук колес. Последний поезд из Барселоны...

Только что за ужином у Фенозы, на громадной (XIII, XIV или XV века) крытой террасе, где всегда прохладно, даже в жгучий полдень, за стаканом некрепкого, кислого, местного вина шел нетопливый разговор об Испании.

Сегодня в газете был опубликован указ короля об амнистии политзаключенным. Все этому радовались, говорили хорошее о короле, хотя фотографии в журналах изображали несколько дубоватого, не улыбающегося, атлетического склада молодца. Ну, что ж, бывает, внешность обманчива. А в общем, разве короли в наше время решают. Скептический, многое перевидевший на своем веку Феноза мрачно высказался о том, что освободить-то освободили, но надолго ли... Заговорили об амнистии вообще. О том, что всего-то в Испании в наследство от каудильо осталось шестьсот с чем-то политических. А в России...

Потом перешли к гражданской войне, которой все мы жили, начиная с 1936 года. До сих пор сохранились в памяти все эти названия — Университетский городок, дом Веласкеза, Карабанчель альто, Карабанчель бахо, речка Мансанарес, Гвадалахара, Герника, Альказар... Я даже когда-то играл в пьесе под таким названием. Франкистского офицера. Рисовал жженой пробкой усики. В антрактах мы сидели в расстегнутых серых мундирах на ступеньках артистического входа и обсуждали действительное положение вещей на далеких фронтах. С пьесой что-то не совпадало. Вскоре мы прочитали в газетах — мы гастролировали тогда в Днепропетровске и помню, что прочел я это в газете на стенке возле театра — об

аресте Тухачевского, Якира и других изменников... Поверить было трудно, но в святость нашего дела в Испании продолжали верить. Гады фашисты и героические защитники Мадрида.

Сам Феноза непосредственного участия в войне, кажется, не принимал, но сколько друзей потерял он на фронтах. И как было не погибнуть. Оружие, тайно доставляемое советской стороной, было устаревшее, ни к чёрту не годилось. Советские советники гнули свою линию, вносили раскол. С дисциплиной было плохо. Героизм тонул в бесхозяйственности и неразберихе, создаваемой все теми же советниками. Люди гибли ни за что.

Феноза рассказал случай с советскими танками, которые провалились в реку, никто толком управлять ими не умел. Стали под огнем противника их вытягивать. Почти всех перебило. А танки так и утонули...

Обо всем этом я думал, возвращаясь под звон цикад к себе домой.

Дома меня ждало письмо.

Кружным путем, через Ямайку, письмо из Москвы. От Нины Ивановны Буковской, матери Володи Буковского.

Ну, что тут можно сказать...

В Испании, вот, 636 политических заключенных. А у нас? У нас их вообще нет. Нет и все тут! Есть уголовники. Нарушители порядка. Демонстранты на Красной площади. Нарушили уличное движение. Были наказаны. Буковский отправил антисоветскую статью о психбольницах за границу — уголовное преступление. Получай! Двенадцать лет...

Мать во что-то еще верит, добивается, пишет президентам, их женам, людям доброй воли, всему человечеству. А Володя в камере, на хлебе и воде. 5 рублей 20 копеек на питание в месяц. По франку в день — чтоб понятнее было французам.

Я лежу на топчане, смотрю в потолок на старые балки своего полу-сарая, полу-дворца. На стенке развешены мои трофеи. Тот самый барселонский герб, кинжал, кремневый пистолет, железное распятие, сделанная под старину акварелька какого-то кораблика с надутыми парусами. Все это я купил в Таррагоне, шатаюсь по антикварным лавочкам. И модель парусника тоже купил, в подарок, мол, внуку. И черненького бычка с красными бандерильями в спине. И всамделишные бандерильи тоже. И соломенного ослика. И зажим-галку-катушку в виде головы быка.

Хожу я по таррагонским улочкам, захожу в собор, в эти самые антикварные лавочки. Роюсь, получаю от этого удовольствие. Опять брожу, взбираюсь на остатки римских стен. Иногда фотографирую, хочется послать в Москву, в Киев — вот, где я шатаюсь. И на пляже лежу, загораю, вроде и не думаю...

Нет, думаю...

Не то что мне стыдно. Мне стыдиться нечего. Я ни в чем не виноват, кроме того, что мне сейчас хорошо.

И сейчас, когда я пишу, мне тоже хорошо. Смотрю в окно. На свой птичий платан, на затянутый дымкой вдаль Сан-Сальвадор. Звенит бубенчиками ослик, что-то привезли в бар, к Лауре. Пастух в соломенной шляпе с полями и котомкой через плечо гонит стадо овец. До чего же покойно. До чего же покойно мне в этой Испании, той самой, которая...

Нет, мне стыдиться нечего. Я ничего дурного не сделал. И все же... Гложет, гложет, гложет...

Я не знаком с Володей Буковским. И мамы его не знаю. И в письме ее я ничего нового не узнал. Сидит парень. Голодает. Его гнут, а он не сгибается. Отказывается выполнять бессмысленную работу. Из другого письма, от его соседа по камере — он сейчас в Израиле — я узнал, что Володя угодил в карцер за то, что не захотел наносить какую-то резьбу на болты. Норма 60 болтов в смену. А рядом, в другом лагере, есть специальный станок, на котором за смену нарезывается 2000 болтов...

А мама пишет президентам, их женам...

Мне с детства внушали (кто? книги в основном), что сильный великодушен, или должен быть великодушным. Откуда это взяли? Где примеры? Из рыцарских времен? Чепуха! Давить, гнуть, душить в зародыше!

На Западе свои тюрьмы. И надо полагать, несколько отличающиеся от санаториев. И все же... В Швейцарии мне рассказали об одном довольно забавном, особенно для нашего советского слуха, случае. Молодого человека, студента, за какую-то там провинность (возможно, даже протестовал против государственного устройства) присудили к тюремному наказанию. И вот между ним и начальником тюрьмы произошел следующий диалог.

— Во вверенной моему попечению тюрьме тебе придется отбыть определенный срок. С какого числа тебе удобнее всего начать?

— У меня на носу экзамены, — отвечает преступник, — закончатся они 20-го. Так что лучше всего с 21-го.

— Двадцать первое суббота — подсчитывает в уме тюремщик — так что начнем с понедельника, с 23-го.

— Прекрасно.

— Затем... Ты, кажется, медик? Хотел ли бы ты работать санитаром или просто сидеть без дела?

— А сколько длится рабочий день санитары?

— Шесть часов, как везде.

— Тогда работать санитаром.

— Договорились. Только с одним условием. После работы ты можешь сходить домой. Но к 10-ти часам ты должен быть на месте. Распорядок у нас строгий.

— Обещаю. Я люблю точность.

— Тогда договорились. Итак, до понедельника. К восьми утра. Привет твоей матушке.

Возможно, рассказ этот несколько и приукрашен, но речь в нем идет все же о наказании. О лишении свободы, вернее об ограничении этой свободы. По понятиям современного цивилизованного человека, это очень серьезное наказание. По понятиям же другого, тоже современного, но несколько менее цивилизованного человека, это предрассудок, только тормозящий развитие общества, и употребляется это слово — свобода — только вместе с прилагательным «буржуазная» или еще иначе — «их свобода». К тому же, большинство у нас настолько отвыкло от этого состояния, что лишать его того, чего он практически и не знает, просто абсурд. Поэтому, если некто в чем-нибудь провинился (допустим, осуждал существующую государственную систему), его надо если и не бить смертным боем (времена прошли), то лишать писем, книг, свиданий, заставлять делать бессмысленную работу и кормить из расчета 5 руб. 20 копеек в месяц... Нет, не в белых перчатках мы делали революцию. Не в них мы и государством управлять будем...

*
*
*

Пейзаж сменился. Нет больше пальм и агав. Нет рядом Таррагоны. Рядом вообще ничего нет. Шумящий лес. Ели, сосны, сохнувшие, пожелтевшие от летней жары березки. Скалы. Гранит. Вдали озеро. На берегу его домик, обсаженный цветами. Еще несколько домиков, деревянных, беленьких, штук пять или шесть, разбросано по лесной чаще. Все это вместе называется Лисебу.

Мой домик тоже беленький, двухэтажный. И я один. В ста тридцати километрах отсюда, на северо-восток, Осло. Норвегия...

Сменился пейзаж...

Нет больше оливкодавилини, платана за окном. Вместо него корявая яблонька, а чуть дальше, на лужайке, три елочки. За ними дорога — изредка по ней стрекочет красный трактор с прицепом. За дорогой скалы. На них сосны, березки. Над ними сейчас облака, та самая жемчужная гряда... Конец августа. Тепло. Старожилы не припомнят.

Сменился пейзаж...

А мысли всё те же...

Нет, не в белых перчатках мы будем управлять государством...

По вечерам я иду на озеро, сажусь в лодку и лениво хлопаю веслами. Тень от облепивших озеро гор уже перекрыла его, только на моем берегу золотятся еще березы. Легкий, свежий ветерок. Озеро зарыбило. Лодку немного сносит к берегу. Я хлопаю веслами.

Когда-то на Днепре мы гоняли на длинных, узких, стремительных полутригерах. Очень важно было обогнать идущий рядом. И

мы неслись, поймав ритм, дыхание, мимо Труханова острова вниз к Цепному мосту...

В последний раз, уже не на полутригере (их сейчас нет, вместо них что-то другое), а на посудине попроще я совершил прощальную прогулку по Днепру (я не знал, что она прощальная, но так получилось) вместе со Славиком.

Он пришел как-то утром и сказал: «А не покататься ли нам на лодочке?» У него был определенный замысел, когда это он говорил, но пока умолчим об этом. День был теплый, солнечный, и мы на лодочке отправились куда-то вверх. Потом лежали на чистом песочке, нежились среди шелестящих ракушек...

Славик, это тот самый Семен Глузман, который сейчас в Пермском лагере. Уже пятый год... Там он познакомился, подружился с Володей Буковским. Там же вместе написали тот самый труд, инструкцию, как же себя вести здоровому человеку, если его укут в психушку. Написали и переправили за границу. Если не ошибаюсь, первым опубликовал их работу журнал «Suvay». Я был тогда в Англии, и меня попросили написать к нему нечто вроде предисловия. Так столкнула меня судьба опять со Славиком. С его новым произведением...

Как-то в Киеве, это было году в шестьдесят восьмом, получил я письмо от некоей незнакомой дамы. Ссылаясь на наших общих друзей, она попросила обратить внимание на одного милого юношу, с которым познакомилась, когда лежала в больнице. Он пишет, и ему нужен совет. Так вот, не мог бы я...

Я смог. Юноша пришел, принес рассказики. Тоненький, застенчивый, с очень интеллигентным лицом, ох, как бы не завел разговор о поэзии, Мандельштам — этого я боюсь. В противоположность многим настоящим писателям, я не очень люблю, когда мне приносят рассказики. А еще меньше, когда страниц 200-300. Это, конечно, нехорошо, надо быть внимательным, «делиться опытом, мастерством». Но я-то не умею делиться, у меня не получается. По слабости характера я не отказываюсь, рукопись беру, что-то обещаю, куда-то ее кладу, забываю, потом никак не могу найти, одним словом, получается чёрт знает что... Но эти рассказики я прочел. Ну, что ж, рассказики как рассказики. И вот именно об этом, что рассказики как рассказики, я и сказал Славику по дороге из больницы, куда я попросил его меня проводить, проведать лежавшего там моего друга.

С этого началось...

Он стал ко мне приходить. Нет, не в гости и не то чтоб по делу, а так: то принести маме лекарство, то он где-то проходил и увидел, что дают гречневую крупу, и он взял, то еще что-нибудь в этом роде. И как-то все сразу его полюбили. Был он мягок, деликатен, о поэзии не говорил. Потом стал приходить просто так, без дела. Стал принимать участие в вечерних чаепитиях, помогал маму под-

нимать (она была прикована тогда к постели), подвозить на кресле к столу.

И так постепенно, незаметно, превратился он вроде как в члена семьи. Он кончал тогда мединститут, был очень занят, но, пожалуй, не было дня, чтоб не заскочил. Иногда на секунду («не нужно ли чего Зинаиде Николаевне, я как раз в ту самую аптеку иду»), иногда отвести душу или включиться в мытье окон — делал он это очень быстро и ловко.

И только одно не давало нам сойтись полностью. Я пил, а он нет. И он очень огорчался, считая, что я этим несколько злоупотребляю. И друзей моих, злоупотреблявших вместе со мной, не очень-то долюблял. Одним словом, переживал...

Я ему сочувствовал, но, как говорится, ничем помочь не мог. Но один раз все же помог. Согласился, чтобы он применил ко мне объявившиеся у него вдруг гипнотические способности. Он работал тогда в Коростене и, по его словам, двух каких-то алкашей вроде вылечил.

— Ладно, давай... — сказал я и лег на диван.

Милый, милый Славик. Я до сих пор не могу без улыбки вспомнить твои те сеансы. Я ложился на диван, закрывал глаза. Ты подсаживался рядом и так мило, так трогательно, делал какие-то пассы надо мной, убеждал меня, что водка мне противна, что я не могу на нее смотреть.

До этого ты просил меня поднять руку. Я подымал. Держал сколько надо. «Теперь опустите...» Я опускал...

А дальше тихим, но очень внушительным голосом:

— Нет, я не хочу водки... Один запах ее, один вид бутылки мне отвратителен...

Я лежал с закрытыми глазами и молча не соглашался со Славиком. Нет, не отвратителен, совсем не отвратителен.

Так прошло три или четыре сеанса. А может, и пять. Как и почему они прекратились, не помню. Помню только, что долго не признавался ему в своем обмане, не хотелось его огорчать. Потом все же сказал. И огорчил. Очень даже...

Между прочим, та самая прогулка на лодке, прощальная, тоже входила в его программу. Свежий воздух, река, физические упражнения.

И вот опять все то же...

Могли ли мы с тобой, Славик, подумать тогда, лежа на песочке и перекидываясь какими-то не очень значительными мыслями, что пройдут годы (пять, шесть?) и я буду сидеть под твоим большим портретом в зале Мютюалите, в Париже, на митинге в защиту Плюща. На сцене, за президиумом висело три портрета — твой, Лёни Плюща и Володи Буковского.

Нет, об этом мы не думали тогда. Но очень скоро пришлось думать о другом.

Славик читал Самиздат. Ну кто его у нас сейчас не читает? Может быть, даже не только читал, а давал еще кому-то прочесть. Это-то чтение и распространение и фигурировало потом в приговоре, отмерявшем ему семь лет лагерей.

Прочесть приговор никому не пришлось. Его прочитали на суде и на руки не выдали, ни адвокату, ни родителям. А родители были так взволнованы (на чтение приговора их все-таки пустили, а так, нет, никого) и не всё расслышали, помнят только, что «за чтение и распространение» произведений Солженицына, какой-то речи или статьи Генриха Бёлля и пародии на роман Кочетова. Вот и всё. Судья Дышель, знаменитый в Киеве специалист по инакомыслящим, спокойно произнес: «Семь лет исправительно-трудовых лагерей строгого режима и три года ссылки»...

Мы, как у нас говорят, наивняки, пытались найти к нему, к этому Дышелю, какие-то пути. Жена моего друга и его жена где-то когда-то вместе работали. Встретились тайно. Речь шла об ознакомлении с делом Славика. Хотелось его прочесть собственными глазами. Дышелева жена поохала, поохала. Сказала, что сам Дышель очень переживает, жаль ему, мол, такого славного, такого интеллигентного мальчика, ночами не спит, но... Короче, дела мы так и не увидели, а Дышель, приняв, очевидно, перед завершением дела двойную дозу снотворного, спокойно (а может, и не спокойно, а волнуясь, трудно все-таки свой долг выполнять) объявил: семь лет! Не люблю поговорок, но эта очень уж подходящая — закон, что дышло, куда ткнул, туда и вышло.

Где-то в Париже у меня лежит то ли «Правда», то ли «Известия» с передовой, посвященной выборам народных судей. Красивая статья, ничего не скажешь, там и совесть, и долг, и принципиальность. Даже, по-моему, слово «скрупулезность» было.

Прочитав статью, я невольно вспомнил одно судебное заседание, на котором присутствовал. Дело было в космополитические годы, кажется, в пятьдесят втором году. Судили директора ВУОАП — Всеукраинского управления охраны авторских прав. Забавно, фамилия его тоже была Глузман. Немолодой уже, лет за 60, больной, несколько глуховатый и очень внимательный человек.

Рассказывают, что в годы войны в эвакуации он очень помогал писателям и их семьям. Сейчас, маленький, щупленький, очень аккуратный, в галстучке, он сидел на скамье подсудимых. Защищала его одна из лучших защитниц Киева Васютинская. Защищала блестяще. После ее речи мы все, присутствовавшие на процессе, пожимали друг другу руки. С фактами и документами в руках она сумела доказать, что если б он, Глузман, не сделал того, что он сделал и за что его судят, вот за то его надо было бы судить.

Суд ушел на совещание. У всех были счастливые лица, даже у подсудимого. Молодец Васютинская, молодец Софа — так все ее

звали, знающие ее. К тому же, говорили, что Глузману повезло — судья, говорят, весьма приличный человек.

Совещание длилось недолго. «Прошу встать. Суд идет». Суд пришел и объявил: семь лет!

Мы переглянулись, посмотрели на Васютинскую — она развела руками. С горя мы — я и Копыленко, он тоже был на суде — хороший писатель и приличнейший человек — пошли и напились...

Наутро я не выдержал и пошел к судье. Она сидела одна, немолдая, с недовольным, совсем не располагающим к беседе лицом.

— К вам можно?

— А что? — выражение лица еще более недовольное.

— Хотелось бы с вами побеседовать насчет вчерашнего.

— А что беседовать?

— Тем не менее, можно?

Разрешила.

Я сказал, что пришел к ней не как член Союза писателей, которому поручено было присутствовать на процессе (а было действительно так), а просто как человек, которому не совсем понятно, действительно ли Глузман, старый, больной человек, порядочность и честность которого были вчера так убедительно доказаны, настолько опасен, что его надо засадить на семь лет.

— Не засадить, а изолировать.

— Ну, изолировать. Неужели вы убеждены, что он действительно этого заслуживает?

Она посмотрела на меня долгим и каким-то испытующим взглядом. Потом встала, подошла к двери, приоткрыла ее, посмотрела, нет ли кого в соседней комнате, вернулась к себе.

— У вас есть кто-нибудь в ЦК?

— В ЦК партии?

— Да, в ЦК партии...

В ЦК партии у меня, увы, никого не было. Но был знакомый председатель областного суда. В свое время он помог в деле одного моего друга.

Она невесело улыбнулась.

— Бесплезно. Такие же говнюки, как и мы. Всё по телефонному звонку.

Глузман просидел недолго. Подпал под амнистию после смерти Сталина. Через год или два он умер.

А Васютинская? Умная, все понимающая Васютинская? Очень она мне была нужна, когда посадили другого, моего Глузмана. Нужна была не помощь, просто совет. А может, и помощь. Этого-то она и испугалась. Уловить ее оказалось невозможно. Ни днем, ни утром, ни поздно вечером.

Да, Софа, очень Вы огорчили меня тогда. Понимаю, Вы ничего не могли сделать, Вы были беспомощны, как все советские адвокаты. Но Вы могли, встретившись со мной где-нибудь на нейтральной

почве, ну где-нибудь в Царском саду, и взяв меня под руку, сказать... Ну, хотя бы то, что сказала мне видевшая меня в первый раз в жизни судьяха. Кто тянул ее за язык? Могла просто выставить меня за дверь. А вот не выставила, заговорило в ней что-то человеческое.

*
*
*

Славик читал Самиздат. Ему дали семь лет. Марику Райгородецкому, брату моего бывшего друга, молодому учителю, дали два за то, что обнаружили у него в портфеле «Мы» Замятина. Он зашел ко мне, не зная об этом, во время обыска.

Нельзя читать Самиздат, нельзя читать Замятина.

Самое нелепое, самое бессмысленное, что может придумать власть, оберегающая свою систему, свою идеологию, — это запретить читать. Нигде и никогда за всю историю человечества это не приводило к желаемому (властям!) результату. Читали, читают и будут читать! Всегда! И как бы за это ни карали.

Не знают, считают ли власти своей победой изгнание Солженицына, Синявского, Максимова, Ростроповича, людей, для которых родина не последнее понятие, возможно и мой отъезд отнесен в актив. Если это так, то они добились своего. Я уехал, потому что был лишен возможности читать. И писать, добавим. Но это уже дополнительно, чисто профессиональное. Получаешь государственную пенсию, можешь и не писать. Написал уже свое, хватит...

Что может быть унижительнее (для власти, не для нас!), когда ты вынужден читать, передавать из рук в руки мельчайшие фотокопии, нет, не антисоветчины даже, а, ну допустим, «Дальних берегов» Набокова — мне под величайшим секретом дали их почитать в Ленинграде — смотрите, не оставляйте в гостинице, носите с собой.

Что может быть унижительнее (для власти, не для нас!), когда у тебя с книжной полки забирают Анну Ахматову (ах да, там «Реквием»!), Марину Цветаеву (там же «Лебединый стан»!), Гумилева (он же расстрелян!), даже «Беседы преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым» (гм-гм... Не пристало писателю, да еще коммунисту, всяких там преподобных читать).

(Не знаю, может быть, унижительнее этого, и не только для властей, это когда ты идешь в уборную — свою собственную! — и тебе не разрешают закрыть дверь. Я как-то не нашелся, а жена моя, человек патологически вежливый, просто сказала: «Я не привыкла этим заниматься в обществе» — и захлопнула дверь.)

Совсем недавно я прочел в «Литературной газете», что в Уругвае запрещены такие-то и такие-то писатели, в том числе и Горький. Да чёрт с ним, в конце концов, с Уругваем, он далеко, а Россия близко. Попробуйте достать у нас «Несвоевременные мысли» Горького. Недозволенные, нечего читать!

Так вот, Славику хотелось читать и «Реквием», и «Лебединый

стан», и всякого рода другие недозволенные мысли. Но сел он не только за это. Это, так сказать, фасад, протокольно-приговорная сторона дела.

У нас не только нельзя читать, у нас нельзя дружить. Нельзя дружить с Плющом (а Славик с ним дружил), нельзя дружить со мной.

Думаю, что власти (а может, потом кому-то за это и досталось, лишь себя я надеждой) совсем не против были того, чтоб я убрался подобру-поздорову. И попытались создать вокруг меня вакуум. Славика и Марика посадили, Снегирёва — моего друга, писателя и режиссера — исключили из партии, прогнали с работы, кое-кого начали вызывать в КГБ. Неуютно стало друзьям.

Здесь я подошел (не в первый уже раз) к самому для меня горькому, самому обидному, самому тяжелому.

С М-ном (назовем его так) мы дружили со студенческих лет. Любили друг друга. И маму мою он любил. И я его семью, детей. И вот подошло время. Звонок.

— Вика?

— Я.

— Привет. Вот только что из длительной командировки вернулся. Решил позвонить тебе. Как жизнь?

— Да ничего. Собираюсь, вот, уезжать.

— Далеко?

— Как сказать, в Швейцарию.

Пауза. Длинная, длинная пауза.

— Ну, ладно, будь. Звони.

Звони? Больше я его не видел и не слышал... Жена его не держала и пришла. Она не произнесла ни одного слова. Только плакала. Стояла посреди нашей кухни и плакала. Я на всю жизнь запомнил ее лицо. Мокрое от слез. Потом мы молча обнялись... Не могу, но так хочется спросить: «Ну, а сын ваш, милый мой Бобка, неужели не спросил вас: папа... мама... Мы что, не пойдём провожать дядю Вику?» Не мог он этого не спросить. И вы сказали — «нет» или, в лучшем случае, «как знаешь... смотри сам». И он посмотрел и не пришел.

И это после сорока пяти лет дружбы.

Другой друг, тоже со студенческих лет, в противоположность М-ну, пришел прощаться. Он отсиadyа, поэтому не трус, а у него тоже подрастающее, вернее подросток поколение, мог бы сказать: «Я не за себя, я за сына...» Пришел, а на нем лица нет. «Знаешь, встретил я у тебя в Пассаже нашего А. (Все мы учились в одном институте.) Спрашивает: «Ты куда? Неужели к Вике?» — «Да, ведь он же уезжает». — «Ты ненормальный, просто ненормальный», — сказал он мне, и на этом мы расстались».

Тут тоже цифра сорок пять...

Можно было бы продолжить. Да не хочется. И вообще, я уже

повторяюсь... Но как трудно в некоторых случаях не повторяться.

И опять повторяю с великой настойчивостью повторяю, единственное, что удалось советской власти, в полном объеме удалось, это застрашать, запугать, этого у нее не отнимешь, И тем прекраснее те, кого не удалось запугать. Славик относится именно к ним.

Я много думаю о Славике. Очень много. Особенно когда мне хорошо. Когда плыву по тихому озеру в лодке, взбираюсь по тропинке на скалу, когда, как сейчас, сижу и смотрю в окно, на бегущие над соснами облака. А Славик?

Беру «Посев», листаю. «Хроника зоны 35».

16 - 21 сентября направили заявление Подгорному с угрозой отказать от советского гражданства следующие заключенные: Альтман, Глузман, Кивило, Шушник и другие.

30 сентября Глузман направил письмо академику Снежневскому по поводу содержания в лагере абсолютно невменяемого Бружаса. 1 октября в зону был вызван консультант-психиатр, впервые осмотревший Бружаса.

8 октября Глузмину объявлено, что его письмо академику Снежневскому не будет отправлено адресату, так как содержит сведения, не подлежащие разглашению.

10 октября выездной суд активировал Бружаса «по болезни» (таким образом, письмо Глузмана Снежневскому было конфисковано, чтобы избежать его официальной регистрации и успеть освободить Бружаса «без напоминания Глузмана»).

20 октября по рапорту Чайки наказан Глузман.

24 октября утром при освобождении Заграбяна из ШИЗО, состоялся такой диалог. Надзиратель Губарев: «Связался с жидами, будешь все время в ШИЗО валяться». — Заграбян: «Но ведь из евреев в зоне остался один Глузман». Губарев: «Вот именно с ним не связывайся, иначе будешь и 30 лет сидеть тут. Есть такие, сидят по 30 лет».

Вот так вот — наказан, конфисковано, не будет отправлено, не связывайся, 30 лет...

Тихий, милый, пописывающий рассказы Славик оказался человеком, которого в лагере начальство даже побаивается. Успеть освободить Бружаса без напоминаний Глузмана... Он протестует, объявляет голодовки, посылает свои исследования — не боюсь этого слова — за границу. Славик и на воле не был труслив, сейчас он стал дерзким, вовсе бесстрашным. Он стал примером. Он и Буковский. Друзья.

Я не знаю, как бы сложилась судьба Славика, не попали он в лагерь. Возможно, был бы неплохим психиатром (лучше, чем гипнотизером!), возможно, и рассказы его стали бы лучше, но стал ли бы он примером, «сделать жизнь с кого», не знаю. А сейчас знаю.

Владимир Борисович Александров — был такой замечательный человек, которому «В окопах Сталинграда» обязаны своим выходом

в свет, — сказал мне как-то полушутливо-полусерьезно: «Вам бы для того, чтобы вторую правдивую книгу написать, надо было бы попасть в лагерь». Я посчитал это неплохим комплиментом, но вряд ли такой ценой согласился бы обрести дополнительную славу.

А сейчас я скажу нечто, может, и кощунственное. И даже не полушутливо, а всерьез — жизненная ситуация (назовем это так), в которую попал Славик, — допросы, следствия, суд, лагерь, карцер — выковали из него бойца. Непреклонного и бескомпромиссного. И я горжусь тем, что могу считать себя его другом.

Один мой приятель, понюхавший фронтового пороха, но не очень, как-то сказал о Славике:

— Молодец парень, я б его в разведку взял!

А другой, более обожженный, спросил: «А ты сам в разведку ходил?» — «Ходил...» — соврал тот. «Нет, не ходил. Если б ходил, то знал бы, что самое важное в разведке — разведать, но в разведку не ходить. Начальство так и так поверит, а не верит, пусть идет проверит», — и добавил уже зло: «Давай лучше Славика спросим, кого б он в разведку взял».

В Киеве, на улице Артёма, живут родители Славика. Оба врачи. Милые, хорошие, запуганные. И он и она воевали. И награды имеют. И конечно же, кладут подушку на телефон, когда к ним заходишь (они не исключение, о нет), и показывают письма от Славика, и качают головой: «Он успокаивает нас, волнуется за наше здоровье, пишет, что ему хорошо, много на воздухе, читает книжки... Ведь он не может правду написать». Я, конечно, тоже успокаиваю, говорю, что сейчас не те времена, что доходит же до него «Книга-почтой». А они всё качают головой: «А что он этим хотел сказать? Вот почитайте». А он писал им маленькие рассказы, литературные этюды, в которых никакой задней мысли не было, просто зудила рука, хотелось писать.

Это было два года тому назад. Тогда он писал такие письма. Позже стал писать другие. Одно из них — письмо родителям — попало на Запад, было напечатано. Хорошее, серьезное, очень горькое.

Когда я уезжал и зашел к старикам — Фишелю Абрамовичу и Галине Петровне — я знал, что они мне скажут, и был готов к этому. Да, они просили меня не поднимать на Западе шума, знаете, лучше не привлекать внимания. Я не спорил и пытался, в который раз уже, убедить их, что как всё ни плохо, но сын у них замечательный и они должны гордиться им. Они кивали головами: «Да, да, мы гордимся им, но всё же...» — и утирали слезы.

*
*
*

На той самой улице Артёма, как раз против дома, где жил Славик, стоит особняк. Не ахти какой — у нынешнего моего соседа, норвежского китобоя на пенсии, может быть, даже и лучше — но по

тем временам, когда он был построен, более чем шикарный. Строился он для генерала Ватутина, но Ватутин погиб, и вселился в особняк Александр Евдокимович Корнейчук, первый комедиограф страны. Член ЦК КПСС и КП Украины, Председатель Верховного Совета СССР, Председатель Союза писателей Украины, заместитель Председателя Всемирного Совета Мира, в прошлом заместитель министра иностранных дел В. М. Молотова, лауреат Ленинской и многих (пяти, не меньше!) Сталинских премий и, конечно же, действительный член Академии наук...

Я позволяю себе задержать внимание читателя на этой фигуре, не только потому, что дома Славика и Корнейчука стоят визави, а потому, что вряд ли я встречался в жизни со столь диаметрально противоположными представителями рода человеческого. Может быть, существование одного из них искупает вину всё того же народа, именем которого очень любил жонглировать второй.

— Слушай, Виктор, — сказал мне как-то этот второй, в период, когда я был еще его заместителем по Союзу писателей (а было и такое!). — Ты ж совсем не знаешь жизни, не знаешь народа. Его дум, чаяний, свершений. Замкнулся в четырех стенах, а народ тем временем творит жизнь, шагает от подвига к подвигу. Оторвись-ка от своих писаний (он несколько идеализировал мое время-препровождение) и поедем-ка посмотрим, как живут, трудятся люди.

— Куда ж мы поедем? — поинтересовался я.

— К тем, у кого есть чему поучиться. К героям соцтруда. К Посмитному, к Олене Хобте...

Я живо представил себе картину нашего путешествия в длинном с белыми занавесками ЗИСе, все эти застоля, тосты и от поездки уклонился, хотя с познавательной точки зрения, может быть, это было бы даже интересно.

А об Олене Хобте, о которой я имел представление только по бесчисленным портретам и мраморным бюстам, украшавшим любую республиканскую или всесоюзную выставку, рассказывал мне потом мой друг. О ее встрече с коллективом театра им. Станиславского, в котором он работал. То самое общение с народом, с лучшими его представителями.

Явилась, значит, Олена Хобта, передовая из передовых колхозниц, вся грудь в орденах, как у маршала Жукова, поднялась на трибуну и стала говорить собравшимся артистам и режиссерам, чего от них ждет народ и как и что им надо играть, чтоб удовлетворить чаяния этого народа.

Михаил Михайлович Яншин, худрук театра, один из лучших и старейших актеров МХАТа, слушал, слушал, потом встал и сказал:

— Нам всем, здесь присутствующим, очень интересно и полезно было выслушать все замечания и пожелания, особенно в области режиссуры, высказанные здесь знатной нашей гостьей, Героем Со-

циалистического Труда товарищем Хобтой. Все мы, отдавшие свои силы театру и проработавшие, кто тридцать, кто сорок, а кто, как я например, и все пятьдесят лет, попытаемся в дальнейшей нашей работе выполнить все изложенные с этой трибуны с великим знанием дела весьма ценные указания, но, со своей стороны, хочется спросить нашу дорогую гостью, — и тут и без того высокий, пискливый голос Яншина дошел до своего верхнего предела: — А почему на базаре морковки нет? Простой морковки...

Что ответила Хобта и ответила ли она вообще на этот не из самых легких вопросов, не знаю, но когда на каком-то не очень трезвом писательском сборище я рассказал эту историю, один только Корнейчук даже не улыбнулся.

— Я прекрасно знаю Яншина, — сказал он, оглядев всех присутствующих, и все сразу перестали смеяться. — Чудовый актер (любимый его эпитет: «Чудові люди вашої шахти, вашого колгоспу...»), но народу він не знає і щось не бачив я його в наших сучасних советських п'есах... А не мішало би.

Я ничуть не удивился бы, если б после моего не очень уместного в данной компании рассказа уважаемый наш Александр Евдокимович не поведаль бы его с дополнительными комментариями кому-нибудь из выше его стоящих особ. Человек он был исключительно злопамятный и мстительный.

Я ощутил это на себе.

В 1949 году во время все той же очистительной кампании по борьбе с космополитизмом мне пришлось как-то сидеть рядом с ним в президиуме — я все еще был одним из десяти его замов. Полукруглый, как в парламенте (когда-то здесь заседала Центральна Рада), зал музея Ленина гудел от негодования и гнева. «Ганьба!», «Позор!» несло со всех сторон, а несчастные, уличенные во всех грехах «космополиты» один за одним подымались на трибуну и кто посмелее пытались оправдываться, кто потрусливее, то есть понормальнее, признавали всё, что надо — да, разлагали, и растлевали, и подкапывались, клеветали, играли на руку, лили воду на мельницу — и обещали исправиться, прислушаться, следовать, выполнять... И больно было смотреть на одного из главных «космополитов» Леонида Первомайского, как незадолго до этого на «буржуазных националистов» Максима Рыльского и Володимира Сосяру, когда они с поникшими головами сходили с трибуны и, словно сквозь строй шпицрутенов, шли по проходу и садились на свои места бледные, униженные, раздавленные.

А другие, зарабатывая этим дополнительные тиражи, поднимались на ту же трибуну и, обуреваемые справедливым гневом, разоблачали лакеев, прислужников, низкопоклонников и вконец зарвавшихся пигмеев, как окрещен был мой друг, Лёля Рабинович, художник, осмелившийся поднять в одной из своих статей руку на

великого русского художника Валентина Серова, утверждая, что в некоторых его портретах сказалось влияние модерна.

Итак, зал ревел и клочкотал. И вот тут-то, когда все члены президиума уже выступили, ко мне наклонился Корнейчук:

— Ну, что ж, слово даю тебе.

Я сказал, что выступать не буду.

— То есть как так не будешь? — Он даже удивился.

— Не буду выступать, — повторил я.

— Ладно, выйдем перекурим, — он встал. — Поголовуй тут замісь мене, — сказал он то ли Дмитерко, то ли Малышко, и мы вышли.

— Ты понимаешь, что как коммунист, член президиума и «заступник головы» ты не можешь не выступить. Это будет оценено соответствующим образом.

Он испытующе посмотрел на меня. Я молча курил...

— Ты можешь мне объяснить, почему не собираешься выступать? — в голосе его появились какие-то новые нотки.

По-видимому, надо было ответить, что именно как коммунист я и не могу выступить, — я тогда еще за что-то цеплялся, во что-то верил, — но я просто, ничего не объясняя, повторил, что выступать не буду.

— Как знаешь, — он ткнул папиросу в пепельницу. — Советую подумать. — И вышел.

Очевидно, именно с этого дня и начался мой «закат».

Многие потом говорили мне, что поступок мой безрассуден, что надо было подняться все ж на трибуну и что-то там провякать, не упоминая имен, что-нибудь про сплочение рядов, про ясность цели, за которую мы воевали, ну, и про обострение идеологической борьбы. Другие, наоборот, жали руки и говорили «молодец!», как будто я сделал что-то отчаянно смелое, а не просто промолчал, что тогда, к всеобщему нашему стыду, приравнивалось к бессмертным актам гражданской доблести. Страшное, позорное время!

Впрочем, многое ли изменилось с тех пор?

Как огорчился я, да и не только я, увидев, значительно уже позже, в 73-м году, под письмом, осуждающим Солженицына, подпись Василя Быкова, такого, казалось, честного, он-то уж, думалось, не подведет. Как не поверил я своим глазам, прочитав, что Алов с Наумовым, хорошие, честные режиссеры, которым и самим не всегда легко приходится, тоже осуждали клеветника и отщепенца. Боже, подумал я, как же, вероятно, их обрабатывали, как угрожали, как советовали «хорошенько подумать», прежде чем они дали свое согласие. И как же, бедненьким, сейчас им тяжело, не хочется никого видеть, лежат, небось, уткнувшись мордой в подушку... Нет, все оказалось еще страшнее. В тот же день, когда появилось письмо в газете, я увидел вечером в Доме кино, на каком-то про-

смотре, веселого, как всегда улыбающегося во весь рот Наумова. Он махал кому-то через весь зал рукой, и глаза его сияли. И никакой подушки, никаких слез... А я-то думал...

Корнейчука все боялись, заискивали перед ним, всё же личный друг Хрущева, бывал у Сталина (показывал мне личное письмо от него, кажется по поводу его пьесы «Фронт» — «ты погляди, собственной рукой написано...»), хотя и пытался со всеми держаться покровительственно, по-дружески, и на негритянских губах его всегда играла улыбка (кроме тех случаев, когда не играла, как, например, во время нашего перекура).

Не играла она и во время другой нашей встречи, где я явился уже просителем.

Был у меня друг, лихой разведчик нашего полка Ванька Фищенко. В Сталинграде мы не очень дружили — как-то я его застал лихо спящим в землянке артиллеристов вместо того, чтобы разведывать передний край, и на правах поверяющего отчитал его, — потом мы попали в один госпиталь, провалились рядышком в Баку четыре с лишним месяца и сдружились. По окончании войны он разыскал меня и решился взяться за ум — надумал учиться. Все мои друзья приняли в нем участие, но были сложности с пропиской, и как-то раз мой Ванька, отнюдь не трезвенник, с кем-то напился и исчез. Через сколько-то там времени пришло от него письмо ни больше ни меньше как с Южного Сахалина. Оказывается, завербовался на шахту, а сейчас понял, что поступил несколько опрометчиво, просил о помощи — открылись раны и вообще плохо.

К кому ж обратиться, как не к всеильному, на дружеской ноге со всеми, в том числе и с Засядькой, министром угольной промышленности, Корнейчуку. Я и обратился. Принят был на высшем уровне, с вермутом, который я впервые в жизни тогда попробовал, икрой и прочими деликатесами.

Я сразу же, после первой же рюмки, изложил свою просьбу. Он внимательно выслушал, старательно прожевал кровавый ростбиф, потом сказал:

— Слушай, Виктор, я думал, что ты действительно о чем-то серьезном просишь, а тут... Ну, посуди сам, как я могу просить о том, чтоб кого-то освободили от работы, будь он трижды твоим другом, когда именно таким, как он, сталинградцам, и нужно показывать пример другим. Молодой, здоровый, всё впереди.

— В том-то и дело, что не очень-то здоровый, — попытался объяснить я. — Дважды тяжело ранен, раны сейчас открылись...

— А кто в войну не был ранен, — прервал он меня, — все были ранены. Кто больше, кто меньше. Нет, не буду я никому звонить. Шахтерская профессия — прекрасная, почетная профессия, пусть с шахтой, с жизнью знакомится...

— Да он чуть со смертью не познакомился, хорошо врачи выходили. Теперь хочет учиться, семнадцати лет на фронт пошел.

— В Южно-Сахалинске, как везде, вечерние школы есть. Вот пускай и ходит туда.

Тут даже Ванда Василевская, его жена, заступилась за моего Ваньку.

— Сашко́, тебе же ничего не стоит. Возьми да позвони Засядьке.

Нет, Сашко́ был человек принципиальный, государственное для него было важнее личного: «Ты уж прости, Виктор, но по такому поводу я звонить не могу. Просто неловко»...

Я дожевал свой ростбиф или семгу, поблагодарил и ушел, второй кусок уже не лез в глотку.

Освободил Ваньку вовсе незнакомый мне Борис Горбатов. Московские друзья посоветовали позвонить ему — он, мол, не только друг, но и собутыльник Засядько — и через два дня секретарь Горбатова сообщил мне, что приказ об увольнении Фищенко министром подписан. Недели через полторы явился и сам Ванька.

Где он сейчас, не имею понятия. В свое время он с отличием закончил горный техникум, работал на Украине, затем в Сибири. В последний раз я его видел перед второй его поездкой в Сибирь. Выпил свою поллитровку между двумя поездками, в Киеве у него была пересадка. Хриплым с перепоя голосом рассказал несколько забавных историй из жизни своих друзей по прекрасной, почетной профессии, мои друзья, сидевшие на кухне, только рты пораззевали, чмокнул меня в губы и, обещав писать, скрылся надолго. И еще раз он появился в Киеве на моей квартире буквально на следующий день после того, как я навсегда ее покинул. Где он сейчас, не знаю.

В «В окопах Сталинграда» он, как принято говорить среди писателей, запечатлен в образе разведчика Чумака. В кинофильме «Солдаты» играл его Лёня Кмит. Ванька, издававший фильм, одобрил его и свое воплощение тоже, хотя и сыронизировал малость по поводу изображенных там разведчиков и разведки как таковой. При всем своем бесстрашии, а он действительно был не из трусливых, очертя голову на задания не ходил, людей своих любил и берег. Осуждать его за это никто не смел, авторитет у него был большой. Кроме того, у него всегда было что выпить и закусить, иной раз и шоколад, который как-то, минуя склад, попадал с левого берега, с тылов, прямо к нему в землянку.

Через год, кажется, после возвращения его с Сахалина судьба свела Ваньку за одним пиршественным столом с Вандой Василевской. Об эпизоде с ее мужем не упоминали, хотя она сразу же поняла, кто этот хитроглазый, со свернутым носом немолодой уже молодой человек в шелковой майке. Друг другу они, кажется, не очень понравились. А вот с Твардовским сошлись. Ванька хвалил Тёркина, и тому это нравилось — все-таки сталинградец и передовую, если не каждый день и даже не два, но облазил вдоль и поперек. Единственное, что не нравилось ему в нем, это то, что в едино-

борстве их — а это иногда случалось после определенной дозы — победа оставалась за юрким, ловким Ванькой, а не за массивным, косяя сажень в плечах, Трифоновичем. Маститый поэт наш был самолюбив и поражений не любил. Но о нем еще впереди. И о Ваньке тоже. А об уважаемом нашем Александре Евдокимовиче можно было бы много еще кое-чего рассказать, но не всё сразу, и так я уже утомил читателя деталями биографии академика, члена ЦК КПСС, Всемирного Совета Мира и прочая, и прочая, и прочая...

Когда его хоронили, я как раз сидел у следователя КГБ. Сидел и писал под его диктовку длинную фразу о ком-то, вышедшем из парадного в длинном черном пальто и серой шляпе... Это была графологическая экспертиза — меня подозревали в чем-то самиздатском и проверяли почерк. Над ухом из репродуктора неслись траурные мелодии Шопена и Грига. Закончив диктовать, следователь сказал:

— Хоронят товарища Корнейчука. Замечательный товарищ был. Коммунист, каких мало. — И сокрушенно помолчав, добавил: — Вам, вероятно, надо было бы проводить его в последний путь. Закончим тогда на сегодня.

Провожать в последний путь замечательного писателя и коммуниста, каких мало, я не пошел. Пошел домой.

Вот так вот, — думал я, обходя милицейские заграждения, все улицы были перекрыты, — Корнейчук, борец за мир, умер. Умер на передовой, как сказано было в некрологе, правда не о нем, а о Пабло Неруда. Тот погиб на передовой с оружием своей поэзии в руках, защищая передовое человечество. Так и Корнейчук отдал свою жизнь, крепко сжимая автомат своей драматургии в холодеющих руках. А ты, Славик, в тюрьме. Меня много расспрашивал следователь о тебе. Вроде бы и вскользь, попутно, но по глазам его я видел, что ты его, ох, как интересуешь.

И вот ты сидишь уже четыре года. А впереди еще три. И три года ссылки. И не легко тебе. Но знай, Славик, не было бы вас, не было бы тебя, Володи Буковского, Валентина Мороза, Эдика Кузнецова, Анатолия Марченко, Мустафы Джемилева, а скольких мы еще не знаем, — мы давно потеряли бы веру в народ. Потому что народ — это не Корнейчуки, во всех падежах клянущиеся его именем, не Софроновы и Чаковские, не сверкающие зубами с первых полос «Правды» Герои Соцтруда от забоя, трактора, коровы, а именно вы. И Сахаров, которого ждут не дождутся, когда ж его схватит, наконец, инфаркт, а еще лучше инсульт, и ребята, вышедшие на Красную площадь, чтоб крикнуть на весь мир: «Не верьте! Мы с вами, чехи!» — и получившие за это по зубам.

Вы за решеткой и вас, может быть, не так уж много на двести пятьдесят миллионов. Но вы есть! Вас наказывают, морят голодом, бросают в карцер, но вас боятся. Боятся, потому что вы оказались

сильнее. Сильнее духом. А трусливые всегда боятся сильных. И ей-Богу, стоит для этого жить, Славик!

Лидия Корнеевна Чуковская сказала, когда ее исключали из Союза писателей, — я знаю, мы, может, и не доживем, но будет время, когда в центре Москвы появятся проспект Сахарова и площадь Солженицына. А я добавлю: и улица Буковского. А в Симферополе — Мустафы Джемилева...

В Киеве же, — до этого ты, Славик, правда, не доживешь, это делается посмертно, — улица, на которой под охраной двух милиционеров жил лучший комедиограф страны, будет носить имя прекрасного мойщика окон и несостоявшегося гипнотизера — Семёна Глузмана.

*
*
*

Страна скал и озер... Так, кажется, была озаглавлена какая-то статья о Норвегии в старой, в сером переплете, с уютной картинкой, «Детской Энциклопедии». На западе и севере страны есть и высокие, снежные горы, и удивительной красоты водопады, но я живу в этой самой «скалы и озера».

Живу один. Совсем один. Ну, просто совсем один. Не с кем даже словом перемолвиться. Разве что с соседями, у которых беру молоко. Да и перемолвка эта больше условная — приношу бутылку, ее наполняют, я говорю «такк», первые дни говорил «мерси», но теперь знаю, что надо говорить «такк». Уходя, говорю «адё», по-норвежски, как по-французски.

И выяснилось, что жить в одиночестве очень приятно. Делай, что хочешь. Вставай, когда хочешь (именно поэтому я начал вставать в семь утра, чего раньше никогда не наблюдалось). Ешь, что хочешь. Никто тебе не говорит: «Ну, попробуй этого, очень вкусно, вот увидишь. Ну, кусочек, маленький... Вот упрямый какой». Никто мне этого не говорит, и я ем, что хочу. Впрочем, нет, я хочу парижского багета, длинного, хрустящего, снаружи золотистая корочка, внутри блаженство. Этого нет, а остальное все есть. Яйца, мясо, молоко, картошка, к чаю крекер, но главное, копченая макрель. Это уже сверхблаженство. Велено мне привезти ее в Париж в неограниченном количестве. И селедку. (Поправка к «Детской Энциклопедии» — страна скал, озер и селедки.)

Один...

И не в пещере, не в шалаше, а в домике с такими удобствами и такими излишествами, что не знаешь, чего бы еще захотеть. Холодильник — это раз. Душ, ванна, горячая и холодная вода — это два. Электроплита — три. Ламп всех видов — люстр, бра, торшеров, настольных под абажурами — и не сосчитаешь. Розетки в каждом углу. И в каждой тройничок. Я все зажигаю, во всех комнатах — в Норвегии электроэнергию не экономят, жги сколько

хочешь. И комнат у меня четыре. И на втором этаже тоже четыре, поменьше. На стенах картины, не очень красивые, но много. Красивые у Миколы, моего хозяина, в Осло — там и Шагал и Пикассо, даже с дарственной надписью... На полу у меня ковры. На комодах вазоны с дубовыми, кленовыми, березовыми и даже каштановыми ветками. Я люблю цветы, но вот этого как раз нет, пусть стоят ветки. Везде пепельницы, и никто не уносит их мыть и не оставляет на кухне. «Где пепельница? Сколько раз просил...»

Но главное — библиотека. В ней как раз то, что мне надо... «Испания» — пудовый труд некоего Теодора Симонса с иллюстрациями (и какими, на всю страницу, гравированными Теодором Кнезингером на дереве в Мюнхене!) профессора Александра Вагнера. Другая Испания «Espana incognito» с фотографиями таких Толед, Альказаров и пещерных городов в Сьерра-Кадикс, что, дочитав до конца, начинаешь все с начала... «Норвегия», два роскошных тома в красных с золотом переплетах. «Парижский салон» 1898 года, начало той самой, прельстительной Belle époque... Прекрасное английское издание «Женщины-художницы мира, от времен Катерины Вигри (1413—1463) до Розы Бонэр и наших дней». Святая Катерина Вигри — это болонская школа XV века, Роза Бонэр — французская, XIX века, великолепно изображала быков, коров, овец и лошадей. Неплохо работала и императрица Германии Фредерика, но увлекалась больше пейзажами. Много путеводителей — по Лувру, Тэйтс-галери, музеям Осло. Но вот от чего я действительно оторваться не могу, всё листаю и листаю, это от «Славного царствования Императрицы Виктории (1837—1901)». Ну, там всё... И сама Queen Victoria, бывшая когда-то, оказывается, красавицей, нежной и величественной, если судить по портрету, изображающему ее в день коронации 28 июня 1838 — взгляд вдаль, рука на Библии, а плечи... Она же на троне, в парламенте, в коляске, в опере, открывает выставки, посещает бедных — тут уже немолодая, в черном капоре, руки протянуты к несчастному, бьющемуся в лихорадке ребенку на руках бедной матери (вспоминаются замечательные картины из жизни великого и уважаемого вождя Ким Ир Сена — журнал «Корея» — подсаживающего к себе в машину старушку, повстречавшуюся на дороге, дарящего тапочки босому мальчику, прикрывающего своей шинелью заснувшего у себя за столом от усталости комсомольского работника, и еще много, много не менее человеческих...), принимает королей, шахов и султанов, скачет на коне перед своей гвардией, живописует, сидя на раскладном стульчике, какой-то мостик и водопад (ай-ай-ай, а в той книжке ее нету, то ли скромность, то ли не потянула). Но и не это доводит меня до дрожи, окунает в детство, в «Природу и люди». Доводят и окунают лихие атаки шотландской конной бригады под Балаклавой, битвы под Касахином против восставшего египетского Араби-паша, под Футабадом в Афганистане, под Джинжилово с зулусами, у Им-

бембези-ривер, славные «блуджекеты», моряки в Судане, Трансваале, Индии, Китае... Лихо, лихо, лихо! Бегут, кричат, поднимают на штыки, добивают, иногда умирают... Ни дать, ни взять штурм Мамаева кургана (которого никогда не было, в ночь на 31-е января немцы сами ушли), каким его вскоре увидят, а может уже и видят, экскурсанты на панораме в Музее обороны Сталинграда. Там тоже бегут, кричат, протыкают, но там еще много-много танков (их было всего шесть штук на весь фронт) и самолетов в небе... В общем-то батальная живопись мало изменилась. Студия Грекова отнюдь не новатор.

Кончается фолиант (сто страниц, тысяча иллюстраций!) воцарением Эдуарда VII и Александры, принцессы Датской. Тут страниц и картинок поменьше, король только что воцарился, войн еще нет, пришлось ограничиться охотничьими успехами монарха — сидя на слоне в какой-то странной корзине, стреляет из двустволки в разъяренного, прыгающего на него тигра. Есть и дата этого события — 21 февраля 1876 года, тогда он еще был принцем Уэльским. (Как жалко, что никто из наших Налбандянов не запечатлел Никиты Сергеевича стреляющим в Крыму в оленя, того самого, который умирая сказал: «Прошу считать меня коммунистом!»).

Книга захлопнута. Иду искать другую, другие — норвежцы, норвежцы, норвежцы... Ибсен, Бьёрстерне-Бьёрнсон, Гамсун... О! «Норвегия в период царствования Хокона VII» — отложим, сравним... Еще одно собрание Ибсена, Сельма Лагерлёф (я был в ее поместье, в Швеции, Боже мой, до чего уютно, патриархально), Кьеланд, Сигрид Унсет, словари, словари... О! «Нива» за 1893 год, отложим... Так, подобрался к украинским книгам — мой хозяин по происхождению украинец, галичанин... Опять словари, «Украинская кухня», «Комары Украины», путеводитель по Киеву на английском языке, Павло Тычина. Стоп! Издание советское, Киев, 1956 год. А рядом «Расстрелянное возрождение» Юрия Лавриненко, антология, 1917—1933. Издано польским издательством «Культура». Интересно. Сравним. К тому же, уезжая из Парижа, я забежал в магазин «Глоб» и купил несколько номеров «Литературной Украины». Там отмечается сорокалетний юбилей «Чуття єдиної родини» Павла Тычины. Очень все это интересно.

Я думаю, перебираю в памяти и кажется мне, что в литературе, возможно даже мировой, нет трагедии больше, падения глубже, чем трагедия и падение Павла Тычины. Горький, Алексей Толстой, Николай Тихонов? Нет, первые два остались все-таки писателями («Клим Самгин», «Булычев», многое из в общем-то подлого «Петра Первого»), третий, «солдат мира», никогда выдающимся поэтом не был.

Не мне, человеку в общем-то далекому от поэзии, судить-рядить, но когда читаешь и ставишь рядом «Соняшні кларнети» 1918 года, «Замісь сонетів и октав» 1920 и написанные во время войны

«Київ», «Пісня про Хрещатик» или лет за десять-двенадцать до этого «Мій друг робітник водить мене по місту і хвалиться», становиться страшно. Именно страшно.

Мы с детства знали и учили «На майдані біля церкви революція іде», знали, хотя и не учили:

Одчиняйте двері —
Наречена йде!
Одчиняйте двері —
Голуба блакить!
Очи, серце и хорали
стали,
Ждуть...
Одчиняйте двері —
Горобина ніч!
Одчиняйте двері —
Всі шляхи в крові!
Невзриданими сльозами
тьмами
Дош...

Меня, воспитанного на «По небу полуночи ангел летел» и «Ночевала тучка золотая...», для которого трагедией были другие тучки, вечные странницы, или парус одинокий, эти «Одчиняйте двері — всі шляхи в крові...» пугали. И, как все страшное, притягивали.

Это воспоминания детства. Сейчас перечитываю. Не знаю, великий ли, но большой поэт. И поэт, это главное.

Очевидно, двадцать седьмой год его сломил. Влас Чубарь, сам потом загремевший, обрушился тогда на Тычину в газете «Коммунист» за его «Чистила мати кортоплю» — «националистический опиум под флагом пролетарской литературы». И вспомнил Тычину, что было у него стихотворение «Пам'яті тридцяти»:

На Аскольдовій могилі
Поховали їх —
Тридцять мучнів українців,
Славних молодих —

и испугался. Это про бойцов киевского студенческого куреня, погибших в неравном бою с Красной армией под Крутами в январе 1918 г. Испугался на всю жизнь. И появилась «Партія веде»:

...Всіх панів до'дної ями,
Буржуїв за буржуями
Будем, будем бить!
Будем, будем бить!

Или ставшая пародийной:

Люба сестренько, любий братику
Попрацюємо на Хрещатику! —
Ви з того кінця, ми з цього кінця,
Труд освітить нас, наче ті сонця!

И совсем уже трагичные для человека, по-настоящему любившего свою Украину:

Ворота боротьби тебе ведуть
На шлях свободи, на правдиву путь
Через ворота Спаский до Кремлю...
Поверг ти звіра-ворога на землю...

и кончается:

...А від Москви — ой сонця! сонця! сонця!

Я знал немного Тычину. Как-то сидел с ним в одном президиуме. Он «головував», вел собрание. Бог ты мой, как он волновался, как не знал, начинать или не начинать, кому давать слово, пора ли кончать или нет. Я в жизни не видел более перепуганного человека. А он был уже лауреатом всех премий, министром, кажется, просвещения, назывался не иначе, как «наш улюблений, вельмишановний». Человек он был, кажется, мягкий, очень образованный, знал кучу языков, грузинский, армянский, тюркские языки Средней Азии, турецкий, арабский, еврейский, никому никогда не вредил, но поэтом он быть перестал.

Хотя:

«Тычина — давнишний мастер поэтически обозначать своими стихами целые исторические эпохи — сумел и на этот раз сказать какое-то на самом деле новое слово, слово очень нужное и вроде бы ожидаемое всем обществом. Животворная дружба народов советской страны и, как органичное ее выражение, все укрепляющееся единство их культур — вот что стало темой стихотворения Тычины, когда в стране разворачивалось всенародное обсуждение новой Конституции СССР, провозглашавшей интернационализм (или русификацию? — И. Дзюба) и дружбу народов высшими законами жизни советского общества».

Это пишет в «Литературной Украине» об одном из самых псевдоискренних стихотворений Тычины «Чуття єдиної родини» умный, все понимающий, хитрющий и не честный даже перед самим собой Леонид Новиченко. Нечестный, потому что всему знает цену, с трибуны говорит вот это самое, а выпивши, наверняка уж вздыхает: «Эх, Павло Григорович, Павло Григорович... Були Ви поетом, і яким поетом...»

И пускает слюни в своей статье:

«Прямо перед верандой небольшого старого домика — широкая луговая пойма Ирпеня, серебряная змейка речки, высокая

стена леса на противоположном холме... Тут хорошо думается, хорошо работается. Так, вероятно, было тут и сорок лет тому назад, в погожие июльские дни 1935 года... Тут жил Павло Григорьевич Тычина. Глядя в ирпенские дали, он писал свое новое стихотворение и, очевидно, сам чувствовал, что получится произведение и новаторское, и масштабное по содержанию, и программное по значению — таким стремительным был полет мысли, такие необыкновенные, никем не сказанные мысли просились на уста...

Да, никем не сказанные мысли о чужом языке, «чужій мові» заканчиваются таким четверостишем:

И позичаєш тую мову
В свою — чудову, пребагату,
А все зноходит це основу
У силі пролетаріату.

Бедный, несчастный Тычина. Были у него строки:

Белий, Блок, Єсенін і Ключев
Росіє, Росіє, Росіє моя!
...Стоїть сторазтерзаний Київ
І двісторозіп'ятий я.

И еще, и еще распинали его, но не с креста, а из министерского кабинета твердил он:

Єсть рідні на світі і теплі слова,
Із них найтепліше — це слово Москва.
...Ти сяєш у Всесвіт, ти світ на землі
Червоні зорі вгорі на Кремлі.

Другой, тоже в свое время прекрасный и тоже раздавленный поэт — Максим Рыльский — после написания таких, допустим, строк, как «Моя Москва! Мій Кремль! Моє життя!» — напивался в усмерть. Тычине было хуже — он не пил. А Рыльский пил...

Ну как, ей-Богу, не напиться, написав следующие стихи?! Или, наоборот, написал их напившись? В них повествуется о том, как, вернувшись из поездки домой, в Киев, он встретился с друзьями, стал рассказывать им о Москве и Ленинграде, а сын его, жадно слушающий рассказы:

...Враз показав мені газети фото,
Пишаючись і Києвом своїм
И тим, хто був на фото. Я пізнав
Хрещатик свій і ту свою людину:
То працював на відбудові міста,
Москви и Ленінграда брата й друга,
Хрущов Микита — більшовик незламний!

Трудно понять, как и почему это было написано таким тонким,

думающим и глубоким человеком, каким был Рыльский. Тогда его еще не били — стихотворение было написано в 1945, а бить стали в 1947-м, как раз после «Моя Москва! Мій Кремль! Моє життя!». Били, конечно, не за это, а за «Мандрівку в молодість» («Путешествие в молодость»), в которой он, умиляясь своей молодостью, «подменил пролетарский гуманизм либерально-буржуазным» (А. Белецкий, «Максим Рыльский»). Ох и издевались тогда над несчастным Максимом Тадеевичем, ох и топтали его, а он, «не заметивший в украинском селе классовых противоречий, не показавший рабочий класс и деятельность коммунистической партии» (там же), стоял подавленный, красивый, седой на трибуне и тихо, тихо признавал, признавал, признавал и... написал потом «Мости», где «выступал, как активный творец и певец коммунистического общества» (там же).

Я его тоже немного знал. У меня есть даже книга с его дарственной надписью. Но меня он, кажется, не любил. На мою тягу к нему (когда его били) он ничем не ответил. Потом даже печатно раскритиковал меня в связи с моей статьей о «Поэме о море» А. Довженко. И все-таки я его любил. Ну как не любить человека, у которого была та же учительница русского языка, что и у меня, только немного пораньше — Надежда Петровна Новоборская. К тому же, я сам был свидетелем, как он, поздоровавшись с одной дамой и начав с нею разговор (она сидела у окна в трамвае, а он стоял на остановке), когда вагон тронулся, ухватился за окно и продолжал разговор, стоя одной ногой на подножке. И так проехал целую остановку. Ну как не полюбить такого человека...

Обоих их нет уже в живых...

Оба покоятся на Байковом кладбище, там, где и мои родители. Мир праху и твоему и твоему. Ушли из жизни два больших поэта. Они умерли задолго до своей смерти. И привела их к этой преждевременной смерти Коммунистическая партия, та самая, которую они воспевали и членами которой были.

* * *

Я тоже был коммунистом. Тридцать лет. И, вернувшись с фронта, убеждал своего друга, самым искренним образом убеждал: «Вступай в партию. Я тебе дам рекомендацию. Именно таким, как ты, надо быть в партии. Честным, правдивым, справедливым. Надо укреплять ее. Вливать свежие, здоровые силы. Подумай хорошенько. Я тебе дам рекомендацию...»

Через двадцать лет меня исключили из партии. В первый раз, заменили строгим выговором. Еще через десять лет исключили окончательно. А до этого было еще второе исключение, тоже замененное строгачом.

Итак, три персональных дела. Не настало ли время рассказать

об этом? Не утомляя подробностями, самую суть. Но с кое-какими деталями.

Исключали меня трижды. Первый раз из-за Хрущева. Он дважды выступал по моему адресу.

В первый раз — 8 марта 1963 года на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства. Второй раз — на июньском пленуме ЦК КПСС в том же году.

Цитирую:

«В художественном мастерстве, в ясности и четкости идейных позиций — сила художественных произведений. Но, оказывается, это не всем нравится. Иногда идейную ясность произведений литературы и искусства атакуют под видом борьбы с риторичностью и назидательностью. В наиболее откровенной форме такие настроения проявились в заметках Некрасова «По обе стороны океана», напечатанных в журнале «Новый мир». Оценивая еще не вышедший на экран фильм «Застава Ильича», он пишет: «Я бесконечно благодарен Хуциеву и Шпаликову, что они не выволокли за седеющие усы на экран все понимающего, на все имеющего четкий, ясный ответ старого рабочего. Появись он со своими поучительными словами — и картина погибла бы».

Возгласы: «Позор!»

И это пишет советский писатель в советском журнале! Нельзя без возмущения читать такие вещи, написанные о старом рабочем в барском, пренебрежительном тоне. Думаю, что тон подобного разговора совершенно не допустим для советского писателя.

К тому же в названных мною заметках выражено отношение не только к частному случаю в искусстве, а провозглашен совершенно неприемлемый для нашего искусства принцип. И это не может не вызвать нашего самого решительного осуждения». («Правда», 9 марта 1963 г.).

И второе выступление — на июньском пленуме:

«Константин Александрович Федин не является членом партии, но он глубоко партийный человек. А вот писатель Виктор Некрасов, которого я лично не знаю, хотя и является членом партии, утратил драгоценные качества коммуниста, чувство партийности. Однако это не должно нас удивлять.

Партийность — это не врожденное качество, оно воспитывается жизнью. Нестойкие люди, даже будучи членами партии, могут под воздействием враждебной идеологии утратить чувство партийности. Меня удивляет в Некрасове другое — он настолько погряз в своих идейных заблуждениях, так переродился, что не признает того, что требует партия. А что это значит? Это значит идти вразрез с линией партии. Это уже другое дело... Партия должна освободиться от таких людей, которые свое ошибочное мнение считают выше решений партии, то есть всей великой армии единомышленников. И чем раньше партия освободи-

дится от таких людей, тем лучше, так как от этого она будет становиться все сплоченнее и сильнее (Продолжительные аплодисменты.)». («Правда», 29 июня 1963 г.).

Это привело к первому туру. Длилось что-то около полугода. Само собой разумеется, всяческие мои издательские дела автоматически прекратились. Даже Твардовский, мой друг Твардовский, отказал мне в командировке — я хотел поехать куда-нибудь подальше, в Сибирь, на Дальний Восток — «вот кончится твое партийное дело, не сомневаюсь, что благополучно, тогда со всем моим удовольствием». Вмешиваться в самое дело, — мол, знаю Некрасова таким-то и таким-то — тоже не решился. Ограничился телеграммой на мое имя — знаем, верим и т. д.

Как ни странно, но к благополучному исходу всего дела (замена исключения строгим выговором) имел отношение Пальмиро Тольятти. Мой друг, итальянский коммунист, критик Витторио Страда написал в общем-то хвалебную статью о моих очерках «По обе стороны океана», тех самых, на которые обрушился Хрущев. Дал ее в теоретический журнал итальянской компартии «Ринашита». Там испугались, но случилось так, что Страда встретился, не больше не меньше как на пляже, с Тольятти, и тот дал распоряжение журналу печатать. Статью эту мне перевели, я ее отдал Перминовой, моему партследователю, и та потом мне призналась, что статья возымела свое действие.

Предлогом для нового дела, в 1969 г., была моя подпись под коллективным письмом (называлось оно письмом ста тридцати семи) в защиту арестованного Вячеслава Черновол. В жизни я его никогда не видел, но судьбы наши перемешались довольно тесно. Длилось разбирательство что-то около полугода.

Для третьего исключения повода вообще не было. Началось все с того, что я пошел платить партвзносы. Было это в 1972 году, памятном для Украины году массовых арестов интеллигенции. Дзюба, Светличный, Сверстюк, Черновол, Глузман, Плющ и еще достаточное количество. В январе этого же года у меня был не то что обыск, но пожаловали двое кагебистов и предложили отдать им имеющуюся у меня неразрешенную литературу. Пришлось отдать Цветаеву, Надежду Мандельштам, «В круге первом». Тогда меня еще только прощупывали.

Итак, все началось с партвзносов. «Прикреплен» я был к редакции журнала «Радуга», номинальным членом редколлегии которой числился лет двадцать. Ходил туда на нечастые партсобрания, платил взносы. Обычно принимала их моя приятельница. В случае просрочки (больше трех месяцев) платила сама деньги, потом я возвращал. На этот раз принимал какой-то незнакомый мне сотрудник редакции. Увы, и на этот раз я просрочил (таких, как я, было великое множество, в Союзе устраивались даже специальные собра-

ния, зачитывались длиннющие списки должников). Принять взносы новый товарищ отказался. Сказал, что без решения партбюро не может. Было ли или не было по этому поводу партбюро, не помню, но состоялось незадолго до этого другое, на котором было решено партвзыскания с меня снять — Хрущева давно уже нет, «подписантство» решили похерить, три года прошло. Решение без особых дебатов было вынесено, ждали утверждений парткома Союза.

И вот получил я вдруг извещение. Приглашаюсь на заседание парткома такого-то числа в таком-то часу. Наконец-то, думаю. Рогодченко, секретарь моей парторганизации, человек расплывчатый, ни рыба ни мясо, подтвердил мое предположение.

В назначенный час я пришел. За столом сидит Козаченко, Василий Павлович, секретарь парткома. Привет, привет. Человек он очень неглупый, хитрый, прожженный, какой писатель, не знаю, не читал. На фронте, по-моему, не был. Помню его еще почти юным, на совещании молодых писателей, созданном Кагановичем в 1947 году. Тоненький, с живыми глазами. Сейчас далеко не тоненький, и в глазах усталость и мудрость. Тоненьким был и Гончар, тоже тогда появившийся — «молодий письменник з Дніпропетровску».

Вдоль стен сидят и ждут начала «письменники», кто-то из райкома, кто-то из горкома, лица незнакомые. За своим столом Галя Кучер, мне всегда симпатизировавшая секретарша парткома. Сейчас сидит, глаз не подымает, что-то пишет. Ох, пахнет горелым...

Появляется Збанага, Юрий Олиферович Збанацкий. Герой Советского Союза (со звездочкой не расстается), бывший, до Козаченко, секретарь парткома, писатель-партизан, всех и все знает, любит поговорить, поучить уму-разуму.

— Ну що ж, почнемо мабуть, — смотрит на часы, садится в уголок.

Козаченко полистал бумаги, что-то отложил в сторону, что-то положил перед собой.

— Так вот, — начал он, — лежит, вот, передо мной резолюция партбюро редакции журнала «Радуга». Предлагают с тов. Некрасова Виктора Платоновича имеющиеся у него партвзыскания снять. Мол, прошло уже время, Некрасов работает, опубликовал очерк и рассказы в «Новом мире». — (К этому времени, нужно сказать, в «Новом мире» набор моей вещи, впоследствии напечатанной в «Континенте» под названием «Записки зеваки», был рассыпан — как говорится, поступило указание.) — Так вот, посоветовавшись тут между собой («порадившись», говорил он по-украински), мы пришли к выводу, что о снятии выговоров говорить рано. Более того, есть мнение, что Некрасов своим поведением, нежеланием признавать свои ошибки, противопоставлением своих, так сказать, принципов решениям партии, сам вывел себя из ее рядов.

Вот оно что...

Дальше подробно, обстоятельно, не торопясь, не повышая голоса, стал повторять все то, что говорилось и писалось десять лет тому назад, в шестьдесят третьем, в шестьдесят девятом году, прибавив только, что систематически не посещает партсобрания и вовремя не платит партвзносов.

Ясно, есть решение сверху. Остальное все спектакль.

Длится он часа полтора-два. Сижу, курю, разглядываю чудовищных размеров портрет Ленина за спиной Гали Кучер. А она все пишет, пишет... Выступают один за одним все, как и положено, дружно, говорят одно и то же. Не лучше и не хуже, но более темпераментно, даже прочувствованно говорит Микола Рудь (кажется, поэт, а может, и прозаик). Даже слезу подпустил. (Потом говорили — Некрасов такой-сякой, Миколу Рудя аж до слез довел.) Так вот, смахивая скучную, мужскую, он говорит, как ему больно, что автор такой честной и правдивой книги, как «В окопах Сталинграда», докатился до того, что... И пошло, и пошло. Закончил словами: «И вот Некрасов у разбитого корыта, на развалинах своей книги...» Утер глаза и сел.

Когда я говорю «пошло и пошло», это значит, что началось все со звонка Козаченко из ЦК:

— Василий Павлович?

— Он самый.

— Как твоё «ничего себе»?

— Да нормально.

— Работы много?

— Много.

— Не заглянул бы («не завітав би») к нам. Тут маленькое дельце есть, посоветоваться надо.

По стилю разговора видно, что говорит кто-то из равных, по-видимому, инструктор. Если кто постарше, то суше, без всяких там «ничего себе», просто «зайдіть будь ласка».

Дальше будет нечто среднее, не очень равный и не очень старший. После двух-трех слов о погоде, о вреде курения:

— Так вот, есть у вас на учете такой писатель — Некрасов.

— Есть.

— Очень он у вас «принципиальный».

В ответ понимающий смешок.

— Как он у вас там сейчас?

— Да никак. С партвзносами вот...

— Вот, вот, вот!

— Но сами знаете, у нас же это хроническое заболевание.

— Знать-то знаю, но все же характерно... Пьет?

— Да нет, как будто.

— Не как будто, а проверить.

— Есть проверить...

Пауза.

— Так вот, есть мнение (о! это знаменитое «есть мнение»!), что недостойн этот самый Некрасов быть членом партии.

Козаченко пытается все же заступиться (может, я и идеализирую):

— Тридцать лет всё же в партии. В Сталинграде вступал.

— В Сталинграде или не в Сталинграде, не играет значения (или «не имеет роли»). Товарищи наверху в курсе всех этих Сталинградов...

Опять пауза. Козаченко несколько растерян.

— Для персонального дела нужен все-таки материал.

— Ох, Василий Павлович, Василий Павлович, мне ли вас учить. Кому нужен новый материал? Ошибки свои признавал? Нет. С Дзюбой дружил? Дружил. С Солженицыным, прохвостом, дружит? Дружит. И пить, вероятно, пьет. Такие не бросают... Одним словом, собирайте партком и выносите решение.

— Есть созвать партком и вынести решение.

— Ну всех благ... Как там жена?

— Да, ничего.

— Привет ей... А с бюро не тяните.

— Ясно. На все добре...

Звонится после этого Збанацкому, Богдану Чалому — заму (сейчас Чалый — секретарь парткома, Козаченко — председатель Союза). Так, мол, и так, есть мнение. Надо оповестить членов парткома. Пусть подготовятся. Кондратенко, кажется, в отпуску. Обязательно вызвать. Он все-таки редактор «Радуги». К тому же, был вместе с Некрасовым с какой-то делегацией недавно в Сталинграде. Там у Некрасова что-то произошло, Кондратенко потом докладывал.

А докладывал (в письменном виде!) Кондратенко следующее: На приеме в сталинградском горсовете Некрасов напился, выражался матом, оскорблял председателя горсовета, недозволительно отзывался о покойном скульпторе Вучетиче и памятнике-ансамбле на Мамаевом кургане, признанном народом. На все это пожаловались сталинградские писатели, было от них, мол, письмо.

Что было, то было. О Вучетиче и памятнике отзывался, действительно, неодобрительно, пьян был не больше председателя горсовета, оскорблять его не оскорблял, матючок, может быть, где-нибудь и подпустил, но все дело в том, что никакой это не был прием в горсовете, а председатель этот самый пригласил лично меня на ужин в ресторан. Из членов делегации никто, в том числе и Кондратенко, считающий, кстати, себя сталинградцем, приглашен не был. Тем не менее заявление на партбюро фигурировало. На него не нажимали, но упомянули. Маленькая деталь. В свое время, узнав о заявлении, я написал письмо своему другу, члену сталинградской писательской организации. Ответ гласил, что никто, никуда, в частности в Киев, ничего не писал.

Три слова о Викторе Кондратенко, тем более, что я недавно прочитал в «Литературке» об учреждении новой медали им. А. А. Фадеева, которой награждаются авторы высокохудожественных произведений о Великой Отечественной войне. И вот среди награжденных увидел я имя и Виктора Кондратенко.

Он воевал. Работал во фронтовой газете. Был ли в Сталинграде, не знаю, на Курской дуге был. Читал об этом в сборнике «Русские писатели на Украине». Как он вел себя на фронте, знаю только из этого очерка, на «гражданке» же известен как патологический трус. Исполнитель. Собственного мнения никакого. Обождает авторитеты. Собирает картины — дальше Пимоненко и Светлицкого не идет. Все комнаты увешены «украинскими ночами» и «закатами на Десне». В журнале «Украина» напечатано было на целую страницу его изображение на фоне картин и статья «Любитель прекрасного» или что-то в этом роде.

Редактируемый им ежемесячник «Радуга», на русском языке, самый скучный и бездарный журнал на всем земном шаре — двух мнений быть не может. Впрочем, при предыдущем редакторе — Вышеславском — лучше он не был. Высокохудожественных произведений Кондратенко, конечно же, я не читал. Знаю, что была какая-то «Крепость на колесах» (его же самого окрестили «Жопой на колесах») — о фронтовой редакции. Там одно время работал и Твардовский. Как-то, узнав, что я еду в Москву, в «Новый мир», Виктор очень обрадовался и сказал: «Привет от меня громадный Саше. Очень мы дружили тогда, на фронте». Привет я передал. Твардовский долго морщился, не мог припомнить, потом все-таки вспомнил: «Да, да, был такой, помню. Все в дружбу лез. Бесцветный такой, зануда».

А вот Василий Гроссман был о нем другого мнения. Опять-таки, сужу по очерку из «Русских писателей на Украине». Есть там эпизод, как Кондратенко на Курской дуге в одной воронке столкнулся с Гроссманом. Разговорились. Узнав из беседы, что Кондратенко собирается писать роман о войне, Гроссман очень всполошился. «Зачем же вы так рискуете, на передовую лезете? Беречь себя надо, очень нужен хороший роман о войне». И несколько раз потом повторял о романе и усиленно рекомендовал себя беречь. Вот что значит настоящий писатель. Сразу почувствовал. А теперь вот и медаль.

Но вернемся на партком. Один за другим человек десять — вставали и говорили. Всем было больно. Все сокрушались, но под овечьей шкурой все уже разгадали волка.

Встал под конец и я.

Слово свое попытался сократить до минимума. Просто сказал, что несколько удивлен некоему несоответствию. Год тому назад, в день, когда мне стукнуло шестьдесят, преподнесен был адрес, под которым стояли подписи всех, здесь присутствующих. Там, есте-

ственно, говорилось только хорошее и среди этого хорошего была и принципиальность и честность, и какой-то там путь, и миллионы читателей, и «мы все знаем вас как...», а сейчас, вот оказывается, послушав выступающих, я понял, что ничего хорошего я за свою жизнь не сделал, только ошибался, упорствовал, не соглашался, а в результате окончательно скатился. Где же правда? Там или сегодня здесь! — демагогически воскликнул я и сел.

Дальше было голосование. Единогласно...

И началась райкомовская страда. Следователем мне попался на этот раз бывший директор издательства, забыл какого. Маленький, неказистенький, косоглазенький, подергивает плечом. Люди, работавшие в свое время с ним, отзывались о нем неплохо. В космополитизм евреев не давал в обиду.

До этого у меня уже были три следователя. Начал в том же Ленинском райкоме некто Солдатенко, второй секретарь, молодой еще. Позже сделал карьеру — стал ответственным секретарем Союза писателей. И естественно, членом Союза. Литературный «дорожок» его был негуст — очерк о поездке в Непал. С ним в этой должности я тоже встречался. Писал уже об этом. Разъевшийся, обрюзгший, сидел он в кресле и не мог понять, как можно читать антисоветчика Солженицына, он, мол, не читал и читать не будет. Что дальше с ним произошло, не совсем ясно. Уже в Париже, читая о съезде писателей Украины, я нигде не обнаружил его фамилии. Ни в Президиуме, ни в Секретариате, ни в числе выступавших. То ли загрел, то ли на повышение пошел. В парижской украинской газете еще до съезда о нем писали как о полковнике КГБ. Может, Союз писателей был для него только ступенькой.

Вторым следователем, уже в обкоме, была у меня тов. Перминова. Немолодая уже, сибирячка. Украинские порядки поругивала, не скрывала. Ко мне относилась неплохо, все убеждала: «Ну, что вы всё артачитесь. Поймите же, что от вас требуют только признания и больше ничего. Признайте. И все будет в порядке. Наивный вы все-таки человек. Правы вы или неправы, но вы один, а против вас машина. Раздавит и всё».

Сейчас, через десять лет, я с ней встретился опять. Всё в том же обкоме. Но уже не партследователем, а председателем парткомиссии. Рангом повыше. Но за десять лет могла бы и дальше шагнуть. Не шагнула, и в этом что-то есть... Встретились мы, если и не как друзья, то и без всякого недоброжелательства друг к другу. «Всё упорствуете, не признаетесь? Никак вас не перевоспитаешь». — «Никак», — согласился я.

К ней, в ее кабинет с длинным столом, где сидели члены парткомиссии, я уже попал после двух- или трехнедельной «работы» с очередным следователем, обкомовским. До этого в райкоме меня исключили. С очень позабавившей и понравившейся мне формулировкой: «За то, что позволяет себе иметь собственное мнение». Луч-

ше не скажешь. Этот, последний, следовательно был совсем не запинающимся и очень глупым. Когда я переходил в контратаку, брал устав и читал из устава, или из очередной передовицы «Правды». Один раз немножко даже оскандалился. Говорили мы о Шелесте. Потом о чем-то другом. Потом я опять вернулся к бывшему первому секретарю, не помню уж, по какому поводу. Он возмутился: «Сколько можно об одном и том же. Сняли Подгорного и точка, чего к нему возвращаться». Бедняжка оговорился и очень испугался. В комнате было еще четыре стола, еще четыре следователя, и у каждого собственный «персональник», все слышали и с нескрываемым любопытством поглядели на него — говорил он обычно тихо, но эту фразу сказал неожиданно громко. Очень уж он испугался. Приятно было даже смотреть.

Шел май 1973 года. В кармане у меня была путевка в Коктебель. С 20-го числа. А дело все тянулось. Наконец Перминова назначила парткомиссию. Парткомиссия — это в основном перешедшие на пенсию бывшие деятели, военные прокуроры, судьи, директора, ну и сошки поменьше. Всем им очень хочется поговорить, поучить, иной раз пофилософствовать, непрочь и в чужом грязном белье порыться. Домой почему-то не торопятся. Иллюзия деятельности, полезности.

Сидели долго. Который уже раз — за десять лет я набил-таки руку, вернее язык — повторял я, что в очерках своих ничего не пытался очернить, что о наших недостатках даже «Правда» пишет (так то «Правда»!), что рабочий класс, как утверждал Хрущев (сейчас уже можно, даже должно было обходиться без «Никита Сергеевич», без «товарищ»), я никогда не оскорблял, что в Бабьем Яру я выступал от своего имени, поэтому в партком за разрешением и утверждением не ходил, и т. д., и т. д., и т. д. Слушали, не скучали, никуда не торопились, задавали вопросы. А почему? А зачем? А знали ли вы? Перминова спросила меня, давно ли я читал Ленина? Я признался — давно. «То-то и видно, — сказала она. — Я, например, в тяжелую минуту всегда обращаюсь к Владимиру Ильичу. Беру его книгу, читаю и сразу легче, яснее становится». Я поблагодарил за совет. Сказал, что вернусь домой и сразу же возьмусь за «Детскую болезнь левизны». Никто не улыбнулся, даже про себя.

Очень я жалел потом, что не взял с собой карманного магнитофона. Исправил эту оплошность через несколько дней, идя уже на персональное, так сказать, с глазу на глаз, собеседование с Перминовой. Достали мне друзья крохотный магнитофончик, я его пристроил где-то под пиджаком, микрофончик приспособил в боковом кармане. Отрепетировал, на каком расстоянии лучше всего слышно человеческую речь, включал, выключал, проверял... Мимо обкомовского часового шел с некоторым трепетом, а вдруг что-либо заметит...

Зашел к Перминовой. Преподнес ей букетик ландышей (гнилая

интеллигентность!), сел, расстегнул пиджак, подождал, пока она что-то писала. Когда она окончила и подняла на меня глаза, я сунул руку в боковой карман и включил микрофончик.

— Что? Сердце болит? — участливо спросила она.

Через час я, сломя голову, мчался домой. Увы, полное фиаско. Перед отходом я забыл поменять батарейки, и из всего разговора осталось только это самое «сердце болит» и еще пять-шесть ничего не значащих вводных фраз. Я чуть не плакал от обиды.

На этой беседе: Перминова — за столом, я — на стуле по другую сторону стола, между нами — ландыши в стаканчике из-под карандашей — и закончилось мое тридцатилетнее пребывание в партии. Вернее, общение с ней.

Расставание мое с партией, сиречь с Перминовой, прошло несколько натянуто. Я сказал, что у меня с 20-го путевка в Дом творчества и нельзя ли намекнуть тов. Ботвину, первому секретарю, что очень хорошо было бы, если бы бюро обкома не откладывалось бы и до моего отъезда — мое дело...

В голосе Перминовой появилась медь:

— Секретарям обкома не намекают. Если вы хотите ему что-либо сообщить, напишите заявление. Но я не советовала бы вам. И, откровенно говоря, удивлена. Решается вопрос жизни и смерти, а у него, видите ли, путевка горит.

На этом мы и расстались. Заявление я все же написал и передал на следующий день через довольно симпатичную девушку, сидевшую в окошке бюро пропусков. Больше я в обком не приходил... И не приду. Никогда. Ни в райком, ни в обком, ни в ЦК...

Никакого письменного решения о моем исключении мне не прислали. О самом свершившемся факте узнал окольными путями, через знакомых, через ту же Галю Кучер.

Конец... Точка...

Перед тем как отдать свой партбилет (а произошло это в райкоме, в обкоме мое дело рассматривалось в порядке апелляции), я произнес речь. Речь перед полутора десятком членов бюро райкома, директоров заводов, институтов, предприятий, каких-то важных милиционеров (наверное же, начальник Ленинского отделения милиции входит в состав бюро Ленинского райкома), перед теми избранными, кто, очевидно, и есть совесть партии (или совесть — это не они, а Суслов и Пельше?), о которых, когда они умрут, будет написано в некрологе «чуткий, отзывчивый товарищ, навсегда сохранится в наших сердцах»... Они сидели по обе стороны длиннющего стола серьезные, неподкупные, с каменными лицами, а в конце стола сидел незнакомый мне второй секретарь райкома. (Первый, Линец, отсутствовал, а через полгода его и вовсе сняли, и заведует он, удельный князь, теперь каким-то жалким, областным кинопрокатом.)

И вот, перед всеми ними, чуткими и отзывчивыми, я держал речь. Мне казалось, что где-то в углу стоит История или Фемида с

завязанными глазами и весами в руках. Говорил я о честности, все о той же принципиальности, о том, что настоящий большевик не может слепо подчиняться (почему? не только может, но и должен...) тому или иному решению, что формальное признание своей вины или своих ошибок ломаного гроша не стоит, что на фронте обман обходился сотнями человеческих жизней, что каждый солдат в Сталинграде знал... Казалось, убедительнее не скажешь. И не слишком длинно, и без цитат, и не выпячиваясь, о Сталинграде только вскользь, с выразительными паузами, ничего не прося, ни на что не жалуясь, ясно, просто, искренно.

Цицерон, Жорес, Карабчевский, Кони. Избранные места из судебных речей XIX века...

И на челе его высоком не отразилось ничего... Сидели, слушали, молчали, даже ничего не рисовали в своих блокнотах.

Затем:

— Есть ли вопросы? Нет. Замечания? Нет. Приступим тогда к голосованию. Кто за предложение, зачитанное товарищем таким-то? Раз, два три... пятнадцать. Кто против? Никого. Кто воздержался? Никого. Решение принято единогласно. Товарищ Некрасов, прошу ваш партбилет...

Я прошел через весь зал, вынул из кармана партбилет, подал его секретарю. Тот снял с него пластмассовый суперок с надписью еще «ВКП(б)», положил билет перед собой.

— Простите, где я раздевался? — спросил я.

Кто-то из сидящих за столом, возможно мой следователь, бывший директор издательства, поспешно сказал:

— На первом этаже, вот в ту дверь.

Я опять прошел через весь зал и вышел в ту дверь.

* * *

Испытывал ли я что-нибудь, когда сдавал партбилет? Да, испытывал. Не скажу, что в мысленном моем взоре промелькнули все тридцать лет, не всплыл предо мной и образ начальника политотдела дивизии, вручившего мне на фронте не этот, другой, потом его сменили, партбилет, нет, теперь, сдавая, я думал только о том, чтоб спокойнее все это дело провести... А потом? Идя домой? О чем думал? Стало ли легче? Да, стало. И не потому что кончилась вся эта скучная канитель, — я знал, что она еще продолжится, и в общем-то знал, чем она кончится.

Нет, не тогда, после райкома, а позже, когда я вышел из тяжелого, с исполинскими колоннами здания обкома, я почувствовал себя вдруг счастливым. Кончился обман, ложь, фальшь... И тут же вопрос. Самому себе. А зачем ты так долго тянул этот обман, ложь, фальшь? Почему не бросил этот самый партбилет, давно уже жегший тебе грудь, в лицо тем, кого ты не уважаешь, но к которым ходишь,

ходишь, ходишь. Ну, не бросить, а спокойно положить на стол и сказать: «У нас разные взгляды на многое. И на главное в том числе. Я не могу состоять больше в этой партии». И как бы все засуетились, забегали бы, просили бы не делать этого шага, забрать билет обратно...

Надо было так сделать. Но не сделал. И даже не из трусости. А по глупой уверенности, что надо биться до конца, добиваться партсобрания, положенного по уставу, и там, на собрании, сказать все то прекрасное, что ты сказал на райкоме, и там не только мурлы будут сидеть, а люди, которые будут тебя слушать, и даже сочувствовать, а может и завидовать, а потом они расскажут... Одним словом — дурак!

Ну, а если подвести итог?

Итог?

Вступал с открытым сердцем, с чистой душой. Верил. Вернее поверил. Потом пытался в чем-то себя убедить. Считал, что есть коммунисты настоящие и не настоящие. Себя относил к настоящим. Убеждал других. Разубедили. Стало ясно. Ложь. Жестокость. Морали нет. Мучился. Чувствовал на себе ответственность. Сидел на собраниях, смотрел на них, на всех этих корнейчуков и думал: чем они лучше тех, других, против которых воевал? В тех было, возможно, больше жестокости, но меньше цинизма... Мы же задыхаемся от лицемерия. Ханжества. Весь мир это знает и боится. У нас ракеты далеко летают. И морали нет.

Все это я испытал на самом себе. Я все знаю. Всю гниль и обман. Я могу теперь обо всем этом говорить. Как обманутый. Как потерпевший. Где-то, как соучастник. Я не всегда голосовал «за», но я и не голосовал «против». Я воздерживался. Или не приходил на собрание, где и воздержание было бы «за». Теперь я свободен. Я могу всем смотреть прямо в глаза. Я не знаю еще, где Правда, но я знаю, где Ложь. Очень хорошо знаю.

*
*
*

У меня испортилось электричество. Включил обогревательный прибор (в комнатах стало прохладно), и что-то перегорело. В пробках не разобрешься, их целых двадцать, какие-то чужие, непонятные. Стал искать свечи. В этом доме всё есть, а свечей нет. Подсвечников миллион, а свечей ни одной.

Пришлось бежать в магазин, за четыре километра. Прогулка — одно очарование, солнышко греет, ветерок поведает. Справа и слева сосны, ели. Иду и посвистываю.

Купил три пачки свечей, по-норвежски «лис», в каждой пачке по шесть штук (а заодно и макрель купил, и свежий хлеб, ох, нет парижского багета), вернулся домой, затопил печку. Печка чугунная,

вся в барельефах и с окошечками, сквозь которые видно, как горит. Зашумела, затрещала и сразу же нагрелась. Тепло. Уютно.

Зажег свечи. Все восемнадцать. Расставил по комнатам. До чего же хорошо. Не погасло бы электричество, никогда бы не узнал, как хорошо при свечах. Сел письма писать. Лучшего времени и не придумаешь. Печка потрескивает. Свечи горят. И забавные тени от них, одна на другую... На плиту поставил чайник, попою чайку с медом и со свежим хлебом. Странное дело, электричество перегорело, а плита греется...

Написал одно письмо. Второе. Третье. Подобрал и наклеил красивые марки. Сходил в уборную. Вернулся. Закурил. Включил транзистор. Половил, половил и поймал «Маяк». Ночной концерт. Антонина Нежданова и Леонид Собинов...

Бог ты мой, как увлекались мы когда-то Собиновым. Да, да, мы, мальчишки. Он уже был на закате, но как он все-таки еще пел. Куда, куда... Лознгрин... Индийского гостя... Как-то мы, восторженные и умиленные, кинулись к нему за кулисы. Просили еще. Он мило улыбался. «Куда уж мне. Не те годы. Знаете, недавно ехал я из Ленинграда. Пришли провожать поклонницы. Помнят, когда я еще... Я из окна вагона посмотрел на них, помахал рукой и сказал — прощайте, две тысячи лет...»

Вот и сейчас, дуэт из «Лознгрина». Переношусь... Киев... Филармония. Колонный зал. Тогда он назывался «Радио-театр». Мы, конечно, зайцами. Мест нет. Лепимся среди колонн. Собинов, Нейгауз, Обухова. Ирма Яунзен. Виолончелист Майнарди. Какой-то знаменитый гитарист, забыл фамилию.

А МХАТ... Старый, довоенный МХАТ. С Тархановым, Москвиным, Хмелевым, Тарасовой. «Вишневый сад», «Три сестры», гамсуновское «У врат царства» — Качалов и Еланская. Мы потом провожали их от театра до «Континенталья». Как жаль, что так короток путь, квартал и всё. Мы учились тогда в театральной студии и проезд театра был не только праздником, это был предел мечтаний. Шли потом домой, захлебывались от восторга, перебивали друг друга. Ты помнишь эту паузу? Стоят оба и молчат. А сколько в этом молчании слов, мыслей, настроения. А когда он говорит ей...

В транзисторе что-то щелкнуло: Мы передавали концерт «Великие артисты нашей Родины». Народные артисты Советского Союза Антонина Нежданова и Леонид Витальевич Собинов. А сейчас слушайте информационное сообщение...

И исчезли и растворились Собинов и Нежданова. И загудела печка. Затрепетало пламя на свечах. В коридоре что-то затрещало. За окном заухала ночная птица.

...В государственные закрома пошел хлеб целинного Приишмья. Первая квитанция на продажу зерна нового урожая выписана совхозу имени XXV съезда КПСС... Почти на пять месяцев раньше срока освоена проектная мощность цеха серной кислоты горлов-

ского производственного объединения «Стирол»... Трижды выходил победителем в социалистическом соревновании коллектив цеха термообработки металлорежущего инструмента Йошкар-Олинского инструментального завода...

Хочется завывать! Волком! Ничего не изменилось... Ничего...

* * *

И все-таки лучшее средство от ностальгии — это читать «Правду». Как рукой снимает. Только подорожала она: стоила восемьдесят сантимов, а теперь — франк двадцать.

(Конец первой части)

ЧАСТЬ РЕЧИ

Цикл стихотворений

* * *

Ниоткуда с любовью, надцатого мартабря,
дорогой уважаемый милая, но неважно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить уже, не ваш, но
и ничей верный друг вас приветствует с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях,
я любил тебя больше, чем ангелов и самого,
и поэтому дальше теперь от тебя чем от них обоих,
поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,
в городке, занесенном снегом по ручку двери,
извиваясь ночью на простыне —
как не сказано ниже по крайней мере —
я взбиваю подушку мычащим «ты»
за морями, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты,
как безумное зеркало повторяя.

* * *

Это — ряд наблюдений. В углу — тепло.
Взгляд оставляет на вещи след.
Вода представляет собой стекло.
Человек страшней, чем его скелет.

Вечер с красным вином в нигде.
Веранда под натиском ивняка.
Тело покоится на локте,
как морена вне ледника.

Через тыщу лет из-за штор моллюск
извлекут с проступившим сквозь бахрому
оттиском «доброй ночи» уст
не имевших сказать кому.

* * *

Узнаю этот ветер, налетающий на траву,
под него ложающуюся, точно под татарву.
Узнаю этот лист, в придорожную грязь
падающий, как обagrённый князь.
Растекаясь широкой стрелой по косой скуле
деревянного дома в чужой земле,
что гуся по полёту, осень в стекле внизу
узнаёт по лицу слезу.

И, глаза закатывая к потолку,
я не слово о номер забыл говорю полку,
но кайсацкое имя язык во рту
шевелит в ночи, как ярлык в Орду.

* * *

Потому что каблук оставляет следы — зима.
В деревянных вещах замерзая в поле,
по проходим себя узнают дома.
Что сказать ввечеру о грядущем, коли
воспоминанье в ночной тиши
о тепле твоих — пропуск, — когда уснула,
тело отбрасывает от души
на стену, точно тень от стула
на стену ввечеру свеча,
и под скатертью стянутым к лесу небом
над силосной башней натёртый крылом грача
не отбелишь воздух колючим снегом.

* * *

Север крошит металл, но шадит стекло,
учит язык проговорить «впусти».
Холод меня воспитал и вложил перо
в пальцы, чтоб их согреть в горсти.

Замерзая, я вижу, как за моря
солнце садится, и никого кругом.
То ли по льду каблук скользит,
то ли сама земля
закругляется под каблуком.

И в гортани моей, где положен смех
или речь, или горячий чай,
всё отчетливей раздается снег
и чернеет, что твой Седов, «прощай».

* * *

Деревянный лаокоон, сбросив на время гору с
плеч, подставляет их под огромную тучу. С мыса
налетают порывы резкого ветра. Голос
старается удержать слова, взвизгнув, в пределах смысла.
Низвергается дождь; перекрученные канаты
хлещут спины холмов, точно лопатки в бане.
Средизимнее море шевелится за огрызками колоннады,
как солёный язык за выбитыми зубами.
Одичавшее сердце всё еще бьется за два.
Каждый охотник знает, где сидят фазаны — в лужице
под лежачим.
За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра,
как сказуемое за подлежащим.

* * *

Что касается звёзд, то они всегда.
То есть если одна, то за ней другая.
Только так оттуда и можно смотреть сюда
сверху, после восьми, мигая.
Небо выглядит лучше без них. Хотя
освоение космоса лучше, если
с ними. Но именно не сходя
с места, на голой веранде, в кресле.
Как сказал, половину лица в тени
пряча, пилот одного снаряда, —
жизни, видимо, нету нигде, и ни
на одной из них не удержишь взгляда.

* * *

Темно-синее утро в заиндеветой раме
напоминает улицу с горящими фонарями,
ледяную дорожку, перекрестки, сугробы,
толчею в раздевалке в восточном конце Европы.
Там звучит «ганнибал» из худого мешка на стуле,
сильно пахнут подмышками брусня на физкультуре;
что до черной доски, от которой мороз по коже,
так и осталась черной. И сзади тоже.
Дребезжащий звонок серебристый иней
преобразил в кристалл. Насчет параллельных линий
всё оказалось правдой и в кость оделось;
неохота вставать. Никогда не хотелось.

* * *

Около океана, при свете свечи; вокруг
поле, заросшее клевером, щавелем и люцерной.
Вечеру у тела, точно у Шивы, рук,
дотянуться желающих до бесценной.
Упадая в траву, сова настигает мышь,

беспричинно поскрипывают стропила.
В деревянном городе крепче спишь,
потому что снится уже только то, что было.
Пахнет свежей рыбой, к стене прилип
профиль стула, тонкая марля вяло
шевелится в окне; и луна поправляет лучом прилив,
как сползающее одеяло.

* * *

Ты забыла деревню, затерянную в болотах
залесённой губернии, где чучел на огородах
отродясь не держат — не те там злаки,
и дорогой тоже всё гати да буераки.
Баба Настя, поди, померла, и Пестерев жив едва ли,
а как жив, то пьяный сидит в подвале,
либо ладит из спинки нашей кровати что-то,
говорят, калитку не то ворота.
А зимой там колют дрова и сидят на репе,
и звезда моргает от дыма в морозном небе.
И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли
да пустое место, где мы любили.

* * *

Я родился и вырос в балтийских болотах, подле
серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
и отсюда — все рифмы, отсюда тот блёклый голос,
выющийся между ними, как мокрый волос;
если вьется вообще. Облокотясь на локоть,
раковина ушная в них различит не рокот,
но хлопки полотна, ставень, ладоней, чайник,
кипящий на керосинке, максимум — крики чаек.
В этих плоских краях то и хранит от фальши
сердце, что скрыться негде и видно дальше.
Это только для звука пространство всегда помеха:
глаз не посетует на недостаток эха.

* *
*

Тихотворение моё, моё немое
однако тяглое на смех поводам
куда пожалуемся на ярмо и
кому поведаем, как жизнь проводим?
Как поздно полночь, ища глазунию
луны за шторой зажженной спичкою
вручную стряхиваем пыль безумия
с осколков желтого оскала в писчую.
Как эту борзопись, что гуще патоки
там ни размазывай, но с кем в колене и
в локте хотя бы преломить, опять-таки,
ломоть отрезанный, тихотворение?

* *
*

В городке, из которого смерть расплзалась по
школьной карте,
мостовая блестит, как чешуя на карпе,
на столетнем каштане оплывают тугие свечи,
и чугунный лев скучает по пылкой речи.
Сквозь оконную марлю, выцветшую от стирки,
проступают ранки гвоздики и стрелки кирпичи;
вдалеке дребезжит трамвай, как во время оно,
но никто не сходит больше у стадиона.
Настоящий конец войны — это на тонкой спинке
венского стула платье одной блондинки
да крылатый полет серебристой жужжащей пули,
уносящей жизни на Юг в июле.

* *
*

Заморозки на почве и облысение леса,
небо серого цвета кровельного железа.
Выходя во двор нечетного октября,
ёжась его округляешь до ах ты бя.

Ты не птица, чтоб улетать отсюда;
потому что как в поисках милой всю-то
ты проехал вселенную, дальше вроде
нет страницы податься в живой природе.
Зазимует же, с тонкой обложкой рядом,
проницаемой стужей снаружи, отсюда —
взглядом,
наколов на буквы пером слова,
как сложенные в штабеля дрова.

* * *

Всегда остаётся возможность выйти из дому на
улицу, чья коричневая длина
успокоит твой взгляд подъездами, худобою
голых деревьев, бликами луж, ходьбою.
На пустой голове бриз шевелит ботву,
и улица вдалеке сужается в букву «у»,
как лицо к подбородку, и лающая собака
вылетает из подворотни, как скомканная бумага.
Улица. Некоторые дома
лучше других: больше вещей в витринах,
и хотя бы уж тем, что если сойдешь с ума,
то, во всяком случае, не внутри них.

* * *

Итак, прогревает. В памяти, как на меже,
прежде доброго злака маячит плевел.
Тянет сказать, что на Юге в полях уже
высевают сорго — если бы знать, где Север.
Земля под лапкой грача действительно горяча,
пахнет тёсом, свежей смолой. И крепко
зажмурившись от слепящего солнечного луча,
видишь внезапно мучнистую щёку клерка,
беготню в коридоре, эмалированный таз,
человека в шляпе, сводящего хмуро брови,

и другого со вспышкой, снимающего не нас,
но обмякшее тело и лужу крови.

* * *

Если что-нибудь петь, то перемену ветра,
западного на восточный, когда замерзшая ветка
перемещается влево, поскрипывая от неохоты,
и твой кашель летит над равниной к лесам Дакоты.
В полдень можно вскинуть ружьё и выстрелить в то,
что в поле

кажется зайцем, предоставляя пуле
увеличить разрыв между сбившимся напрочь с темпа
пишущим эти строки пером и тем, что
оставляет следы. Иногда голова с рукою
сливаются, не становясь строкою,
но под собственный голос, перекатывающийся картаво,
подставляя ухо, как часть кентавра.

* * *

С точки зрения воздуха, край земли —
всюду; что, скашивая облака,
совпадает — чем бы ни замели
следы — с ощущением каблука.
Да и глаз, который глядит окрест,
скашивает, словно серп, поля;
сумма мелких слагаемых при перемене мест
неузнаваемое нуля.
И улыбка скользнёт, точно тень грача
по щербатой изгороди, пышный куст
шиповника сдерживая, но крича
жимолостью, не разжимая уст.

* * *

...и при слове «грядущее» из русского языка
выбегают черные мыши и всей оравой
отгрызают от лакомого куска
памяти, что твой сыр, дырявой.
После стольких лет уже безразлично, что
или кто стоит у окна за шторой,
и в мозгу раздаётся не неземное «до»,
но её шуршание. Жизнь, которой
как дарёной вещи не смотрят в пасть,
обнажает зубы при каждой встрече.
От всего человека вам останется часть
речи. Часть речи вообще. Часть речи.

* * *

Я не то что схожу с ума, но устал за лето.
За рубашкой в комод полезешь, и день потерян.
Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла всё это —
города, человеков, но для начала зелень.
Стану спать не раздевшись или читать с любого
места чужую книгу, покамест остатки года,
как собака, сбежавшая от слепого,
переходят в положенном месте асфальт. Свобода
это когда забываешь отчество у тирана,
а слюна во рту слаще халвы Шираза,
и хотя твой мозг перекручен как рог барана,
ничего не каплет из голубого глаза.

ТОРС

Если вдруг забредаешь в каменную траву,
выглядающую в мраморе лучше, чем наяву,
или замечаешь фавна, предавшегося возне
с нимфой, и оба в бронзе счастливее, чем во сне,

можешь выпустить посох из натруженных рук:
ты в Империи, друг.

Воздух, пламень, вода, фавны, наяды, львы,
взятые из природы или из головы, —
всё, что придумал Бог и продолжать устал
разум, превращено в камень или металл.
Это — конец вещей, это — в конце пути
зеркало, чтоб войти.

Встань в свободную нишу и, закатив глаза,
смотри, как проходят века, исчезая за
поворотом, и как в паху прорастает мох
и на плечи ложится пыль — этот загар эпох.
Кто-то отколет руку, и голова с плеча
скатится вниз, стуча.

И останется торс, безымянная сумма мышц.
Через тысячу лет живущая в нише мышь с
ломаным когтем, не одолев гранит,
выйдя однажды вечером, пискнув, просеменит
через дорогу, чтоб не придти в нору
в полночь. Ни поутру.

* * *

Осенний вечер в скромном городке,
гордящемся присутствием на карте.
(Топограф был, наверное, в азарте
иль с дочкою судьи накоротке.)

Уставшее от собственных причуд,
пространство как бы скидывает бремя
величья, ограничиваясь тут
чертами Главной улицы. А время
взирает с неким холодом в кости
на циферблат колониальной лавки,

в чьих недрах — всё, что смог произвести
наш мир, от телескопа до булавки.

Здесь есть кино, салуны; за углом —
одно кафе с опущенною шторой.
Кирпичный банк с распластанным орлом.
Плюс церковь, о наличии которой
и ею расставляемых сетей,
когда б не рядом с почтой, позабыли.
И если б тут не делали детей,
то пастор бы крестил автомобили.

Здесь буйствуют кузнечики в тиши.
В шесть вечера, как вследствие атомной
войны, уже не встретишь ни души.
Луна всплывает, вписываясь в темный
квадрат окна, как капля в полиспаст,
да изредка, несущийся куда-то,
шикарный бьюик фарами обдаст
фигуру Неизвестного Солдата.

Здесь снится вам не женщина в трико,
но собственный ваш адрес на конверте.
Молочник, видя скисшим молоко,
здесь первым узнаёт о вашей смерти.
Здесь можно жить, забыв про календарь,
глотать свой бром, не выходить наружу
и в зеркало смотреться, как фонарь
глядится в высыхающую лужу.

ДЕКАБРЬ ВО ФЛОРЕНЦИИ

«Этот, уходя, не оглянулся...»

Анна Ахматова

I

Двери вдыхают воздух и выдыхают пар; но ты не вернешься сюда, где, разбившись попарно, население гуляет над обмелевшим Арно, напоминая новых четвероногих. Двери хлопают, на мостовую выходят звери. Что-то вправду от леса имеется в атмосфере этого города. Это — красивый город, где в известном возрасте просто отводишь взор от человека и поднимаешь ворот.

II

Глаз, мигая, заглатывает, погружаясь в сырые сумерки, как таблетки от памяти, фонари; и твой подъезд в двух минутах от Синьории намекает глухо, спустя века, на причину изгнания: вблизи вулкана невозможно жить, не показывая кулака. Но и нельзя разжать его, умирая, потому что смерть — это всегда вторая Флоренция с архитектурой Рая.

III

В полдень кошки заглядывают под скамейки, проверяя, черны ли тени. На Старом Мосту — теперь его починили — где бюстует на фоне синих холмов Челлини, бойко торгуют всяческой бранзулеткой; волны перебирают ветку, журча, за веткой.

И золотые пряди склоняющейся за редкой
вещью красавицы, роющейся меж коробок
под несатыми взглядами молодых торговок,
кажутся следом ангела в державе черноголовых.

IV

Человек превращается в шорох пера по бумаге, в кольца,
петли, клинышки букв и — потому что скользко —
в запятые и точки. Только подумать, сколько
раз, обнаружив «м» в заурядном слове,
перо спотыкалось и выводило брови
(то есть, чернила честнее крови),
и лицо в потёмках, словами наружу — благо
так куда быстрее просыхает влага —
смеялось, как скомканная бумага.

V

Набережные напоминают оцепеневший поезд.
Дома стоят на земле, видимы лишь по поясу.
Тело в плаще, ныряя в сырую полость
рта подворотни, по ломаным, обветшалым
плоским зубам поднимается мелким шагом
к воспалённому нёбу с его шершавым
неизменным «16»; пугающий безголосьем,
звонок порождает в итоге скрипучее «просим, просим»:
в прихожей вас обступают две старые цифры «8».

VI

В пыльной кофейне глаз в полумраке кепки
привыкает к нимфам плафона, к амурам, к лепке;
ощущая нехватку в терцинах, в клетке
дряхлый щегол выводит свои коленца.
Солнечный луч, разбившийся о дворец, о
купол собора, в котором лежит Лоренцо,
проникает сквозь штору и согревает вены

грязного мрамора, кадку с цветком вербены;
и щегол разливается в центре проволочной Равенны.

VII

Выдыхая пары, вдыхая воздух, двери
хлопают во Флоренции. Одну ли, две ли
проживаешь жизни, смотря по вере,
вечером в первой осознаешь: неправда,
что любовь движет звезды (Луну — давно),
ибо она делит все вещи на два —
даже деньги во сне. Даже, в часы досуга,
мысли о смерти. Если бы звезды Юга
двигались ею, то в стороны друг от друга.

VIII

Каменное гнездо оглашаемо громким визгом
тормозов; мостовую пересекаешь с риском
быть за ^клёманным насмерть. В декабрьском низком
небе громада яйца, снесенного Брунеллески,
вызывает слезу в зрачке, наторевшем в блеске
куполов. Полицейский на перекрестке
машет руками, как буква «ж», ни вниз, ни
вверх. Репродукторы лают о дороговизне.
О, неизбежность «ы» в правописании «жизни»!

IX

Есть города, в которые нет возврата.
Солнце бьется в их окна, как в гладкие зеркала. То
есть, в них не проникнешь ни за какое злато.
Там всегда протекает река под шестью мостами.
Там есть места, где припадал устами
тоже к устам и пером к листам. И
там рябит от аркад, колоннад, от чугунных пугал;
там толпа говорит, осаждая трамвайный угол,
на языке человека, который убыл.

ЧЕШСКИЙ ХЭППЕНИНГ

(Окончание)

Глава XXI

Жалоба романиста Боржека Вахи-Гомольского, депутата Императорского совета в Оломоуце

Кто вздумает, тот здесь и треплется: всякие смывшиеся особы легкого поведения (которым и на Сардинии трудно будет найти клиентов), алкоголики, сумасшедшие и даже мертвецы... Но дать первое слово чешскому романисту (к тому же — полномочному депутату Императорского совета в городе Оломоуце от избирательного округа 73), на чью голову обрушивается куча грязных сплетен, — нет, об этом догадались только под конец, когда обо мне болтает уже весь город и окрестности; у меня из-за этого рухнул многообещающий пятый брак, потому что со всех сторон набежали подростки и требуют признаться, что это я виноват в их появлении на свет! И только тогда этот бюрократ-составитель вспомнил обо мне и соизволил обратиться — может, и вы, господин депутат, что-нибудь добавите, для полноты картины? Он болван, этот составитель, вот что! У меня — депутатская неприкосновенность, могу обозвать его, как хочу!

Конечно, я скажу всё, но сначала подниму шум в Оломоуце — пусть городской голова хоть с ума спятит!

Я, кстати, мог бы спокойно делать вид, будто

Начало см. в №№ 5-9. Роман опубликован в журнальном варианте, со значительными сокращениями.

ничего не замечаю, мог бы пренебречь, посмотреть сквозь пальцы — тем более, что только в одной детали, а именно: сколько, действительно, диванов и кроватей я по беспутству своему поломал в больничной котельной, — только в этом я чувствую полную свою правоту. Как только господин Климент начал на меня клеветать, я не задумываясь подал на него в суд — за оскорбление личности и нанесение ущерба. И выиграл! Но он опять смеет утверждать, будто бы я привел в негодность всего два дивана и одну кровать, да и ту не доломал, так что она дожила в этом погребе до самых событий. Да он сам не знает, что говорит! Он глух ко всему! Неисправимый!

Два года назад я выиграл у него разбирательство в барахолковском районном суде. Независимый состав суда объективно подтвердил, что на самом деле было пять диванов и три кровати; в судебном решении это стоит черным по белому. Ладно, я не спрашиваю, куда подевались три дивана и две кровати, которых нам нехватало в суде. Если бы господин Климент и вправду не знал, что с ними случилось, он бы ими запросто спекульнул. Нет, я спрашиваю: неужели господин Климент не желает принять к сведению вступивший в законную силу приговор? Или он уже в таком маразме, что не может сосчитать до пяти? Так я его научу! Завою новое дело, и если ему мало одного возмещения убытков за нанесение ущерба моей личности (в сумме 60 крон) и возмещения судебных издержек (340 крон, часть из которых, к сожалению, пришлось и на меня), так на сей раз я уж добьюсь для него срока, даже если истрачу на это весь гонорар за последний роман «Если ты меня не изнасилуешь — мне конец».

Этот Климент задает вопрос, этот человек (что в данном конкретном случае НЕ звучит гордо) ставит вопрос: как же так, неужели я не стеснялся хотя бы господина священника Грдлички?

А я отвечаю: с чего бы это?

С того, что я из такого многочисленного семейства?

Или с того, что, кроме восьми родных и одиннадцати двоюродных братьев, у меня тогда было двадцать три свояченицы, шесть молодых тетушек и три мачехи на четвертом десятке, — с этого, что ли, мне стесняться господина священника?

Господин священник Грдличка своими глазами видел удостоверения личности всех этих дам. Я сам их ему и показывал, чтобы он не подумал чего дурного, и прямо просил записывать, вместе с адресами и номерами, — для статистики, но главное, чтобы журнал посещений хоть в котельной был в порядке, раз уж в проходной творилось чёрти что: там господин доцент Боуша левой рукой давал гарде конем господину доктору Фрагнеру, а правой — поднимал шлагбаум и впускал в больницу всех и всё, — если бы туда въехал луноход, он и его бы впустил, а кто лез пешком — на тех он и внимания не обращал. Если он, по случайности, не играл в шахматы, то глазел на улицу и мысленно решал какой-нибудь Эдиповский комплекс, хотя к чему бы это, раз даже в Барахолкове (а какой там был бардак!) никогда не случилось аферы вроде той, от которой загнулась бедняжка Иокаста, — нет, такого я не припомню, вряд ли и Карлуша Блатник что-нибудь похожее слышал, а то бы он мне сказал. А Карлуша по этой части знал в Барахолкове даже и то, чего не было, не говоря уж о действительных случаях.

Господин Климент, видите ли, удивляется, почему вообще я, писатель, пришел к нему в котельную и почему меня запретили печатать; по его мнению, мои, как он выражается, свинства могли бы преспокойно выходить и в эпоху Диспетчерской! Что это, наоборот, способствовало бы росту населения!

Да была ли Диспетчерская, собственно говоря, заинтересована в росте населения? Отнюдь! Диспетчерская была рада-радешенька прокормить то, что

уже было в наличии, а на всякие там приросты ей бы уже ресурсов не набрать — вот меня и запретили!

Я, конечно, могу подробно и безотлагательно — и даже охотно — объяснить, почему я пошел в котельную к господину Клименту, хотя вначале я шел туда без всякой радости — это факт.

В начале моей писательской карьеры я оказался в очень сложном положении. Диспетчерская требовала социальной проблематики, но конкуренция была сильной, и рынок — полностью завален. Полки книжных магазинов прогибались под «Гражданином Брыхом», «Рассветом над нами» и под «Дворниками» (романом «Встают дворники»), полностью исчерпавшими перерождение человека от душевной раздвоенности к радостному труду.

Что мне было делать?

Я думал, думал, дымил, дышал, вздыхал и охал, и наконец, меня осенило, да еще в кино, во время журнала. Как раз показывали делегацию грудничков, как она благодарит министра топлива за улучшение качества и ассортимента медицинских сестер.

Социальный кошмар — такова была моя идея!

За три недели я в поте лица написал свой первый труд, потрясший весь Лагерь мира: «Кости сироток в речке Острице».

Честно говоря, я и сам в себя еще не слишком верил. В чисто литературном отношении это было не Бог весть что. Поэтому-то, отправляясь с нею в издательство, нес в кармане пять сотен для редактора, а в портфеле — две бутылки «Гамзы», — и всё равно меня трясло от неуверенности.

Однако там сидел необычайно приветливый человек. Он был похож на ковбоя из вестерна и явно вышел из аристократов, потому что его звали Тургау-Мюллер. Он подал мне руку, взял рукопись, прочел это ужасное название и сразу как бы помолодел. Румя-

нец залил его бледные щеки, нос же, наоборот, позеленел. И хотя был июль, он произнес:

— С веселой Пасхой вас, приятель!

Эта необычность фразы, это «с Пасхой» вместо обычного «Христос Воскресе» — уже меня как-то удивило, хотя в июле и то и другое звучало идиотски. Но я не стал об этом размышлять, только помню — жара, и мы со свояченицей из Чешского Брода едем в бассейн, и на улице — ни скорлупки от крашенных яиц. Календарная ошибка исключалась. Даже вербочек уже не было в продаже.

Неделю я жил как на иголках, пока мне мой пасхальный Тургау-Мюллер не позвонил. Он из-за меня и в отпуск не поехал.

— Маэстро, — начал он, и мне стало ясно, что лед тронулся, — вы написали эпохальный труд. Позвольте поздравить вас от имени моего, моей семьи и господина директора!

Мой труд издали тиражом в два миллиона экземпляров, и уже за первые два года, не считая школьных, заводских и тюремных библиотек, которые получали книгу по разверстке, ее купили добровольно 27 читателей. Все они мне потом написали, что я жулик, так как ожидали, что это будет мини-детектив. А он не мог быть мини — только макси, и еще двадцать лет после этого целые поколения школьников благодаря мне выполняли месячную норму по сбору макулатуры — весил он кило двести. Так что это был действительно социальный кошмар, и, как я позже узнал из одного обзора, — это был и литературный кошмар.

Но Верховная диспетчерская торжествовала. Я немедленно получил Государственную премию, по книге сняли фильм, кто-то инсценировал ее для театра, а уж переводили ее! — даже на эскимосский. Мои карманы вдруг стали такими набитыми, что официанты еле успевали перехватить меня на пути из ресторана в ресторан.

«Кости сироток» мгновенно вознесли меня в такой зенит покровительства тогдашней Верховной диспетчерской, что и меня чуть было не сделали каким-нибудь диспетчером, скорее всего — по культуре, но я предотвратил это, заявив, что у меня нет времени, так как я пишу следующий роман. Всё-таки на время меня включили в состав всех заграничных культурных делегаций, и только Норвегия отказала мне во въездной визе — из-за этих моих костей в Остравице они опасались за свои фиорды.

В то время я, наконец, впервые в своей жизни, попал в Остраву — место действия моего славного романа. Да, выглядело всё там очень похоже на то, как я себе представлял; и Остравица прямо манила, чтобы в ней, в подходящей социальной атмосфере лежали сиротки.

Газеты, однако, писали, что читательская общественность нетерпеливо ожидает моих новых трудов. Господин Тургау-Мюллер деликатно намекнул мне, что и Верховный диспетчер с нетерпением ждет моих дальнейших творений. Ничего нельзя было поделать.

Тем не менее, мне как-то не хотелось продолжать. Я хорошо знал: «Кости» мне уже никогда не повторить. Я не чувствовал прилива творческих сил, я казался самому себе увядшим хвостиком петрушки. Да и время не казалось очень подходящим. Но долг взывал, и так возник мой второй роман «Банкир-прелюбодей».

В нем я впервые наметил настоящее направление моей будущей литературной эволюции. Этот «Банкир-прелюбодей» тоже был, по существу-то, социальным кошмаром: прибавочная стоимость в нем разливалась, как Дунай, а обнищание было больше абсолютного. Поскольку речь шла о владельце Аграрного банка, то малоземельные крестьяне в округе массами умирали от недоедания. Их жены и дочери, однако, сравнительно процветали — я обращался с ними бережно — и ста-

новились добычей похотливого банкира по фамилии Плойгар.

Мне сразу же было ясно, что в вымирание крестьян я далеко не вложил столько изобретательности, как в мерзкие инстинкты Плойгара, а некоторым мужикам я даже (по небрежности) позволил умереть своей смертью от старости, и это не перевешивало описаний всего, что вытворял Плойгар с крестьянками. Я постарался поправить дело финалом: там у меня владелец Аграрного банка сходит с ума от изнурения, поджигает два пакета акций фирмы «Хуторок», и сразу же после этого все малоземельные крестьянки, которых чудовище Плойгар успел — со всеми деталями — изнасиловать, массово вступают в СВАЗАРМ*.

Тургау-Мюллер уже не рассыпался в похвалах, и фильма не сделали, а вместо Государственной премии я получил только диплом «За заслуги в сельском строительстве», но читатели — читатели были довольны. Я обнаружил это очень скоро и сделал соответствующие выводы. «Диспетчерская смертна — хохмы вечны», — сказал я себе и начал перемещаться в сферу интимного романа. Вскоре после «Банкира-прелюбодея» я обрушил на неподготовленную общественность первый из своих классических романчиков «только для взрослых». Заголовок я для первого раза выбрал совершенно неброский: «Завод во мраке». Но речь там шла только о том, что происходит на заводе при перебоях в подаче электричества. Не приходится говорить, что люди прямо-таки рвали книгу у продавцов.

Ничего подобного при Диспетчерской еще не случилось. Критика колебалась, руководство не знало, что делать со мною — всё ж таки лауреатом, — а радио в этом хаосе даже начало цикл передач по моему роману и дошло уже до второй главы, где с первых строк похотливая женщина-мастер кидается на учени-

* СВАЗАРМ — чешский ДОСААФ. (Прим. пер.)

ков. Книги, оставшиеся в магазинах, позже конфисковали, в библиотеки ничего не попало, а цензоры получили распоряжение меня вычеркивать. Медвежью услугу оказал мне наш культурный атташе в Париже, радостно провозгласив, что какое-то весьма сомнительное издательство напечатало мой роман по-французски.

Пришлось укрощать самого себя, да уж прежнего было не вернуть. А когда, наконец, времена изменились, — стало ясно, что приходит моя окончательная литературная смерть, потому что новая диспетчерская ясно давала понять: она никогда не простит мне, что я позорно покинул сироток в Остравце, вернее, — их кости.

Я пытался отдалить наихудшее и опубликовал заявление, осуждающее землетрясение в Рейнско-Вестфальской области; даже газеты его напечатали, хотя на самом деле никакого землетрясения там не было. Бундестаг сделал интерпеляцию; но большего мне уже не удалось достигнуть. Я для них перестал существовать. Попал в черный список — на мое утешение, в таком прекрасном обществе, какое мне и в жизни не снилось.

Очень скоро все мои сбережения ушли на уплату алиментов. Чтобы не впасть в полную нищету, я и зацепился в Барахолкове, в больничной котельной. Да, до чего тяжела жизнь...

Этот невежда Климент, конечно, не знал ни моих «Костей», ни «Банкира», но о Плойгаре читала хотя бы его жена Мерседес, и она, между прочим, была у меня в котельной не только однажды ночью и уж вовсе не для того, чтобы я подбрасывал в топку побольше, но много раз, да и днем тоже: она ко мне ходила одалживать книжки! Давайте-ка говорить только правду!

Мне прямо смешно, когда господин Климент утверждает, что в больнице нечего было украсть лучше дрянной корпии и что у меня даже времени не было

подумать о таких вещах. Тут я могу его сразу же спокойненько поправить. Мне, правда, для себя ничего не требовалось, меня бы и свояченицы прокормили, да еще кое-чем помогала его жена Мерседес, но речь шла не только о кормежке! Кое-какие побочные расходы у меня всё же были, и разве хватило бы на это моих 860 крон в месяц, остававшихся после уплаты алиментов? Да разве господин Климент забыл, что мы за это время дважды меняли котел и трубы? А измеряли когда-нибудь господин Климент длину и ширину больницы и длину труб, которые я в нее якобы напихал?

Не хочу вдаваться в подробности, скажу только, что тогда везде и всюду было что украсть, но для этого голова должна была быть набита мозгами, а не соломой, как у бывшего господина управляющего.

Очень меня радует и трогает, что обо мне и о тогдашних нравах написал с таким редкостным тактом мастер слова Блатник, мой друг Карлуша. Думаю, он действительно хорошо понял меня самого и мой характер, а также мое доброе сердце и самоотверженность. Только мое литературное имя слегка перепутал — видимо, нарочно, чтобы в случае чего не потянули к ответственности и в суде бы он мог сказать, что, мол, произошла ошибка, господин судья, я имел в виду кого-то совсем другого, вот если тот, другой, на меня подаст в суд, то я, пожалуйста, готов извиниться, а здесь присутствующему, господин председатель, не на что жаловаться, ведь я его даже не знаю!

Да, что ни говорите, Карлуша Блатник остался хитрой лисой и в старости!

Так вот, Боржеком Гомолой я никогда не подписывался, нет, мое литературное имя всегда было Боржек Гомольский, а потом уже — Боржек Ваха-Гомольский, чтобы почтальонам не разыскивать меня с поздравительными письмами.

Во всем остальном ты прав, Карлуша! У меня всё

— прямо из жизни, ничего не высосано из пальца; недаром литературный критик Хужера написал, что если уж молодое поколение должно у кого-то учиться диспетчерскому реализму, то пусть учится либо в «Мире моторов»*, либо по моим «Костям в Остранице»!

И что я, мол, никому не отказывал или даже был неразборчивым? Ну да, я был не просто джентльменом, а кавалером. Я не ограничивался призванием инженера человеческих душ, да оно, кроме моего благодетеля господина Тургау-Мюллера, никого и не восхищало. Нет, с самого начала я чувствовал, что как человек пера я должен быть еще и — а может быть, главным образом, — инженером человеческих тел. О душе-то люди чаще всего и не думают, а тело напоминает о себе каждую минуту: достаточно слегка удариться, и оно тут как тут! Или вот — гвоздь в ботинке: идете, стонете, разве придет тут в голову, что, кроме подошвы, у вас еще и душа есть?

Поэтому я ни одну свою читательницу — раз уж она решилась прийти ко мне аж в котельную — никогда не выставил и даже какого-нибудь неудовольствия не выказал. В крайнем случае, я показывал ей на стене расписание дежурств и предлагал более удобное время, чтобы нам никто не мешал и мы могли бы спокойно поговорить о моих книгах или просто так — о человеческих проблемах. А проблемы были у каждой, все на что-нибудь жаловались: на глупого мужа, на неспособного шефа, тещу-алкоголичку и т. д. И я всегда терпеливо и доброжелательно выслушивал всё, независимо от угощения. И поэтому все мои несчастные посетительницы вспоминали обо мне с уважением и с нежностью и радостью возвращались снова, они были как мой личный архив.

* «Мир моторов» — чешский журнал для любителей автомобильного спорта. (Прим. пер.)

Благодаря этому, после возрождения нормальной жизни мне было очень легко стать депутатом Императорского совета в городе Оломоуце от Барахолкова. Выбрали меня абсолютным большинством голосов и без единой кроны расходов, тогда как остальные политические партии из кожи вон лезли и повышвыривали на ветер миллионы крон.

О самих тогдашних событиях, к сожалению, мне добавить нечего. Я рассматриваю свое участие в данной анкете как завершение моей гражданской и литературной реабилитации, хотя и то, что обо мне сказано, моей политической карьере не повредило, скорее — наоборот.

Всё же хотелось бы, чтобы те времена, когда всякий господин Климент мог меня очернить, больше не повторялись. Он и раньше это пробовал, хотя сам до сих пор носит нижнее белье со штампом «Райздрав-служба», и если через десять лет после его ухода из больницы никто не видел, чтобы он покупал простыни или лампочки, это тоже что-нибудь да значит.

Когда у нас в больнице родились шестерняшки, я — в отличие от господина Климента, который был в вопросах популяции полный невежда, — сразу же понял, что это событие мирового значения. Тот факт, что шестерняшки родились именно у нас в больнице, где я работал истопником, я никогда не переставал подчеркивать при самых различных обстоятельствах — как живое доказательство того, что без труда не вынешь и рыбки из пруда и что ум хорошо, а два лучше.

Здесь кто-то упомянул также о супруге некоего генерала, которая якобы навещала меня в котельной в передетом виде.

Я уже не могу точно припомнить, в такой толпе одиночка может легко затеряться. Но Карлуша Блатник мне действительно однажды послал какую-то заграничную почтальоншу по имени Арфа, причем с просьбой, чтобы я сделал ей гороскоп. Даже эту даму

я не выгнал, тем более, что она мне в авоське принесла пятикилограммовую банку черной икры. Мы потом с господином священником Грдличкой ели эту икру почти неделю. К концу мы смотреть на нее не могли, но бедному человеку нельзя быть слишком разборчивым в еде.

Я ничего не утаиваю, да и утаивать мне нечего. Более того, я сейчас пишу книгу «Воспоминания о котельной», а в ней каждый, кто захочет узнать побольше, прочтет всё, что его интересует. Ради печатания «Воспоминаний» принимаю пожертвования в предвыборный фонд.

Глава XXII

Восхождение и падение чешского лесничего Вацлава Покорного

Даже когда я был ребенком, господа, в голову не приходило, какие пертурбации произойдут в моей жизни, а вы ведь знаете, что детство — пора самых буйных фантазий. Я и сам не доищу причин, почему всё это происходило со мной. Собственно, знаю только одну. А были это муфлоны, господа. Мне бы не хотелось на них всё сваливать, они существа бессловесные и ни за что не отвечают, но факт есть факт.

Знаете ли вы вообще, господа, что такое муфлон? Большинство людей понятия не имеет. Я раз отгадывал кроссворд в «Вестнике чешских юристов», и там был вопрос: «Известный индийский преступник из шести букв». И представляете, что у меня вышло? Муфлон! Разве это вежливо по отношению к животным?

В наше время муфлонов встретишь только в зоопарках, но тогда, во времена моей молодости и даже в расцвете моих сил, когда я еще не предполагал, что

мне готовит судьба, встречались у нас муфлоны там и сям и даже бегали на свободе. И на моем участке было одно стадо поменьше, на холме Вратень, между Олешном и Носаловым, поскольку мой участок был над Кокоржинской долиной*, а не где-нибудь в Подкрконоши, как тут рассказывает эта дура из Сицилии. Так вот, муфлон, господа, — это, в сущности, такая одичавшая овца, если, конечно, не считать овцу прирученным муфлоном. Мы в школе проходили, что муфлон — жвачное парнокопытное из семейства туров, у нас его вначале не было, и привез его к нам в прошлом веке откуда-то с Корсики князь Гогенлоэ. Может, господин князь Гогенлоэ, действительно, привез к нам с Корсики что-то, я не знаю, с Корсики наверняка можно многое привезти, но что касается муфлонов — не мне рассказывайте. Мой почтенный отец, тогда уже служивший лесничим, говорил, что господин князь Гогенлоэ был известный пьянчуга, и что на Вратени это небольшое стадо муфлонов жило уже при нашем прадедушке Вацлаве Покорном, который лично 25 февраля 1828 года по дороге из Ждяра, возвращаясь из трактира, ночью, встретил в лесу лешего, и тот сказал ему:

— Сегодня я ужинал, Вацлав, но если встречу тебя или твоих потомков еще раз 25 февраля, то сожру без жалости.

С того времени в нашей семье 25 февраля** никто не выходит на улицу, детей не пускаем в школу, только дадим корм курам, накормим поросенка — и сидим дома, потому что не знаю, как кто, а Леший никогда не бросает слов на ветер, господа.

Один раз все же случилось, — было это именно

* Кокоржин — район в Средней Чехии, в 50 км севернее Праги. (Прим. пер.)

** 25 февраля — день празднования февральского переворота 1948 года в ЧССР. (Прим. пер.)

25 февраля, уже многие годы существовало Общественное Благо и диспетчерскую вынуждены были устроить даже в Лесном управлении в Мшено, — приехали к нам гости. Зима стояла в тот год довольно сухая, снегу — чуть-чуть, морозов — почти никаких, и даже одна здешняя кукушка (мы звали ее Камила) поленилась в тот год улететь в Эритрею и, предчувствуя теплую зиму, осталась у нас и на Рождество нам куковала. И вот 25-го сидел я, конечно, дома, господа, как посоветовал Леший моему прадедушке по дороге из Ждыра, и читал специальную литературу, как вдруг вижу: по лесной дороге движется к дому какая-то колонна автомобилей. Машин приехало всего пять, и из них в два счета высыпало пятнадцать мужчин.

Моя жена, добрая душа, как это увидала, сразу разревелась, думая, что это за мной, и причитая, что нам давно следовало выйти из церкви — в Бога можно верить и частным образом. А моя маленькая девочка Пепичка, наш первенец, еще в колясочке, тоже начала орать; я же сказал успокоительно, оценив обстановку:

— Не ревите, девки, тут что-то другое: из этих пятнадцати мужиков — шпики только одиннадцать, остальные — начальство, а начальство участвует в арестах тогда только, когда арестовывают другого начальника. Ну, а это не мой случай, я пятая спица в колеснице.

В этом, к счастью, я оказался прав, хоть — с другой стороны — сказать «к счастью» тут не слишком подходило. Они мне, короче говоря, привезли одного заграничного дружественного диспетчера, как раз гостившего в Чехии, и сказали, что этот господин очень бы хотел пристрелить муфлона.

Как я это услышал, — а вылез я во двор в одних шлепанцах, чтобы Леший в случае чего видел, что я из дому не выхожу добровольно, — сразу замахал руками и заявил как можно более веско:

— Так этого, господа, не будет. Во-первых, у

меня запланирован отстрел одного муфлона только в сентябре сего года. Во-вторых, в это время звери, исключая вредных, охраняются законом. И, в-третьих, сегодня 25 февраля, если вы не обратили внимание, и это уж совершенно невозможно, потому что еще мой прадедущка навеки договорился с Лешим, что в этот день мы не полезем к нему в лес, или он нас сожрет.

Был с ними и мой главный шеф, которого они взяли по дороге, Иржи Загайский. Симпатичный человек и шутник. Первоначально его звали Цимперлес, потом одно время он делал из себя барона, а когда наступило Общественное Благо, писал в анкетах, что его папаша работал мешалкой у Оты в Раковнике* и разварился по ошибке в мыле. Мы-то, конечно, хорошо знали, что старый Цимперлес живет в Вене, где у него есть фабрика плечиков! И вот мой главный шеф, господин Загайский, стоял за спинами этих шпигов и начальников, отчаянно подмигивал и на что-то показывал, а я не мог понять, что ему надо, — ни о каком тайном языке для глухонемых мы наперед не договаривались; и поэтому я предпочел придерживаться лесных инструкций (как, между прочим, делал всегда)...

Начальники при этом улыбались, только шпики хмурились, так что их можно было сразу отличить, а господин Загайский всё время подмигивал, пока не закуковала Камила. Тут он перестал подмигивать и дергаться и начал вроде бы удивляться.

Какой-то из начальников тоже спросил:

— Как это, в такое необычное время и кукует кукушка?

Тогда один из шпигов, низенький и прыщавый, вышел вперед и говорит, чтобы показать себя:

— Господин верховный диспетчер, это не кукуш-

* «Ота» — известнейший в Чехии мыловаренный завод. (Прим. пер.)

ка, это мой орган, прапорщик Иван Затухло. Он подавал мне сигнал, что находится на своем посту.

Тем самым я, правда, узнал, какое высокое начальство к нам понаехало, но тип, похваставшийся, что в лесу кукует его орган, меня разозлил. Я никогда не любил, чтобы мне морочили голову.

— Никакой это не Затухло, чучело вы разэтакое, — раздраженно сказал я. — Были вы вообще когда-нибудь в лесу? Это как раз закуковала моя Камила, которая тут осталась из-за теплой зимы! Не оскорбляйте, пожалуйста, моих птиц и заботьтесь лучше о себе!

Как мне потом сказал мой шеф, господин Иржи Загайский, так тот тип, которого я отбрил, был министр внутренних дел. Ну и влип же я! Этот тип потом до конца остался моим личным врагом.

Он хотел, конечно, сразу же от меня доказательств, потому что приятно ли ему было срамиться в таком обществе. Лицо у него побагровело, угри так и блестели, и у меня создалось впечатление, что сейчас он вlepит мне затрещину. Я еще и не предполагал, кто он такой, да и с виду он был такой хилый, а я отличался могучим телосложением и весил почти девяносто пять кило и мог бы ему тоже вlepить без размышлений, так что он бы айн-цвай сидел на ветке, может, как раз рядом с моей Камиллой.

Но он взял себя в руки; а мне не оставалось ничего другого, как доказать, что это кукушка, а не какой-то Затухло.

Ну, мне это труда не составило. Я, не сходя с места, договорился с Камиллой, и она даже пролетела у нас над головами, и господин министр мог заткнуться, господа, вместе с своим Затухло — этого топтуна и след простыл. Да ведь и мои собаки лаяли бы, если бы кто-нибудь шатался возле дома.

В общем, я, видимо, произвел на остальных начальников хорошее впечатление, и они решили пока

что оставить моих муфлонов и моего Лешего в покое. Особенно тот чужой верховный диспетчер мне всё время дружески улыбался, тряс руку и неизвестно почему вдруг подарил ящик спиртного. Уезжая, они сказали, что приедут осенью. Я надеялся, что, может, забудут.

Наконец, все уехали. Но примерно через полчаса вернулся мой шеф, господин Загайский, весь бледный, и сообщил, что я оскорбил министра внутренних дел. Как ни странно, никаких последствий это не имело. Видно, вышло распоряжение побережь меня хотя бы до гона.

Тот ящик спиртного был громадный — я, собственно, еще и до сей поры не всё выпил, я ведь пью только, чтоб согреться, а зимы пошли теплые, и убывало это медленно. Но тот чужой начальник память имел хорошую. В конце октября приехал снова. На сей раз — в охотничьем костюме, через левое плечо — двустволка, через правое — штуцер, и стерегло его только двенадцать шпиков, тоже по-разному переодетых. В большинстве своем они полеживали в лесу, лишь один всё время вертелся около и, главное, первым пробовал всё, что этот верховный диспетчер у нас ел и пил.

А иностранцу у нас очень понравилось. Звали его Микулаш, но когда я в конце концов позволил ему пристукнуть одного муфлона постарше, с красивой головой, который уже не годился для самок, тогда мы впервые вместе выпили, и он предложил мне звать его Микулкой. И начал ездить ко мне регулярно. К сожалению, из-за этого весь мой район обнесли колючей проволокой, и никто не смел туда вторгнуться. Даже господин Загайский, мой главный шеф, когда ездил меня контролировать, должен был наперед иметь разрешение от Верховной диспетчерской.

Ну, а моя дружба с Микулкой, начавшаяся так невинно, с муфлонов и Лешего, потом как следует со-

трясла мою жизнь. Потому что однажды Микулка — а было это уже, наверно, на третий год его приездов — с бухты-барахты сказанул, когда мы сидели в засаде на вепря:

— Вацлав, я тебя сделаю тут верховным диспетчером.

Мороз пробежал у меня по спине аж до самого копчика, и начал я про себя быстро молиться: «Богородице, Дево, радуйся...», только бы появились вепри и Микулка бы забыл о своей идее. Но они, как на зло, не появлялись, и у него было время развивать свою мысль.

— Ты, Вацлав, человек простой и неиспорченный, — продолжал он, — ты мне тут не будешь делать никаких вывертов, на тебя я смогу положиться. В здешней диспетчерской — ужасная банда, сплошные интриги, один чернит другого, один на другого ябедничает, я уж этим, дружище, сыт по горло, покоя хочется.

— А как муфлоны? — старался я перевести разговор на другую тему, но он всё время молол свое.

— Будем сюда ездить и дальше. Назначишь вместо себя другого лесничего и переедешь в столицу.

Никак не давал себя отговорить, пропади он пропадом. Я уж просил его и так и сяк, объяснял ему, что я человек добрый и поэтому в правительство не гоюсь, но он уперся и дело с концом. Через месяц я стал верховным диспетчером. Старуха моя даже варенье сварить не успела.

Не знаю уж, что говорило об этом население и, главное, люди в Кокоржинской долине, но остальные верховные диспетчеры и всякие чиновники пониже были в ярости. Особенно, когда должны были — время от времени — дать мне возможность самому что-нибудь решить. А у меня и представления не было, как надо управлять. Сами понимаете — любитель!

Это проявилось уже через месяц. Принесли мне на подпись какой-то декрет, я его прочел и спросил:

— А почему это не разрешать блондинам носить в среду зонтики?

Сами не знали — почему, и наконец я из них выжал, что это для порядка. Ну, я и не подписал. Для меня это не имело смысла, пусть каждый носит зонтик хоть в Крещенский вечер, если нравится, — какое мне дело? Но таких вещей было побольше, и вот я оглянуться не успел, как оказался на ножах с Верховной диспетчерской. Я всё разрешал, кроме хождения в лес 25 февраля и отстрела зверей в запрещенное время. Вот и вызвал я очень скоро в Чехии такую анархию, что диспетчерская чуть было не развалилась, а Общественное Благо почти прекратило свое существование. Должны были меня сместить. Я с этим согласен — вынуждены были. Лесничий в Чехии управлять не может — народ не трясется от страха перед правительством и всякое себе позволяет.

Когда меня снимали, я порадовался, что снова вернусь в свое лесничество, к муфлонам, к Камиле, к господину Загайскому и к Лешему. Но тут внесли ясность.

— Об этом, Покорный, лучше забудьте, — сказал мне тот угреватый министр. — Вы у нас теперь должны быть на виду.

Нашли мне такую квартирку поменьше на Малой Стране* в глухой улице. Квартира была полна проводов, а за стеной всю ночь раздавались шаги. Самого меня прикомандировали к бурильной установке у деревни Сесоувел, возле Погорелова. Там я две недели торчал, а на два дня меня пускали домой, к жене, в Прагу. Но через два дня опять гнали обратно, в тот вагончик, где за мной всё время следил их человек, некий Вывртник. Это был железный тип, хоть он и много курил, много пил и страдал одышкой.

* Мала Страна — городской район старой Праги, расположенный под Градчанами. (Прим. пер.)

Я старался добиться помощи от моего старого приятеля Микулаша, но и он тоже на меня рассердился.

«Не оправдал ты моего доверия, Вацлав, — написал он мне на почтовой открытке. — Я надеялся, что ты наведешь порядок, а ты вместо этого за несколько месяцев устроил хаос похуже, чем все предыдущие диспетчеры, вместе взятые. С Богом, приятель, у меня другие заботы».

Таким образом, я оказался в тупике. И страдал я в вагончике, оторванный от своей семьи; в лес за мной всегда тащился Вывртник и не давал мне даже нужду справить в одиночестве. Людей от меня отгонял, и единственное, что разрешил, — опять отрастить бороду, я ее всегда раньше носил, когда был лесничим, поскольку с молодости ненавижу бриться, но должен был побриться в должности верховного диспетчера, чтобы красивее выглядеть на портретах для школ и домоуправлений. Бородатым меня знали, собственно, только люди из Кокоржинской долины, а остальная часть народа помнила бритым, так что вскоре я вообще перестал привлекать внимание. Это Вывртника успокоило, хотя рук он все же не покладал. Даже ночью. Стоило мне шевельнуться, встать по нужде — он сразу же вскакивал и шел за мной, да еще делал вид, что ему тоже хочется.

Само собой, наше совместное хозяйничанье в вагончике у деревни Сесоувел, возле Погорелова, не могло пройти без последствий. Я научил его различать звуки птиц и дикого вепря, а он научил меня азбуке Морзе и как подглядывать в чужую квартиру, если там спущены шторы. Еще он мне выдал, что изучает китайский язык. Звали его Матей, и он страдал ангиной. К концу он демонстрировал мне даже допрос пятой степени и при этом чуть не выколол себе глаз.

Что касается бурения, так мы не слишком-то бурили. Всё это было там устроено, главное, для того,

чтобы кто-нибудь не подумал, что мы там просто бездельничаем.

Через некоторое время Матей Вывртник начал мне настолько доверять, что принялся водить к себе какую-то дамочку из Сесоувела, но когда она бывала у него в вагончике, привязывал меня цепью к агрегату.

— Ты не должен на меня сердиться, Вацлав, — извинялся Матей каждый раз и ставил около меня ведро холодной воды с бутылкой пива в нем. — Это в твоих собственных интересах. Тебя могли бы украсть голландцы. Они на тебя зарятся.

Я уж ни о чем не расспрашивал, тайна так тайна. Таковы его служебные обязанности, — думал я и утолял жажду пивом, пока Матей был с дамочкой в вагончике.

Поймите, господа, быть свидетелем таких сцен, а жену навещать раз в две недели — это не шутки. Я приезжал, как заведенный. Не могло кончиться по-другому — Ирма забеременела.

— Это не было наперед одобрено, — грустно упрекнул меня Матей. — Ведь не животное же ты, Вацлав. Даже диспетчерская не испытывает от этого никакой радости. Скажи жене, пусть сделает аборт!

— Не захочет, — ответил я ему уверенно. — Она верующая. Уже трижды жертвовала на молитвы, чтоб забеременеть. Она и тройняшек готова родить, — добавил я необдуманно. Мог ли я предполагать?

Верховная диспетчерская позже утвердила мне беременность, однако с условием, что всё произойдет негласно, без участия заграничной прессы, и что будут максимально двойняшки. Кроме того, я должен был подписать обязательство больше этого не повторять, иначе меня переведут в Евичко. Я хорошо знал, чем это пахло.

У моей жены в Праге тоже имелись свои вывртники, причем двое, которые чередовались. Некие Мацоурек и Доудера. Иногда они ей даже помогали делать

покупки. Им приходилось не так легко, как Матею, потому что в Праге женщина набегается, прежде чем достанет, что нужно, а я у Сесоувела лежал в вагончике, и Матею особенно двигаться не приходилось.

Потом наступила осень, приблизилось Рождество, и моя жена, ожидавшая этого в конце января, приехала ко мне в Сочельник, потому что выходные у меня приходились на 30 и 31 декабря, а до этого не разрешалось ехать домой ни мне, ни Матею. Хотела привезти мне рождественские подарки, а также — кое-что на зуб.

Но тут началась вьюга, которую покойник господин Ведлейш объясняет тем, что его разволновали манипуляции, производимые с его собственным трупом. Допустим, но признавал ли господин Ведлейш, что моя жена могла от этого выкинуть?

Ирма, бедняжка, еле-еле добралась ко мне со своей кошёлкой. Она выглядела уже совсем как шар, ей сказали, что ожидаются двойняшки. Доудера сзади крался за ней по полю, как заяц-беляк.

Матей действительно оставил нас около часу одних и действительно сказал, уходя, — очень тактично, — что идет пока слепить снежную бабу. Но он просто снаружи утешал Доудеру. А вот что он лазил с ним на триангуляционную вышку — неправда, потому что в рамках противовоздушной обороны страны все триангуляционные вышки страны были уже разрушены, чтобы не дать возможность неприятелю посылать свои пиратские ракеты в Погорелово. На самом деле Матей с Доудерой лежали под вагончиком и слушали, о чем мы с женой говорим внутри. Дело в том, что наше подслушивающее устройство хоть и работало, но испортилось записывание, несмотря на то, что мы с Матеем с самого Поминального дня пытались его исправить. И вот они под вагончиком подслушивали нас, а мы, в свою очередь, — их, когда разговаривали они.

Мы с Ирмой разговор сократили, чтобы те двое внизу не замерзли, а потом я ее с трудом проводил в этой выюге к автобусу в Сесоувел, причем за нами крался слева Доудера, а справа — Матей. Но Матей делал всё не так тщательно, потому что свою незаметность давно не принимал всерьез.

Потом автобус все же приехал и уехал; и мы вдвоем с Матеем вернулись в вагончик, я — озабоченный, как жена в таком состоянии доедет в Прагу. До утра нас совсем завалило снегом — мы даже не могли открыть дверь.

Вспоминаю, что когда мы в этот Рождественский вечер ели привезенное нам Ирмой, Матей сказал, словно читал мои мысли:

— Преданный работник этот Доудера, но только немного тронутый и, главное, пьянчуга. Беспокоюсь, Вацлав, как он за твоей старухой присмотрит. Мацоурек был бы сегодня лучше.

— А почему с ней не поехал Мацоурек? — спросил я его.

— У него якобы прострел, но Доудера думает, что он это симулирует.

— Разве и у вас симулируют? — удивился я, поскольку всегда думал, что у жандармов сознательность железная.

— Знал бы ты! — сказал мне Матей с намеком, но дальше не распространялся, хоть записывающее устройство и не работало.

Потом мы заснули, на дворе завывал ветер и швырял на наше убогое пристанище целые кучи снега. Спали мы целую ночь, только помню, как под утро Матей встал напиться — у него была изжога. А мне снился Доудера — как будто мы с ним едем на карусели. И кто знает, где он находился в то время?

Так прошли и первый день Рождества и праздник Штепана. Мы играли в «дамки», в «уголки», в «подкидного» и даже в «марьяж». Тем временем снег про-

должал идти с небольшими перерывами дальше, и мы сошлись во мнении, что с судьбой чешского народа при таком стихийном бедствии — дело дрянь. И потом наконец наступила та ночь на 28 декабря.

Мы легли спать около одиннадцати, Матей еще почитал запрещенный роман Боржека Вахи-Гомольского «Лежащая женщина» из библиотеки Министерства внутренних дел, но скоро заснул. Как на зло, тут же проснулись мыши. Куда они там залезли, не знаю, но факт тот, что они шебуршили под полом так громко, что я не мог уснуть. Бросил я им кусок пирога, но они продолжали шебуршиться. Матею это, видимо, не мешало; чёрт знает, что ему снилось после такого чтения.

Тогда я зажег свечку, чтобы ему не мешать, и потихоньку включил транзистор.

Мы с Матеем известия принципиально не слушали. Только музыку. Стоило начаться болтовне, как кто-нибудь из нас это выключал. Народные привычки овладевают, по-видимому, каждой натурой. Поэтому и я не знал, что о моих новых детушках радио передает уже с двенадцати часов дня, по крайней мере, каждый час. Только ночью, когда Матей спал, а я довольно случайно и потихоньку включил транзистор, нашарил я «Голос Америки» и вдруг слышу — сообщают мне о надбавке к зарплате на детей, да еще такой, что хоть сразу делай долги. Выслушал я всё до конца и сдвинуться с места не мог. Только после этого я начал трясти Матея.

— Чего дурака валяешь? — спросил он, очнувшись, скорее всего, от приготовлений к греху и увидев горящую свечу, включенное радио и меня, сидящего, как в кино. Моя тень двигалась по потолку вагончика, словно чудовище.

— Матей Вывртник, — сказал я торжественно и почесал бороду, из которой при этом иногда вылетали электрические искры, — какое сегодня число?

Ответил он довольно вульгарно, повернулся на другой бок и хотел спать дальше, но я снова встряхнул его. Он вскочил и поглядел на столик, не осталось ли там еще немного рома, принесенного моей женой.

— Что ты пил? — спросил он меня прямо.

Я на это не реагировал.

— Несколько минут тому назад, — продолжал я голосом столь же торжественным, как вначале, — наступило двадцать восьмое декабря. И у меня, милый Матей, есть в Барахолкове, в роддоме, трехдневные шестерняшки. Пять мальчиков и одна девочка. Мать здорова, благословение Господу Богу. А теперь наливай, жандармская фуражка, надо выпить за это!

— Спятил, — запричитал майор Вывртник, который, вследствие длительного отшельничества со мной, вернулся к природе и настолько отвык от диспетчерской, что просто переставал верить в невероятное. Но тут мы услышали какие-то другие сообщения, на сей раз — по-словацки, хоть и из Ватикана. Читали комментарий кардинала Портоаллегри Вальполличелло обо мне, о моей жене и о наших шестерняшках. В это, как ветерок, дующий издалека, врывается звон римских колоколов. Матей начал издавать стоны отчаяния, тогда как я предавался радостным раздумьям. Мне даже казалось, будто в вагончике закуковала Камила.

Я сразу понадеялся, что за такое доказательство моей национальной сознательности диспетчерская наконец отпустит меня из своих служб и разрешит переселиться на Вратень к моим муффонам.

Но Матей вскочил и закричал:

— Ты нарушил договор с диспетчерской! Обещал максимум двойняшек и что не будет присутствовать заграничная пресса!

— Никто при этом не присутствовал, Матей, — успокоил я его, — кроме Мацоурека, несшего службу. Кроме того, мне кажется, что обо мне совершенно не знают. Ты слышал: и Микулаш послал мне телеграмму!

Тогда он сдался.

Но когда я встал и заявил, что немедленно туда еду, он прямо взвыл от отчаяния. Когда я оделся и готовился вырубить топором дыру в потолке, чтобы попасть на улицу, — он даже угрожал мне револьвером.

— Пожалуйста, стреляй, — воскликнул я патетически. — И будут у тебя на шее семеро сироток и одна вдова!

Тогда он передумал и сказал, чтобы я подождал, он оденется и поедет лучше со мной — иначе я еще погибну в сугробах.

И вот мы отправились. Это был фантастический поход, господа. Поезда в Погорелово я решил не ждать, потому что он шел только утром, да еще обещали восьмичасовое опоздание. На семафоре мы видели повесившегося начальника станции. Стихийное бедствие немилосердно требовало жертв.

Мы выехали на лыжах, поскольку на перроне их лежала целая куча. В темноте мы, к сожалению, заблудились и доехали до самого Буштеграда, но там опять взяли правильное направление и через пять часов усиленной езды наконец приближались к цели. Примерно в десяти километрах от города Матей вдруг ослабел, повалился на снег и завопил, что предпочитает замерзнуть. И так он выдержал немало.

Остаток пути я нес его на спине. Это меня несколько задержало; и только перед больницей я его снял, чтобы он явился туда как бы в порядке.

В 6.13 мы прошли через проходную, где двое мужчин играли в шахматы. Они вообще не обратили на нас внимания. На дворе же стояло несколько сотен человек с фотоаппаратами, они были сильно засыпаны снегом, пили из термосов и жевали бутерброды. В зале ожидания Матей снова скапустился, ему дали выпить какую-то жидкость, и он потом проспал до самой новогодней ночи.

Зато я, наконец, в 6.50, после выполнения формальностей и душа, хотя бы через стекло увидел свою жену и деток, по порядку уложенных в каком-то большом чулане. Я не мог сдержать потоки радостных слез. В голове у меня, однако, сверлила мысль: «Куда же мы дома всё это уложим?»

Потом меня господин главврач Белый пригласил на завтрак, а перед этим пришлось дать сфотографировать себя целой армии фотографов.

Когда я после съел четыре яичка всмятку, выпил чаю и начал раздумывать, не пойти ли вздремнуть где-нибудь поблизости от Матея, к которому я привык, открылись двери, ворвались жандармы и сцапали меня — я и ахнуть не успел.

Начался, господа, скандал галактических размеров. У меня, на самом деле, появились эти шестерняшки немного безответственно, это факт. Человек не может делать такие вещи и не думать при этом, в какое время он это делает!

Однако, можно ли, господа, контролировать оплодотворение, когда человек приезжает домой отдохнувший из вагончика? Трудно, господа!

Как бывшего верховного диспетчера меня бы за такое дело — случись оно пару лет тому назад — очевидно, повесили, тогда как теперь меня лишь посадили, причем — в Далиборку*, отведенную для специальных случаев. Питание было бесплатное, и меня даже не заставляли учиться играть на скрипке. Диспетчерская между тем несколько дней бешено совещалась и даже послала делегацию к Микулке — спросить, что со мной и с моей семьей делать. Должен засвидетельствовать, что Микулка на сей раз спас меня хотя бы от самого худшего, господа. Знаю об этом прямо от него,

* Далиборка — древняя тюрьма в окрестности пражских Градчан. Названа по имени сидевшего там в Средневековье Далибора, который, по легенде, выучился играть в ней на скрипке. (Прим. пер.)

он теперь пасет у меня муфлонов, хотя осталось их всего три штуки. Он на пенсии, делать ему всё равно нечего, а у нас на Вратени ему всегда нравилось.

Сначала они хотели разгласить, что я сумасшедший, сунуть меня в сумасшедший дом, а моя жена должна была сделать заявление, что у нее произошло непорочное зачатие и что я сразу после этого ее позорно бросил. Это предлагал тот министр внутренних дел, которого я тогда, в самом начале, сделал посмешищем вместе с его органом Затухлым.

Как вы уже знаете, господа, во всё это вмешались другие силы и события, о которых я не столь осведомлен, благодаря чему мне всё же разрешили опять смыться в Кокоржин, где с того времени я спокойно ращу своего первенца дочку Пепичку, потом — последыша Камилку, названную в честь моей пропавшей кукушки, ну и, само собой, тут же околачиваются все пятеро мальчишек. Самого маленького, между прочим, зовут Матей, потому как за что боролись — на то и напоролись, господа.

Глава XXIV

Восстание Серой Чумы

Прежде чем я разработал в письменном и графическом виде свою идею Серой Чумы, произошла обычная периодическая смена должностей, так что господин Таф стал снова старостой, а диспетчером оказался господин Гаек. Поэтому пришлось отправиться к господину Тафу в ратушу. К счастью, оказалось безразлично, где он сидит.

Мое предложение организовать одетые в форму отряды для подсчета собачьего дерьма и для взимания штрафов с владельцев собак вызвало восторг не только у господина Тафа, но и всей районной диспетчерской.

Особое впечатление произвели на них представленные мною статистические данные: в Барахолкове общим счетом 3.000 собак, причем каждая ежедневно испражняется по четыре раза в день и 27 раз справляет малую нужду, тем самым на улицах ежедневно нагромождается 12.000 собачьих твердых фекалий и 81.000 лужиц. И все это происходит без всякого вмешательства и контроля диспетчерской! Мое предложение было принято единогласно. Меня сразу же назначили референтом и уполномочили создать соответствующий отдел! Да еще выделили фонды — и я незамедлительно начал вербовку борцов с собачьим дерьмом в Барахолкове.

Сами понимаете, дело было не легкое. Стольких дураков сразу все-таки трудно было найти, ведь и так уже был громадный аппарат диспетчерской, магистрата и, конечно, жандармерии, поэтому часто приходилось как следует потрудиться, чтобы перетянуть к себе какого-нибудь балбеса. Так я и потратил почти два года, пока наконец-то не собрал своих молодцов.

С самого начала я, как положено, муштровал свою братию, потому что Серая Чума была военизированной организацией. Кроме того, я сразу же ввел чины и раздавал звездочки. В городе я организовал несколько участковых штабов и складов, а штаб командования устроил в развалинах бывшей пивоварни. Начальником штаба я назначил некоего Кубина, который когда-то подвизался в сыщиках; в своей области он оказался выдающимся специалистом. Военную службу Кубин проходил в артиллерии и умопомрачительно умел орать, чем сразу добился повиновения. Единственно, чего нам не хватало для гладкого хода дела — это кутузки, а как без кутузки заставить людей дрожать, особенно таких зловредных, как владельцы собак!

В эпоху, предшествовавшую самим событиям, я и сам не представлял, как глубоко изменила политическую атмосферу города Серая Чума, — изо дня в день

она становилась популярнее самой диспетчерской, авторитет же властей, не имевших до тех пор никакой серьезной конкуренции — отчаянные одиночки не в счет, — начал быстро падать.

Разные эксперты позже писали, что я, мол, был гениальнее самого Основателя и даже сформулировал закон абсолютной хохмы: «В ратуше города Барахолкова может удержаться только тот, кого людям легче поднять на смех». Это, конечно, все выдумки, ничего такого я не говорил, но если бы я умел так выдумывать, как тот, что выдумал, то я сказал бы, что в этом что-то есть.

Тем не менее мне и в голову не приходило спихнуть господина старосту или, Боже упаси, диспетчерскую. Ведь я был вполне доволен, что нашел хорошо оплачиваемую и всеми уважаемую работу, и в роли начальника Городской инспекции общественного порядка (таково официальное название моей организации) я стал одновременно лицом, ценимым общественностью. Я прямо чувствовал на своих плечах груз всеобщей любви населения. Одним словом, никаких посторонних умыслов у меня не было, и, как я уже говорил, нам только не хватало кутузки — кутузку, к сожалению, жандармы держали для себя, и она была битком набита совершенно бессмысленными арестантами, причем большинство так называемых преступников даже не были владельцами собак.

Наконец, подошло то самое веселое Рождество.

Помню, позвал меня господин Таф, пожелал провести хорошо праздники и сказал:

— Послушай, Горимир, — мы с ним уже были на «ты», — у меня для тебя особое задание. На нашей улице, как ты, наверное, знаешь, живет еще один мой приятель, районный диспетчер Гаск. Ему недавно господин депутат Хуравец подарил собаку, и он, конечно, должен время от времени выводить ее — ведь даже районный диспетчер не может позволить собаке зага-

дить квартиру. Так вот, он выводит ее на площадку, где строится теплоцентраль. Но неподалеку живет некий Гезя Лидяк, агент сберкассы, лицо морально неустойчивое, и постоянно задирает Гаека. У этого Лидяка тоже есть собака, да только не от Хуравца, а чёрт знает от кого. Наведи, дружище, в этом деле порядок, Гаек мне уже несколько раз жаловался на Лидяка.

Я щелкнул каблуками, сказал, чтобы он полностью на меня положился, тоже пожелал ему веселых святок и энергично отправился на задание. Войдя в раж, я по пути от ратуши до пивоварни оштрафовал восемь человек, у пяти из которых вообще не было собак. Это для острастки, — сказал я им. Они поняли. Для общественного порядка нет ничего важнее профилактики.

Было ясно, что избавить районного диспетчера от приставаний такого негодяя можно только молниеносно, эффективно и устрашающе. Поэтому я решил не колебаться и арестовать преступника — пусть у нас и нет собственной каталажки. Засадим пока его в подвал пивоварни, — сказал я себе, — места хватит.

Размышляя таким образом, я дошел до штаба, уселся в кабинете и вызвал начальника штаба Кубина. Я объяснил ему, в чем дело, подчеркнув при этом политическое значение операции и поручив ему разработать план.

Кубин послал в Вертухайку шестерых незаметных разведчиков, они составили подробный план местности, и тогда он определил, как провести операцию и транспортировать преступника вместе с его псом в пивоварню. Датой операции он предложил назначить 25 декабря.

Кубин оправдал мои ожидания. Его штабная культура была с самого начала на высоком уровне, и план отличался совершенством. Он учел все возможные трудности, включая даже искусственный туман. Я тут

же повысил Кубина в чине, сделав его из главного сборщика фекалий штабным учетчиком, поблагодарил его перед строем бригады во дворе пивоварни и одобрил план операции. Но тут началась отвратительная пурга, и нам пришлось всё отложить на один день.

Ребятки прямо рвались на это дело. Наконец-то настоящая война! Я выбрал 12 особо воинственных членов Серой Чумы, а командование поручил своему любимому адъютанту Гофбауеру, который был раньше боксером. Ни Кубин, ни я не могли участвовать в деле лично, потому что все это было совсем рядом с жилищами д-ра Шупа и Анички Копидлно, которые могли бы нас узнать. А операция должна была происходить безымянно, чтобы в случае чего влиятельные члены диспетчерской не испугались ответственности. В последнюю минуту мы раздобыли даже белые маскировочные костюмы. Чтобы все это дело осталось в тайне, операция получила скромное условное название «Вишневый сад».

Мы с Кубиным нетерпеливо ожидали возвращения ребят. В подвале была заранее приготовлена каморка под замком. В магазине «Молоко» мы тайно одолжили грузовик, чтобы перевезти Лидяка в пивоварню и помочь бригаде незаметно скрыться. Во дворе уже стояла тачка для собаки Лидяка, чтобы отволочь ее и бросить в реку Белявку. Все следы надо было уничтожить.

Время тянулось. Мы курили сигарету за сигаретой. Усиленная стража бдительно охраняла пивоварню.

Незадолго до полудня грузовик «Молоко» въехал наконец в полуразвалившиеся ворота. Гофбауер, сидевший возле шофера, махнул из окна рукой с оттопыренным большим пальцем — значит, задание выполнено.

Грузовик въехал под навес, и из него повыскакивал весь мой белый отряд. Мы с Кубиным их заботли-

во пересчитывали. Слава Богу, без потерь! Потом из крытого кузова вытащили продолговатый сверток, замотанный в брезент, и оттащили его в подвал. Вслед за большим свертком из глубины фургона вытащили что-то вроде мешочка для тапочек. Собака Лидяка оказалась меньше, чем мы ожидали. Ударный отряд исчез в казармах, грузовик уехал, чтобы вернуться на стоянку прежде, чем заметят его отсутствие. Член отряда, которому была поручена ликвидации собаки, схватил мешочек — тачка оказалась ни к чему — и бегом пустился к Белявке.

Мы с Кубином облегченно вздохнули и выпили за успех нашей первой серьезной операции.

— Лиха беда начало, — обнадеживающе сказал Кубин.

К Лидяку приставили стражу, потом мы все переоделись и сквозь разные дыры в объекте организованно разошлись на обед. Мы с Кубином пошли в пивную «Зеленка».

Подавая счет, официант по секрету зашептал:

— Что-то происходит, господа, все жандармы снялись с кладбища и перекинулись в Вертухайку. Наверное, будет какая-нибудь потеха.

Заметьте, что и эта точка зрения простого официанта ясно показывает состояние умов в Барахолкове. Несколько сот жандармов маршируют с кладбища в Вертухайку, а персонал пивной ожидает от этого какой-то забавы!

Первый допрос задержанного правонарушителя я назначил на 16.30. Ну, вовремя это не началось, потому что беднягу никак не могли отлепить от брезента и пришлось менять на нем штаны. При этом мы с Кубином всё еще думали, что это действительно Лидяк. Да и что другое могло прийти нам в голову?

И тут ко мне в кабинет впахивают Гаека! Сцапали по ошибке районного диспетчера!

У нас мороз пошел по коже, я сначала прямо ду-

мал, что спячу. Но оказалось, что спятил Гаек. К этому времени худшее уже было у него позади. Он непрерывно нес околесицу и просил поесть шолета. Эту штуку я ел последний раз у Кона до войны и даже не помнил, что это, собственно, такое.

Я вызвал Гофбауера.

— Знаете ли вы, кто это такой? — спросил я строго своего адъютанта.

— Господин начальник, разрешите доложить — это нарушитель Лидяк.

Когда мы ему сказали, кого он схватил в Вертухайке, — с ним чуть было удар не случился, хоть он и был когда-то боксером.

Мы завернули Гаека обратно в брезент, спрятали в подвал и решили обождать. Жандармы в это время переворачивали всё Барахолково вверх дном. Мне было ясно, что Копецкий в бешенстве.

Нас, к счастью, жандармы оставили в покое — мы были вне подозрения. Между тем, свирепствовала пурга, родились шестерняшки, вылезло наружу, чьи они, это произвело кавардак хуже землетрясения, приехал главный комиссар Ирсак, — и в довершение всей суматохи явился новый районный диспетчер Оскар Маня.

Мы, между тем, ожесточенно думали, что делать с Гаеком. Если он действительно и бесповоротно сошел с ума, мы можем выпустить его, не опасаясь, что он нас выдаст. Он явно не узнавал нас, не знал, где находится, что происходит и даже кто он такой. А если он притворяется? И вот мы проделывали с ним различные опыты и даже слегка утопили в бочке с водой (он так вонял, что его всё равно надо было помыть). Но районный диспетчер выдержал и это испытание. Когда мы собрались вытаскивать его из бочки на снег, он попросил мороженого.

Ну, и на третий день к вечеру мы его выпустили. Он пошел прямо на площадь к Моровому столбу,

несколько раз глубоко ему поклонился и отправился в ратушу. Когда его оттуда увезла «Скорая помощь», мы наконец вздохнули с облегчением. Все-таки он и впрямь сошел с ума. Операция «Вишневый сад» оказала на него разрушительное действие.

Новый районный диспетчер Оскар Маня уже неделю трудился в Барахолкове, как вдруг меня вызвали в диспетчерскую.

— Все вы не позже, чем через месяц, научитесь говорить по-венгерски, — заявил изнуренного вида чиновник и дал мне пачку учебников.

— Почему, скажите Бога ради? — спросил я удрученно.

— Почему, почему, — ответил он со злобой. — Почему все задают глупые вопросы? Ведь как-нибудь вы тут должны договориться или нет?

Я взял учебники, вышел на улицу и уселся у Морowego столба на скамейку, хотя холод был нешуточный. Дело принимало серьезный оборот. Моя Серая Чума могла бы схватить еще нескольких районных диспетчеров, но венгерскому она не выучилась бы никогда. Это чересчур трудный братский язык.

Мне пришлось в голову пойти посоветоваться к Тафу. Учебники я оставил на скамейке — я знал, что их-то никто не украдет. Однако Тафа на месте не оказалось. Может, он и был там, но секретарь, дыхнув на меня алкоголем, заявил, что Тафа нету. Я не успел еще выйти, как он принялся то прикладываться к наливке, то зубрить слова.

Внизу стоял жандарм, вместо форменной фуражки на нем красовался берет. Он сказал мне, отдавая честь:

— По-венгерски я называюсь элмештер.

Я видел, что учреждения гибнут.

Я подобрал свои учебники и вернулся на пивоварню. Приятно было посмотреть, как вторая рота тренируется в позиции «пятки вместе — носки врозь». Серая Чума оставалась последней организованной ор-

ганизацией в городе. И вот теперь я должен был раздать им эти учебники.

Тем не менее, я созвал штаб и сообщил моим добрым ребяткам печальные новости. Они не могли этому поверить — только учебники их убедили.

Начальник штаба Кубин немедленно заявил, что уходит на пенсию.

— Подожди, — сказал я ему. — Не найдем ли мы другого выхода?

Надежда обойтись без изучения иностранных языков немного подбодрила его. Человек он был бывалый. Он начал повторять вслух:

— В ратуше пьянка, диспетчерская учит венгерский, жандармы перекапывают кладбище, дружественное войско третий день по учебной ракетной тревоге сидит в подвале, а у нас в такой неразберихе собаки по городу гадят, как бешеные. Господа, я предлагаю торжественной колонной пройти по Барахолкову, шеренгами по четыре, с песней на устах, — может, как-нибудь подбодрим органы, чтобы они снова начали функционировать...

Мы все взбодрились: обновленная энергия Кубина оказалась заразной. Это, конечно, была самая плохая идея из возникших за последние годы в районе. Но мы — взирая на пачку страхолюдных учебников — не хотели думать о последствиях. Ну, хоть пройдемся по свежему воздуху!

— Песня — сердцу, сердце — Родине, — сказал я в заключение, но без внутренней убежденности. Утрата ценностей, казалось, зашла так далеко, что не могла помочь и такая интересная терапия, как торжественный марш Серой Чумы по городу.

Нам потребовалось некоторое время, чтобы по авралу собрать всех своих во дворе пивоварни. С гордостью смотрел я, как они стояли там, подобно римскому легиону.

— Ребята! — сказал я. — Барахолково в опасности. Споем ему!

Вышли мы в сумерки, — раньше не стоило. Мы прошли задами, около стадиона, чтобы топанием не разбудить дружественное войско: оно всё еще было на маневрах, в подвале казармы. Мы всплыли на площадь справа от церкви с могучим пением: «Не мели, не мели, воды мельницу снесли»^{*}. Ничего другого мы не знали, потому что до тех пор не пели.

Я шел первым, за мною Кубин, а за ним — первые шеренги нашего отряда, по четыре человека в каждой. Мы прошли около Основателя, обошли Моровой столб и пошли обратно к церкви, не переставая весело петь. В окнах появились люди, вскоре они заполнили и тротуары, а мы всё кружили по тому же маршруту и пели: «Не мели, не мели».

Когда мы, наверно, в десятый раз дошли до бывшей ссудной кассы, то есть до районной диспетчерской, там открылись двери, и на улицу вышли десятка три человек с поднятыми руками и пошли прочь — думаю, к вокзалу. Между тем, мы опять подошли к ратуше, и оттуда вышел господин Таф, за ним — его заместитель с каким-то подносом в руках, а вслед за ними — хвост служащих, тоже с поднятыми руками. Меня несколько озадачило, куда это они все собрались, поэтому я резко приказал:

— Песню прекратить! Стой!

Бригада замерла, а господин староста приближался. Очутившись рядом со мной, он протянул руку назад, взял с подноса и подал мне довольно большую железяку:

— Вот ключи от города Барахолкова, господин генерал. Диспетчерская уже сдалась, там остался один Оскар Маня. Никто не мог ему перевести, как по-венгерски «восстание».

^{*} Чешская народная песня. (Прим. п е р.)

— Какое восстание? — изумился я. — Мы просто вышли на улицу с песней, чтобы поднять мораль учреждений.

Таф ухмыльнулся:

— Ну и плут же вы! Наконец-то вам это пришло в голову! Долго же вы заставили нас ждать!

И со всей силой потряс мне руку.

В толпе кто-то слабо прокричал «слава».

В эту минуту к зданию диспетчерской с удивительной расторопностью подъехал подъемный кран, всунул свой клюв в одно из окон и начал вытаскивать Оскара Маню. Кран тащил его вместе со стулом, а Маня кричал:

— Hilfe! Hilfe!*

Население дружелюбно захолопало. Держа районного диспетчера на воздухе, кран двинулся тоже к вокзалу. Мы пришли в себя, только когда кран завернул за угол. Пока мы наблюдали за краном, и господин Таф исчез. Я стоял на площади с железякой в руке, изображавшей ключи от города, и не знал, что делать.

— Заглянем, что ли, в ратушу, а? — спросил меня сзади Кубин.

Не оставалось никаких сомнений: бросили мне город на шею, как мокрое полотенце, а сами, негодяи коварные, разбежались, как тараканы. Утром ко мне даже явился принести присягу страшный шеф жандармов Копецкий. Он с ног до головы был вымазан в глине, потому что его, мол, для этого вытащили из чьей-то раскопанной могилы.

— Какие будут приказания, генерал? — спросил он.

— Да пока никаких, — ответил я, потому что мне ничего не пришло на ум.

— Разрешите обратно в могилу? — спросил он.

— Ну, конечно, — разрешил я. — Выполняйте

* «Помогите! Помогите!» (нем.)

свои обязанности и дальше, только освободите часть тюрьмы для наших целей.

Он пообещал и ушел.

Я сидел со всем своим штабом Серой Чумы в канцелярии старосты города, стул после него еще не остыл. Надо же, горстка людей, без всякого злого умысла, вышла под вечер на площадь спеть народную песню, подышать свежим воздухом и поднять настроение служащих, а на другой день из нас делают блящих рыцарей!

— Чем займемся? — спросил я, но мои друзья, утомленные государственным переворотом, молчали. Только Кубин сказал, показывая из окна на улицу:

— Видите, ребята, эту мохнатую уродливую псину? второй раз за пять минут гадит на тротуар у «Парфюмерии», а наши органы где?

— Гофбауер! — заорал я в коридор, и мой адъютант немедленно прибежал. — Видите бабу с гнусной дворнягой около «Парфюмерии»?

— Вижу! — заорал Гофбауер так же мощно и щелкнул каблуками.

— Посадить, сгноить ее, чтоб почернела! — приказал я ему.

Гофбауер выбежал на улицу выполнять приказ. Нормализация начиналась.

СТИХИ

Шкое Г а с а н

Перевод с курдского и предисловие Василия Бетаки

Когда крестовые походы рыцарской Европы разбивались об империю легендарного Саладина (Салах ад-Дин), которую в литературе часто именуют Сарацинской империей, мало кто в Европе представлял себе, что это была в сущности курдская империя. Арабские племена занимали в ней положение подчиненное, как, впрочем, и другие народы этого уникального средневекового конгломерата племен и вер.

Саладин — национальный герой курдского народа. Не так давно прошел инцидент с одним молодым художником в Москве, который написал картину, прославляющую Саладина. Легендарный султан был соперником не менее легендарного Ричарда Львиное Сердце — казалось бы, что тут такого? Вальтеру Скотту можно писать о нем, и в СССР этот роман издается, а советскому художнику нельзя? Но все дело в том, что художник по национальности — курд. И карьера его, как художника, пострадала из-за этой подробности. «Буржуазный национализм». (Никого не смутило, что понятие «буржуазный» в применении к курдской теме едва ли грамотно даже с марксистской точки зрения.)

В 1915 году, вошедшем в историю как год небывалой по масштабам резни, пострадало в той же степени, что и армяне, курдское население. С тех пор и появились курды на территории Армении, Грузии и Азербайджана. Курдский народ в настоящее время не имеет своей территории, ни в Иране, ни в Турции, ни в Сирии, ни в Ираке, где живет большая часть курдов. В СССР курды тоже не имеют ничего, кроме одной крохотной газетенки, выходящей в Ереване. Кстати, только в Армении курды еще имеют возможность если не развивать, то хотя бы хранить свою культуру. В Грузии же курд выше дворника подняться не может.

Когда Ирак управлялся группировкой, к которой советское правительство относилось враждебно, курды на короткий период понадобились — даже портреты Мустафы Барзани появлялись в советских газетах. Когда же иракская нефть оказалась в орбите советских интересов — курды моментально были преданы, и опять же

мало кто в мире обратил внимание на новую волну геноцида, залившую с благословения КПСС иракский Курдистан. Предал курдов и шах Реза Пехлеви, хотя курдский народ — ближайший родственник персидского.

Курдский народ с его древней и богатейшей культурой скоро может исчезнуть так же незаметно, как народ Ибо в Нигерии, вырезанный опять же с благословения советских политиков.

И все-таки — «жив язык, значит жив народ!».

Эти слова принадлежат курдскому поэту Шкое Гасану.

Шкое Гасан (родился в 1928 г.) выпустил две книжки стихов в Ереване. На курдском языке. По-русски удалось опубликовать три небольших стихотворения (тогда, когда Барзани был у нас «персона грата»). Будучи аспирантом Института востоковедения Академии наук СССР, Шкое Гасан попытался издать в Ленинграде свою книгу, но ни одно издательство ее не приняло, как, впрочем, и ереванское издательство «Айастан». В «братской семье народов», как известно, национально мыслящая интеллигенция не в особом почете. Все что мне, его другу и переводчику, удалось тогда сделать — это «пристроить» три стихотворения (наиболее нейтральных) в «День поэзии».

В 1966 году постоянные запугивания со стороны сотрудников КГБ довели поэта до попытки самоубийства. Он вскрыл себе вены и только случайно подруга его, пришедшая в общежитие аспирантов за какой-то книгой, заглянула в его комнату. Случайно, ибо в это время он должен был находиться в институте. Впоследствии власти пытались упрятать Гасана в психушку.

Шкое Гасан — один из двух поэтов курдского народа, живущих в СССР. Конечно, кроме него и поэта Микаэла Рашида, есть еще люди, пишущие стихи, но по большому счету поэты — эти двое.

Может быть, эта публикация хотя бы привлечет внимание читателей «Континента» к талантливому поэту и к судьбе его народа, гибнущего при всеобщем заговоре молчания.

* *

Жив язык, значит — жив народ.
Он в столетиях жестоких,
Как в снегах эдельвейс, цветет,
И не смоят его потоки!

Без твоих лабораторий жизнь была бы
черствым хлебом,
Но кому без человека будет нужен этот мир?

11

И прошуршал мне камень под ногой:
«То ты меня пинаешь, то другой,
Сейчас — я здесь... А сам ты разве знаешь,
Где завтра будешь ты, мой дорогой?

12

Я долго был учеником лжеца,
В лице его не видя два лица,
Но кончился ученья срок недолгий,
Пока я это понял до конца.

19

Я на эскалаторе — он течет,
Я давно на улице — он течет,
Я — людская капля в потоке жизни:
Есть я, или нет меня — он течет...

27

Дорогой мой, саз — не палка для любого пастуха,
Лира — не седло вьючное для любого ишака:
Если дернет посильнее неумелая рука —
Квакнет лира, как лягушка, как скрипучая доска.

ИЗ ЦИКЛА «В ПОЛЯХ ЭДЕМА»

ЭДЕМ

Наторчались. А я перешел
в состоянье столба с телеграммой.
Рядом — дерево жизни, где плод восьмигранный,
как бумажный фонарик зажжен.

Мы составим единство, зовомое лес:
где кустарник постелим, где моху,
где приклеется бабочка — пыль, соразмерная вздоху, —
полудуша, полужилец...

НИМФА РЕЧИ

О нищете — где ни ищите —
ни слова. С бедным словарем
ты более всего нуждаешься в защите —
ты, воплотившаяся в женщину вдвоем
с возлюбленным, который пережил
твою любовь, — ты ужас быть одной
песчинкой, утеканьем сил...
ты сон о море с той голубизной,
какая невозможна не во сне, —
произношенья влажная подошва,
когда ступить на землю невозможно,
ни жалобу излить вовне!

Как женственна стихия речевая!
наплывы рук — и жесту обречен
язык сочувствия и врачеванья,
язык, владеющий врачом.
О чем ни заикнись — уже мертво, —

о нищете, о нише, о пробеле
твердит само отсутствие... Разделим
незащищенной жизни вещество
на всех несуществующих — на них,
исчерпанных двумя-тремя словами,
кому давно не до картин и книг
в ячеистых стенах существования!

СТИХИ НА ДЕНЬ АВИАЦИИ И АСТРОНАВТИКИ

Крошево или судьба? Украшение праха
больно рисуют — как послевоенные дети,
голубые от недоедания и страха,
синими карандашами по рвущейся берут газете.

Сквозь разрывы клеенка цветет
колокольчиками и васильками —
тысячекратный букетик, осколок высот
полузатерт, а иного себе не искали...

Крошево или судьба? неочиненный грифель
не оставляет следов — только в тучах просветы.
Синий скользит самолет — и прекрасная гибель,
словно морская звезда с бугреватым излучьем, воздета.

Так любить неживых не дано
никому, как любили, как если б
на клеенке прожженная дырка сводила в одно
место всех, кто еще не воскресли.

Если же это судьба, то житейского праха
не убегают — но сгорбясь и голову в плечи,
как выходящая из-под воды черепаха
или же летчик — земле, что рванулась навстречу...

Как мелькает! как мельком! как мел
синевы нутряной не скрывает —

если яркое солнце и ясно увидеть успел,
чем кончается боль роевая!

Как я давно превращен, как надолго я вдавлен
точкой невидимой в тонкослоистую почву,
где и любовь неземная питается давним —
дафниями сухими и мотылем непорочным.

Рисовали бы царствие рыб,
либо цельный брикет океана,
или только детей — синеватых и ломких на сгиб,
или водоросли, аэродромы и аэропланы...

Нет! не судьба, не аквариум — нечто напротив:
авторитеты меня окружают как точку зиянья.
Стол пробуравлен. В отверстие воздух выходит.
Всё нарастающий свист. Разбеганье созвездий. Сиянье.

* * *

Медь — воск.
Воск — прах.
Восковой человек стоит на углу,
обеими руками держит прямую свечу.
Воск — восх.
Пламя на уровне глаз.
Левый зрачок светлеет — всмотришь!
Восковой человек, цинковый гром,
глядя в разрез гиацинта.
Пламя — головка лука.
Пламя-разрез-человек.
Совсем стемнело в правом зрачке,
пора — зеленую лампу.
Восковой человек на углу горит,
полковой оркестр уходит под мост —
медного раструба хвост.
Слава уходит, военная слава!

Жареные соловьи
тянут вослед медоносные клювы свои
с ягодкой-клюквой, с горошиной в горле свистка.
Угловой человек, этот конский каштан,
этот пушкин растений и солнце славян
держит белые свечи, как пенье сверчка.
Медь — мѣдь.
Воск — мѣдь.
Процессия уменьшающихся лиц,
перспектива-проекция-перенос-
по клеткам с листа на лист.
Уплотненье клетчатки вперед и вдаль.
Друзья, друзья обращаются в пыль!
Церковь-луковка-плач.
И зелени есть предел, если смотришь вглубь,
в болото, в-болят-глаза. Глаукома
предвосхищает прозренье Эдипа:
только слепой в этой родине — дома,
в нем глубоко зеленеет липа,
воск его облипает со всех сторон,
весь он — черный фитиль.
И треугольное солнце высоким углом
полыхает над ним!

ТРИНАДЦАТЬ СТРОК

Как забитый ребенок и хищный подросток,
как теряющий разум старик,
ты построена, родина сна и господства,
и развитие твое по законам сиротства
от страданья к насилию — миг
не длиннее, чем срок человеческой жизни...
Накопленье обид родовых.
Столько яду в тяжелом твоём организме,
что без горечи, точно, отвык
даже слышать — не то чтобы думать о чем-то,
кроме нескольких, горечью схваченных книг,

где ломается обруч, земля, твоего горизонта,
как паскалев тростник.

КРИВУЛИН Виктор Борисович — родился в 1945 г. в Ленинграде. Первое официальное выступление — март 1962 в ленинградском отделении Союза писателей. Образование — филологический факультет ЛГУ. Диплом по Иннокентию Анненскому. Работал корректором, давал уроки. В 1967 организовал «конкретную школу поэзии» (В. Кривошеев, Т. Козлова, Вал. Буковский), которая впоследствии распалась. Последние годы работает в направлении «метафизической поэзии», близкой к живописи М. Шемякина и Ан. Васильева. В феврале 1974 вошел в оргкомитет и редколлегию сборника 32-х «неофициальных» поэтов Ленинграда (вместе с Ю. Вознесенской, Е. Пазухиным, Б. Ивановым и К. Кузьминским). Сборник был предложен вниманию Союза писателей и смежных организаций. Занимаются им и по сию пору, в основном, «смежные организации». В Советском Союзе Кривулиным опубликовано около 5 стихотворений в различных периодических изданиях.

Швейцарскому Обществу борьбы за права человека

Дорогие друзья!

С глубоким волнением узнал я о присуждении мне премии Вашего Общества. К сожалению, я, вероятно, был в числе последних, до кого дошла эта весть, ибо было сделано все возможное, чтобы скрыть ее от меня и моих союзников и союзников. Но тот, кто хочет знать, всегда одержит верх над тем, кто хочет скрыть.

Высокая честь, оказанная мне, для меня тем более дорога, что она исходит из страны Вильгельма Телля, страны, в течение многих столетий служившей для других примером мира и демократии, страны, всегда гостеприимно открывающей двери для изгнанников — борцов за свободу и независимость своих народов.

Я отдаю себе отчет, что, присуждая мне эту награду, Вы тем самым воздаете должное и усилиям моих товарищей по борьбе, делавших сейчас со мной все тяготы тюремной жизни.

Среди них Владимир Буковский, посвятивший жизнь борьбе за права человека в Советском Союзе, Зорян Попадюк, которого в тюремные стены привела неистребимая любовь к своей прекрасной родине — Украине, Гилель Бутман, заплативший свободой за право еврейского народа жить в своем собственном доме, и многие, многие другие, перечислить которых я просто не в состоянии, но которые всегда со мной, в моем сердце.

Я также отдаю себе отчет, что премия Общества борьбы за права человека — это не нарядная медаль, надеваемая по торжественным дням, это прежде всего залог дальнейшей борьбы. Осознание себя человеком, обладающим правами по праву рождения, накладывает и обязанность по защите этих прав.

К сожалению, сейчас в моей горькой, но бесконечно любимой стране осуществление этих обязанностей — почти всегда акт мужества. Тень решетки нависает над каждым, ступившим на этот путь.

И тем не менее я с уверенным оптимизмом смотрю в будущее. Две вещи являются для меня залогом этого.

Во-первых, с каждым днем во всех странах (в том числе и в наших двух странах) все более и более осознается, что свобода неделима. Только совместными усилиями свободных людей всех стран нарушения прав человека могут быть ликвидированы. Повсюду, в каком бы месте земного шара они ни совершались. Во-вторых, в моей стране с каждым днем растет понимание того, что внешняя свобода не может быть достигнута без внутренней свободы каждого человека. Многолетний заговор молчания и страха ныне разрушен, все больше и больше людей осознают свою обязанность защищать свои права. Внутренне свободный человек остается свободным даже за тюремными решетками. И стены рушатся.

Вильгельм Телль не склоняется перед Теклером.

С братским приветом

30.12.75 г.

К. Любарский

Россия и действительность

Михаил А г у р с к и й

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В СССР

1. Национальные течения в республиках

С самого начала установления советской власти новое правительство столкнулось с сопротивлением на национальных окраинах. Огромная Российская империя распадалась на глазах, тем более, что само новое правительство провозгласило принцип «самоопределения» наций.

Польша, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Украина, Грузия, Армения, Азербайджан и другие районы провозгласили свою независимость. Несмотря, однако, на провозглашенный принцип «самоопределения», большевики сразу начали восстанавливать прежнюю империю. За время Гражданской войны они установили контроль почти над всей прежней империей, за исключением Польши, Финляндии, Прибалтики и Бессарабии.

Типичным был захват Грузии. Советское правительство признало ее независимость, заключило договор о дружбе и сотрудничестве, как с независимым государством. В соответствии с этим договором Грузия разрешила у себя легальную деятельность коммунистической партии, а через несколько месяцев после заключения договора советские войска вторглись на территорию Грузии. С самого начала на национальных окраинах возникла оппозиция новой власти, причем как среди населения, настроенного против коммунистов как таковых, так и среди самого партийного

аппарата. Такие течения возникли на Украине, в Грузии, Татарии, и все они были подавлены. Одной из первых жертв чисток оказался известный татарский коммунист Султан Галиев, защищавший идею объединения тюркоязычных народов. Затем пострадало руководство Грузии во главе с Мдивани и Кавтарадзе, которые всерьез восприняли официально провозглашенную федерацию Грузии и РСФСР, рассматривая себя как суверенную сторону. Они даже приняли закон, который разрешал жителям РСФСР селиться в Грузии не иначе, как при условии выплаты большой суммы денег. Грузинский вопрос рассматривался на XII съезде партии, в результате чего возник термин «национал-уклонизм». Этот вопрос побудил больного уже Ленина встать на защиту грузинского руководства, в то время как большинство Политбюро оказалось против Ленина. Более того, Ленин под влиянием конфликта с Грузией вообще предложил распустить только что образовавшийся СССР, как неудавшийся. Но новое партийное руководство не последовало этому совету. В результате руководство Грузией, обвиненное в уклонизме, было снято и выслано из Грузии в разные места страны. Вскоре, однако, правительство изменило свою политику и в течение ряда лет откровенно поощряло местный национализм в рядах партийного аппарата.

Так, на Украине был выдвинут лозунг «украинизации», а в Белоруссии — «белоруссизации». По-видимому, такая политика была обусловлена внутривнутрипартийной борьбой, в процессе которой Сталин, Бухарин и другие старались сплотить вокруг себя умеренные элементы против Троцкого и его сторонников, защищавших, в частности, скорейшую денационализацию.

Еще в 1928 г. на Украине был выпущен декрет, согласно которому все чиновники под угрозой увольнения должны были сдать экзамен по украинскому языку.

Однако примерно в 1930 году ситуация резко изменилась. Победив все виды оппозиций, Сталин больше не нуждался в опоре на местные силы. Начиная с этого года, все национальные силы в местном аппарате, которые в течение долгого времени стимулировались сверху, были обвинены в уклоне и подверглись различного рода репрессиям. На Украине многие люди из бывшего руководства были арестованы, а нарком просвещения Скрыпник покончил жизнь самоубийством. В Белоруссии был репрессирован президент Академии наук Игнатовский. Была ликвидирована и Евсекция ЦК ВКП(б). С тех пор в отношении национальных республик велась постоянная политика подавления в них любого вида независимости, хотя в области развития экономики там было сделано многое. Во время чисток 36-38 гг. подавляющее большинство местных национальных кадров было уничтожено. Тем не менее в первые послевоенные годы, а именно в 1947 г., местный украинский партийный аппарат и часть интеллигенции были обвинены в национализме.

Вплоть до 1953 года в республиканском аппарате доминировали русские. Это особенно чувствовалось на Украине, где первым секретарем никогда не был украинец. Положение начало меняться в 1953 г. С этого времени роль национальных элементов в местном аппарате стала сильно увеличиваться. На Украине впервые на пост первого секретаря назначается украинец — Кириченко.

Как только централизованный тотальный контроль после смерти Сталина стал ослабевать, в местном аппарате стали складываться группы, заинтересованные в большей самостоятельности и независимости от центра. Вполне естественно, что эти группы должны были взять на вооружение национальную идеологию, чтобы оправдать свое существование и чтобы упрочить свою местную базу. Наиболее сильная национальная тенденция в аппарате проявилась на Укра-

ине, самой крупной республике СССР. Разумеется, эта тенденция была лишена традиционного культурного и национального содержания и была лишь результатом деятельности группы аппаратчиков, имевших целью укрепить свою власть. Однако и такая тенденция привела к далеко идущим последствиям. Это особенно проявилось в период правления Шелеста, который добился гораздо большей автономии Украины и пытался играть даже самостоятельную роль во внешней политике. В конечном счете Шелест потерпел поражение, но это вовсе не решило проблему национальных тенденций в республиканском партийном аппарате. Это лишь отложило конфликт на некоторое время.

Национальные тенденции в различное время проявлялись и в других республиках, но наибольшее значение определенно имели события на Украине.

Характерно, что национальные тенденции в республиках вовсе не связаны с каким-либо либерализмом. Напротив, эти течения большей частью весьма тоталитарны, причем чем сильнее национализм местного аппарата, тем сильнее уровень тоталитарного давления на население. Это объясняется, по-видимому, тем, что добиваться независимости невозможно в условиях либерализма, ибо это тут же было бы использовано против местного аппарата центром, и, к тому же, местный аппарат потерял бы контроль над населением.

Опыт Албании, Румынии, Северной Кореи показывает, что добиться большей независимости от СССР можно было не за счет либерализма, а за счет укрепления диктатуры. Либеральные же режимы Венгрии в 1956 году или Чехословакии в 1968 году привели эти режимы к поражению.

С другой стороны, наличие местных центробежных сил даже в аппарате делает невозможным какие-либо существенные экономические реформы, ибо они неизбежно повели бы к децентрализации, а таковая

немедленно способствовала бы сепаратизму. Любопытной проблемой, связанной с национальными тенденциями в аппарате, является отсутствие республиканского партийного аппарата в РСФСР. Такого аппарата нет с самого начала советской власти. Это, с одной стороны, ставит РСФСР как республику в неравноправное положение, но, с другой стороны, делает аппарат ЦК КПСС преобладающе русским. Если бы был создан партийный аппарат РСФСР, то ЦК КПСС пришлось бы делать многонациональным. Таким образом, стремление доминировать в ЦК КПСС оборачивается для русских по существу неравноправием своей собственной республики. Будут ли впредь тенденции к созданию отдельного республиканского партийного аппарата в РСФСР, сказать трудно. Но такая возможность далеко не исключена.

Национальные тенденции внутри аппарата неизбежно вступают в противоречие с антикоммунистическими национальными тенденциями и ведут с ними подчас жестокую борьбу, поскольку, во-первых, те оспаривают их власть, а во-вторых, борьбой против антикоммунистических национальных тенденций национальный партийный аппарат отводит от себя подозрения центра.

Заметим также, что с давних пор в СССР ликвидированы территориальные воинские части, так что узбеки служат, например, в России, а армяне или русские — в Узбекистане и т. д. Это показывает стремление центра исключить всякую возможность для республиканского руководства опереться на национальные воинские соединения.

Национальные тенденции в республиканском партийном аппарате оказываются мощным фактором внутривнутриполитической жизни СССР, причем фактором, значение которого усиливается. Советские республики превратились в развитые процветающие страны, у которых, естественно, будет усиливаться стремление

играть самостоятельную роль. Почему, например, следует ожидать того, что высокоразвитая в промышленном и научном отношении Армения должна довольствоваться ролью советской провинции, в то время как такие, например, малые и отсталые страны, как Йемен или Шри Ланка, не говоря уже о многочисленных микросоудах, составляющих ныне большинство ООН, играют важную роль в международной жизни? Тем более, что значительное число армян недовольно ролью Советской России по отношению к турецкой аннексии части армянской территории в 1921 г., когда Москва пыталась заручиться поддержкой Анкары.

Нынешним советским республикам несомненно принадлежит большое будущее, и в конечном счете последнее слово останется за ними.

Естественно, что национальные течения, направленные на достижение большей самостоятельности советских республик, проникающие в их руководящий партийный аппарат, опираются на официальную советскую идеологию и скорее стремятся к большему тоталитаризму, чем в центре, ибо это способствует повышению устойчивости их положения. Однако, наряду с национальными тенденциями аппарата, существуют и даже усиливаются национальные движения, направленные не только на увеличение независимости или же на полную независимость своих республик, но и против существующей идеологии, с которой неразрывно связан местный партийный аппарат.

Такие движения существовали также с самого начала советской власти. Как известно, вооруженное сопротивление возникло на многих национальных окраинах, когда стало ясно, что новая власть не только стремится сохранить их в зависимости, но и выступает активным врагом всех местных национальных и религиозных традиций, чего не было даже во времена дореволюционной России. Между прочим, самое

упорное сопротивление оказало население некоторых среднеазиатских республик. Подавление вооруженного сопротивления в Узбекистане, получившего в официальных советских источниках название «борьбы с басмачеством», заняло много лет. Только колоссальное превосходство в силе, крайняя жестокость и уничтожение целых селений за содействие партизанам, привело к прекращению борьбы и бегству остатков разгромленных превосходящей силой отрядов за границу. Кровавая расправа с вооруженным сопротивлением в Средней Азии надолго убила непокорные до того народы, хотя политика геноцида по отношению к ним не прекращалась вплоть до войны 1941 г. Десятки тысяч узбеков, туркмен, таджиков насильно депортировались из своих стран и усеяли своими костями прославленные стройки пятилетки. Особенно много погибло их на стройке канала Москва—Волга, который во многом был построен их руками.

Когда же в 1941 году настал час суровых испытаний для СССР, те же среднеазиатские народы, которых безжалостно уничтожали в течение 10-15 лет, сыграли в ряде случаев решающую роль в защите страны от немцев. Мало кто задумывается теперь над тем, что Панфиловская дивизия, задержавшая наступление немецких войск на Москву, формировалась в Казахстане и состояла в основном из представителей среднеазиатских республик, о чем наглядно свидетельствует национальная принадлежность большинства двадцати восьми героев-панфиловцев.

В 1944 году вооруженное сопротивление на окраинах развернулось с новой силой. На сей раз ареной вооруженной борьбы оказались Прибалтика и Западная Украина. Кошмарный опыт массовых репрессий, последовавший за захватом этих территорий в 1939-1940 годах, заставил взяться за оружие сотни тысяч людей, которых поддерживали миллионы. Характер-

но, что до войны 1941 года никакого вооруженного сопротивления новой власти не было.

Вооруженное сопротивление, оказанное после войны на Украине, было настолько сильным и упорным, что потребовало едва ли не 6-7 лет для его окончательного подавления, в результате чего миллионы украинцев, включая женщин и детей, были депортированы на «Архипелаг ГУЛаг».

Много лет продолжалась партизанская борьба в Прибалтике, которая также была жестоко подавлена.

В 1943-1944 годах было совершено новое преступление, на сей раз против многих народов, попавших под немецкую оккупацию и проявивших признаки национальной самостоятельности. Миллионы чеченцев, ингушей, балкар, калмыков, карачаевцев, греков, крымских татар и других были насильственно депортированы на Восток*.

Национальное движение на окраинах, существенно усилившееся после 1956 года, не могло быть неожиданностью. Иван Кошелівец в пятом номере журнала «Континент» сообщает, что уже во второй половине пятидесятых годов на Украине начались процессы над отдельными нелегальными группами, ставившими себе целью как независимость этой республики, уже члена ООН, так и ее освобождение от тоталитаризма. Вновь ожилилось национальное движение в Прибалтике, в особенности в Эстонии и Литве. В Литве национальное движение объединилось с религиозным, по-

* Я был в Казахстане, когда туда осенью 1944 года стали ссы-
лать чеченцев. Я видел собственными глазами, как на улицах уми-
рали люди, лишенные очага и теплой одежды. Я никогда не забуду,
как летом 1944 года в детский дом, в Павлодаре, где работала моя
мать, доставили маленького чеченца, представлявшего собой скелет,
обтянутый прозрачной кожей. Он никогда не произнес ни с кем ни
слова и, как только оправился от истощения, сделал попытку убе-
жать. Его стали водить за руку, но он улучил момент и исчез. В
первую же ночь он был съеден в степи возле Павлодара стаей голод-
ных волков.

скольку католическая Церковь подвергалась там сильнейшему атеистическому давлению. Литовское движение оказалось одним из наиболее сильных национальных движений в стране. Многие литовцы были арестованы и отправлены в лагерь.

Появилось армянское национальное движение, сменившее послевоенный энтузиазм зарубежных армян, решивших вернуться на свою историческую родину, но впоследствии жестоко в этом разочаровавшихся. Это движение выразилось как в стремлении к независимости, так и в стремлении вернуть свои земли, в свое время аннексированные Турцией.

Национальное движение оживилось и в Средней Азии, в первую очередь в Узбекистане, наиболее развитой республике этого района.

Но самым сильным национальным движением продолжает оставаться украинское. От него существенно зависит развитие и других национальных движений в стране. Участники украинского движения занимают не последнее место в числе советских политзаключенных. Такие имена, как Валентин Мороз, Вячеслав Черновол, Святослав Караванский, — известны всему миру. Сила украинского движения, между прочим, состоит и в том, что оно пользуется значительной поддержкой большой и хорошо организованной украинской эмиграции.

Независимые национальные движения в советских республиках вступают в противоборство не только с колониальной политикой советского руководства, но и в очень существенной мере даже с националистически настроенными элементами в местном аппарате, ибо для местных аппаратчиков независимые национальные движения в первую очередь представляют угрозу их собственной власти. Более того, они даже стремятся сделать тоталитарное давление на свои народы еще большим, чем оно есть в целом по стране. Разумеется, они иногда могут пользоваться в своих груп-

повых целях национальными настроениями собственных народов, но лишь в очень ограниченных целях. Поэтому вряд ли можно рассчитывать на то, что эти течения могут в будущем слиться.

Помимо национальных движений в союзных республиках, исключительно важную роль играют национальные движения тех народов, которые лишены своих национальных территорий насильственно или же никогда их не имели.

Это — еврейское и немецкое национальные движения, а также движение крымских татар. Движение крымских татар оказалось одним из наиболее сильных национальных движений. Оно, как известно, направлено на ликвидацию одной из самых больших несправедливостей сталинского периода — изгнания целого народа со своей родины. Если все остальные народы, выселенные после изгнания немцев, были возвращены на свою родину, и им была возвращена их республиканская автономия, то крымские татары до сих пор находятся в изгнании. Как известно, это движение первым получило поддержку советских инакомыслящих, так что некоторые из них, как генерал Григоренко и Илья Габай, были арестованы и осуждены за это.

Еврейское и немецкое движения отличаются тем, что оба они, разнясь от остальных, направлены на эмиграцию из СССР. Особенно сильным оказалось еврейское национальное движение. Оно приняло поистине массовый характер. Ему первому удалось заручиться широкой международной поддержкой. Оно впервые в истории СССР пробило брешь в железном занавесе и привело к массовой эмиграции. Оно сильно повлияло также и на другие национальные движения примером своего успеха.

Немецкое движение также добилось некоторых, хотя и меньших, успехов в деле осуществления права на эмиграцию в ФРГ. Заметим, что почему-то в ГДР никто из советских немцев поехать не захотел.

Различные национальные движения в свое время были существенно разобщены, однако с некоторых пор стали проявляться признаки сотрудничества между ними. В этом значительную роль сыграло либерально-демократическое движение. В частности, важную роль играла и играет «Хроника текущих событий», публиковавшая сведения о всех движениях. Затем выдающуюся роль сыграл академик Сахаров, выступавший в защиту всех народов страны без различия. И, наконец, исключительно важную роль сыграло то, что представители различных национальных движений встретились вместе... в политических лагерях. Красно-речивым свидетельством этого являются совместные выступления, доходящие до нас из-за колючей проволоки Мордовских и Пермских лагерей. Последним и наиболее замечательным свидетельством такого рода является совместное выступление украинца Вячеслава Черновола и еврея Бориса Пэнсона*.

Но наибольшее значение имеют отношения национальных движений не друг с другом, ибо они естественные союзники. Главный вопрос, в каких отношениях они окажутся с нарождающимся русским национальным движением. От этого зависит очень многое в будущих судьбах страны.

2. Русский национальный вопрос

Национальная программа, разработанная большевиками до революции, оказалась дилетантской и была опрокинута действительностью. Как известно, большевики, следуя известной марксистской доктрине, рассматривали нации и национальные культуры как некий преходящий элемент исторического развития, который должен был исчезнуть после уничтожения классов. Иначе говоря, национальные различия объяс-

* См. «Континент», № 6.

нялись социально. Поэтому в первый период революции большевики боролись против национальных культур, как против проявлений борьбы классового врага. И хотя борьба велась против всех национальных культур без исключения, главный удар был направлен против наиболее сильной русской национальной культуры, как стового хребта всех остальных национальных культур, несмотря на то, что русский язык приобрел после революции гораздо большее значение, чем до революции. Но один только язык без национальной культуры, без ее духовного содержания, оказался лишь средством уничтожения других национальных культур, не сохраняя собственной. Распространение русского языка среди других народов страны оказалось не средством их русификации, а средством их денационализации.

Другим результатом революции оказались существенные демографические сдвиги. Целый ряд национальных меньшинств получил возможность большими массами переселяться в столицы и центральные районы России, где раньше они не проживали. К этим меньшинствам принадлежали евреи, латыши, поляки, венгры, финны и т. д. Более того, все они вместе взятые оказались в 20-30-е годы исключительно влиятельной силой и даже доминировали в ряде важнейших областей жизни. Вплоть до середины 30-х годов национальные меньшинства занимали большое количество ключевых постов в партийном и государственном аппарате, тайной полиции, армии, дипломатическом аппарате и т. д.

Это было результатом стихийного процесса, и представители национальных меньшинств никогда не выступали в нем как организованные группы, сообща добивавшиеся общих целей.

Борьба большевиков против русской национальной культуры, резкое увеличение роли национальных меньшинств, их массовый наплыв в центральные рай-

оны страны не мог не вызвать реакции со стороны русского населения. Этот процесс совпал с борьбой за власть внутри партийного руководства. Поскольку антисталинская оппозиция насчитывала большое количество представителей различных национальных меньшинств, Сталин незамедлительно попытался придать этой борьбе национальную окраску в узко эгоистических целях, так что столкновение с национальными меньшинствами в руководящей элите превратилось в один из главных, хотя и скрытых мотивов политической борьбы. Столкновение с оппозицией в 1925-1927 годах показало Сталину, что реакция русского населения против уничтожения русской национальной культуры, против резко возросшего влияния национальных меньшинств может быть эффективно использована в целях усиления своей власти, причем в рамках существующей тоталитарной системы, без отбрасывания официальной идеологии. Сталин не изобрел эту реакцию, а лишь увидел в ней могущественное орудие укрепления своей власти. Он решил взять из нее только то, что соответствовало его личным целям. Именно поэтому национализм, использованный Сталиным, будучи лишен всякого культурного и духовного содержания, приобрел уродливую форму, не имея ничего общего с подлинными национальными интересами русского народа.

Ничего иного и не могло быть в условиях тоталитаризма и фанатического антирелигиозного террора. По существу имела место лишь подмена ценностей, причем Сталин был заинтересован лишь в том, чтобы отвлечь естественную национальную реакцию и использовать ее энергию для усиления своей власти. Эта реакция и была одним из орудий Сталина в гигантских чистках 36-38 годов, которые не были исторической случайностью. Эти чистки были результатом действия реальных социальных, экономических и национальных сил. Сталин не вызвал термидора, он

лишь искусно им воспользовался. В противном случае события грозили смести и его самого. Сталин лишь угадал ход исторических событий и поплыл по течению. Национальная реакция русского населения, резко обострившаяся к концу двадцатых и началу тридцатых годов, явилась одним из могущественных исторических потоков, угрожавших самому существованию нового строя, но Сталин успешно использовал его, введя в государственную систему.

Невозможно было производить в области национальной жизни сомнительные эксперименты над огромной страной с консервативными традициями без того, чтобы не вызвать сильную реакцию.

В ходе чисток к власти пришел совершенно новый социальный и национальный слой, в основном происходивший из крестьянства и городского мещанства. Казалось бы, что отныне, после этого, политика правительства должна была стать национальной. Однако Сталин направил национальную реакцию в русло советского империализма, стремясь отвлечь население на усиление государственной мощи, внешнюю экспансию, доминирование над другими народами. Советский империализм оказался лишь культом силы. Он органически противоположен культурным и духовным ценностям русского народа.

Победа над Германией, резкое расширение советской империи вызвали бурный рост империалистических настроений, как в аппарате, так и в народе, отнюдь не ограничиваясь одним русским населением. Но уже в этот период стали ощущаться отрицательные последствия империалистической политики СССР для русского народа. Прежде всего, во избежание недовольства на национальных окраинах и в независимых от СССР странах, уровень жизни там поддерживался на более высоком уровне, чем в России. Русские солдаты стали опорой армии, где на них легла основная тяжесть сохранения и расширения империи. Они стали

выполнять также роль главной физической силы в промышленности всей страны, в том числе на национальных окраинах, и особенно при добыче полезных ископаемых. С одной стороны, это привело к широкой колонизации национальных республик, а с другой стороны — к опустошению русской деревни — главного источника индустриализации СССР. Отсутствие традиционных форм культурной и религиозной жизни и беспомощность господствующей идеологии отрицательно отозвались на моральном состоянии населения.

Наследники Сталина еще более усилили тенденцию к империализму, губительную для интересов русского народа. И хотя действительной мотивировкой этого империализма были тоталитарные устремления, советское правительство всегда стремилось изобразить свою политику в глазах русского населения, как продиктованную русскими национальными интересами.

В настоящее время советский империализм стремится протянуть свои руки в самые отдаленные районы мира, которые прежде были едва даже известны населению страны.

Вряд ли простые русские люди могут сочувствовать такого рода авантюрам, зная, что именно на их плечи ляжет основная тяжесть бремени империалистической политики страны.

В русском народе давно уже зреет понимание, что его истинные национальные интересы требуют скорейшего отказа от политики империализма, что истинное национальное возрождение России связано не с сомнительным расширением государственной мощи страны, которая скорее усиливает ее слабость, а с восстановлением культурных и духовных ценностей, веками накопленных русским народом. Именно поэтому в настоящее время и появилось русское национальное движение, ставящее себе целью истинное национальное возрождение России.

3. Оппозиционный русский национализм

В настоящее время стало вполне очевидным, что советский империализм наносит вред национальным интересам русского народа, ибо возлагает на него основную тяжесть бремени поддержания советской империи, за что русскому народу приходится расплачиваться самым низким уровнем жизни среди всех других народов СССР, а также исчезновением русской национальной культуры. Таким образом, интересы русского народа, как и других народов страны, существенно ущемлены. Советская государственная система всегда старалась отвлечь недовольство русского народа на вымышленных внешних и внутренних врагов, и это в значительной мере удавалось ей в течение десятков лет, но в шестидесятых годах, в условиях общего оживления общественной жизни страны, впервые за 40 лет стало возникать независимое русское национальное движение, отвергавшее тоталитаризм, как главную причину кризиса в русской национальной жизни. Это движение возникло одновременно в разных местах. Можно выделить, по крайней мере, два центра, влияние которых впоследствии распространилось по всей стране. Это, во-первых, лагеря политических заключенных в Мордовии, где русское национальное движение возникло среди осужденных в большинстве за участие в небольших оппозиционных демократических и социалистических группах. А во-вторых, таким центром оказался Ленинград, где возник так называемый Всероссийский Социал-Христианский Союз Освобождения Народа. Движение, возникшее в Мордовских лагерях, дало таких людей, как Владимир Осипов, Вячеслав Родионов и другие. Оно не было организационно оформлено и в начале переболело различными «детскими болезнями», естественными в такой ситуации. Ленинградская организация возникла в феврале 1964 года и просуществовала три года, после чего она была

выдана, и ее 60 участников были арестованы. По-видимому, ВСХСОН был самой крупной подпольной организацией в СССР после двадцатых годов. Лидер этой организации Игорь Огурцов был осужден на 15 лет, его ближайший помощник ассириец Михаил Садо — на 13 лет. Другие участники были осуждены на сроки заключения до 8 лет. Недавно в Париже в издательстве «ИМКА-ПРЕСС» вышла книга под названием «ВСХСОН»*, где изложена программа этой организации, которая производит большое впечатление. Она составлена под сильным влиянием Бердяева, а отчасти и Милована Джиласа, чья книга «Новый класс» оказала сильное воздействие на участников ленинградской организации. Программа ВСХСОН отрицает и капитализм, и коммунизм, называя последний болезненным порождением капитализма. Она провозглашает принципы построения нового общества: демократического, построенного на корпоративной основе, без политических партий, как орудия власти**.

Из программы ВСХСОН ясно также, что ее национальный характер отнюдь не имеет какого-либо великодержавного, империалистического оттенка. В ней отмечается, что «культурная политика социал-христианства исходит из признания, что живая культура есть средство национального самосознания и самовыражения, и что она может процветать только в условиях свободы».

«Вместе с этим, — сказано далее, — христианской культуре присущ сверхнациональный характер, который в нашу эпоху сыграет решающую роль в деле

* ВСХСОН. «ИМКА-ПРЕСС», Париж, 1975.

** Мне, как автору статьи в сборнике «Из-под глыб», очень жаль, что программа ВСХСОН была недоступна до 1975 года читателям, иначе она, несомненно, помогла бы мне углубить представление о будущем обществе. Однако выводы, сделанные в моей статье в сборнике «Из-под глыб», в значительной степени совпадают с выводами программы ВСХСОН.

сближения народов в единую всечеловеческую семью».

Как видно из истории организации, что хотя в состав ВСХСОН входили, наряду с русскими, и отдельные представители других национальностей, те считали себя русскими по самосознанию, и именно поэтому ВСХСОН была русской национальной организацией, ставившей себе целью национальное возрождение, не противопоставляя себя в то же время другим народам.

1971 год знаменует собой новый этап в развитии русского национального движения. Владимир Осипов начинает издавать легальный самиздатский журнал «Вече». В отличие от ВСХСОН, журнал «Вече» не ставил своей целью свержение существующего строя, а, напротив, подчеркнуто провозглашал лояльность этому строю, хотя и добиваясь его мирного преобразования. Журнал объединил вначале весьма разнородные течения — от национал-демократов до национал-большевиков. В журнале подвергалось резкой критике уничтожение русской культуры, открыто провозглашалась приверженность Православию, но среди его авторов и сторонников были и атеисты, антихристиане и даже неоязычники. Осипов лично придерживался демократической, антитоталитарной и религиозной линии. Но в то же время сотрудник «Вече» Геннадий Шиманов защищал существующий строй с религиозной точки зрения, утверждая, что со временем он окажется той базой, которая снова вернет Россию в лоно Церкви и даже послужит всемирной мессианской цели России.

Анатолий Скуратов (Иванов), как и Осипов, в прошлом студент МГУ, насильно заключенный на несколько лет в психиатрическую тюрьму за демократическую деятельность, занял в журнале антихристианскую позицию, опираясь в основном на теорию культурных типов русского философа XIX века Николая Данилевского.

Журнал «Вече» имел большой успех и быстро распространился по стране, вербуя новых сторонников.

Но разнородность течений внутри журнала не могла не вызвать внутренних столкновений в нем. Быть может, это и не привело бы к драматическим последствиям, если бы не новые обстоятельства.

Стихийно возникшее русское национальное движение привлекло внимание определенной группы советского руководства. Эта группа решила использовать движение во внутривластной борьбе, пытаясь направить его в русло патологического антисемитизма и оформить вокруг него влиятельную политическую тенденцию. Но это стремление натолкнулось на сопротивление группы религиозных националистов и демократов во главе с самим Осиповым. Стало ясно, что именно христианская направленность этих людей превратилась в основной тормоз на пути политических интриг вокруг русского национального движения. В результате в журнале «Вече» был инспирирован раскол, а Осипов, успевший издать два номера нового журнала «Земля», был арестован и недавно осужден на 8 лет*.

Другим важным событием в русской национальной жизни оказался журнал «Московский сборник», который с 1974 года начал издаваться бывшим членом ВСХСОН Леонидом Бородиным. Если «Вече» и «Земля» носили больше публицистический характер, то «Московский сборник» имел религиозно-философский уклон.

Независимое русское национальное движение рассматривается в СССР как одна из главных угроз существующей системе, что, в частности, показывает жестокость приговора Осипову. Но не одним этим течением исчерпывается это движение. Сейчас наибо-

* Автор в течение 1974 года поддерживал дружественные отношения с Осиповым и высоко ценит его за мужество и принципиальность. В феврале 1975 года он был вызван свидетелем по делу Осипова в КГБ, заявив там, что считает дело против «Вече» результатом темных политических интриг внутри советского руководства.

лее выдающимися лидерами русского национального движения стали Солженицын, Шафаревич, Борисов, в той мере, в какой это выразилось в сборнике «Изпод глыб».

Уже в таком произведении, как «Матренин двор», опубликованном еще в 1963 году, Солженицын с горечью описывал распад русской деревни, разложение русского национального уклада, нравственный упадок людей, насильственно лишенных традиционных национальных и религиозных форм жизни в условиях советской власти. «Матренин двор», наверно, был первым произведением, опубликованным в официальной советской печати, которое с такой силой описывало крушение основных ценностей народной жизни.

Небольшие рассказы Солженицына, так называемые «Крохотки», произвели в свое время, а именно в 1966 году, большое впечатление, несмотря на то, что ходили по рукам лишь в Самиздате. Та же тема получила развитие в небольшом рассказе о крестном ходе в Переделкине во время Пасхи, но наиболее законченное выражение она нашла в открытом письме патриарху Пимену, опубликованном в 1971 году.

Во всех этих произведениях Солженицын выдвигал первейшим условием возрождения русской национальной жизни — обращение к ее религиозным истокам, к Православию. Однако сам Солженицын не был связан в этот период с другими течениями русского национального движения. Более того, в некоторый период журнал «Вече» выступал против Солженицына как якобы против человека, изменившего русскому движению. Это, в частности, заявлял даже Осипов в своем интервью газете «Балтимор Сан» в 1972 году.

Объясняется это провокационной деятельностью агентуры определенных политических кругов, стремившихся, как уже говорилось выше, использовать русское национальное движение в собственных внутриполитических интригах. Солженицын был для этих

кругов недопустимой фигурой, ибо не позволил бы контролировать национальное движение, а главное, он придавал ему форму, опасную для власти правящей группы, ибо полностью отвергал господствующую идеологию.

Именно поэтому, пользуясь традиционными и хорошо разработанными методами политических интриг, на время удалось изолировать Солженицына от тогдашнего русского национального движения и даже спровоцировать конфликт между ними. С этой целью был использован исторический роман Солженицына «Август Четырнадцатого», причем Солженицын, показавший гнилость тогдашнего политического строя, был обвинен в антипатриотизме, хотя было очевидно, что роман пронизан чувством глубокой скорби о том, как подлинные национальные интересы народа предавались в угоду личным амбициям отдельных высокопоставленных чиновников, а кроме того, они подрывались действиями революционных экстремистов.

Кроме того, еще в конце 1971 года Солженицыну было адресовано так называемое «Письмо Самолвина», в котором Солженицын объявлялся сионистским агентом, клеветущим на Россию в угоду евреям. Это письмо, как утверждает ряд свидетелей, имело большую популярность среди определенной части правительственных кругов.

Положение начало меняться в конце 1973 года в связи с начавшимся расколом в журнале «Вече», а также вследствие выхода в свет «Архипелага ГУЛАг», но в особенности после опубликования «Письма к вождям», после высылки Солженицына. В этом письме, как известно, Солженицын открыто сформулировал программу национального возрождения России, которую он считал реальной политической платформой. Содержание «Письма к вождям» хорошо известно, но хотелось бы напомнить, что Солженицын в качестве основного тезиса выдвигает утверждение, что источником

всех трагедий в истории страны, источником всех ее текущих недостатков является официальная коммунистическая идеология. В этом письме Солженицын вновь настойчиво призывал к национальному возрождению. Он, далее, утверждал, что устранение коммунистической идеологии приведет к перерождению тоталитаризма в диктатуру переходного типа, что, как это ни парадоксально, может оказаться существенным прогрессом на пути развития России в сторону демократии. «Письмо к вождям» вызвало большую полемику, в которой оно подверглось критике с различных позиций Сахаровым, Медведевым и другими. Этого, конечно, можно было ожидать, но, по-видимому, наибольшее влияние «Письмо к вождям» оказало именно на тех, на кого оно отчасти и было рассчитано, а именно — на определенные слои правящего аппарата, которые в «Письме к вождям» могли впервые увидеть реальную политическую альтернативу для себя, — возможность приспособиться к изменениям в политической структуре власти при смене ее идеологии. Солженицын — гораздо больший прагматик, чем это принято думать. И его социальная база очень широка. Она не только и не столько в людях, открыто критикующих власти. Она внутри самой системы. Она, разумеется, направлена против определенной наиболее реакционной части правящего аппарата, связанного с идеологией, но в СССР есть и другие слои этого аппарата. И никто не может поручиться за то, что программа Солженицына не окажется для них приемлемой.

Новым шагом в области уточнения национально-политической платформы Солженицына явилась публикация сборника статей «Из-под глыб», который готовился Солженицыным несколько лет. Но здесь он уже выступает не один, а вместе с группой единомышленников, среди которых мы видим известного математика Игоря Шафаревича, историка Вадима Борисова, ис-

кусствоведа Евгения Барабанова и других. Солженицын существенно расширяет здесь круг рассматриваемых им вопросов, сделав одним из центральных вопросов — проблему интеллигенции. Солженицын, следуя авторам дореволюционных «Вех», определяет состояние, в котором находится современная советская интеллигенция, как одно из наиболее отрицательных явлений в жизни страны. В изменении ориентации интеллигенции он усматривает важное условие возрождения национальной жизни в стране.

В сборнике «Из-под глыб» имеются две важные статьи, посвященные национальному вопросу. Это статья Вадима Борисова и статья Солженицына о самоограничении и раскаянии как категориях национальной жизни.

Вадим Борисов утверждает, что нация имеет некую надиндивидуальную сущность, в которой заключается особая ценность, ставящая ее выше, чем отдельную личность. Таким образом, согласно концепции Борисова, нация имеет свою собственную органическую жизнь, свои задачи, которые гармонично сочетаются с интересами отдельных людей, для которых национальная жизнь представляет одну из важнейших ценностей.

Что касается концепции Солженицына о самоограничении и раскаянии, то можно утверждать, что она является, несмотря на ее, казалось бы, очевидность, одним из его важнейших вкладов в русскую общественную мысль. Она показывает, что национальная идеология Солженицына не агрессивна, не имеет ничего общего с шовинизмом. Хотя Солженицын сам не формулирует своих взглядов теоретически, я бы назвал его национальные взгляды — теорией национального плюрализма, согласно которой все человечество мыслится как гармоническая совокупность самоограниченных национальных сил. Отсутствие этого самоограничения не только нарушает устойчивость

человечества в целом, но прежде всего грозит отрицательными последствиями для народа, потерявшего чувство реальности.

Именно в этом идеология Солженицына в национальном вопросе, и приписывать ему едва ли не агрессивный национализм есть сознательное или же бессознательное ее искажение*.

Более того, можно полагать, что это движение ждет, пользуясь, может быть, слишком затертыми словами, большое и светлое будущее.

* Мне, как участнику еврейского национально-освободительного движения, это особенно понятно и близко. Ибо недавно это движение было клеветнически объявлено расизмом с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. И отвергая это обвинение, я столь же решительно отклоняю обвинения русского национального движения и, главным образом, течения, представляемого Солженицыным, в агрессивном шовинизме.

Еще одна писательская судьба

В России столько человек сидят в «отказе», что их трагические судьбы уже перестали волновать общественное мнение Запада. Между тем каждый человек нуждается в помощи, ибо только за свое намерение обрести свободу, обрести свою настоящую Родину он рискует жизнью.

Как правило, любому «отказнику» официальные власти инкриминируют какой-нибудь проступок. Но вот совершенно исключительный случай. Феликс Соломонович Кандель (Камов) известен в Советском Союзе как писатель-сатирик и кинодраматург. Вместе со своими соавторами он создал мультипликационную серию кинофильмов под названием «Ну, погоди!». Эти веселые, невинные приключения Волка и Зайца имели в России совершенно фантастический успех. Мультфильмы серии «Ну, погоди!» одинаково любят и дети, и взрослые. Изображение камовских героев можно встретить на открытках, значках, спичечных этикетках. Про Волка и Зайца (вот истинная популярность) поются песни. Каждую мультипликационную передачу по центральному телевидению открывают герои «Ну, погоди!», а по большим праздникам телевидение показывает все серии подряд. Волк и Заяц стали в СССР такими же национальными любимцами, как Микки-Маус в США.

Чем же ответило Феликсу Канделю (Камову) «благодарное отечество»? Как только три года тому назад он подал заявление на выезд в Израиль, его имя сразу сняли с титров (популярнейшая серия отныне не имеет авторов), а сам Феликс Кандель (Камов) был лишен всяческих возможностей зарабатывать на хлеб для себя и своей семьи. Здоровье писателя подорвано двумя тяжелыми голодовками протеста. Но и голодовки не помогли. В который раз Канделю (Камову) отказывают в праве на выезд под тем смешотворным предлогом, что, дескать, 16 лет (!!!) тому назад он работал на закрытом предприятии. Поверить невозможно, что рядовой инженер знал какие-то секреты, которые не устарели за 16 лет. Такая мотивировка отказа в нормальном обществе может вызвать только веселый смех. Однако Феликс Камов живет в ненормальном обществе. Когда человеку угрожает физическая расправа, ему не до веселья.

Неужели гебешным генералам, в чьих руках находится жизнь Феликса Канделя (Камова), не стыдно перед своими маленькими детьми и внуками? Впрочем, обращаться с такими наивными вопросами к власти имущим деятелям — пустая трата времени. А пока что над головой Феликса Канделя (Камова) сгущаются тучи: его уже дважды вызывали к следователю прокуратуры. (Интересно, что там требовали от писателя: дать показания по «делу» Волка и Зайца? Дескать, и они зачислены в число империалистических агентов?)

Мы поднимаем свой голос в защиту популярного писателя и драматурга, который своим творчеством принес столько радости детям нашей страны. Мы призываем власти выполнять международные соглашения о правах человека, соглашения, под которыми стоит подпись правительства Советского Союза.

*А. Галич
А. Гладилин
В. Максимов
В. Марамзин*

*В. Некрасов
Н. Коржавин
Е. Терновский*

Положение украинцев во Владимирской тюрьме

В канун столетия Эмского акта о запрещении украинского языка (30 мая 1876 г.):

1. Украинцам заблокирована подписка на национальные газеты и журналы, внесенные в каталог Союзпечати под индексами: 61014 «Друг читача», 74393 «Перець».

Подписке на другие украинские издания чинятся всевозможные препятствия.

2. Хотя в тюрьме много украинцев, тюремная библиотека отказывается выписать что-либо из украинской периодики.

Руководит вышеизложенными гонениями замполит, капитан М. Д. Косьянов.

3. С 1-го октября 1975 г. в тюрьме, ссылаясь на тайный приказ № 0125 от 30. 5. 75 МВД СССР, украинцам начали в принудительном порядке стричь усы. Это является глумлением над их национальными обычаями и достоинством.

С 1-го по 20 октября тюремщики насильно остригли усы у украинцев *Лукьяненко, Сергиенко, Здорового, Федоренко* и других.

Особенно отличается в этой операции ДПНТ майор Киселев М. М., в смены которого, а также старшины Жижина нередко происходит избивание заключенных.

17. 1. 76 *Здоровый* вновь отказался остричь усы, мотивируя отказ тем, что это является оскорблением человеческого и национального достоинства.

Здоровый вел себя спокойно, вежливо и надзиратели не хотели браться за экзекуцию. На приказ Киселева — применить насилие — они заявили: «Да и наручников тут нет». Тогда Киселев закричал, что он и без наручников обойдется.

«Руки назад», — приказал он *Здоровому*. Когда тот выполнил приказ, Киселев резким движением захватил его руки и потащил их вверх, к шее; зажал своими руками руки и шею *Здорового*, запрокинув и держа неподвижно голову жертвы. «Стриги усы», — приказал он зеку из obsługi. Тот подчинился.

После этого *Здоровый* не мог пошевелинуть ни руками, ни головой.

Майор Киселев составил на *Здорового* «акт о нарушении режима», выразившемся в неподчинении приказу, невыполнении распоряжения о сангигиене в ИТУ.

4. Имели место случаи запрещения украинцам пользоваться родным языком на свиданиях (с родственниками).

Морозу на свиданиях запрещали разговаривать с сыном на родном языке.

На *Мороза* был составлен акт «О нарушении дисциплины, невыполнении приказа».

5. Хотя закон устанавливает трехдневный срок проверки писем и заявлений, их зачастую по месяцу не отправляют адресату, если они написаны на украинском языке.

Делается это под предлогом «необходимости перевода на русский язык».

Начальник тюрьмы В. Ф. Завьялкин наивно заявил *А. К. Здоровому* (в апреле 1975 г): «Если хотите, чтобы было быстрее, — пишите на русском языке, как все нормальные люди».

6. Были случаи возвращения без рассмотрения жалоб зеков лишь по той причине, что они написаны на украинском языке.

«Для рассмотрения заявления по существу предложите переписать на русский язык», — цинично ответил Колпаков 31. 3. 75 за № 9/12-11-1064, вх. № 4260.

Капитан Дойников вернул *А. К. Здоровому* письма (от 4. 8. 75, 19. 12. 75 и 24. 12. 75), адресованные в официальные учреждения Днепропетровска, требуя переписать адрес по-русски, хотя на конверте был четко указан почтовый индекс.

«Вы должны быть нам благодарны за то, что мы не удерживаем с вас денег за перевод ваших писаний на русский язык», — заявил Дойников 30. 12. 75 в беседе с *Приходько*.

7. Украинцы лишены возможности слушать радио на родном языке.

Письмо Ежи Анджеевского преследуемым участникам рабочего протеста

Я обращаюсь к вам, встревоженный и подавленный причиненными вам злом и несправедливостью и в то же время убежденный — и эта убежденность каждый день получает подтверждения со всех сторон, — что мои мысли и чувства разделяют многие мои друзья-писатели и широкие массы прогрессивной польской интеллигенции. В эти тяжелые для вас дни я обращаюсь к вам со словами уважения и солидарности, утешения и надежды.

Я хорошо понимаю, что перед лицом судебных приговоров, осуждающих вас на многие годы тюрьмы, перед лицом физического насилия и подавления, перед лицом притеснений и повседневного, унижительного чувства бессилия, наконец, перед лицом непрекращающихся массовых увольнений, которые угрожают самому вашему существованию, — мои слова всего лишь слова, их вес несоизмерим с вашими страданиями. Но только словами я могу выразить свою солидарность, сочувствие и протест.

Знайте, что в то время как власти через прессу, радио и телевидение стараются ввести общество в заблуждение и отвлечь его внимание от истинных причин кризиса, в то время как они обвиняют вас в антиобщественном вредительстве, разрушительном анархизме и даже хулиганстве, — есть в Польше люди, которые сохранили способность отличить правду от неправды и противостоят лжи и лицемерию. Эти люди видят в вас, преследуемых рабочих, не только глашатаев конкретного, сиюминутного дела, но и, прежде всего, борцов за истинную социалистическую демократию и социальные свободы, без которых всякая свобода замирает, жизнью общества управляет мошенническое фразерство, нация в опасности, личности нечем дышать.

Мысли и чувства этих людей устремлены к вам, и вся прогрессивная Европа и мир тревожно ожидают, осмелятся ли польские власти переложить ответственность за свои ошибочные решения на людей, которые предостерегали против их последствий и своим протестом воспрепятствовали их проведению в жизнь.

Я хотел бы — от себя лично и от имени круга моих друзей, польских писателей, которые уже написали письма в защиту вашего дела многим выдающимся представителям европейской культуры и политики, — обещать вам: мы не устанем добиваться прекращения преследований, которым вы подверглись и продолжаете подвергаться. Мы требуем амнистировать невинно осужденных и заключенных, освободить безосновательно арестованных, реабилитировать оскорбленных и оклеветанных, вернуть работу уволенным. Пока хоть один из вас, участников рабочего протеста, остается во власти насилия, разлучен с семьей и обществом или притеснен на рабочем месте и вне его, — все наши, к сожалению, ограниченные возможности мы поставим на вашу защиту. Польша — не только наша общая родина, но и наше общее достояние. Защитим ее!

Ежи Анджеевский

Варшава, июль 1976

Восточноевропейский диалог

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ПОЛЬСКОЙ «ХРОНИКИ»

Сентябрь 1976

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 *Новости общественной жизни*

Бюллетень ставит себе целью пробить брешь в государственной монополии на информацию, обеспеченной существованием в стране цензуры. Помещаемые в бюллетене сведения служат гласности общественной жизни и включают хронику репрессий против граждан и против национальной культуры. Распространение бюллетеня — активное выступление в защиту гражданских прав, реальное использование этих прав.

Прочитай, перепиши и дай читать другим. Выявляй случаи покушений на гражданские права. Помни: уничтожая бюллетень, ты заклеиваешь рот себе и другим.

Редакционный комитет

ОТЧЕТ О СОБЫТИЯХ 25 ИЮНЯ 1976

«Урсус». Забастовка на механическом заводе «Урсус» продолжалась до утра. После отказа дирекции потребовать приезда представителей высшей власти для переговоров с коллективом, рабочие вышли на железнодорожные пути и остановили движение поездов на линиях Варшава-Кутно и Варшава-Скерневице. Этот акт протеста проходил довольно спокойно. Органы общественного порядка не вмешивались, были только подтянуты большие отряды милиции и проводилось наблюдение (в том числе с вертолета). Из

важнейших инцидентов следует отметить, что одна работница ударила по лицу секретаря парткома и директора завода во время их выступлений.

Около 20 часов, когда была объявлена отмена повышения цен, работники начали расходиться по домам. Именно тогда отряды милиции атаковали расходящихся, используя петарды, слезоточивые газы, избивая дубинками, пиная ногами упавших. Затем милиция начала по всему «Урсусу» облавы, соединенные с жестоким избиением людей — в первую очередь, молодежи. Задержанных били гаечными ключами, пряжками ремней — часто до потери сознания. Облава продолжалась до утра.

В отделении милиции «Урсуса» задержанных вели между двумя рядами милиционеров, которые били их дубинками. В отдельной комнате каждого задержанного снова избивали несколько милиционеров. Известны случаи перелома ребер. В задних помещениях комендатуры устроили так называемую «беговую дорожку»: задержанных заставляли бегать по кругу под градом ударов дубинок. Все задержанные подверглись избиению — неизвестно ни одно исключение из этого правила. Всего в эту ночь было задержано 200-300 человек.

Во Дворце Мостовских*, куда затем перевезли задержанных, их фотографировали, снимали отпечатки пальцев, ультрафиолетовыми лампами проверяли присутствие специального порошка, который был рассыпан милицией на месте событий, чтобы установить участие задержанных в этих событиях.

27 июня начали работу административные суды. Задержанных обвинили в нападении на милиционеров, в неподчинении приказу разойтись, в погроме магазинов и вагонов. Свидетелями выступали милиционеры, в основном — не те, кто участвовал в задержании. Су-

* Варшавская Лубянка. — Прим. р е д.

ды назначали штрафы (1500-5000 злотых) либо условное лишение свободы. Через двое суток большинство задержанных было отпущено домой. Предприятия без предупреждения уволили всех задержанных. Увольняли, однако, не только тех, кто был задержан: основанием для увольнений служили также снимки, сделанные милицией, показания некоторых руководителей предприятий и стукачей.

4-5 июля те, кто прежде был приговорен к штрафам, были вновь арестованы и еще раз предстали перед административными судами. Почти все приговоры теперь сводились к 3 месяцам лишения свободы. Судебные заседания большей частью проходили с полным нарушением принципов УПК. Например, приговоры основывались на показаниях свидетеля Домбека, который только протоколировал в комендатуре рапорты участников задержания.

Всех репрессированных рабочих не принимали ни на какую другую работу. Управление рабочей силы в Варшаве вообще отказывалось разговаривать с рабочими, уволенными после 25 июня.

16-17 июня в Варшавском воеводском суде прошел судебный процесс семи рабочих, обвиняемых в крушении электровоза. Ни один из обвиняемых не имел раньше судимости. Защитники были назначены судом. Единственными доказательствами были фотографии. Суд ограничил права обвиняемых защитой в узком смысле, против чего адвокаты не возражали. Например, обвиняемого Хмелевского дважды прерывали, когда он начинал давать показания об избиениях во время следствия. Были вынесены приговоры от 3 до 5 лет тюрьмы.

В августе в Прушковском суде прошли два процесса: обвинением была раздача яиц и сахара из разбитых грузовиков. 12 человек были приговорены к срокам от года условно до трех с половиной лет тюрьмы.

27 сентября в Верховном суде состоялось кассационное заседание по делу семи осужденных в июльском процессе «Урсуса». Все обвиняемые получили по году условно с трехлетним испытательным сроком. Суд оставил без изменения юридическую квалификацию действий (ст. 220 УК), а прокуратура обещала начать дело против участников избиения Мирослава Хмелевского.

Р а д о м. Вот сообщения двух участников событий:

Рабочий «Радоскура»: «Около 10 час. мы пошли к мясокомбинату. На ул. Жеромского сформировалась демонстрация. Из мясокомбината выкатили фургоны с мясом и показали, как его много. Никто не грабил. Полные фургоны вкатили обратно. Около 11 час. демонстрация двинулась по ул. Жеромского с пением «Интернационала» и «Еще Польша не згинела». Раздавались возгласы: «Долой повышение цен!» Большую часть демонстрации составляла молодежь. Шли очень дисциплинированно, всюду был порядок и спокойствие. Перед воеводским управлением все свистели, но окон не били. Затем подошли к воеводскому комитету партии. Здание было захвачено рабочими. Три человека, в том числе одна девушка, сорвали красный флаг и этим флагом вычистили ботинки. На его место был поднят бело-красный флажок. Люди запели «Еще Польша...» В это время шли переговоры: добивались связи с ЦК и отмены повышения цен. Ответ ожидался через два часа. Около 14 час. вторая смена присоединилась к демонстрантам. Люди приезжали на грузовиках и тракторных прицепах. Между 14 и 15 час. рабочие блокировали уличное движение около воеводского комитета, поставив поперек проезжей части грузовики и автобусы. Когда по прошествии двух часов никто не вышел разговаривать с демонстрантами, начали громить здание. Полетели стекла, были вышвырнуты столы, ковры, телевизоры.

Из столовой вынесли большое количество консервов, колбасы, грудинки. Раздавались выкрики: «Глядите, как живут эти сучьи дети!» Начался погром ближайших магазинов. Здание комитета было облитو бензином и подожжено. Около 17 час. приехала милиция, вооруженная водяными ружьями и газометателями. Милиция шла сплошным потоком от ул. Словацкого к воеводскому комитету. Демонстранты подожгли баррикады из автомобилей, разбежались по сторонам и атаковали милицию сзади. После разгрома демонстрации у комитета люди начали собираться у воеводского управления. Около 17 час. по ул. Жеромского и Струга возили на электрокарах двух окровавленных убитых. Люди стояли, сжимая кулаки».

Второе сообщение: «На ул. Жеромского во время обыска я поднял руки вверх. Меня забрали. По пути в комендатуру меня били и оплевывали. Один милиционер ударил меня шлемом по лицу, сломав мне нос. Перед воеводской комендатурой стояли другие милиционеры и били проходящих дубинками. Внутри, в коридорах, милиционеры били и пинали проходящих. В комнате № 105 мне приказали лечь на пол и бритвой остригли меня. Потом нас перевезли в тюрьму. Тюремные надзиратели были пьяны и все были вооружены дубинками и шлемами. Нас раздели до трусов и продержали всю ночь в камерах на бетонном полу. Было очень холодно. Надзиратели требовали полной тишины: заслышав разговоры, врываются в камеру, хватали кого попало и в коридоре избивали. Были слышны крики, потом избитого, как мешок, закидывали в камеру. Если кто-то стонал, снова вытаскивали и били. На другой день был суд. Если кто-то начинал публично жаловаться, что его били, то запрещали говорить вообще, а после суда били снова. Потом меня перевезли в тюрьму в Белосток. Здесь надзиратели, в основном, не били. Раз только меня ударили кулаком по почкам: слишком медленно входил в

камеру. В тюрьме Белостока 45 камер, в камере на 4 человека сидело человек 20-30. В камере №9 первого отделения сидело 40 человек (камера на 14 человек). В моей камере первую ночь мы спали на полу без одеял. От тех, с кем я сидел, я узнал, что некоторых перед судом заставляли минут по 45 бегать на месте. Другие рассказывали, как во время следствия их приводили в комнату, где лежали разные вещи: палатка, фотоаппарат и т. п. Заключенным приказывали взять что-нибудь из этих вещей. Никто не хотел брать, тогда их битьем заставляли что-нибудь взять в руки. А потом обвинили, что они эти вещи награбили».

ПРОТЕСТЫ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

18 июля известный оппозиционер Яцек Куронь, не раз сидевший за свои убеждения, направил открытое письмо Энрико Берлингуэру, генеральному секретарю Итальянской коммунистической партии. В этом письме Куронь излагает социально-политическую ситуацию, создавшуюся в Польше после июньских событий, и призывает Берлингуэра помочь польским рабочим, которых избивают, держат в тюрьме, приговаривают к лишению свободы и выбрасывают с работы.

Письмо Яцека Куроня встретило широкий отклик на Западе, особенно в Италии. Полный текст его был распространен агентством АНСА, письмо излагалось и комментировалось ежедневной прессой, в том числе коммунистической газетой «Унита» (20 июля), и вызвало живую реакцию в различных левых кругах, о чем свидетельствуют многочисленные протесты и заявления различных социально-политических организаций, в том числе и самой ИКП*.

* В поддержку открытого письма Яцека Куроня выступил также комитет «Помощь и взаимодействие» в составе: Жан-Мари Доменак, Пьер Эмманюэль, Ота Филип, Наталья Горбаневская, Фран-

Вслед за письмом Яцека Куроня 13 польских писателей и других интеллигентов направили во французский еженедельник «Нувель обсерватор» призыв к ряду известных представителей европейской культуры и политики, в том числе Жану-Полю Сартру, Андре Мальро, Эжену Ионеско, Гюнтеру Грассу и лауреату Нобелевской премии Генриху Бёллю, — призыв защитить права участников рабочего протеста и добиться их освобождения.

Этот призыв подписали Станислав Баранчак, Яцек Бохенский, Казимеж Брандыс, Стефан Киселевский, Рышард Криницкий, Эдвард Липинский, Ян Юзеф Липский, Адам Михник, Халина Миколайска, Марек Новаковский, Юлиан Стрыйковский и о. Ян Зея. Он был опубликован в «Нувель обсерватор» 2 августа и также встретил живую реакцию, на этот раз в кругах европейской интеллигенции. В частности, Гюнтер Грасс и Генрих Бёлль обратились к польским властям по вопросу освобождения заключенных рабочих.

Третье важное выступление в защиту жертв июньских событий — послание Ежи Анджеевского к преследуемым участникам рабочего протеста. Автор «Пепла и алмаза» обращается в нем к польским рабочим с выражениями уважения и солидарности, посылает слова утешения и надежды и обещает — лично и от имени своих друзей-писателей, — что не прекратит стараний положить конец преследованиям. Анджеевский требует амнистии для невинно осужденных и заключенных, реабилитации потерпевших и оклеветанных, возвращения работы тем, кто ее лишился.

Послание Анджеевского печаталось и коммен-

тишек Яноух, Владимир Максимов, Виктор Некрасов, Людек Пахман, Питер Реддавей, Майкл Скэммел, Лоран Шварц, Йохан Фогт. Телеграмма с требованием амнистии была направлена Эдварду Гереку и Энрико Берлингуэру, копия (видимо, не дошедшая) — Яцеку Куроню. — Прим. ред.

тировалось итальянской, французской, немецкой и даже японской прессой.

ПРАВО НА ТРУД

Июньские забастовки вызвали хаотическую реакцию административного аппарата. Отдельные министры приказали внести дополнения в трудовые правила подчиненных им предприятий. Например, министр машиностроительной промышленности 17 июля письмом № П.П. 11.5201/76 предписал следующее дополнение:

«Самовольное прекращение работы, уклонение от ее выполнения, а также нарушение порядка и спокойствия на предприятии составляют основание для разрыва трудового договора без предупреждения, то есть немедленное увольнение».

Следует помнить, что указанное дополнение повторяет формулировки ст. 52 §1 и 65 §1 трудового кодекса, которые широко применялись как основа увольнений рабочих за участие в июньских забастовках. Таким путем правительство напомнило директорам предприятий, что они обладают «правовыми средствами» против забастовщиков.

СТАТЬЯ 114 УПК

В этой постоянной рубрике мы будем помещать данные обо всех злоупотреблениях властью, допущенных милицией и госбезопасностью. Одновременно мы хотим дать необходимые юридические сведения, которые позволили бы защитить свои права от нарушений их органами власти. Вопреки всеобщему убеждению, гражданин не бессилен перед лицом беззакония. Его защищают определенные статьи УПК, использование которых зависит от него. В этом поможет широкое информирование общества о попытках нарушения за-

конов. Короче говоря, от нас самих в большой степени зависит, как далеко зайдут ограничения гражданских свобод.

Самый частый случай нарушения ст. 114 УПК — неформальные вызовы на так называемые «гражданские беседы». Такие беседы не имеют целью открыть преступление или обнаружить преступника, но служат для того, чтобы сориентироваться в настроениях какой-либо среды, узнать взгляды отдельных людей, получить материал для шантажа, а чаще всего — завербовать осведомителя. По делам, где милиция производит дознание, повестки заполнены по правилам. Вызовы же на «гражданские беседы» чаще всего не имеют правильно заполненных рубрик, по какому делу и в качестве кого вызывается данное лицо.

В согласии со ст. 114 УПК, в повестке должно быть указано: «...по какому делу, в качестве кого, в какое время и в какое место должен явиться адресат». Гражданин может быть вызван только в качестве свидетеля, подозреваемого, эксперта или переводчика. От того, в качестве кого он выступает, зависят его права. Подозреваемый имеет право отказаться от дачи показаний (ст. 64 УПК). Свидетель может уклониться от ответа на вопрос, если это могло бы его самого или его близких родственников привести к уголовной ответственности (ст. 166 УПК). В других случаях вызванный обязан отвечать на вопросы. Значит, не безразлично, в качестве кого вас вызвали на допрос, поэтому повестка должна содержать эти данные. Однако и тогда, когда свидетель обязан давать показания, он не обязан отвечать на любые вопросы, но только на те, которые относятся к делу, по которому его допрашивают, притом исключительно на вопросы, внесенные в протокол. В случае законного вызова допрашивающий обязан сообщить, по какому делу ведется дознание.

Никто не обязан являться по повестке с незапол-

ненными рубриками «по делу» и «в качестве». Получив такую повестку и желая не допустить в дальнейшем таких противозаконных действий, надо уведомить прокурора о попытке злоупотребления властью. Это касается, конечно, и телефонных вызовов, попыток вести разговоры дома, на рабочем месте, в кафе или во время устройства официальных дел. В случае неформальных допросов не надо опасаться рассказывать об этом как можно более широкому кругу знакомых. Это расширяет правовые знания окружающих и защищает от дальнейших попыток такого рода. Не будем заблуждаться легкостью компромисса, когда беседа с гебистом не дала ему, по нашему мнению, сведений, которые пахнут доносом. С момента согласия на «гражданскую беседу» мы совершаем непоправимую ошибку. Мы даем ГБ разрешение на новые беседы, которые несомненно повторятся и раньше или позже приведут к предложению стать стукачом.

Приведем здесь некоторые, наиболее яркие примеры поведения гебистов в течение последнего месяца.

16 сентября шесть жителей Варшавы: Людвик Дорн, Ян Томаш Липский, Антони Мацяревич, Станислав Пузына, Зофья Винавер — были задержаны в здании суда в Радоме, выйдя из зала суда над июньскими забастовщиками. На мужчин надели наручники, всех привели в воеводское управление милиции на ул. Килинского и подвергли тяжким допросам (Людвика Дорна били). Все шестеро отказались разговаривать. У некоторых из них отобрали студенческие билеты. Выпустили их через 8 часов.

23 сентября четверо варшавян: Людвик Дорн, Гражина Яглярска, Антони Мацяревич, Марек Томчик — были задержаны в Радоме на улице, выйдя из здания суда. Была повторена процедура 16 сентября. Били Людвика Дорна и Марека Томчика, причем Томчика продержали в милиции 25 часов.

Фамилии участников задержания и допросов: поручики Каминский, Прасек, Мосек, Росланец, Богута, майор Роевский и гражданин Паёнк.

25 сентября большинство прежде задержанных получили неформальные вызовы явиться в управление милиции в Радоме. Одновременно Станислава Пузыну допрашивали в Варшавском управлении милиции, обвиняя его в ограблении киоска, которое якобы имело место 16 сентября, то есть тогда, когда Пузына был в Радоме.

25 сентября, за два дня до кассационного процесса семи рабочих «Урсуса», в семьях некоторых осужденных или связанных с этим делом появилось несколько человек, представившихся сотрудниками контрразведки или офицерами госбезопасности. Они советовали не идти на кассационное заседание, объясняя, что подсудимые и так будут освобождены, а присутствие большого количества людей только ухудшит положение осужденных и будет использовано «Свободной Европой» или «евреями».

КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ РАБОЧИХ

В сентябре в Варшаве организован Комитет защиты рабочих, который будет оказывать правовую, финансовую и медицинскую помощь репрессированным забастовщикам и их семьям. Распространенный Комитетом «Призыв к обществу и властям ПНР» объявляет, что до сих пор собрано и распределено около 160 тыс. злотых. Члены Комитета призывают общество организовать помощь везде, где находятся репрессированные, а также требовать амнистии осужденным и арестованным и возвращения уволенных на рабочие места, солидаризируясь в этом с резолюцией конференции польских епископов от 4 сентября.

В состав Комитета вошли Ежи Анджеевский, Станислав Баранчак, Людвик Кон, Яцек Куронь, Эд-

вард Липинский, Ян Юзеф Липский, Антони Мацяревич, Адам Щипёрски, о. Ян Зея и Войцех Зембинский.

От редакции:

К моменту сдачи номера в печать редакция «Континента» располагает также двумя первыми выпусками бюллетеня Комитета защиты рабочих (от 22 сентября и 10 октября). Комитет приводит подробные данные о том, какая помощь оказана репрессированным и их семьям, сколько человек и в какой форме подверглось репрессиям; описаны также репрессии за присутствие на судебных заседаниях и за участие в акции помощи рабочим. Во втором выпуске приводится список некоторых активных участников репрессий: милиционеров, судей и прокуроров. Оба выпуска заканчиваются призывом к обществу о помощи репрессированным и о сборе информации, необходимой для работы Комитета, а второй — также списком Комитета, пополненного пятью новыми членами, с адресами всех пятнадцати. Для русского читателя, который захочет принять участие в акции помощи, сообщаем адреса Ежи Анджеевского и проф. Эдварда Липинского: Jerzy Andrzejewski, Warszawa, Świerczewskiego 53-4; Edward Lipiński, Warszawa, Rakowiecka 22a-28.

В последнюю минуту

ТЕЛЕФОННОЕ СООБЩЕНИЕ ИЗ ВАРШАВЫ:

Стремясь подорвать работу Комитета, власти выпустили фальшивый, третий номер его бюллетеня, в котором, сбивая с толку читателей, перемешали с истинными фактами такие, как опровержение убийства ксендза Романа Котляжа в Радоме — якобы он умер естественной смертью, или как сообщение о выходе из Комитета проф. Эдварда Липинского, который, кстати, в этот момент находился в США.

Запад — Восток

Анн Дастрэ

«МОНД» БЕЗ ПРИКРАС

Сразу после освобождения Франции генерал де Голль поручает Юберу Бэв-Мери основать крупную вечернюю газету, и эта газета заранее пользуется всеобщим расположением: ведь в 1938 г. тот же Бэв-Мери вышел из редакции «Тан» в знак протеста против духа Мюнхена. Стало быть, в общественном отношении газета появилась на свет при самых благоприятных обстоятельствах.

Нравственные достоинства, в соединении с высоким профессиональным уровнем, скоро превратили «Монд» в некий национальный институт общественного мнения. И по сей день из всех французских газет «Монд» сделана лучше всего. На примерно тридцати страницах читатель находит подробные отчеты о внутренней и внешней политике, об общественном движении, о парламентских дебатах. Специальные полосы отведены литературе, искусству, спектаклям, медицине. Многочисленные сообщения информационных агентств, обширные материалы от специальных корреспондентов газеты в главных столицах. Репортеры «Монд» разъезжают по всему свету и шлют сообщения из самых «горячих точек» планеты.

Заветным желанием «Монд» было, конечно, стать «газетой, на которую ссылаются», и в которой обилие

В последующих номерах мы попытаемся проанализировать способы «объективной» дезинформации, с помощью которых целый ряд «респектабельных» органов западной печати идеологически обрабатывает своих читателей.

информации сочеталось бы с высокой степенью объективности. Все эти качества и обеспечили газете тираж в 500-600 тысяч экземпляров, а также здоровую экономическую базу. Но почему же, в таком случае, острый памфлет Мишеля Легри *«Монд» без прикрас*, выпущенный издательством «Плон» в марте этого года, был встречен с таким одобрением?

Собственно говоря, в книге Мишеля Легри нет никаких откровений. Уже давно многие читатели с неудовольствием отмечали неточность информации, умолчания, искажения истины, недобросовестные толкования фактов, и все это в соседстве с правдивой информацией: эти явления позволяют обнаружить определенную и весьма удивительную направленность.

Именно эти сбитые с толку читатели и обеспечили успех книги Мишеля Легри, уже выдержавшей тираж в 65 тысяч экземпляров. Следовательно, каждый десятый читатель газеты испытал потребность сопоставить собственные наблюдения с обвинительным актом Мишеля Легри.

Мало того, что он собрал целую коллекцию журналистских «подвигов» газеты, подверг их острому анализу и сделал выводы, ему еще понадобилось недюжинное гражданское мужество, чтобы, в тяжелой борьбе, добиться опубликования своего труда, невзирая на интеллектуальный террор, который удастся осуществлять газете «Монд».

С теми и иными оговорками, отдавая должное прежним заслугам газеты, пресса, в целом, приходит к одному выводу: «Монд» давно перестал быть информирующей газетой и превратилась в политический орган. Но что же тогда отличает ее от «Юманите», к примеру? То, что, читая «Юманите», заранее знаешь правила игры. А «Монд»?

«Я ее обвиняю в том, — пишет Жан-Мари Доменак в «Эспри», — что она меняется, не признаваясь

в том, стремится изменить своих читателей, не говоря им этого».

И Мишель Легри поставил перед собой задачу проанализировать это лицемерие и как бы разобрать его механизм. Автор строит систему неопровержимых доказательств, разоблачающую приемы, при помощи которых подлинная объективность «Монд» была вытеснена объективностью мнимой. Он показывает, как, вместо того, чтобы вносить ясность в умы, «Монд» скрытно направляет их и оказывает на них влияние, и как анализы и комментарии, политически ориентированные, превалируют над информацией.

Он показывает, какую подрывную и разрушительную деятельность проводит «Монд» против либеральной демократии Запада. При этом он основывается на трех ярких примерах, до сих пор свежих в памяти всякого постоянного или не постоянного читателя «Монд»:

- дело газеты «Республика», в Португалии, и отношение к португальским социалистам;

- приход власти «Красных Кхмеров» в Камбодже и эвакуация Пном-Пеня;

- отношение к государству Израиль и, в частности, к убийству детей в Маалоте.

Легри мастерски разоблачает недобросовестность газеты и способы, применяемые ею, чтобы скрыть свою подлинную позицию, при этом, не теряя респектабельности.

Он перечисляет все приемы и приемчики: искаженная информация и необъективные оценки, хитроумная игра с заголовками и подзаголовками, намеки, полупровержения и «как бы опровержения», произвольные сопоставления, применение избитых эмоциональных приемов, общие места и софизмы, — словом, весь арсенал казуистики и лицемерия. И все это для того, чтобы вырастить «безупречный гибрид псевдоправды и замаскированной лжи».

Однако, как справедливо отмечает памфлетист,

«ошибки, фальсификации и всяческие искажения... занимают значительно меньше места, нежели материал, не поддающийся оспариванию». Это, в свою очередь, может позволить доверчивому читателю высказать следующее предположение: то, что его шокирует, всего лишь случайность и касается исключительно той области, которую он считает своей. И подобное предположение позволяет газете «Монд», схваченной за руку, отбиваться и выкручиваться.

И все это с какой целью? — спрашивает Мишель Легри, и мы вместе с ним. Каким же обществом «Монд» хотела бы заменить то, которое она без усталости подрывает и уничтожения которого жаждет? К чему стремится газета, на страницах которой слово «антикоммунизм» всегда поношение, да еще с прибавлением эпитета «примитивный». А может ли быть страшнее обида для французского интеллектуала?

«Неужели газета воображает, что республика, в которой Жорж Марше был бы хозяином положения, проявляла бы к ней ту же снисходительность, что генерал де Голль, Жорж Помпиду или Валери Жискар д'Эстен?» — задает вопрос Раймон Арон в «Фигаро».

И Мишель Легри делает вывод: «Гошизм (левачество) — вот скрытое лицо «Монд».

Напомним, к какому заключению пришел после долгого расследования Джонатан Рэндалл, долголетний корреспондент газеты «Вашингтон пост» (той самой, которая свалила Никсона): «Среди крупных западных газет, «Монд» — одна из самых недобросовестных».

В основном, публикации «Монд» были достоянием лишь круга читателей этой газеты; но одна из тем была все же вынесена на обозрение более широкой аудитории главным заинтересованным лицом: речь идет о поведении «Монд» по отношению к А. Солженицыну, который и поведал об этом во время выступ-

ления по французскому телевидению по случаю передачи фильма «Один день Ивана Денисовича».

Отношение «Монд» к А. Солженицыну имеет долгую историю.

С тех пор, как «Один день Ивана Денисовича» был опубликован в СССР, и вплоть до присуждения автору Нобелевской премии, «Монд» явно восхищалась писателем. Тогда говорилось об «увенчанном герое», о «мастере, возродившем благороднейшие традиции русской литературы (...) и сумевшем, зорче кого бы то ни было, взглянуть в головокружительную пропасть нищеты и унижения». Об «Августе Четырнадцатого» говорилось, что «писатель взялся воскресить коллективную память целого народа», и что «столь гигантская задача достойна его творческого гения и нравственного величия».

В этом не было ничего удивительного. Критика советского концентрационного мира допускалась на страницах газеты со времени доклада Хрущева, как, впрочем, все, что можно было свалить на злодейство Сталина.

Еще не подозревая, какую «чуму» принесет собой великий изгнанник, «Монд» назвала «событием международного значения» высылку Солженицына из Советского Союза.

Но не успел выйти «Архипелаг ГУЛАг», как все меняется. При появлении первого тома на русском языке, выясняется, что Солженицын обличает не только Сталина, но и Ленина. Мало того. Согласно резюме критика газеты «Монд», «зло (...) коренится в самих истоках советской государственности, в самом принципе единственной и всемогущей партии, приводящем ко всемогуществу полицейскому. Это зло восходит к марксистской идеологии, а еще точнее, оно родственно всякой идеологии, которая, вытесняя нравственное индивидуальное сознание, позволяет людям совершать зло, убеждая их в том, что они творят добро».

Спустя несколько недель, некий представитель «левых» утверждал по французскому телевидению, что свидетельство Солженицына ему кажется сомнительным. Показалось ли оно таким же редактору «Монд»? Отныне газета берет на себя нелегкую задачу постепенно исказить образ автора, приглушить влияние, оказываемое его творчеством.

Мотивы подобной манипуляции никогда не были раскрыты перед читателями «Монд».

Еще до выхода «Архипелага» отдельной книгой «Монд» напечатала выдержки, относящиеся к генералу Власову. Надо обратиться к самой книге, чтобы убедиться, что писатель, исследуя историю Власова, допытывается до глубинных политических и психологических факторов, в силу которых некая система порождает такой процент предателей.

Но сколько читателей газеты обратятся к книге?

Наконец, 21 апреля 1974 г. «Монд» помещает статью о первом томе «Архипелага», называя это сочинение «резким обвинительным актом против советской репрессивной системы с 1918 по 1956 гг.» (!), «энциклопедией и поэмой тоталитарного мира».

Для равновесия, «ГУЛагу» противопоставляются отчеты о шести книгах: «экономисты, дипломаты, географы исследуют нынешнюю действительность страны и извлекают из нее положительный урок». Заметьте: лагерный мир описан всего лишь до 1956 года, тогда как положительный урок относится к современности.

В противовес Солженицыну, Франсис Козн, Эрик Энгелл, Мишель Пейсик, Жан Элленстейн и другие проявляют «позитивный подход к современной советской действительности».

Но кто, когда мог противопоставить ужасам нацистских лагерей великолепные немецкие автострады, «народную» машину «Фольксваген» или аккуратные домики, ставшие доступными для немецких рабочих

благодаря Гитлеру? Странное у «Монд» понятие о симметрии! Менее чем через два года газета сама вынесет себе приговор устами одного из своих авторов, утверждающего вместе с Солженицыным: «ГУЛаг» враждебен этике, а не промышленности».

15 ноября 1974 г. Солженицын дает первую, после своей высылки, пресс-конференцию. Она совпадает по времени с выходом в Самиздате сборника «Из-под глыб», свидетельствующего о духовной и интеллектуальной жизни великого народа, принужденного к молчанию. «Монд» дает сообщение об этом событии. В номере от 20 ноября, на первой полосе, под крупным заголовком: *«Раздираемые между разрядкой и идеологией, советские руководители с осторожностью используют новый кризис капиталистического мира».*

Можно долго анализировать эту «шапку», все в ней есть: добрая воля советских руководителей, их стремление к разрядке, наличие кризиса в капиталистическом мире (и только в нем!), осторожность, проявляемая советскими руководителями, лишь бы не усугубить положение на Западе, не ввергнуть мир в конфликт.

Солженицын же, напротив, осуждает «псевдоразрядку, приводящую Запад к односторонним уступкам».

Вот почему не следует удивляться, что отчет о пресс-конференции помещен лишь на 4-й странице и только на двух колонках.

На первой же полосе другой заголовок вещает: *«Пророк нового времени».* Речь идет о Жане Сюзливане*.

18 декабря 1974 г., при выходе второго тома «Архипелага», «Монд» пишет: «Множество западных интеллектуалов несомненно будут шокированы этим вторым томом, ибо он посягает на ценности, для них священные: Маркс, социализм во всех его разновид-

* Жан Сюзливан — малоизвестный писатель-католик.

ностях и ложь, присущая всем революциям истории».

Это описание социалистической лагерной вселенной производит на Западе огромное впечатление. При громадности и долговечности этого невообразимого «ГУЛага» уже трудно утверждать, что речь идет всего лишь о «мелких неприятностях», о «временных трудностях».

В значительной степени творчество Солженицына помогает спихнуть Советский Союз с пьедестала, лишить его роли «единственной модели».

«Левые» вынуждены придумывать новые аргументы в пользу своей идеологии. Главный из них — «у нас будет иначе, у нас такого не может быть».

Вскоре Солженицын поднимает вопрос об ответственности Запада за направленность процессов современной истории как в прошлом, так и в будущем.

31 мая 1975 г. в «Монд» появляется статья за подписью великого русского писателя. Впервые он обращается непосредственно к французским читателям. К тому времени «ГУЛag» стал именем нарицательным и от него пошли новые образования, вроде «гулагизация». Статья озаглавлена «Третья мировая война».

Статья помещена на 8-й полосе газеты, на двух столбцах, с правой стороны, в то время как на четырех левых колонках красуется строительная реклама, украшенная смешными рисунками.

Слов нет, газета вольна придавать той или иной информации то или иное значение, по своему усмотрению. К тому же, могла ли «Монд» помещать на видном месте такие, например, соображения: «Немногим достаёт мужества признать, что третья мировая война уже совершилась... и что свободный мир ее бесповоротно проиграл». И далее: «Поздно думать о том, как избежать третьей мировой войны. Но нужно иметь смелость и трезвость ума предотвратить четвертую. Предотвратить, а не пасть на колени».

Только 3 июля 1975 г. изгнанник Солженицын удо-

стаивается чести попасть на первую страницу «Монд». Но какая это честь!

После его американской речи 30 июня 1975 г., по-видимому повлиявшей на внешнюю политику Соединенных Штатов, мы читаем на первой полосе «Монд»: «Александр Солженицын сожалеет о том, что Запад поддержал СССР против нацистской Германии во время последнего мирового конфликта. Не он один. До него западные люди вроде Пьера Лавала придерживались того же мнения, а Дорио и Дэа встречали нацистов как освободителей».

Удивленный читатель ищет в газете текст речи, вызвавшей такой комментарий. На 4-й полосе он обнаруживает 70 строк, из них 44, резюмирующие эту речь. Но ни одного слова, оправдывающего комментарий «Монд».

Нельзя тут не удивиться. Да и сами редакторы «Монд», не были ли они удивлены заметкой «День за днем» их сотрудника? Не побудил ли их смысл заметки обратиться к полному тексту речи? Целых три дня прошло между 30 июня и 3 июля. Если даже допустить, что они еще не получили русского текста, неужели никто в редакции «Монд» не читает по-английски? А если они и английским текстом не располагали, не должны ли они были отложить публикацию, чтобы сверить текст с комментарием? Неужели тот самый человек, который четыре года дрался на германском фронте, затем провел 8 лет в советских лагерях и потом разоблачил их в «книге первостепенной важности», человек «нравственной, интеллектуальной и художественной силой» которого восхищалась «Монд», — неужели этот человек теперь мог быть отождествлен с нацизмом и, стало быть, с нацистскими лагерями?

Вот что, в действительности, говорил Александр Солженицын: «У нас есть пословица: если на тебя напали собаки, не зови им на выручку волков (...) Ибо

волки, прибежав, сперва отгонят или сожрут собак, а потом вас самих. (...) Демократический мир мог бы последовательно одолеть немецкий тоталитаризм и советский тоталитаризм. Вместо того, он усилил советский тоталитаризм и способствовал появлению третьего тоталитаризма, китайского. Все это и создало ситуацию, в которой находится сегодня мир»*.

Не поддерживать СССР против Германии, по мнению «Монд», равносильно не бороться против Германии. По мнению же Солженицына, не прибегать к помощи СССР в борьбе против Германии означает лишь бороться против Германии без помощи СССР.

Девятнадцать дней спустя появляется исправление. Но не от редакции, а от читателя. Именно благодаря ему обнаруживается, наконец, на страницах газеты искомое место речи. И исправление это напечатано не на первой полосе, как была напечатана клевета, а на четвертой. Вот как выглядела эта «сатисфакция»: «Таким образом, Солженицын ясно осуждал мюнхенский дух, и ничто не позволяет приписывать ему прогитлеровские симпатии». Подобно тому, как ничто не позволяет утверждать, что архиепископ Парижский является убийцей, — заметил по этому поводу Ж.-Ф. Ревель в «Экспресс».

1 сентября 1975 г. — рецидив. На последней полосе — по важности идущей сразу за первой — «Монд» дает крупный заголовок на двух колонках: *«Жены чилийских политзаключенных объявляют голодовку»*. В конце трогательной статьи следующий лаконичный абзац: «Советский писатель Александр Солженицын в скором времени поедет в Чили, заявил в Сантьяго, в среду, 10 сентября, председатель Организации иностранцев в Чили. Эта организация пригласила Солженицына, находящегося ныне в США, присутствовать

* Все цитаты А. Солженицына по необходимости приведены в обратном переводе с французского.

на церемонии по случаю второй годовщины захвата власти вооруженными силами».

Опять недоумение. Как может противник всяческого тоталитаризма, восстающий против страданий, причиняемых человеком человеку, оказывать моральную поддержку Пиночету?

Никто в редакции не поражен, никто ничего не проверяет. Как будто некому отличить ложную информацию от правдивой. И печатают. Естественно, никто не заподозрит «Монд» в том, что она заведомо использует явно подозрительную информацию: «Монд» ведь газета серьезная и добросовестная. И 13 сентября помещается исправление. Опять же на 4-й полосе, внизу, под рубрикой «По всему свету». Информация из Чили, сводящаяся к следующей фразе: «Издательство «Сей», представляющее в Париже господина Солженицына, который живет в Цюрихе, заявляет, что писатель не получал никакого приглашения в Чили, следовательно и не принимал такого приглашения, и что заявления, касающиеся такой поездки, лишены всякого основания».

В «Нувель обсерватор» Морис Клавель укажет на то, как распространилась клевета, и как люди, заинтересованные в ее распространении, неохотно верили опровержению.

А вот другой пример: ссылка на третье лицо. 31 октября 1975 г. заместитель главы венгерского правительства дает газете «Монд» интервью, в котором мы читаем: «Мы его (Солженицына) не печатаем, потому что в своей деятельности он провозглашает бесчеловечные идеалы, которым мы не предоставляем трибуны. Солженицын призывает к новой мировой войне, он защищает мерзости фашизма, противится мирному сосуществованию. Он является орудием махровой реакции».

Ничто не противопоставлено этой оценке — любимый прием «Монд», когда она стремится по-

ставить под сомнение мысль Солженицына. Таким образом, высказывание заместителя председателя правительства, полностью подчиненного СССР, никому не известной личности, для которой эта фраза — единственный шанс оставить след в истории, — смыкается с мнением «Монд», выраженным 3 июля на первой полосе газеты.

Тем самым опровержение «как бы» аннулируется.

Итак, не будучи в состоянии дискредитировать слова Солженицына, «Монд» всеми способами пытается дискредитировать самого Солженицына.

Стало быть, газете приходилось оправдываться в неблаговидных поступках. Отсюда, видимо, осторожность, проявляемая ею при выходе третьего тома «ГУЛага» в марте 1976 г. Отчет о книге помещен в рубрике «Точка зрения», не выражающей мнение редакции.

Среди множества похвал, попадаетея следующее: «Является ли автор «Архипелага ГУЛаг» ретроградом? Об этом говорят все чаще. Солженицын порой раздражает аудиторию своими лживыми лозунгами и провокационной неправдой. Но разве можно судить о Бальзаке по его антиреспубликанским и легитимистским статьям?»

9 марта, во время передачи по французскому телевидению, Солженицын высказывает недоумение по поводу того, как «Монд» обрабатывает информацию, касающуюся его.

На следующий день «Монд» шумно защищается и жалуется на дурное с ней обращение. «Значительный ущерб», «серьезные и лживые обвинения»... Можно подумать, что газета описывает собственное отношение к Солженицыну, будь она в состоянии причинить ему «значительный ущерб». Опять применяется опровержение «а ля «Монд»: «забывают», что делали из Солженицына пронациста.

В то же время редакторы, понаторевшие в совето-

логии, дополняют свою оборону массированным наступлением на первых полосах газеты. Писателю отказывают в праве «давать уроки», не преминув ему самому их преподать... «Если он будет упорствовать, он рискует потерять спасительную принципиальность и впасть в ослепляющую нетерпимость». Проводя различие между добром и злом, применяя этические мерки ко всему, происходящему в нынешнем мире, он оказывается «на определенной политической позиции: позиции человека, которого советский манихеизм привел к манихеизму противоположному». Да к тому же, «не сохранил ли он, поневоле, кое-какие старые советские привычки»? — коль скоро он осуждает способ, которым газета опровергает ложную информацию, ею же распространяемую.

Когда, 9 марта, некий телезритель посетовал на то, что передача вылилась в «антикоммунистический концерт», Солженицын удивленно заметил: «Я не понимаю, каким образом коммунизм может служить точкой отправления. Важен не коммунизм, важен человек». И заключил: «Именно коммунизм античеловечен».

Создается впечатление, что «Монд» старается отвлечь читателей от этого вывода.

После выхода книги Легри будто открылись шлюзы: был опубликован в Париже ряд новых работ, анализирующих скрытую идеологическую тенденциозность газеты «Монд»: а) Жан Ко «Открытое письмо ко всему миру», б) сборник Комитета для критического чтения прессы «Монд» и его приемы».

ДАСТРЭ Анн — кинорежиссер и журналистка. Родилась в Белоруссии. После войны поселилась в Париже, училась в Сорбонне и в Институте кинематографии. Автор многочисленных фильмов, из которых многие были отмечены французскими и международными премиями.

«ВРЕМЯ И МЫ»

В странах Европы и Америки производится подписка на ежемесячный журнал литературы и общественных проблем «Время и мы», выходящий в Тель-Авиве. Вышло 11 номеров журнала. Читайте в них:

Артур Кестлер — «Тьма в полдень» (1, 2) — впервые на русском языке. **Борис Хазанов** — «Глухой неведомой тайгой» (5), «Страх» (9) — рассказы об эпохе сталинского террора. Получены из самиздата. **Зиновий Зиник** — «Извещение» (8) — повесть о душевной трагедии новоземigrанта. **Виктор Перельман** — «Отрицание отрицания» (8) — бывший советский журналист о механизме проведения антисемитской политики в аппарате ЦК КПСС и о жизни партийных аппаратчиков. **Майя Улановская** — «Конец срока - 1976» (9, 10) — воспоминания московской школьницы, осужденной за участие в так называемой террористической группе в послевоенные годы. **Д. Байкальский** — «Кашкетинские расстрелы» (11) — воспоминания очевидца о расправах на Воркуте. **М. Перях** — «Факты или селекция образов» (4) — евреи в творчестве Солженицына. **Н. Рубинштейн** — «Абрам Терц и Александр Пушкин» (9) — о книге Андрея Синявского «Прогулки с Пушкиным». **И. Рубин** — «Раскаяние и просветление» (10) — о прозе Владимира Максимова.

Стоимость подписки (включая пересылку журнала):

В США и Канаде: 6 мес. — 19,60 \$, 1 год — 39,20 \$

Во Франции: 6 мес. — 92 FF, 1 год — 184 FF

В Германии: 6 мес. — 46 DM, 1 год — 92 DM

Адрес редакции: «Time and We», Monthly Magazine, Nachmany St. 62/9, Tel Aviv, Israel

Необходимо прислать заявку с адресом подписчика и чек.

Из Франции оплата подписки производится перечислением соответствующей суммы на счет журнала Israel Discount Bank, Export Department, Hakirya Branch 2, Kaplan St., Tel Aviv, acc. 140317

Одновременно издательство «Время и мы» сообщает о выходе в свет автобиографического повествования Виктора Перельмана «Покинутая Россия» (кн. 1 «Иллюзии»). Автор — бывший корреспондент Московского Радио, фельетонист газеты «Труд», заведующий отделом и специальный корреспондент «Литературной газеты». (Кн. II «Крушение» выходит в январе 1977 года).

В Париже журнал «Время и мы» и книгу «Покинутая Россия» можно приобрести в магазинах русской книги:

1. Les Editeurs Réunis. 11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève, 75005 Paris
2. La Maison du Livre Etranger (Dom knigil), 9, rue de l'Eperon, 75006 Paris

Цена журнала: 20 FF, цена книги: 17,50 FF

Представители журнала, у которых можно оформить подписку:

В Европе — Галина Келлерман: 64, rue de la Condamine, 75017 Paris

Тел.: 292-09-02.

В США — Эдуард Штейн: 7 Miles Ave., Woodbridge, Conn. 06525.

Тел.: (203) 387-05-97

ИСТОКИ

МАТЕРИАЛЫ О КРОНШТАДТСКОМ ВОССТАНИИ

От публикатора

Восстание кронштадтских матросов, красноармейцев и рабочих в марте 1921 г. — событие, крайне важное для изучения эволюции и значения русской революции. Даже для большевиков «кронштадтские события оказались как бы молнией, которая осветила действительность ярче, чем что бы то ни было». Но в большевистской историографии эта самая действительность не «освещена», а замазана и перекрашена.*

Те, кто сыграл основную роль в захвате большевиками власти, вдруг оказались самыми резкими отрицателями этой же власти. И тогда восставших — «красу и гордость революции» — превратили в «агентов мирового империализма, английской контрразведки» и т. п. Между тем, восстание наступило вследствие общенародного недовольства — как одно, но не единственное среди рабочих и крестьянских волнений по всей России.

К чему стремились кронштадтцы? Тогдашние стремления русских трудящихся выражены в резолюции собрания команд 1-й и 2-й бригад линейных кораблей, которая впоследствии стала платформой движения. (Можно сказать, что, к сожалению, эти требования и посейчас актуальны.)

* Ленин. Полное собр. соч., т. 43, стр. 138.

В будущем редакция продолжит публикацию материалов о кронштадтском восстании.

«Ввиду того, что настоящие советы не выражают волю рабочих и крестьян, немедленно сделать перевыборы советов тайным голосованием, причем перед выборами провести свободную предвыборную агитацию всех рабочих и крестьян.

— Свободу слова и печати для рабочих и крестьян.

— Свободу собраний и профессиональных союзов и крестьянских объединений.

— Освободить всех политических заключенных соц. партий, а также всех рабочих и крестьян, красноармейцев и матросов, заключенных в связи с рабочим и крестьянским движениями.

— Выбрать комиссию для пересмотра дел заключенных в тюрьмах и концентрационных лагерях.

— Упразднить всякие политотделы...

— Немедленно снять все заградительные отряды.

— Уравнять паек для всех трудящихся, за исключением вредных цехов.

— Упразднить коммунистические боевые отряды во всех воинских частях, а также на фабриках и заводах разные дежурства со стороны коммунистов...

— Дать полное право действия крестьянам над всею землею так, как им желательно...»

(«Известия Временного революционного комитета матросов, красноармейцев и рабочих города Кронштадта», № 1, 3 марта 1921)

Но главари большевистской партии признавали только свое право представлять и определять интересы трудящихся. На их требования они могли дать только свой обычный ответ: подавление, репрессии, расстрелы.

Большевикам удалось подавить восстание, но, как заявил председатель Временного кронштадтского революционного комитета С. М. Петриченко, «коммунисты могут расстреливать кронштадтцев, а

правду о Кронштадте им никогда не расстрелять».

Петриченко успел ускользнуть от чекистов и приютиться в Финляндии (в 1945 г. он был выдан Москве и погиб в ГУЛаге). По прибытии он сейчас же составил полный отчет о пережитых событиях, выпущенный отдельной брошюрой. Он является основной частью нынешней публикации. В состав публикации входят:

1. С. М. Петриченко. ПРАВДА О КРОНШТАДТСКИХ СОБЫТИЯХ. 1921. 24 с. Место издания не указано.

2. С. М. Петриченко. О ПРИЧИНАХ КРОНШТАДТСКОГО ВОССТАНИЯ. — «Знамя борьбы» (Берлин), 1926.

3. В КРОНШТАДТСКИЕ ДНИ. (К годовщине). — «Революционная Россия» (Прага), 1922, № 16-18, стр. 6-8. Подпись: Нето.

Александр Скирда

ПРАВДА О КРОНШТАДТСКИХ СОБЫТИЯХ

Совершая октябрьскую революцию в 1917 г., труженики России надеялись достичь своего полного раскрепощения и возложили свои надежды на много обещавшую партию коммунистов. Что же за 3½ года дала партия коммунистов, возглавляемая Лениным, Троцким, Зиновьевым и другими? За три с половиной года своего существования коммунисты дали не раскрепощение, а полнейшее порабощение личности человека. Вместо полицейско-жандармского монархизма, получили ежеминутный страх попасть в застенки чрезвычайки, во много раз своими ужасами превзошедшей жандармское управление царского режима. Получили штык, пулю и грубый окрик опричников из чрезвычайных комиссий. Если наболевшую в душе правду труженик выскажет, то его сейчас же причислят к контрреволюционерам, к агентам Антанты и т. д., и в награду он получает или пулю или решетку, равносильную голодной смерти. Рабочих при помощи казенных коммунистических профессиональных союзов

С. Петриченко — Председатель Кронштадтского Революционного Комитета.

прикрепили к станкам, сделав труд не радостью, а новым невыносимым рабством. На протесты крестьян, выражающиеся в стихийных восстаниях, и на протесты рабочих, вынужденных самой обстановкой жизни к забастовкам по всей России, коммунисты ответили массовыми расстрелами, тюрьмами и концентрационными лагерями. А как живут крестьяне и что они получили? Они получили принудительные работы, не считаясь с возрастом, полом и семейным положением, полное разграбление муки, зерна, всякого скота и крестьянского инвентаря, неисчислимые реквизиции и конфискации, бесконечное число заградительных отрядов. Если крестьянин имеет трех сыновей, находящихся на службе в Красной армии, и один из них попытается побывать самовольно на родине для свидания с родными и убедиться, как обстоит дело с крестьянством, т. к. каждого это очень интересует, то не считаясь с тем, что еще два сына находятся на службе, хозяйство такого крестьянина подвергается полному разграблению через посредство конфискации, за дезертирство со службы. Красная армия и флот находились в полном неведении, что происходит на родине, поступали сведения очень туманные и самые разнообразные, и по слухам или из писем установить правду было невозможно. Одновременно с этим коммунисты через газеты убаюкивали всех и рисовали, что на родине обстоит все благополучно и прекрасно. Если поступали жалобы, то власти отвечали в провинцию, что меры будут приняты к удовлетворению, и так это удовлетворение оставалось на бумаге. А если местный комиссар узнает, что на него сделана жалоба, то он делает самое ужасное притеснение во всех отношениях и делает жизнь этой семьи абсолютно невозможной. Узнать каждому о судьбе и положении семьи было невозможно по тем причинам, что всякие отпуска на родину не разрешались из-за военной обстановки, а письма с горькой правдой контроль не пропускал. Газет и вооб-

ще литературы не существует никакой другой, кроме коммунистической, которая пишет, что все обстоит благополучно. Таким образом, команды были в раздумье и одни верили, а другие не верили. Наконец, стала производиться частичная демобилизация армии и флота, разрешили кратковременные отпуска на родину до 10%, и, побывавши в отпуске, каждый возвращавшийся, убедившись в действительности, что творится в России, становился вооружен против самодурства, произвола и насилия комиссародержавия, каждый возвратившийся, убедившись в действительности, что творится, рассказывал своим товарищам по службе о тех ужасах, которые царят в России; так стала копиться горькая правда со всех концов России в военных центрах Петрограда и Кронштадта. Украинцы не возвращались вовсе из отпусков. Рассказывали некоторые, что отцы и матери проклинают своих сыновей за то, что они защищают эту шайку грабителей и душегубов, которые довели Россию до полного разорения, ужасного насилия, угнетения и неслыханного произвола. Таким образом, удалось узнать о правде, и мы стали большими кучками обсуждать судьбу России, несмотря на усилия комиссаров и партийных коммунистов не давать массам собираться в кучи. Собrania все увеличивались и сильнее выливались в общее возмущение и негодование властью коммунистов. Петроград и Кронштадт в это время, как и прежде, переживая продовольственный кризис, негодовали на порядки коммунистов, благодаря которым был прикреплен к станкам и вынужден был надирать свои последние силы голодный, холодный, разутый и раздетый. Терпению настал конец. 25, 26, 27 и 28-го февраля начались забастовки в Петрограде, в связи с чем начались усиленные аресты и расстрелы рабочих, усилилась охрана заводов курсантами, чрезвычайными и принуждение рабочих к работам, но рабочие к работам не приступали. Команда, к общему

негодованию, узнав о Петроградских событиях на стихийных митингах, которые категорически комиссарами запрещались, потребовала от комиссаров своего беспартийного представительства, которое бы в Петрограде познакомилось с действительностью, что происходит в Петрограде с рабочими, т. к. комиссары уговаривали команду и говорили команде, что это кучка агентов и шпионов Антанты пытается в Петрограде сделать забастовку, но теперь все улажено, и заводы работают. Одновременно с этим в Петрограде рабочим угрожали, что если они не примутся за работу, то революционный Кронштадт заставит их работать силой. В общем коммунисты превратили Кронштадт в пугало для всей России, каким он в действительности не был и не мог быть, и команда всегда возмущалась этим. В Кронштадте 27-го февраля с. г. на лин. кораблях «Петропавловск» и «Севастополь» произошли стихийные митинги всей команды, а затем и 1 и 2 бригады линейных кораблей, где категорически потребовали от комиссаров беспартийного выбора представителей в Петроград на заводы и в воинские части.

Видя свое бессилие, комиссар Балт. флота Кузьмин, который в это время с другими видными коммунистами прибыл из Петрограда в Кронштадт, конечно, вынужден был разрешить эти выборы, на которых была избрана делегация в Петроград в количестве 32-х человек. Комиссар Балт. флота указал, что делегаты из Кронштадта прежде чем явиться на завод, должны явиться в районный Совет и фабрично-заводской комитет. Когда делегаты прибыли в Петроград и явились в указанные советы и комитеты, то им заявили, что Петроград на военном положении и существует приказ о категорическом запрещении всяких митингов и собраний. Делегаты настоятельно требовали этих собраний для того, чтобы поделиться с рабочими. В это время коммунисты стали устраивать под-

тасовку, давая своим коммунистам мандаты, гласящие, что якобы эти коммунисты также являются из Кронштадта, и таким образом хотели сорвать всякие собрания и сделать раскол, но кронштадтским делегатам удавалось легко их уличать в этой подтасовке. Были случаи, что коммунисты с поддельными мандатами собирали на заводе собрания и говорили якобы как кронштадтские делегаты от имени Кронштадта. Они говорили, что Кронштадт не допустит никаких волнений в Петрограде, но тут настоящим кронштадтским делегатам удавалось сразу их обличать. Собрания, наконец, по требованию делегатов разрешились, но тут же присутствовали члены чрезвычайных комиссий, казенных коммунистических профсоюзов, районных советов и фабрично-заводских комитетов, которые из себя представляли пугало для рабочих.

Рабочие боялись говорить с делегатами, указывая, что в присутствии этой жандармерии они говорить не могут, т. к. сейчас скажи, а ночью за это на Гороховую 2, а нашего брата за эти дни уже сидит арестованными около 2000 человек. Тогда делегаты стали требовать, чтобы все члены чрезвычайек и т. п. покинули собрание, но они не согласились и заявили, что собрания и беседы должны происходить только в присутствии их. Когда делегаты стали просить рабочих; чтобы они говорили и не боялись, обещая им защиту, то на это рабочие отвечали только слезами, что показывало, насколько они задавлены и бессильны. В Петрограде одновременно с этим были делегаты Кронштадта и в воинских частях, где так же были собрания, на которых выливалось общее недовольство. Было предложено кронштадтскими делегатами воинским частям и рабочим послать в Кронштадт своих представителей 28-го февраля. Кронштадтские представители вместе с петроградскими возвратились в Кронштадт и стали делать доклад на кораблях; тут была вынесена резолюция, требующая главным обра-

зом произвести теперь же перевыборы в совет тайным голосованием и т. д. Все корабли эту резолюцию приняли единогласно, не считаясь с тем, что комиссар Балт. флота Кузьмин и другие прибывшие из Петрограда видные коммунисты старались сделать раскол на собраниях и доходили до такой наглости, что команды возмущались и не давали им много говорить. На этих собраниях после принятых резолюций было решено 1-го марта на Якорной площади сделать общее собрание всего кронштадтского населения. На митинг прибыл и всероссийский староста Калинин, который держал речь и пытался всеми силами сорвать общее собрание всего кронштадтского гарнизона и населения. Видя, что ему не удастся этого сделать, он отказывался говорить на площади и требовал, чтобы митинг был перенесен в Морской манеж, но собравшаяся масса отказалась идти в манеж и настаивала продолжать митинг на площади. На этом митинге выступало много ораторов, после чего была единогласно принята резолюция, предложенная линкорами, причем голосовали против: всероссийский староста Калинин и председатель Кронштадтского совета Васильев. Видя такое единодушие на митинге, Калинин и Кузьмин сказали, что если Кронштадт скажет А, то мы ему скажем Б, и «Кронштадт из себя не представляет целой России и поэтому мы с ним считаться не будем». Эти слова еще больше взволновали митинг, и было им сказано, что зачем же они все время говорили, что Кронштадт — самый революционный центр и есть их оплот, что они всегда опирались на него, — на это ответа не было. Тут же было решено на митинге, чтобы все части, организации и заводы избрали по 2 представителя для проведения выборов в совет на 2-е марта 1921 г. С 1-го на 2-е марта происходило партийное коммунистическое заседание, на котором они постановили умереть, а власти не сдавать, и целую ночь происходило вооружение Клубов Советов и других учреждений. Кали-

нин выехал из Кронштадта в ночь на 2-е марта, препятствий к выезду ему не было.

2-го марта в 11 часов утра стали прибывать избранные делегаты на линейный корабль «Петропавловск». Были избраны беспартийные. Всего было около 250 человек. За неимением подходящего места на корабле, делегатам было предложено перенести заседание в дом Инженерного училища, и в 2 часа дня было открыто заседание. Был избран президиум. Когда приступили к обсуждению текущего момента, комиссар Балт. флота Кузьмин и председатель Кронштадтского совета Васильев просили у собрания разрешения сказать по текущему моменту. Им было разрешено собранием. Они стали опять повторять те же слова, которые ими были сказаны на Якорной площади. Собранием было задано им несколько вопросов, но они уклонились от прямого ответа. Собрание потребовало их ареста и обезоружения, что и было сделано президиумом. В дальнейшем стали поступать в президиум письма и телеграммы провокаторского характера: это было, по-видимому, желание коммунистов сорвать собрание. Например, будто коммунистическая партийная школа в полном составе с комиссарами, вооруженная бомбами, гранатами, пулеметами и винтовками, идет оцеплять здание, в котором происходило собрание делегатов, будто по направлению Цитадельских ворот едут 2000 буденовцев, кубанцев и курсантов. Собрание, взволнованное такими слухами, держало себя нервно, но председателю удавалось успокаивать и продолжать собрание. Нападение на Инженерное училище было возможно, т. к. каждый член собрания знал о том, что коммунисты с 1-го на 2-е марта вооружились. Собрание затягивалось. Наконец, поступило предложение не проводить время зря и срочно избрать Революционный комитет, т. к. коммунисты действуют. В комитет было избрано пять человек: матросы Петриченко, Яковенко, Тукин, Архи-

пов и педагог Орешин. Председателем был избран Петриченко. Закончив собрание, Ревком отправился в 5 часов вечера на лин. корабль «Петропавловск», где был образован боевой Штаб и куда самостоятельно стали стягиваться в распоряжение Ревкома воинские части. Через час уже было около 800 человек, которым была дана задача занять телефонные станции, чрезвычайки, арсенал, продовольственные склады, хлебопекарни, электрические станции, водокачки, штабы, воздухооборону, крепостную артиллерию и другие учреждения. В 9 часов вечера город был без одного выстрела и капли крови занят. Все вооруженные коммунистами здания не оказывали сопротивления, так как рядовые партийные коммунисты отказывались от вооруженного столкновения. Таким образом, оставались одни лишь главари в количестве 50 человек и из партийной школы 200 человек, которые старались всеми силами вернуть власть в свои руки. Когда Ревкомом после занятия города было приступлено к занятию фортов, то также все форты были заняты без выстрела, т. к. эта кучка и на фортах не имела успеха, и когда команда фортов приступила к аресту их, то они перебросились на другой берег на форт «Краснофлотский» (бывший Красная горка) и захватили его в свои руки. Такая кучка для одного форта была достаточна, чтобы зажать в свои руки колеблющихся в тот момент людей. Эта кучка коммунистов сразу стала производить аресты и расстрелы. Так был занят город и форты. В 12 часов ночи 2-го марта Ревкомом было сделано распоряжение отряду в количестве 250 человек с шестью делегатами переброситься на другой берег в город Ораниенбаум. Отряд, пройдя больше 5 верст, не дойдя до берега 1½ версты, был встречен пулеметным огнем, вынужден был остановиться и выслать этих 6 делегатов, которые приблизились к берегу. Курсанты, не вступая в переговоры, схватили троих, а остальные вернулись к отряду, ускользнув от курсантов.

Отряд пробовал в нескольких местах вступить на Ораниенбаумский берег, но все попытки были безрезультатны. На рассвете отряд вынужден был вернуться обратно, в Кронштадт. В это время, т. е. в 2 часа ночи 2-го марта прибыли 3 делегата из воздуходивизиона, которые выразили желание дивизии присоединиться к Кронштадту. Когда эти делегаты возвратились в воздуходивизион, они тут же были схвачены и расстреляны, а вслед за ними еще 44 человека также были расстреляны. В городе Кронштадте было спокойно и только производились аресты коммунистов, злоупотреблявших доверием Революционного комитета. В 3 часа 2-го марта Революционный комитет пригласил всех начальников штаба крепости и военных специалистов. Объяснив им положение Кронштадта, Р.К. предложил им принять участие в приведении крепости в порядок и боевой вид, на что они ответили согласием. Кстати, необходимо упомянуть, что Козловский первый раз не пришел в Ревком и явился лишь на другой день в 3 часа дня, а в дальнейшем он исполнял обязанность артиллерийского начальника, а не главного начальника всей обороны Кронштадта. Так кончился день и ночь 2-го марта. 3-го марта утром стали в городе распространяться слухи, что арестованные коммунисты расстреливаются, над ними издеваются и производят насилия всякого рода. Явились в Ревком члены бюро коллективов коммунистической партии для того, чтобы им разрешил Р.К. осмотреть помещение, где и как содержатся коммунисты, на что Р.К. согласился и дал двух своих представителей. Убедившись в целостности коммунистов и ознакомившись с их положением, члены коллектива написали воззвание к населению, где опровергались провокационные слухи и указывалось, что арестованные находятся в хороших условиях и что все они живы и насилий над ними никаких не чинится. Под этим воззванием были подписи видных парт. раб.: Ильина, Кабанова и Перву-

шина. Революционным комитетом было выпущено первое воззвание, в котором население и гарнизон призывались к порядку. Рабочим было предложено не нарушать работ и оставаться у станков; матросам и красноармейцам в своих частях, на фортах и кораблях; всем советским учреждениям продолжать работу. Р.К. призывал все рабочие организации, мастерские и профсоюзы дружными и общими усилиями приступить к правильным и справедливым выборам в новый Совет. Р.К. призывал к порядку и спокойствию, к выдержке, к новому честному социалистическому труду и строительству на благо всего трудящегося. Было сделано первое военное заседание под председательством председателя Ревкома, на котором был выработан план самообороны и к вечеру были вооружены все части и были заняты посты в городе и на фортах. Получены были сведения, что в 4 часа дня подходила цепь противника к форту Тотлебен. Навстречу с форта вышли моряки с резолюциями и, вручив их этой цепи, разошлись без выстрела. Получено сведение, что в Ораниенбаум в 5 часов утра прибыл бронепоезд «Черноморец» и эшелон курсантов. Целый день прибывали в Ораниенбаум, Сестрорецк и Лисий Нос подкрепления коммунистам, состоящие главным образом из орловских, нижегородских и московских курсантов. Туда же начали прибывать сборные коммунистические отряды из Райсоветских, заградительных отрядов и Чрезвычайных комиссий. В Ораниенбаум прибыло еще два бронепоезда и ночью к 1-му южному форту уже пробирались разведывательные цепи, но, встретив наши отряды, отступили. Так началось и протекало восстание в Кронштадте.

Как же освещено было это восстание коммунистами? В московском радио от 3-го марта прямо говорится о белом заговоре и мятеже бывшего генерала Козловского и корабля «Петропавловск», подготовленного агентами и шпионами Антанты, выражением

уверенности, что этот генеральско-эсеровский бунт будет скоро ликвидирован. Затем в «Красной Газете» и «Правде» писалось, что более или менее видные деятели восстания произведены в чины, в буржуи, в поповские сынки, наделены именьями. Газеты клеймили их уголовным прошлым и т. д. Так описывалось коммунистами Кронштадтское восстание.

4 марта.

В этот день Революционный комитет перешел с линейного корабля «Петропавловск» в дом «Народа», где и был до последней минуты. Получена телефонограмма от Петросовета с предложением прислать в Кронштадт делегатов из членов Петроградского совета. Ревком ответил по радио, что делегацию принимает охотно, но желательно, чтобы при выборах делегации присутствовали представители от народа, т. е. рабочих, матросов и красноармейцев и к этой делегации добавить 15 проц. коммунистов. На это ответа со стороны Петросовета не последовало.

Революционный комитет был озабочен, чтобы не пролить напрасно ни одной капли крови.

В Кронштадте был полный порядок. Все учреждения работали, и остановок в работе не было ни на час. За все три дня не выпущено ни одного патрона. Улицы оживлены. На улицах играли дети. В 4 часа в гарнизонном клубе была собрана делегация от всех воинских частей, учреждений и профсоюзов. По открытии заседания председатель ознакомил собрание с военным и продовольственным положением Кронштадта. Разбирался и топливный вопрос. Было предложено рабочим взять оружие и занять караульную службу в городе, чтобы освободить гарнизон, который мог бы занять позицию и представлял бы из себя хоть незначительный резерв. Рабочие единодушно одобрили такое предложение. Заседание прошло с большим подъемом, и под лозунгом «победить или умереть» разошлись. На этом же собрании по предложению пред-

седателя был дополнен Ревком еще 10-ю человеками. Ночью разведка противника пыталась приблизиться к фронту.

5 марта.

Утром над Кронштадтом псказался аэроплан и бросал прокламации «Достукались», где коммунисты пытались доказать, что мы обмануты царскими генералами, что Кронштадт окружен со всех сторон и мы будем заморены голодом, т. к. хлеба в Кронштадте нет, призывали к сдаче оружия, разоружать и арестовывать преступных главарей. Кто сдастся, тому будет прощена его вина. Ревком отдал распоряжение аэроплан не обстреливать. Прокламации ревкомом были широко распространены между гарнизоном и населением. В таком же духе было на «Петропавловске» получено радио, которое также было широко оглашено. Возмущаясь такой наглостью коммунистов, гарнизон рвался в бой и с кораблей хотели открывать огонь по Ораниенбауму. Революционный комитет все время призывал к выдержке и спокойствию пока не будет отдано распоряжение.

Революционный комитет послал радио, всем, всем, всем, в котором указывал, что он уверен в правоте своего дела, что Кронштадт стоит за власть свободно избранных советов, а не партий, только такие советы могут выражать волю народа, а не коммунисты. Призывал немедленно вступить в связь с Кронштадтом и послать своих делегатов в Кронштадт, который скажет правду о Кронштадте и т. д. Около 12 часов ночи противник пытался захватить наши полевые караулы, но успеха не имел и вернулся обратно. В городе полный порядок и спокойствие. Так прошел день пятого марта.

6 марта.

С утра было получено сообщение, что в Петрограде происходят усиленные аресты семейств и родителей всех кронштадтцев. Вр. Рев. комитет по радио

послал протест против ареста семейств и требовал освобождения, указывая, что в Кронштадте коммунисты пользуются полной свободой, а их семьи абсолютной неприкосновенностью, и что такой прием самый позорный и подлый во всех отношениях. В 12 часов получено на Петропавловске радио, которое передавало приказ Троцкого немедленно вернуть Кронштадт и мятежные суда к Советской республике, сложить оружие, упорствующим обезоружить и предать в руки сов. власти и что Троцким отдано распоряжение сделать подготовку для того, чтобы разгромить мятеж вооруженной рукой. Срок присылки Петроградской делегации Кронштадту назначен 6-го марта в 18 часов. В 3 часа дня над Кронштадтом показался снова аэроплан, который сбрасывал уже отпечатанный тот же приказ Троцкого. Было получено и Московское радио, в котором говорилось, что в Кронштадт пробрались французские агенты и посредством золота развращали кронштадтцев и говорила всякая другая ложь. Все это широко оповещалось гарнизону и населению Кронштадта, что больше лишь вызывало общее негодование против наглости коммунистов. Получили сообщение, что силы противника прибывают все больше и больше вокруг Кронштадта. Прибыли в Ораниенбаум Троцкий, Дыбенко и др. видные вожди. Перехвачено было распоряжение, чтобы наступать на Кронштадт. Ревком вместе со Штабом обороны вел свои работы и всякие приготовления и сделал распоряжение на все участки, чтобы быть наготове к отражению противника. В городе тишина и спокойствие, но все уже были уверены, что вот-вот произойдет выстрел. Ночью была обнаружена на всех участках разведка противника.

7 марта.

Ясный солнечный день. В Кронштадте было сильное оживление, благодаря хорошей погоде. Дети вышли на улицу, где играли целый день. Нельзя никогда

было подумать, что Кронштадт осажден и что нужно ждать каждую минуту падения снаряда, который никого не пощадит. Учреждения, мастерские производили спокойно работу. С одного из фортов сообщили, что небольшой отряд курсантов, приблизившись к нашим передовым постам, обменялся литературой и отправился обратно. До вечера 7-го марта из Кронштадта в разные концы было отправлено делегатов, агитаторов с литературой 200 человек. Из них возвратились обратно всего лишь 10 человек.

В 6 часов 45 минут со стороны Сестрорецка и Лисьего Носа начался обстрел противником города и фортов. Форты приняли вызов и заставили противника замолчать. Вслед за тем открыла огонь «Красная Горка», которая получила достаточный ответ с лин. кор. «Севастополь», потом стала продолжаться редкая со всех сторон артиллерийская перестрелка и продолжалась до глубокой ночи. Снаряды ложились в гавани города и у фортов. Повреждений никаких нет, ранено и доставлено в госпиталь два красноармейца с фортов. Гарнизон и население встретили стрельбу спокойно со словами «наконец жребий брошен и началась великая борьба». «Ответственность за все ляжет перед всем миром на того, кто начал первый», «мы крови не хотели, а если нас Троцкий заставляет это делать, то мы стоим за правое дело».

Звуки выстрелов продолжали раздаваться в вечернем воздухе. Население проявляло больше любопытства, нежели страха. Несмотря на запрещение Ревкома, население старалось проникать к берегу и гавани, чтобы видеть стрельбу со стороны противника и посылало проклятья убийцам, палачам-коммунистам. Коммунисты, находившиеся в Кронштадте и пользовавшиеся свободой, также стали негодовать против такого поступка и присоединились к активной борьбе против своих же коммунистов. Нужно отметить, что многие из них проявили героизм и самоотверженность

в борьбе. Итак грянул первый выстрел... Стоя по пояс в крови трудящихся, кровавый фельдмаршал Троцкий первый открыл огонь по революционному Кронштадту, восставшему против владычества коммунистов для восстановления подлинной власти Советов. Без одного выстрела, без капли крови мы, красноармейцы, матросы и рабочие Кронштадта, свергли владычество коммунистов и даже пощадили их жизнь. Под угрозой орудий они снова хотят навязать нам свою власть. Не желая кровопролития, мы предложили прислать к нам беспартийных делегатов Петроградского пролетариата, чтобы они увидели, что в Кронштадте идет борьба за власть свободно избранных Советов. Но коммунисты скрыли это от рабочих Петрограда и открыли огонь: — обычный ответ мнимого Рабоче-Крестьянского Правительства трудовому народу на его требования. Пусть знает весь мир трудящихся, что мы, защитники власти советов трудящихся, стали на страже завоеваний революции. Мы победим или погибнем под развалинами Кронштадта, борясь за правое дело трудового народа. Трудящиеся всего мира нас рассудят, а кровь невинных падет на голову опьяненных властью извергов-коммунистов. Да здравствует власть советов. Так, орудийной стрельбой кончился день 7-го марта. Орудийный обстрел города и фортов говорил за то, что утром надо быть готовыми к атаке, и мы приготовились.

8 марта.

В 4½ часа противник повел наступление на форт Тотлебен и с юга на восточную часть Котлина к Петроградским воротам. Цепи противника в белых халатах подошли к следственной тюрьме и оттуда бросились к Петроградским воротам. В происшедшей схватке большая часть из них была перебита, часть разбежалась, около 200 человек взято в плен, а часть спряталась между пристанью. Это были курсанты, которые сейчас же были выбиты. Пленные были в строевом

порядке отведены в сухопутный манеж. Одновременно было поведено противником наступление на 1-й и 2-й южные форты, но и оно было отбито, причем были взяты пленные. Были попытки противника наступать и на другие участки, но успеха также не имели. Наступления противника причинили ему большие потери убитыми, ранеными, утонувшими и пленными (800 человек). После такого поражения противник из Ораниенбаума большою цепью снова повел наступление. Когда цепь со стороны Кронштадта стала подвергаться артиллерийскому обстрелу, то они выкинули белый флаг и стали флангом идти по направлению к Кронштадту. Навстречу к ним выехали два члена Ревкома Вершинин и Куполов и, на их глазах сняв с себя оружие, смело поехали к ним; но не успели несколько слов сказать, как Вершинина они схватили, а Куполову удалось ускользнуть из их рук. Таким образом, низким и подлым образом им удалось схватить одного из лучших членов Ревкома, борца, горячего оратора и преданнейшего делу человека. Было замечено, когда наступающие цепи не выдерживали нашего огня и пытались отступать, то коммунисты сзади встречали их орудийным и пулеметным огнем, и они снова вынуждены были идти в наступление; сдаваться они также не могли, т.к. сзади была цепь отборных коммунистов, которая в тыл из пулеметов открывала огонь. Пленные, кроме того, показали, что если в полках являлось сомнение и нежелание идти в наступление, то из них каждый пятый расстреливался. Так было в ротах Оршанского, Невельского и Минского полков. Наступали курсанты, сборные отряды коммунистов, члены чрезвычайек, районных советов, заградительные отряды и другие отборные войска. В числе наступающих был и 561 Кронштадтский полк, из которого 500 человек были взяты в плен. К 12 часам дня всякие попытки противника перейти в наступление прекратились. Днем все время летали аэропланы, но

бросанием бомб вреда городу не причиняли, т. к. зенитные орудия своим обстрелом не позволяли им летать над городом и бомбы падали вне города, и только одну бомбу около 6 часов вечера удалось сбросить в город, в результате чего был разбит карниз дома, попорчен фасад и разбиты стекла ближайших домов и ранен, к счастью легко, 13-летний мальчик. Целый день продолжалась артиллерийская перестрелка. Нашей артиллерией на Ораниенбаумском берегу был произведен пожар и разрушен железнодорожный путь. Артиллерией противника Кронштадту и фортам серьезных повреждений не было нанесено. К этому дню, по сообщению перебежчиков, у противника было сосредоточено 15.000 штыков на южном берегу и 8.000 на северном при 20 батареях и 4-х бронепоездах, из которых один нашей артиллерией был подбит. Подкрепления противнику все прибывали. Во всех учреждениях, союзах и воинских частях были избраны революционные тройки, в которых не было ни одного коммуниста. Они проводили на местах распоряжения Ревкома. В учреждениях работа не нарушалась. Закрыты были только школы и курсы для взрослых. Ученики старших ступеней добровольно вместе с взрослыми несли караульную службу в городе. В Ревкоме работа кипела весь день и ночь. Ввиду недостатка обуви у защитников Кронштадта, Ревком распорядился снять сапоги у арестованных коммунистов, а им дать лапти, что дало хороших сапог 280 пар, которые и были розданы гарнизону. Вместе с тем Ревком обратился к населению, чтобы население, имеющее лишнюю обувь, жертвовало защитникам, что за все время также дало не меньше 400 пар. Эта обувь выдавалась взамен валеных сапог, в которых нести службу было уже невозможно. Была сделана раскладка продовольствия в целях экономии с 8 по 14-е марта по следующей норме: сухопутный и морской гарнизоны взамен прежнего хлебного пайка стали получать: хлеба с примесью кофе,

сушеных яблок по $\frac{1}{2}$ фунта. Консервов мясных по полбанки и мяса по $\frac{1}{4}$ фунта. Гражданское население, литер А: хлеба по $\frac{1}{2}$ фунта, консервов мясных по полбанки, мяса по $\frac{1}{4}$ фунта. Литер Б: ежедневно по 1 фунту овса, мясных консервов по $\frac{1}{2}$ банки, мяса по $\frac{1}{4}$ фунта и единовременно дополнительного сахара $\frac{1}{2}$ фунта и подсолнечного масла $\frac{1}{4}$ фунта.

Детям серии А: ежедневно пшеницы, ячменя или сухарей по $\frac{1}{2}$ фунта, консервов мясных по $\frac{1}{2}$ банки и дополнительно единовременно 1 банка консервированного молока, сахару $\frac{1}{2}$ фун. и столового масла $\frac{1}{4}$ фун.

Серии Б и В: ежедневно та же порция, лишь вместо консервированного молока $\frac{1}{4}$ фун. мяса. Вот при каком питании Кронштадт вынужден был встать на работу, и все же не было ропота ни от гарнизона, ни от населения. Каждый гордо заявлял: «мы знаем во имя чего несется такое лишение». Так кончился день 8-го марта.

9 и 10 марта.

Противник то редким, то интенсивным огнем вел артиллерийский обстрел города и фортов; попытки вести наступление с севера и юга были отбиты с большими потерями для противника. Артиллерия наша отвечала все время: за 9 и 10-е марта нами потеряно 14 убитых и раненых 46 человек. Революционным комитетом было послано радио к пролетариям всех стран, в котором опровергалась наглая ложь коммунистов и заявлялось всему миру, что нами руководят не белогвардейские генералы, а мы сами, и что никакой Финляндии мы не продались и переговоров о военной поддержке ни с кем не вели и что Кронштадт, сбросивший гнет коммунистов, решил бороться до конца. Но если наша борьба затянется, то ради наших раненых героев мы вынуждены будем обратиться за продовольственной помощью извне. В городе спокойно. Население и гарнизон, чем больше затягивалась борьба, тем связывались все тесней и тесней. Каждый

стремился чем-либо помочь общему делу. Все время продолжался налет аэропланов, не причиняя серьезных повреждений.

11, 12, 13 марта.

Все время противником обстреливались город и форты то редким, то интенсивным огнем. Было несколько попыток противника вести наступление с северного и южного берегов. Все время производились налеты аэропланов, которые бросали бомбы. На все атаки, налеты и артиллерийский огонь, Кронштадтский гарнизон отвечал ружейным и пулеметным огнем, огнем зенитных орудий и артиллерией крепости и кораблей. Значительных повреждений, кроме разрушения некоторых домов, не было. От бомб было ранено и убито несколько человек. Ревком послал радио 12 марта ко всему миру, призывая протестовать и против убийц мирного населения города и разрушения его и оказать гарнизону моральную поддержку.

14 марта.

В ночь на 14-е марта противник дважды пытался вести наступление, но был отбит нашим огнем. С 1 часу дня началась артиллерийская стрельба, на которую последовал ответ нашей артиллерии. Стрельба продолжалась до 7 часов вечера, после чего наступило затишье. Аэропланы не появлялись. В городе спокойно. Население настолько свыклось со стрельбой, что все свободно ходили по городу, и город, казалось, имел праздничный вид. Дети по Советской улице и Ленинскому проспекту играли в войну, бросаясь снежками. На панелях улиц гражданами добровольно производилась уборка льда и снега. Ревком по радио обратился к журналистам всех стран с предложением прибыть в Кронштадт, чтобы убедиться, за что борются кронштадтцы. Была сделана вторичная раскладка продовольствия, т. к. первой раскладке кончился срок 14 марта.

Раскладка была сделана по следующей норме:

Хлебная дача войсковым частям, флоту и рабочим с 15 по 21 марта включительно.

Хлеба по $\frac{1}{2}$ фунта или галет по $\frac{1}{4}$ фунта, консервов мясных по $\frac{1}{4}$ банки и мяса по $\frac{3}{8}$ фунта в день. Детям серии А: консервированного молока по 1 фунтовой банке по 1-е апреля, муки по 2 фунта по 1-е апреля. Дичи по 1 фунту по 1-е апреля и яиц по 3 штуки по 1-е апреля. Детям серии Б: ячменя по полфунта в день, дичи по $\frac{1}{4}$ фунта в день, мяса по $\frac{1}{4}$ фунта в день и сыру по $\frac{1}{4}$ ф. по 1-е апреля. Детям серии В: ячменя по полфунта в день, мяса по $\frac{1}{2}$ в день и икры по $1\frac{1}{4}$ ф. одновременно. Кроме того, добавочно детям всех серий масла столового по $\frac{1}{4}$ фунта и сахару по $\frac{1}{2}$ фунта. Так были распределены последние запасы продовольствия.

15 марта.

В некоторых местах разведка противника пыталась приблизиться к нашему охранению, но была рассеяна нашим огнем и захвачены пленные. С 2-х до 5-ти часов велась редкая артиллерийская перестрелка. С 6 час. 30 мин. вечера аэропланы противника произвели три налета и бросали бомбы. Аппараты были отбиты огнем наших зенитных батарей. В городе спокойно. Настроение прекрасное. Вечером около 8 часов состоялся вынос убитых из морского госпиталя в Морской собор, приготовления делались к похоронам на Якорной площади на 16 марта. Во время переноса убитых на Песочную улицу с аппарата противника была брошена бомба, которая, к счастью, не разорвалась.

16 марта.

Противник на некоторых участках пытался вести наступление, но был отбит нашим артиллерийским огнем. С утра начался налет аэропланов, который серьезных повреждений бомбами городу не причинил. С 9 часов утра начался обстрел города и фортов со стороны Лисьего Носа, Сестрорецка, Ораниенбаума и Красной Горки. Наша артиллерия судовая и крепост-

ная отвечала и на некоторых участках заставила замолчать артиллерию противника. К 12 часам дня к назначенному времени для похорон жертв 3-й революции, невзирая на артиллерийский обстрел города, население и войсковые части, свободные от службы, стали стекаться на Якорную площадь и в Морской собор. После отпевания состоялся вынос 21-го гроба, обитых красной материей, из собора. Процессия двигалась по направлению к приготовленной на площади братской могиле. К тому времени были построены шпалерами войсковые части до самой могилы. На похоронах присутствовало все население Кронштадта и Революционный комитет. Гробы были опущены в братскую могилу и засыпаны землей. Салют был произведен воинскими частями. Затем с трибуны были произнесены речи, в которых ораторы выясняли происходящие события и подчеркивали кровожадность коммунистических вождей. В перерывах речей оркестр музыки играл Марсельезу. Во время похорон и речей продолжался противником усиленный обстрел города. Снаряды ложились совсем близко. Одним осколком был ранен моряк. Но народ сохранял удивительный порядок и спокойствие до конца и стал расходиться с площади по окончании ораторами речей. К вечеру обстрел города стал усиливаться. С Красной Горки снаряд попал в палубу лин. корабля «Севастополь», на котором было убито 14 человек и ранено 36. С наступлением темноты обстрел города и фортов со всех сторон усиливался. Наша артиллерия с кораблей и фортов открыла интенсивную стрельбу. Такая стрельба продолжалась до 3-х часов ночи и к утру утихла. В Кронштадте было разрушено несколько домов, были пожары, которые быстро удавалось тушить, было попадание в здание Революционного комитета, в котором было ранено 2 моряка и 1 красноармеец контужен.

Были ранения и в других разрушенных домах. Население под рвущимися снарядами усиленно помогало

производить раскопки в домах и вытаскивать трупы и отправлять в госпиталь, много оказано помощи в тушении пожара, т. к. гарнизон крепости и города был мал, и ему справиться с этим было невозможно.

17 марта.

В 4½ часа утра противник повел наступление густыми колонами в белых халатах на очень большом протяжении, стремясь охватить Кронштадт с восточной, южной и западной стороны. Цепи наступающих были встречены огнем наших батарей и пулеметов. Люди, как снопы, валялись, но оставшиеся продолжали, рассыпавшись во все стороны, двигаться вперед. Противнику удалось глубоким обходом в белых халатах незаметно пробраться к следственной морской тюрьме во фланг 6-й батарее, расположенной в парке у Петроградских ворот на угольной площадке, и быстрым налетом через газовый завод овладеть ею. Неся большие потери, прорвавшись у Петроградских ворот, коммунисты овладели следственной тюрьмой. В тылу у них осталась северная казарма, в которой укрылось 60 человек моряков. Только четверым из них удалось спастись. Заняв госпиталь, следственную тюрьму и телефоны, коммунисты требовали у телефонистов, чтобы они передавали то, что они им прикажут, в противном случае — смерть. Это внесло некоторое замешательство в дело обороны. Освободив арестованных коммунистов из следственной тюрьмы, в которой находилось 174 человека, им удалось занять арестантский лазарет, мясной склад, машинную школу и весь район до стрельбища. Отдельные части противника уже успели пробраться к комендантскому управлению и к Морскому собору. В бывшем доме Молчанова были поставлены два пулемета, из которых они стали производить обстрел улицы. Одновременно шло наступление большой силой на военную гавань, на Итальянский пруд, на биржу и на Цитадельские ворота со стороны форта «Петр». Произво-

дились также сильные атаки на форты, особенно на южные, и на 4, 6, 7 северные батареи. В это время в городе был настоящий ад. Непрерывно со всех сторон гремели пушки, треск пулеметов и ружейная стрельба. Пули свистали во всех направлениях. Создавалось впечатление какой-то неразберихи. На всех улицах и переулках шел ожесточенный бой. Разобраться было трудно, когда коммунисты рассыпались по городу и сбросили с себя белые халаты, кто свой, а кто чужой. Конечно, нужно сказать, что небольшую роль сыграли и те коммунисты, которые еще не были арестованы и производили ружейную стрельбу в тыл, чем вызвали замешательство в гарнизоне и сеяли панику. Одно время противнику удалось захватить Цитадельские ворота, и он быстро стал распространяться к железной дороге с целью захватить Кронштадтские ворота, но был нами выбит. Потери противника на этом участке были огромны. Бой здесь отличался особенным упорством и ожесточением с той и другой стороны. Кроме Кронштадтского гарнизона в нем принимали участие рабочие, женщины и даже подростки, и к 2 часам дня удалось противника выбить из этого участка. Взято более 1200 человек в плен, а часть противника отступила до южных фортов. С двух часов дня началась производиться очистка и восточной части города, были освобождены мясные склады, арестантский лазарет и часть Песочной улицы, причем на площади у собора взято было в плен более 2200 человек. Утром была занята противником 6-я северная батарея, затем 5-я, на которой был только один пулемет. Нами оставлена была 4-я батарея, т. к. под давлением противника удержаться было невозможно. Тогда коммунисты повели наступление на восточную часть Котлина, но были отбиты и отошли на батареи 4, 5 и 7. У Петроградских ворот борьба продолжалась, с перевесом на нашу сторону, несмотря на то, что к противнику все время прибывали подкрепления. Около

5 часов вечера противник, получив подкрепление, повел новое наступление на Цитадельские ворота и, заняв их, стал распространяться к лаборатории, но подошли наши резервы и он был снова выбит. Тогда же коммунистами были заняты 1-й и 2-й южные форты. К этому времени замечено усиление противника со стороны Ораниенбаума. Навстречу ему был выдвинут резерв на восточную часть Котлина. Подтягивались резервы все время со стороны северного берега на форты №№ 6 и 7, наблюдалось значительное движение резервов в районе Ораниенбаума и движение колонны конницы со стороны Петрограда. Город, форты и гавань обстреливались усиленным артиллерийским огнем с северного и южного берега и с бронепоездов. Красная Горка была исключительно по гавани. Наша артиллерия с «Петропавловска» и «Севастополя», а также и с фортов, была исключительно по наступающему противнику и, делая пробоины во льду, топила наступающих. Несмотря на это, цепи рассыпались реже и лезли, как мурашки по льду. К 6 часам вечера оставались в нашем распоряжении следующие форты: «Константин», «Риф», «Тотлебен», «Морской» и «Красноармейский», причем некоторые из этих фортов были по своему устройству приспособлены только к обороне со стороны моря и не могли вести оборону вкруговую. Имелись еще форты «Шанс» и «Милютин», которым значения, как боевым единицам, не придавалось; плюс корабли «Петропавловск» и «Севастополь». Около 6 часов вечера стали поступать заявления, например, с форта «Тотлебен»: «дайте подкрепление 200 человек при 5 пулеметах, т. к. остается в действии только одна пушка»; с форта «Риф» «требуют подкрепление в 100 человек при 2-х пулеметах, так как материальная часть орудий с каждым выстрелом отказывается работать»; на форт «Константин» требуют подкрепление в 150 человек при пулеметах, «в противном случае натиск противника не выдержим и вынуждены

будем оставить форт»; везде требуются взамен выбывших из строя: командиры, артиллеристы и пулеметчики; с «Севастополя» заявили, что имеются лишь только три 12'' снаряда и больше стрелять нечем; кроме того, много орудий вышло из строя, поломались компрессоры, отбились кронштейны, а в некоторых пушках получились трещины. Погрузкой снарядов заниматься при таком положении было абсолютно невозможно. С «Петропавловска» поступили такие же заявления, как и с «Севастополя». Большое неудобство для ведения боя с кораблей представляла их стоянка, т. к. они стояли борт о борт и могли стрелять только лишь одним правым, другой левым бортом. Развести их было невозможно, т. к. на «Севастополе» угля не было совершенно, и он питался электрической энергией от «Петропавловска». Кроме того, не было ледоколов, которые могли бы поломать лед для свободного прохода корабля. Бои все время у Петроградских ворот продолжались. Рабочие стали отчаянно вести борьбу, что много облегчило гарнизон; принимали участие женщины, которые с убитых снимали патроны и давали солдатам, т. к. в патронах уже был недостаток. Рабочие с крыши и чердаков снимали коммунистов с пулеметами. Двинутые два эскадрона кавалерии коммунистов были немедленно расстреляны кронштадтцами. С вышки вокруг Кронштадта и фортов было видно, что подкрепления противника прибывают все больше и больше и группируются у фортов, откуда окружают все тесней и тесней город. Малочисленный гарнизон, состоящий из 560-го полка и собранных морских частей, что составляло 3500 штыков, многие из команды были совершенно босы и принять участие в борьбе не могли; ощущался большой недостаток командного состава и вообще специалистов. Голодный паек, 15-ти дневная бессменная служба, десятидневный бой, а особенно последний день с 4½ часов утра и до вечера уличный бой — окон-

чительно подорвали силы гарнизона. Убыль гарнизона вследствие боев, неимение резервов, отсутствие надежды, как на приток продовольствия, так и на живую помощь, с очевидностью показывали, что последней атаки нам не отбить, а их могло быть еще несколько, поэтому председатель комитета вместе с начальником обороны, обсудив создавшееся положение, решил с наступлением темноты отойти на форты «Красноармейский», «Риф» и «Тотлебен», где попытаться задержаться. Для этого срочно были вызваны из всех частей ревтройки, которым было дано распоряжение с наступлением темноты в боевом порядке отводить из города части на форты «Красноармейский», «Тотлебен» и «Риф», причем приказывалось не создавать паники, так как в противном случае может погибнуть напрасно весь гарнизон и все части. Где была связь прервана, туда приказание передавалось живой связью. Коменданту города было передано покинуть город, чтобы он рабочих, желающих покинуть город, также оттянул, т. к. все рабочие были в его распоряжении. Штаб обороны разделился на две части: одна часть должна была выехать на форт «Красноармейский» и взять дальнейшее распоряжение на себя, а остальная часть штаба должна вести распоряжение на месте до передачи на форт «Красноармейский». Таким образом, в 8 часов 10 минут вечера я и начальник обороны вместе со своими помощниками выехали из Кронштадта на указанный форт. По дороге двигались некоторые воинские части по направлению к фортам. Не доезжая до форта «Красноармейский» двух верст, мы заметили движение больших кучек людей у самого форта. Снаряды рвутся, делая недолеты, и были замечены попадания. Форт молчал. Подъезжая ближе и въехав наконец на самый форт, мы увидели, что электрическая станция разрушена, порвана телефонная связь и шестидюймовые орудия приведены в негодность, а орудия большого калибра не вращаются и

направлены в море. Время уже было 9 час. 30 минут вечера. Движение у Кронштадта по направлению к форту было полное, и выход был один — двигаться по направлению к финляндской границе. Так был оставлен Кронштадт первой частью штаба, в которой находился и я. Вторая часть штаба покинула Кронштадт в 10 час. 30 минут вечера и прибыла также в Финляндию. Не прибыли четыре члена Революционного комитета, судьба которых неизвестна.

Из допросов последней партии пленных было выяснено, что при многочисленной артиллерии с 4-мя бронепоездами и 8 орудиями на тракторах у противника было стянуто на Ораниенбаумском участке 50.000 штыков, а на Сестрорецком и Лисьем Носу 30.000 штыков, плюс неопределенное количество конницы. Штыки состояли главным образом из курсантов, коммунистов, чрезвычайек, заградительных отрядов, членов райсоветов, из китайцев, часть была башкирцев и других башибузуков. Были пригнаны и целые полки из глубы России, но их в прежнем своем составе не посылали, а разбивали каждый полк на несколько частей и потом из этих частиц формировали новый полк, а к нему в тыл ставили партию верных головорезов-коммунистов. Все время полкам внушали, что они идут против кучки золотопогонников, которая захватила Кронштадт и арестовала всех матросов, и что в Кронштадте уже имеются финские солдаты, которых позвали золотопогонники. Чтобы убедить солдат еще больше, они одевали своих коммунистов в офицерскую форму, надевали погоны и аксельбанты и проводили по войскам, указывая, что этот золотопогонник из Кронштадта попал к ним в плен, и что вот против кого вы идете бороться. Одевали своих коммунистов также и в финскую форму — их также проводили по войскам с теми же словами. Уговаривали, например, и так, что матросы и красноармейцы давно покинули Кронштадт и ушли в Финляндию, а

осталась лишь кучка офицеров, с которыми легко справиться. Говорили, что тут материк, а за этим полем стоит большая деревня, которую нужно взять, т. к. там засела шайка головорезов и производит резню населения. Например, один китаец говорит, «что мой был на много фронта, видал много деревня, такой большой деревня еще не видал. Много видал снарядов, но такой снаряд не видал, как пух так кругом вода и наш туда, этот водяной снаряд я еще никогда не видал. Мой любит стрелять с одного места, сядит и нашел машинка работать, а тут вода прогонял меня 9 разы». Разными предложениями и обманом они старались отправить людей на лед, а мечтать солдатам о возвращении назад, в случае неудачи, было невозможно, так как коммунисты открывали артиллерийский и пулеметный огонь сзади и положение было действительно ужасное, сдаваться они так же не смели, так как пулеметный огонь в тыл открывает цепь коммунистов. Пленные подтверждали и то, что если является сомнение в полку, то полк сейчас же обезоруживали и отправляли неизвестно куда, или расстреливали каждого пятого и гнали в наступление. Никто истинного положения о Кронштадте абсолютно не знал. Мы также были отрезаны от всего мира. Не имея даже воздушного аппарата, мы не могли их оповестить.

Нужно заметить, что из Петрограда и губернии ни одну часть коммунисты прислать не могли, как сухопутную, так и морскую. В Петрограде моряков сразу сочли бунтарями. Миноносцы, которые были в боевой готовности, они обезоружили и сняли замки у пушек. На линейных кораблях «Гангут» и «Полтава» также, что было в действии, привели в негодность, да и боевых кораблей они из себя не представляли, так как на них происходили ремонты. Морская команда сразу стала арестовываться, а частью увозиться из Петрограда неизвестно куда. Сухопутные части, обез-

оруженные и раздетые, под усиленной охраной сидели в казармах.

Когда начались митинги, т. е. 27, 28 февраля и т. д., стало вырисовываться положение коммунистов безнадежное, то комиссары стали как можно больше увольнять в кратковременный отпуск на родину, увольняли в Петроград, Ораниенбаум и другие ближайшие местности и им удалось таким образом за этот промежуток времени уволить из Кронштадта не меньше 1000 человек, чем, конечно, ослабили гарнизон, так как среди уволенных были и необходимые специалисты, как гальванеры, комендоры и пулеметчики, что было бы очень ценно для Кронштадта. Делалось комиссарами это с определенной целью.

Вот те обстоятельства и положения, в которых находился Кронштадт до перехода в руки Ревкома, во время правления Ревкома и при отступлении.

Скажу только, что честь и слава кронштадтцам, защищавшим настоящую, свободную, избранную народом власть советов, а не власть партии, и доказавшим всему миру — как без всякого насилия, а по своему собственному сознанию, может вести народ борьбу.

Особенно доказали рядовым коммунистам, что, несмотря на то, что они являются самыми злейшими врагами народа, народ в момент отчаянной борьбы показал еще раз свое русское великодушие и доказал, что он действительно способен прощать и миловать своих противников не на словах и на бумаге, а на деле. Кронштадт дорого обошелся коммунистам. Падение Кронштадта есть падение коммунистов. Коммунисты могут расстреливать кронштадтцев, но правду о Кронштадте им не расстрелять никогда.

ПОБЕГ ИЗ НОЧИ

(Окончание)

Глава 17

ЭМИГРАЦИЯ. ФИНЛЯНДИЯ. БЕРЛИН

Эмиграция · Статьи и книга · Протоколы Политбюро · Бегство Беседовского · Снова Блюмкины и Максимов · Финляндия · Маннергейм, Русская Народная Армия · Берлин · Розенберг и Лейббрандт · Последний разговор с Лейббрандтом.

Что делать? Для меня тут никакой проблемы не было. Вся советская система основана на лжи. Надо было рассказать о ней правду, описать то, что Москва тщательно скрывала, в частности механизм власти, и те события, свидетелем которых я был. Прежде всего нужно было все это опубликовать в эмигрантской прессе.

В то время (1928-1929 гг.) в Париже выходили две эмигрантских ежедневных газеты — «Возрождение» и «Последние новости». Обе были антибольшевистскими, но сильно отличались политической линией. «Возрождение» была газета правая и непримиримо враждебная коммунизму. «Последние новости» была газета левая. Руководил ею бывший министр иностранных дел революционного Временного правительства Миллюков, столп русской интеллигенции, человек политически бездарный. Газета из номера в номер уверяла читателей, что в Советском Союзе идет эволюция к

См. «КОНТИНЕНТ», №№ 8 и 9.

нормальному строю, что большевики уже в сущности не большевики, что коммунизм если еще не совсем прошел, то быстро проходит и т. д. Все это было совершенно неверно и крайне глупо. В этой газете я писать не мог. Я дал серию статей в «Возрождении». А затем написал книгу на французском языке. Но издать ее или печатать мои очерки во французской прессе оказалось совсем не легко. Французские левые сочувствовали «передовому социалистическому опыту» Советской России, и старались всячески замалчивать всё, что я писал. А так как я описывал события, которых я был свидетелем, со скрупулезной точностью, то Москва, зная, что она ничего в моих писаниях опровергнуть не может, приняла тактику заговора молчания. Ни «Правда», ни «Юманите», ни какая другая коммунистическая пресса никогда не упоминали моего имени. Один раз Ромен Роллан по неопытности пробовал полемизировать против одной из моих статей, но получил хороший нагоняй от коммунистического начальства за то, что упомянул мое имя.

Издатели тоже не находились. Только в 1930 году моя книга была издана, и то с большими сокращениями. То, что я писал, мало кому подходило. Левые в это время не желали никаких нападков на «передовую социалистическую страну», правые с поразительной близорукостью и непониманием происходящих в мире событий считали превосходным, что благодаря большевизму и связанной с ним анархии Россия вышла из числа великих держав. Предсказания, что перед коммунизмом огромное будущее, что в мире началась мировая гражданская война, и что коммунизм представляет для человечества сейчас главную опасность, рассматривались как партизанское преувеличение русского эмигранта (и потом, какой-то молодой русский пытается учить старых опытных специалистов политики).

Но и меня книга совсем не удовлетворила.

Не только из-за сокращений, при которых всякие выводы были вычеркнуты, и осталось лишь свидетельство о виденном, но и по причинам, касавшимся меня лично. Я должен был выполнить взятое в Москве обязательство перед друзьями и написать, что я был антикоммунистом перед тем, как начал работать в ЦК партии. При этом я приобретал вид какого-то авантюрного Джемса Бонда, храбро и хитроумно проникшего во вражескую крепость, а на самом деле это было совсем не так, и о себе и о своей настоящей эволюции я рассказать не мог. Поэтому в конце концов я к книге потерял интерес. Кроме того, о многом я не мог говорить, живые люди, оставшиеся в России, всегда сильно рисковали, если бы я упоминал их имя или на них ссылался.

Сейчас, когда прошло много времени, да и времена изменились, я могу рассказать то, чему я был свидетелем, и как оно на самом деле было.

Через некоторое время по моем прибытии во Францию ко мне обратились представители английского Интеллидженс Сервис, прося произвести экспертизу. Резидент ГПУ в Риге Гайдук (это, конечно, кличка, а не настоящая фамилия) продавал английским властям протоколы Политбюро, и англичане платили за них чрезвычайно дорого, принимая их за настоящие. Гайдук, конечно, никогда в жизни настоящего протокола Политбюро не видел и фабриковал свои в силу собственного разумения. Но англичане знали еще много меньше его, как выглядят подлинные. Я же их столько в своей жизни изготовил, что для меня не представляло ни малейшего труда установить, что англичанам продается фальшивка. Англичане покупать их перестали.

Я жил в это время в Париже в отеле. В какой-то день постучали в дверь. «Войдите». Вошла личность явно чекистского вида и спокойно представилась: «Я — Гайдук, резидент ГПУ в Риге. Я пришел к вам вот по

какому делу. Через меня англичане покупают протоколы Политбюро. Вам, конечно, лучше, чем кому бы то ни было, знать, настоящие ли они. Мне известно, и мне также вполне ясно, что от вашего заключения будет зависеть, будут ли они продолжать их покупать или нет. Я не скрою от вас, что я на них очень хорошо зарабатываю. Если ваше заключение будет не отрицательное, я предлагаю вам половину платы за протоколы». Я ему отвечаю: «Удивительно, что вы перед тем, как прийти ко мне, не навели в вашем учреждении справки обо мне. Вам бы сказали, что я не продаюсь, и это бы вас избавило от бесцельного визита». — «Видите ли, господин Бажанов, — говорит Гайдук, — вы эмигрант совершенно свежий. Сейчас вы печатаете статьи, имеющие успех, и все идет хорошо. Поверьте моему опыту — через год все это пройдет, и вам придется зарабатывать с трудом горький эмигрантский хлеб. А между тем, согласясь на мое предложение, вы за полгода заработаете столько, что сможете на эти деньги безбедно прожить всю жизнь». Я любопытствовал: «Скажите, господин Гайдук, видели ли вы последнюю пьесу Марселя Паньоля «Топаз»?» Нет, пьесами господин Гайдук не интересуется. «Так вот, там в пьесе есть место, когда благородного вида старик приходит к муниципальному советнику в целях шантажа, и в результате разговора советник просит его удалиться, но не поворачиваясь спиной, потому что искушение ударить ногой ниже спины будет слишком велико. Вот об этом я и вас прошу — выйти, но пятясь задом, иначе мне очень захочется помочь вам выйти ногой». Гайдук остался невозмутим. «Пожалуйста, если это вам может доставить удовольствие». В дверях он все же остановился и добавил: «Вы очень пожалеете, что не приняли мое предложение».

Он ошибся. Я вообще равнодушен к деньгам и не ценю то, что можно купить на деньги. И эмигрантская бедность меня никогда не стесняла. Наоборот, я очень

ценю то, что за деньги купить нельзя: дружбу, любовь, верность слову.

Через некоторое время после моего прибытия в Париж, прошедшего тихо и незаметно, произошла громкая история с бегством из парижского полпредства Беседовского. Полпред СССР во Франции Довгалецкий был в очень долгом отпуску по болезни, и на посту полпреда его заменял советник посольства Беседовский. В один прекрасный день, спасаясь от ареста в посольстве, он бежал, перепрыгнув через стену сада посольства. В течение месяца пресса с восхищением смаковала небывалый случай — посол спасается бегством из собственного посольства, прыгая через стенку. Осталась только для всех неизвестной истинная причина этого бегства — Беседовскому самому рассказывать об этом было невыгодно, а знавшее все английское правительство предпочло промолчать.

Около посольства СССР в Англии и Франции вращался крупный авантюрист Боговут-Коломиец, устраивая Советам всякие коммерческие, банковские и прочие дела. Размах у него был большой. В это время развертывался мировой кризис в форме настоящей экономической катастрофы. Боговуту пришла в голову идея: предложить английскому правительству дать Советам колоссальный заем. Советы в это время начинали свои пятилетние планы индустриализации, но были сильно стеснены отсутствием средств для закупки нужного заграничного оборудования. Боговут хотел, чтобы англичане давали Советам в течение ряда лет нужные для индустриализации машины и материалы в форме долгосрочного займа; при этом английская тяжелая промышленность имела бы работу и выходила из кризиса; Советы же, со своей стороны, должны были обязаться прекратить революционную работу в английских колониях, и в особенности в Индии. Но Боговут никакого призвания к филантропии не чувствовал и хотел устроить этот заем так, чтобы

все шло через него и чтоб он получил один комиссионный процент, что, принимая во внимание огромную сумму займа, делало бы его большим миллионером до конца его дней. Но сам он провести эту комбинацию не мог, и уговорил Беседовского принимать в ней участие.

Сценарий был установлен такой. Боговут, у которого всюду были свои входы, дает знать английскому правительству, что Москва хотела бы получить такой заем, но не хочет рисковать неудачными переговорами и поручает даже не полпреду в Англии, а послу в Париже Беседовскому в совершенном секрете обсудить и заключить договор с английским правительством. И только после этого дело перейдет на официальную и гласную почву.

Английское правительство чрезвычайно заинтересовалось и отправило в Париж для тайных переговоров с Беседовским целую делегацию, в которую входили два министра, и в том числе сэр Самюэль Хор. Делегация с Беседовским все вопросы займа обсудила. Беседовский предупредил ее, что, по инструкциям Москвы, до самого окончательного заключения договора всё должно быть в совершенном секрете: даже на обращение Лондона к Москве последняя ответит, что никаких предложений она не делает, и переговоры оборвет. Делегация вернулась в Лондон с радужными и оптимистичными настроениями. Но Самюэль Хор занял позицию резко отрицательную — все это блеф, и за этим нет ничего серьезного. «Я сам еврей, — говорил Хор, — и хорошо знаю моих единоверцев; этот тип, представленный Беседовским, — тип несерьезный; не верьте ни одному его слову. Предлагаю запросить Москву, чтобы все проверить в самом официальном порядке».

В конце концов Кабинет министров с ним согласился, и английскому послу в Москве было поручено обратиться к Чичерину за подтверждением. Чичерин,

конечно, ответил, что ему ни о переговорах, ни о займе ничего не известно, и он сейчас же запросит высшие инстанции (то есть Политбюро). На Политбюро он пришел с горькой жалобой — вы меня ставите в дурацкое положение: вы ведете переговоры с английским правительством и даже не считаете нужным меня, министра иностранных дел, об этом известить. Политбюро его успокоило, ни о каких переговорах никто и не думал. Стало ясно, что Беседовский проводит какую-то авантюрную комбинацию. Чичерин вызвал его в Москву. Так как англичане больше не проявляли никаких признаков жизни, Беседовский сообразил, что дело лопнуло, и под предлогом болезни в Москву ехать отказался. Через некоторое время Наркоминдел сделал вид, что созывает совещание послов в странах Западной Европы, специально, чтобы заполучить Беседовского. Он опять отказался приехать. Тогда Политбюро потеряло терпение и поручило члену ЦКК Ройзенману привезти Беседовского живого или мертвого. Ройзенману был дан соответствующий мандат. Ройзенман приехал в Париж, вошел в посольство, показал свой мандат чекистам, которые под видом швейцаров дежурят у входа, и сказал: «С этого момента я здесь хозяин, и вы должны выполнять только мои распоряжения. В частности, без моего разрешения никто не должен выходить из посольства». Чекисты спросили: «Даже товарищ посол?» — «В особенности товарищ посол». Затем Ройзенман, поставив обо всем в известность первого секретаря, занял кабинет посла и вызвал к себе Беседовского. На Беседовского он наорал и сказал, что он будет сейчас же вывезен в Москву, если нужно — силой. Поняв, что дело плохо, Беседовский бросился к выходу. Чекисты выход заградили, и пригрозили, что будут стрелять, если он попробует выход форсировать. Беседовский вернулся и вспомнил, что видел в саду небольшую лестничку у стены, оставленную садовником. При ее помощи

он взобрался на стену и прыгнул по другую сторону.

После чего он явился к комиссару полиции квартала и потребовал, чтобы полиция освободила его жену и сына, оставшихся в посольстве. Комиссар позвонил в Министерство иностранных дел. Генеральный секретарь министерства сказал, что посольство экстерриториально, но требованию господина посла полиция должна подчиниться и в посольство может быть введена. Жена и сын были освобождены. Беседовский просил права убежища, и полиция его тщательно спрятала. Через несколько дней почтальон принес повестку — Беседовский вызывался в Москву на заседание суда по обвинению в измене; ему хотели просто показать, что от ГПУ не спрячешься, и оно знает тайное место, где он скрывается.

По делу Беседовского пресса подняла слишком большой шум, и от покушений на него ГПУ воздержалось, но старалось причинять ему все возможные неприятности.

После бегства Беседовского из полпредства и до войны я с ним время от времени встречался, главным образом по соображениям безопасности — он был в эти годы, как и я, под угрозой ГПУ, и мы обменивались информацией об опасностях, которые нам могли угрожать. Он занимался журнализмом, в это время не фабриковал фальшивок, но то, что он писал, было легковесно и полно выдумок. При встречах со мной он меня расспрашивал о Сталине, его секретариате, членах Политбюро, аппарате ЦК. Я никогда не делал секрета из моих знаний по этим вопросам и ему отвечал. После войны он все эти сведения использовал с надлежащими извращениями.

После войны я его снова изредка встречал. Я в это время от политики и прессы совершенно отошел, занимался техникой. Беседовский говорил, что занимается журнализмом. В это время появился ряд фальшивок: «Записки капитана Крылова», «С вами говорят совет-

ские маршалы», «Мемуары генерала Власова», все это будто бы написанное каким-то Крыловым, Калиновым, которые на самом деле никогда не существовали. Этой третьесортной и подозрительной литературой я не интересовался, ничего этого не читал, и не знал, кто ее изготавливает. Но в 1950 году появилась книга Дельбара «Настоящий Сталин». Дельбара я не знал, но вспомнил, что Дельбар сотрудничал с Беседовским, заинтересовался и ознакомился с книгой. Она была полна лжи и выдумок. Для меня сейчас же стало ясно, что это творчество Беседовского. В частности, то, что он у меня в свое время выпытывал о Сталине и партийной верхушке, было здесь, но совершенно извращенное и полное фантазий, и представляло издевательство над читателями. К тому же в книге много раз говорилось, что автор знает ту или иную деталь (обычно выдуманную и ложную) от бывшего члена секретариата Сталина. Это набрасывало тень на меня — за границей не было другого бывшего секретаря Сталина. Специалисты по советским делам, читая книгу, могли подумать, что это я снабдил Беседовского его материалами.

Я потребовал у Беседовского объяснений. Он не отрицал, что это он все это написал, и согласился с тем, что он издевается над читателями. На мою угрозу разоблачить в прессе его выдумки он ответил, что книга подписана Дельбаром, что он, Беседовский, здесь формально не при чем, и атакуя его, я рискую быть привлеченным к суду за необоснованные обвинения.

Я предложил ему больше никогда мне не показываться на глаза, и больше его никогда не видел.

Около 1930 года в ГПУ произошли большие персональные перемены. В частности, место заведующего Иностранным отделом Трилиссера занял Мессинг. В связи с этим резко изменился и состав персонала и характер работы заграничной резидентуры ГПУ. Три-

лиссер был фанатичный коммунист, подбирал своих резидентов тоже из фанатичных коммунистов. Это были опасные кадры, не останавливавшиеся ни перед чем. Такие дела, как взрыв собора в Софии (когда там присутствовал болгарский царь и все правительство) или похищение генерала Кутепова в Париже были их обычной практикой. Но к 1930 году эти кадры были разогнаны: многие из них сочувствовали Троцкому и оппозиции, им не доверяли. С Мессингом пришли новые кадры, спокойные чиновники, которые, конечно, старались, но главным образом делали вид, что очень стараются, и совсем не были склонны идти ни на какой риск; и если предприятие было рискованное, то всегда находились объективные причины, по которым никогда ничего не выходило. Если в 1929 году еще было сделано на меня во Франции покушение (и то под видом автомобильного несчастного случая), то 1930 год заканчивает самую опасную для меня полосу. Правда, в 1930 году назначенный в Турцию резидентом ГПУ Блюмкин приезжает еще в Париж, чтобы организовать на меня покушение. ГПУ, поручая дело ему, исходило, во-первых, из того, что он меня лично знал, а во-вторых, из того, что его двоюродный брат Максимов, которого я привез в Париж, со мной встречался. Блюмкин нашел Максимова. Максимов, приехав во Францию, должен был начать работать, как все, и в течение почти двух лет вел себя прилично. Блюмкин уверил его, что ГПУ его давно забыло, но для ГПУ чрезвычайно важно, осталась ли у Бажанова в Москве организация, и с кем он там связан; и что если Максимов вернется на работу в ГПУ, будет следить за Бажановым и поможет выяснить его связи, а если выйдет, и организовать на Бажанова покушение, то его простят, а финансовые его дела устроятся на совсем иной базе. Максимов согласился, и снова начал писать обо мне доклады. Но попытку организовать на меня покушение он сделал через год такую, чтобы ничем не

рисковать; ничего из этого не вышло, но стало совершенно ясно, что он снова работает на ГПУ. Он тогда спешно скрылся с моего горизонта. В 1935 году летом в Трувиле я купил русскую газету и узнал из нее, что русский беженец Аркадий Максимов то ли упал, то ли прыгнул с первой площадки Эйфелевой башни. Газета выражала предположение, что он покончил жизнь самоубийством. Это возможно, но все же тут для меня осталась некоторая загадка.

Когда сам Блюмкин вернулся из Парижа в Москву и доложил, что он сделал для организации покушения на меня, Сталин считал за благо авансом распустить слух, что меня ликвидировали. Сделал он это из целей педагогических, чтобы другим не повадно было бежать: мы никогда не забываем, рука у нас длинная, и рано или поздно бежавшего она настигнет.

Из Москвы Блюмкин поехал в Турцию. Но его ненависть к Троцкому давно прошла, он вошел в контакт с троцкистской оппозицией и согласился отвезти Троцкому (который был в это время в Турции на Принцевых островах) какие-то секретные материалы. Его сотрудница, Лиза, предала его ГПУ. Он был вызван в Москву будто бы для доклада о делах, арестован и расстрелян.

Следующее покушение на меня произошло только в 1937 году. Какой-то испанец, очевидно, анархист или испанский коммунист, пытался ударить меня кинжалом, когда я возвращался, как каждый вечер, домой, оставив машину в гараже. По этому случаю было видно, как выродилась работа ГПУ. Сам агент ГПУ ни на какой риск не шел — очевидно, уверили какого-то несчастного испанского анархиста, что я — агент Франко, или что-то в этом роде.

В это время в Париже ГПУ сводило старые счета таким образом. Но бывали случаи и сложнее, как, например, убийство в Булонском лесу бывшего советского сотрудника Навашина, невозвращенца.

Во время испанской гражданской войны около нее кормилась целая фауна «левых» прохвостов. Красные в Испании грабили церкви, монастыри, буржуев и вывозили «реализовывать» добычу во Францию. Целый ряд темных «левых» помогал им, причем большая часть вырученного оставалась в карманах посредников. А на остаток испанские красные пытались закупать товары первой необходимости, которых в красной Испании не было. Банда дельцов во главе с Навашиным наладила такую комбинацию: на небольшую часть денег красных закупались консервы и другие товары, но совершенно испорченные и за бесценок. Они грузились на корабль и отправлялись красным. В то же время банда извещала франкистского агента в Париже, какой корабль куда и по какому маршруту следует. У красных военного флота не было, у Франко был. И канонерка белых топила корабль. Приходилось развести руками и готовить следующий корабль, зарабатывая при этом огромные деньги. Но один раз у капитана что-то не вышло (испортились, кажется, навигационные инструменты) и он пошел совсем другим, непредвиденным путем; поэтому канонерка его не встретила, и он добрался до порта красных. Товары разгрузили, и все выяснилось. Навашин получил удар кинжалом, от которого и умер.

В 1939 году началась мировая война. В самом ее начале со мной произошло забавное происшествие. В течение нескольких лет я вел большую и серьезную справочную картотеку по Советской России. Она очень помогала мне в журналистской работе, но ведение ее требовало систематической читки советских газет и отнимало слишком много времени. Поэтому я решил ее продать и сверх ожидания выручил за нее большую сумму денег. В 1939 году я поехал летом отдыхать в Бельгию, в Остенде, и так как в воздухе была опасность близкой войны, взял все свои деньги с собой. В Остенде несколько дней подряд шел дождь, и я решил

уехать на французскую Ривьеру, где летом вы всегда обеспечены хорошей погодой. Чтоб не возить с собой по отелям все мои деньги, я их оставил в Остенде в сейфе банка. На Ривьере я наслаждался солнцем и морем и даже не читал газет. Однажды, выйдя купаться, я увидел на стенах афиши с двумя флажками — мобилизация, а значит и война. Еле я успел вернуться в Париж, как война началась. Бельгийская граница была сейчас же закрыта с обеих сторон, и моя постоянная виза в Бельгию, как и все визы, была аннулирована. В течение двух-трех дней я убедился, что положение это надолго. Я был в глупом положении: все мои деньги в Бельгии, в сейфе, и я не могу туда попасть.

Пришлось действовать напролом. Я сел в автомобиль и поехал в Бельгию. На дорогах Франции была полная пустыня, я мог ехать с максимальной скоростью, все автомобили попрятались, потому что войска реквизировали на дорогах встречные автомобили; правда, только определенных марок и габаритов, но публика, не зная этих военных секретов, на всякий случай с машинами носа не показывала. Подъехав к границе, я увидел здание французской таможни, около которого грелись на солнышке несколько офицеров полевой жандармерии. Я направился к старшему из них, капитану, и объяснил, что мои деньги остались в Бельгии, и я хочу поехать за ними. Офицеры дружно смеялись: «Вы с луны свалились. Вы не знаете, что война, и границы закрыты. И еще хотите поехать на вашей машине. Не слыхали ли вы, что никакая машина не может выехать из Франции без специального разрешения командующего военным округом?» Я переждал все эти насмешки и сказал: «Капитан, я к вам обращаюсь, как к офицеру: я даю честное слово, что через 24 часа я буду здесь обратно». Я попал в слабое место — офицеры военной жандармерии всегда втайне страдали, что армейские офицеры в своем боевом кодексе чести не ставят их с собой наравне. Мой капитан

сказал: «Но вас все равно не пустят бельгийцы». — «Бельгийцев я беру на себя». Он сдался: «Попробуйте».

Через полкилометра был бельгийский пограничный пост. С него позвонили начальнику бельгийской полиции Фергюльсту, который меня лично знал, и я проехал в Бельгию. На улицах Брюсселя я пользовался большим успехом — моя машина с парижским номером была чуть ли не единственной; прохожие принимали меня за кого-то приехавшего из Франции с важной миссией. Я поехал в Остенде, взял мои деньги, и на другой день вернулся во Францию. Когда я подъезжал к французскому пограничному пункту, я издали видел, как мой капитан вскочил и торжественно указал на меня пальцем: «Вот он!» Я без труда догадался, что произошло. В течение суток все остальные офицеры над ним издевались: не подлежит сомнению, что это был раскрытый немецкий шпион, спасавшийся бегством, которому было нечего терять и он пошел ва-банк, пытаясь прорваться через жандармский пограничный пункт. И это ему удалось при помощи хороших слов.

Капитан жал мне руку и чуть ли не благодарил меня за то, что я вернулся.

Во все довоенные годы я делал, что мог, по борьбе с большевизмом. Но пустяками и мелочными делами я никогда не любил заниматься, и поэтому не принимал никакого участия в шумной и малопродуктивной эмигрантской политической жизни. Всякая эмиграция всегда образует много маленьких негритянских царств, которые соперничают и ссорятся друг с другом. От всего этого я держался в стороне. Когда Советы напали на Финляндию, оказалось, что я поступил правильно. Я был единственным человеком, решившим по поводу этой войны действовать, и все главные эмигрантские организации меня дружно поддержали и пошли за моей акцией. Было написано письмо марша-

лу Маннергейму, в котором организации просили маршала оказать мне полнейшее доверие и обещали меня всячески поддержать. Письмо подписали и Обще-Воинский Союз, и газета «Возрождение», и даже председатель Высшего Монархического Совета (хотя я к монархизму не имел ни малейшего отношения). Маннергейм предложил мне приехать в Финляндию.

Я исходил из того, что подсоветское население мечтает об избавлении от коммунизма. Я хотел образовать Русскую Народную Армию из пленных красноармейцев, только добровольцев; не столько, чтобы драться, сколько, чтобы предлагать подсоветским солдатам переходить на нашу сторону и идти освобождать Россию от коммунизма. Если мое мнение о настроениях населения было правильно (а так как это было после кошмаров коллективизации и ежовщины, то я полагаю, что оно правильно), то я хотел катить снежный ком на Москву, начать с тысячей человек, брать все силы с той стороны и дойти до Москвы с пятьюдесятью дивизиями.

Французское общественное мнение в это время было полностью на стороне маленькой героической Финляндии. Французские власти приветствовали мою инициативу и помогали быстрому преодолению всяких формальностей — заведующий политическим отделом Министерства иностранных дел возил меня в Военное министерство, чтобы сразу быстро были сделаны все бумаги, и какой-то генерал в министерстве желал мне всяческого успеха.

В начале января я вылетел в Финляндию. На аэроплане через Бельгию, Голландию и Данию в Стокгольм я прилетел без приключений. Из Стокгольма нужно было перелететь в Финляндию через Ботнический залив на старом измученном гражданском аэроплане. Перед отлетом мы сидели в аэроплане и долго ждали. У финнов военной авиации не было, у Советов была, и сильная. Она все время безнаказанно бомбар-

дировала Финляндию. Над заливом летали советские патрули. Надо было ждать, чтобы патруль прошел и достаточно удалился. Тогда аэроплан срывался и мчался во всю силу своих моторов; и с надеждой, что советскому патрулю не придет вдруг в голову повернуть обратно, потому что в этом случае от нас остались бы рожки да ножки.

Все обошлось благополучно, и мы уже подлетали к финскому берегу. Сидя у окна, я увидел, что из-под крыла вырываются языки пламени. Я не знал, что это значит, и обратил внимание сидевшего передо мной (я с ним познакомился потом — он оказался финским министром экономики Энкелем, ездившим в страны Западной Европы по вопросам снабжения Финляндии). Он жестами показал, что тоже не понимает, в чем дело. Но мы уже селились. Когда мы сели, мы подошли к пилоту, и Энкель спросил его, нормально ли это, что вот отсюда из-под крыла вырывались языки пламени. Пилот засмеялся — это совершенно невозможно; если бы пламя вырывалось отсюда, то мы бы с вами сейчас не разговаривали здесь, а были бы на дне Ботнического залива. Нам осталось только пожать плечами.

Маршал Маннергейм принял меня 15 января в своей Главной квартире в Сен Микеле. Из разных политических людей, которых я видел в жизни, маршал Маннергейм произвел на меня едва ли не наилучшее впечатление. Это был настоящий человек, гигант, державший на плечах всю Финляндию. Вся страна безоговорочно и полностью шла за ним. Он был в прошлом кавалерийский генерал. Я ожидал встретить военного, не так уж сильного в политике. Я встретил крупнейшего человека, честнейшего, чистейшего, и способного взять на себя решение любых политических проблем.

Я изложил ему мой план и его резоны. Маннергейм сказал, что есть смысл попробовать: он предоставит мне возможность разговаривать с пленными одного лагеря (500 человек); «если они пойдут за вами

— организуйте вашу армию. Но я старый военный и сильно сомневаюсь, что эти люди, вырвавшиеся из ада и спасшиеся почти чудом, захотели бы снова по собственной воле в этот ад вернуться».

Дело в том, что было два фронта: главный, узенький Карельский в 40 км шириной, на котором коммунисты гнали одну дивизию за другой; дивизии шли по горам трупов и уничтожались до конца — здесь пленных не было. И другой фронт от Ладожского озера до Белого моря, где все было занесено снегом в метр — полтора метра глубины. Здесь красные наступали по дорогам, и всегда происходило одно и то же: советская дивизия прорывалась вглубь, финны окружали и отрезали ее, и уничтожали в жестоких боях; пленных оставалось очень мало, и это они были в лагерях для пленных. Действительно, это были спасшиеся почти чудом.

Наш разговор с Маннергеймом быстро повернулся на другие темы — вопросы войны, социальные, политические. И он продолжался весь день. Как я говорил, вся Финляндия смотрела на Маннергейма и ждала спасения только от него. Его позиция при этом была довольно неудобна, чтобы находить решение важнейших социальных, экономических и политических вопросов, спрашивая советов у людей, которые всего ждали от него. Я был человек со стороны, и моя работа в советском правительстве дала мне государственный опыт; кроме того, я этими вопросами много занимался; поэтому разговор со мной по проблемам, которые перед Маннергеймом стояли, был для него интересен. В этот день советская авиация три раза бомбила Сен Микеле. Начальник Генерального штаба приходил упрашивать Маннергейма, чтоб он спустился в убежище. Маннергейм спрашивал меня: «Предпочитаете спуститься?» Я предпочитал не спускаться — бомбардировка мне не мешала. Мы продолжали разговаривать. Начальник штаба смотрел на меня чуть ли не с ненавистью. Я его

понимал: бомба, случайно упавшая на наш дом, окончила бы сопротивление Финляндии — она вся держалась на старом несгибающемся маршале. Но в этот момент я был уже военным: было предreshено, что я буду командовать моей армией, и Маннергейм должен был чувствовать, что я никакого страха, ни волнения от бомб не испытываю.

В лагере для советских военнопленных произошло то, чего я ожидал. Все они были врагами коммунизма. Я говорил с ними языком, им понятным. Результат — из 500 человек 450 пошли добровольцами драться против большевизма. Из остальных пятидесяти человек сорок говорили: «Я всей душой с тобой, но я боюсь, просто боюсь». Я отвечал: «Если боишься, ты нам не нужен, оставайся в лагере для пленных».

Но все это были солдаты, а мне нужны были еще офицеры. На советских пленных офицеров я не хотел тратить времени: при первом же контакте с ними я увидел, что бывшие среди них два-три получекиста-полусталинца успели организовать ячейку и держали офицеров в терроре — о малейших их жестах все будет известно кому следует в России, и их семьи будут отвечать головой за каждый их шаг. Я решил взять офицеров из белых эмигрантов. Общевоинский Союз приказом поставил в мое распоряжение свой Финляндский Отдел. Я взял из него кадровых офицеров, но нужно было потратить немало времени, чтобы подготовить их и свести политически с их солдатами. Они говорили на разных языках, и мне нужно было немало поработать над моими офицерами, чтобы они нашли нужный тон и нужные отношения со своими солдатами. Но в конце концов все это прошло удачно. Было еще много разных проблем. Например, армии живут на основах уставов и известного автоматизма реакций. Наша армия должна была строиться не на советских уставах, а на новых, которые нужно было создавать заново. Например, такая простая вещь: как обращаться друг к

другу. «Товарищ» — это советчина; «господин» — политически невозможно и нежелательно. Значит «гражданин», к чему солдаты достаточно привыкли; а к офицерам «гражданин командир», это вышло. Я назывался «гражданин командующий».

Была еще одна психологическая проблема. Мои офицеры — капитан Киселев, штабс-капитан Луговой и другие были кадровые офицеры. Они были полны уважения к моей политической силе, но в их голове плохо укладывалось, как гражданский человек будет ими командовать в бою. Ведь в бою все держится на твердости души командира. Следовательно, все будет держаться на моей. А есть ли она? Им это было неясно. Я это видел по косвенному признаку: во время наших занятий капитан Киселев говорил мне «господин Бажанов», а не «гражданин командующий». Случай позволил решить и эту проблему.

Мы вели наши занятия в Гельсингфорсе, на пятом этаже большого здания. Советская авиация несколько раз в день бомбардировала город. Причем, так как это была зима, облака стояли очень низко. Советские аэропланы подымались высоко в воздух в Эстонии, приближались к Гельсингфорсу до дистанции километров в 30, останавливали моторы и спускались до города бесшумно планирующим спуском. Вдруг выходили из низких облаков, и одновременно начинался шум моторов и грохот падающих бомб. У нас не было времени спускаться в убежище, и мы продолжали заниматься.

Аэропланы летят через наш дом. Мы слышим «з-з-з-...» падающей бомбы и взрыв. Второй «з-з-з-...» и взрыв сейчас же перед нами. Куда упадет следующая? На нас или перелетит через нас? Я пользуюсь случаем и продолжаю спокойно свою тему. Но мои офицеры все ушли в уши. Вот следующий «з-з-з-...» и взрыв: уже за нами. Все облегченно вздыхают. Я смотрю на них довольно холодно и спрашиваю, хорошо ли

они поняли то, что я только что говорил. И капитан Киселев отвечает: «Так точно, гражданин командующий». Теперь уже у них не будет сомнений, что в бою все они будут держаться на моей твердости души.

Все, что можно было сделать в две недели, занимает почти два месяца. Перевезти всех в другой лагерь ближе к фронту, организовать, всё идет черепашным шагом. Советская авиация безнаказанно каждый день бомбардирует все железнодорожные узлы. К вечеру каждый узел — кошмарная картина торчащих во все стороны рельс и шпал, вперемежку с глубокими ямами. Каждую ночь все это восстанавливается и поезда кое-как ходят в оставшиеся часы ночи; но не днем, когда бы их разбомбила авиация. Только в первые дни марта мы кончаем организацию и готовимся к выступлению на фронт. Первый отряд, капитана Киселева, выходит; через два дня за ним следует второй. Затем третий. Я ликвидирую лагерь, чтобы выйти с оставшимися отрядами. Я успеваю получить известие, что первый отряд уже в бою, и что на нашу сторону перешло человек триста красноармейцев. Я не успеваю проверить это сведение, как утром 14 марта мне звонят из Гельсингфорса от генерала Вальдена (он — уполномоченный маршала Маннергейма при правительстве): война кончена, я должен остановить всю акцию и немедленно выехать в Гельсингфорс.

Я прибываю к Вальдену на другой день утром. Вальден говорит мне, что война проиграна, подписано перемирие. «Я вас вызвал срочно, чтобы вы сейчас же срочно оставили пределы Финляндии. Советы, конечно, знают о вашей акции и, вероятно, поставят условие о вашей выдаче. Выдать вас мы не можем; дать вам возможность оставить Финляндию потом — Советы это узнают, обвинят нас во лжи; не забудьте, что мы у них в руках и должны избежать всего, что может ухудшить условия мира, которые и так будут тяжелыми; если вы уедете сейчас, на требование о вашей

выдаче мы ответим, что вас в Финляндии уже нет, и им легко будет проверить дату вашего отъезда».

«Но мои офицеры и солдаты? Как я их могу оставить?» — «О ваших офицерах не беспокойтесь: они все финские подданные, им ничего не грозит. А солдатам, которые вопреки нашему совету захотят вернуться в СССР, мы, конечно, помешать в этом не можем, это их право; но те, которые захотят остаться в Финляндии, будут рассматриваться как добровольцы в финской армии, и им будут даны все права финских граждан. Ваше пребывание здесь им ничего не даст — мы ими займемся». Все это совершенно резонно и правильно. Я сажусь в автомобиль, еду в Турку, и в тот же день прибываю в Швецию. И без приключений возвращаюсь во Францию. О моей финской акции я делаю доклады: 1) представителям эмигрантских организаций; 2) на собрании русских офицеров генерального штаба (собрание происходит на квартире у Начальника 1-го Отдела Общевоинского Союза генерала Витковского; на нем присутствуют и адмирал Кедров, и бывший русский посол Маклаков со своей слуховой трубкой, и один из великих князей, если не ошибаюсь, Андрей Владимирович). Вскоре после этого разворачивается французская кампания, и в июне немцы входят в Париж.

Почти год я спокойно живу в Париже. В середине июня 1941 года ко мне неожиданно является какой-то немец в военном мундире (впрочем, они все в военных мундирах, и я мало что понимаю в их значках и нашивках; этот, кажется, приблизительно в чине майора). Он мне сообщает, что я должен немедленно прибыть в какое-то учреждение на Авеню Иена. Зачем? Этого он не знает. Но его автомобиль к моим услугам — он может меня отвезти. Я отвечаю, что я предпочитаю привести себя в порядок и переодеться, и через час прибуду сам. Я пользуюсь этим часом, чтобы выяснить по телефону у русских знакомых, что это за

учреждение на Авеню Иена. Оказывается, это парижский штаб Розенберга. Что ему от меня нужно?

Приезжаю. Меня принимает какое-то начальство в генеральской форме, которое сообщает мне, что я спешно вызываюсь германским правительством в Берлин. Бумаги будут готовы через несколько минут; прямой поезд в Берлин отходит вечером и для меня задержано в нем спальное место. Для чего меня вызывают? Это ему неизвестно.

До вечера мне надо решить, еду я в Берлин или нет. Нет — это значит надо куда-то уезжать через испанскую границу. С другой стороны, приглашают меня чрезвычайно вежливо — почему не поехать посмотреть, в чем дело. Я решаю ехать. В Берлине меня на вокзале встречают и привозят в какое-то здание, которое оказывается домом Центрального Комитета Национал-социалистической партии. Меня принимает Управляющий делами Дерингер, который быстро регулирует всякие житейские вопросы (отель, продовольственные и прочие карточки, стол и т. д.). Затем он мне сообщает, что в 4 часа за мной заедут — меня будет ждать доктор Лейббрандт. Кто такой доктор Лейббрандт? Первый заместитель Розенберга.

В 4 часа доктор Лейббрандт меня принимает. Он оказывается «русским немцем» — окончил в свое время Киевский политехникум и говорит по-русски как я. Он начинает с того, что наша встреча должна оставаться в совершенном секрете и по содержанию разговора, который нам предстоит, и потому, что я известен, как антикоммунист, и если Советы узнают о моем приезде в Берлин, сейчас же последуют всякие вербальные ноты протеста и прочие неприятности, которых лучше избежать. Пока он говорит, из смежного кабинета выходит человек в мундире и сапогах, как две капли воды похожий на Розенберга, большой портрет которого висит тут же на стене. Это — Розенберг, но Лейббрандт мне его не представляет. Розен-

берг облокачивается на стол и начинает вести со мной разговор. Он тоже хорошо говорит по-русски — он учился в Юрьевском (Дерптском) университете в России. Но он говорит медленнее, иногда ему приходится искать нужные слова.

Я ожидаю обычных вопросов о Сталине, о советской верхушке — я ведь считаю себя специалистом по этим вопросам. Действительно, такие вопросы задаются, но в контексте очень специальном: если завтра вдруг начнется война, что произойдет, по моему мнению, в партийной верхушке? Еще несколько таких вопросов, и я ясно понимаю, что война — вопрос дней. Но разговор быстро переходит на меня. Что я думаю по таким-то вопросам и насчет таких-то проблем и т. д. Тут я ничего не понимаю — почему я являюсь объектом такого любопытства Розенберга и Лейббрандта? Мои откровенные ответы, что я отнюдь не согласен с их идеологией, в частности, считаю, что их ультранационализм очень плохое оружие в борьбе с коммунизмом, так как производит как раз то, что коммунизму нужно: восстанавливает одну страну против другой и приводит к войне между ними, в то время как борьба против коммунизма требует единения и согласия всего цивилизованного мира, это мое отрицание их доктрины вовсе не производит на них плохого впечатления, и они продолжают задавать мне разные вопросы обо мне. Когда они наконец кончили, я говорю: «Из всего, что здесь говорилось, совершенно ясно, что в самом непродолжительном будущем вы начинаете войну против Советов». Розенберг спешит сказать: «Я этого не говорил». Я говорю, что я человек политически достаточно опытный и не нуждаюсь в том, чтобы мне все разжевывали и вкладывали в рот. Позвольте и мне поставить вам вопрос: «Каков ваш политический план войны?» Розенберг говорит, что он не совсем понимает мой вопрос. Я уточняю: «Собираетесь ли вы вести войну против коммунизма

или против русского народа?» Розенберг просит указать, где разница. Я говорю: разница та, что если вы будете вести войну против коммунизма, то есть, чтобы освободить от коммунизма русский народ, то он будет на вашей стороне, и вы войну выиграете; если же вы будете вести войну против России, а не против коммунизма, русский народ будет против вас, и вы войну проиграете.

Розенберг морщится и говорит, что самое неблагоприятное ремесло — это политической Кассандры. Но я возражаю, что в данном случае можно предсказать события. Скажем иначе: русский патриотизм валяется на дороге, и большевики четверть века попирают его ногами. Кто его подымет, тот и выиграет войну. Вы подымете — вы выиграете; Сталин подымет — он выиграет. В конце концов Розенберг заявляет, что у них есть фюрер, который определяет политический план войны, и что ему, Розенбергу, пока этот план неизвестен. Я принимаю это за простую отговорку. Между тем, как это ни парадоксально, потом оказывается, что это правда (я выясню это только через два месяца в последнем разговоре с Лейббрандтом, который объяснит мне, почему меня вызвали и почему со мной разговаривают).

Дело в том, что в этот момент, в середине июня, и Розенберг, и Лейббрандт вполне допускают, что после начала войны, может быть, придется создать антибольшевистское русское правительство. Никаких русских для этого они не видели. То ли в результате моей финской акции, то ли по отзыву Маннергейма они приходят к моей кандидатуре, и меня спешно вызывают, чтобы на меня посмотреть и меня взвесить (по словам Лейббрандта, они меня как будто принимали). Но через несколько дней начинается война и Розенберг получает давно предreshенное назначение — министр оккупированных на Востоке территорий; и Лейббрандт — его первый заместитель. В первый

же раз, как Розенберг приходит к Гитлеру за директивами, он говорит: «Мой фюрер, есть два способа управлять областями, занимаемыми на Востоке, первый — при помощи немецкой администрации, гауляйтеров; второй — создать русское антибольшевистское правительство, которое бы было и центром притяжения антибольшевистских сил в России». Гитлер его перебивает: «Ни о каком русском правительстве не может быть и речи; Россия будет немецкой колонией и будет управляться немцами».

После этого Розенберг больше ко мне не испытывает ни малейшего интереса и больше меня не принимает.

После разговора с Розенбергом и Лейббрандтом я живу несколько дней в особом положении — я знаю секрет капитальной важности и живу в полном секрете. Утром 22 июня выйдя на улицу и видя серьезные лица людей, читающих газеты, я понимаю, в чем дело. В газете — манифест Гитлера о войне. В манифесте ни слова о русском государстве, об освобождении русского народа; наоборот, все о пространстве, необходимом для немецкого народа на Востоке и т. д. Все ясно. Фюрер начинает войну, чтобы превратить Россию в свою колонию. План этот для меня совершенно идиотский; для меня Германия войну проиграла — это только вопрос времени, а коммунизм войну выиграет. Что тут можно сделать?

Я говорю Дерингеру, что хочу видеть Розенберга. Дерингер мне вежливо отвечает, что он о моем желании доктору Розенбергу передаст. Через несколько дней он мне отвечает, что доктор Розенберг в связи с организацией нового министерства очень занят и меня принять не может. Я сижу в Берлине и ничего не делаю. Хотел бы уехать обратно в Париж, но Дерингер мне говорит, что этот вопрос может решить только Розенберг или Лейббрандт. Я жду.

Через месяц меня неожиданно принимает Лейб-

брандт. Он уже ведет все министерство, в приемной куча гауляйтеров в генеральских мундирах. Он меня спрашивает, упорствую ли я в своих прогнозах в свете событий — немецкая армия победоносно идет вперед, пленные исчисляются миллионами. Я отвечаю, что совершенно уверен в поражении Германии; политический план войны бессмысленный; сейчас уже все ясно — Россию хотят превратить в колонию, пресса трактует русских, как унтерменшей, пленных морят голодом. Разговор кончается ничем, и на мое желание вернуться в Париж Лейббрандт отвечает уклончиво — подождите еще немного. Чего?

Еще месяц я провожу в каком-то почетном плену. Вдруг меня вызывает Лейббрандт. Он меня опять спрашивает: немецкая армия быстро идет вперед от победы к победе, пленных уже несколько миллионов, население встречает немцев колокольным звоном, настаиваю ли я на своих прогнозах. Я отвечаю, что больше чем когда бы то ни было. Население встречает колокольным звоном, солдаты сдаются; через два-три месяца по всей России станет известно, что пленных вы морите голодом, что население рассматриваете, как скот. Тогда перестанут сдаваться, станут драться, а население — стрелять вам в спину. И тогда война пойдет иначе. Лейббрандт сообщает мне, что он меня вызвал, чтобы предложить мне руководить политической работой среди пленных — я эту работу с таким успехом проводил в Финляндии. Я наотрез отказываюсь. О какой политической работе может идти речь? Что может сказать пленным тот, кто придет к ним? Что немцы хотят превратить Россию в колонию и русских в рабов, и что этому надо помогать? Да пленные пошлют такого агитатора к ..., и будут правы. Лейббрандт наконец теряет терпение: «Вы в конце концов бесштаный эмигрант, а разговариваете, как посол великой державы». — «Я и есть представитель великой державы — русского народа; так как я — единствен-

ный русский, с которым ваше правительство разговаривает, моя обязанность вам все это сказать». Лейббрандт говорит: «Мы можем вас расстрелять, или послать на дороги колоть камни, или заставить проводить нашу политику». — «Доктор Лейббрандт, вы ошибаетесь. Вы действительно можете меня расстрелять, или послать в лагерь колоть камни, но заставить проводить вашу политику вы меня не можете». Реакция Лейббрандта неожиданна. Он подымается и жмет мне руку. «Мы потому с вами и разговариваем, что считаем вас настоящим человеком; а у нас хвост стоит русских, которые просят работать у нас. Но эти хотят быть нашими слугами; они нас не интересуют».

Мы опять спорим о перспективах, о немецкой политике, говоря о которой я не очень выбираю термины, объясняя, что в том этаже политики, в котором мы говорим, можно называть вещи своими именами. Но Лейббрандт возражает все более вяло. Наконец, сделав над собой усилие, он говорит: «Я питаю к вам полное доверие; и скажу вам вещь, которую мне очень опасно говорить: я считаю, что вы во всем правы». Я вскакиваю: «А Розенберг?» — «Розенберг думает то же, что и я». — «Но почему Розенберг не пытается убедить Гитлера в полной гибельности его политики?» — «Вот здесь, — говорит Лейббрандт, — вы совершенно не в курсе дела. Гитлера вообще ни в чем невозможно убедить. Прежде всего только он говорит, никому ничего не дает сказать, и никого не слушает. А если бы Розенберг попробовал бы его убедить, то результат был бы только этот: Розенберг был бы немедленно снят со своего поста, как неспособный понять и проводить мысли и решения фюрера, и отправлен солдатом на Восточный фронт. Вот и все». — «Но если вы убеждены в бессмысленности политики Гитлера, как вы можете ей следовать?» — «Это гораздо сложнее, чем вы думаете, — говорит Лейббрандт, — и это не только моя проблема, но и проблема всех ру-

ководителей нашего движения. Когда Гитлер начал принимать свои решения, казавшиеся нам безумными — оккупация Рура, нарушение Версальского договора, вооружение Германии, оккупация Австрии, оккупация Чехословакии, каждый раз мы ждали провала и гибели. Каждый раз он выигрывал. Постепенно у нас создалось впечатление, что этот человек, может быть, видит и понимает то, чего мы не видим и не понимаем, и нам ничего не остается, как следовать за ним. Так же было и с Польшей, и с Францией, и с Норвегией, а теперь в России мы идем вперед и скоро будем в Москве. Может быть, опять мы неправы, а он прав?»

«Доктор Лейббрандт, мне тут нечего делать, я хочу вернуться в Париж». — «Но поскольку вы против нашей политики, вы будете работать против нас». — «Увы, я могу вам обещать, что я ни за кого и ни против кого работать не буду. С большевиками я работать не могу — я враг коммунизма; с вами не могу — я не разделяю ни вашей идеологии, ни вашей политики; с союзниками тоже не могу — они предают западную цивилизацию, заключив преступный союз с коммунизмом. Мне остается заключить, что западная цивилизация решила покончить самоубийством, и что во всем этом для меня нет места. Я буду заниматься наукой и техникой».

Лейббрандт соглашается. Перед отъездом на квартире Ларионова я рассказываю о моих переговорах с Розенбергом и Лейббрандтом руководителям организации солидаристов (Поремскому, Рождественскому и другим). Они просочились в Берлин, желая проникнуть в Россию вслед за немецкой армией. Я им говорю, что это совершенно безнадежно — население скоро будет все против немцев; быть с ним — значит вступить в партизанщину против немцев; для чего? чтобы помогать большевикам снова подчинить население своей власти? Ничего сделать нельзя. Но

солидаристы хотят все же что-то попробовать. Скоро они убедятся, что положение безнадежно.

Вернувшись в Париж, я делаю также доклад представителям русских организаций. Выводы доклада крайне неутешительные. Среди присутствующих есть информаторы Гестапо. Один из них задает мне провокационный вопрос: так, по-вашему, нужно или не нужно сотрудничать с немцами? Я отвечаю, что не нужно — в этом сотрудничестве нет никакого смысла.

Конечно, это дойдет до Гестапо. К чести немцев должен сказать, что до конца войны я буду спокойно жить в Париже, заниматься физикой и техникой, и немцы никогда меня не тронут пальцем.

А в конце войны перед занятием Парижа мне приходится на время уехать в Бельгию, и коммунистические бандиты, которые придут меня убивать, меня дома не застанут.

Обращение к общественности России и ее Зарубежья

Феномен новой, массовой эмиграции из России сделался повседневной реальностью в сегодняшней жизни Русского Исхода. Ее размеры позволяют нам надеяться, что наше национальное существование за рубежом обретает новые перспективы. Возникновение в последнее время различных издательских и культурных начинаний (журнал «Континент», Русский музей в изгнании, Поэтическое объединение «Ритм» и др.) явилось первым обещающим знаком этого процесса. В западных университетах плодотворно трудится целый ряд значительных представителей русской интеллигенции: И. Бродский, И. Голомшток, М. Геллер, М. Васильев, А. Пятигорский, Л. Ржевский, В. Самарин, А. Синявский, Н. Струве, С. Татищев, А. Штрмас, Е. Эткинд и другие. К тому же, приток новых культурных сил из России и Восточной Европы постоянно увеличивается.

Все эти факторы позволяют нам полагать, что настало время объединения средств и возможностей всех трех эмиграций вокруг одного действенного культурного и научного центра, в котором бы сосредоточилась и обрела возможность роста и творческого развития русская мысль за рубежом.

В то же время вновь прибывающая из России молодежь получила бы достаточные условия для продолжения образования и дальнейшего совершенствования в атмосфере своих национальных и духовных традиций.

Учитывая высокую профессиональную подготовку и качество информированности современных русских интеллектуалов за рубежом, такой университет несомненно стал бы центром притяжения для славистов, советологов и студентов-стажеров этих отраслей науки во всем мире, что позволило бы компенсировать часть расходов по его содержанию и обслуживанию.

Разумеется, основными источниками финансирования должны служить всякого рода фонды, благотворительные организации, а также многочисленные исследовательские центры иноязычных учебных заведений.

Редколлегия «Континента» обращается к общественности России и ее Зарубежья с призывом поддержать морально и политически идею создания такого университета.

ИСТОРИЯ

Александр Я н о в

КОМПЛЕКС ГРОЗНОГО (ИВАНИАНА)

Окончание

12. Позиция В. О. Ключевского

Книга Е. Белова вышла в 1886 г., через несколько лет после докторской диссертации Ключевского «Боярская дума древней Руси», с которою приобщаемся мы к третьему направлению тогдашней Иванианы. К направлению, которое — в отличие от критического, представленного славянофилами, и апологетического, представленного «государственниками», можно условно назвать нигилистическим.

В.О. Ключевский — не только крупнейший историк, но и первоклассный русский художник, блестящее перо. Его нельзя пересказать. Он должен говорить за себя сам.

«Что такое на самом деле Московское государство в XVI в.? Это была абсолютная монархия, но с аристократическим управлением, т. е. правительственным персоналом. Не было политического законодательства, которое определяло бы границы верховной власти, но был правительственный класс с аристократической организацией, которую признавала сама власть. Эта власть росла вместе, одновременно и даже рука об руку с другой политической силой, ее стеснявшей... Бояре возомнили себя властными советни-

ками государя всея Руси в то самое время, когда этот государь, оставаясь верен воззрению удельного вотчинника, согласно с древнерусским правом, пожаловал их как дворовых слуг своих в звание холопов государевых. Обе стороны очутились в таком неестественном отношении друг к другу, которого они, кажется, не замечали, пока оно складывалось, и с которым не знали, что делать, когда его заметили. Тогда обе стороны почувствовали себя в неловком положении и не знали, как из него выйти. Ни боярство не сумело устроиться и устроить государственный порядок без государевой власти, к какой оно привыкло, ни государь не знал, как без боярского содействия управиться со своим царством в его новых пределах. Обе стороны не могли ни ужиться одна с другой, ни обойтись друг без друга. Не умея ни поладить, ни расстаться, они попытались разделиться, жить рядом, но не вместе. Таким выходом из затруднения была опричнина».

«Так возникла среди густых лесов... опричная столица с дворцом, окруженным рвом и валом, со сторожевыми заставами по дорогам. В этой берлоге царь устроил дикую пародию монастыря, подобрал три сотни самых отъявленных опричников, которые составили братию, сам принял звание игумена... покрыл этих штатных разбойников монашескими скуфейками, черными рясами... в церкви читал и пел на клиросе и клал такие земные поклоны, что со лба его не сходили кровоподтеки. После обедни за трапезой, когда веселая братия обедалась и опивалась, царь за аналоем читал поучения отцов церкви о посте и воздержании, потом одиноко обедал сам, после обеда любил говорить о законе, дремал или шел в застенок присутствовать при пытке заподозренных... В опричнине он чувствовал себя дома, настоящим древнерусским государем-хозяином среди своих холопов-страдников, мог без помехи проводить свою личную власть, стеснен-

ную в земщине нравственно-обязательным почтением к почитаемым всеми преданиям и обычаям».

«Но сверх того царь указал опричнине задачу, для которой в составе тогдашнего управления не существовало особого учреждения... удельное ведомство должно было стать еще высшим институтом охраны государственного порядка от крамольников, а опричный отряд корпусом жандармов и вместе экзекуционным органом по изменным делам».

Живо возникает здесь перед нами насильственно разодранная на части страна, и это странное государство в государстве, уродливая пародия на средневековый немецкий орден, без понятия рыцарской чести, однако выполняющая одновременно функции политической партии и политической полиции.

Но именно из этой беспримерной картины и вытекает, по Ключевскому, «политическая бесцельность опричнины... Опричники ставились не на место бояр, а против бояр; они могли быть по самому назначению своему не правителями, а только палачами земли... Значит, в направлении, какое дал царь политическому столкновению, много виноват его личный характер, который потому и получает некоторое значение в нашей... истории»²⁹

Особенно важны для нас в концепции Ключевского два положения. Во-первых, то, что действительным конфликтом русской политической практики считает он несовместимость «абсолютной монархии» с «аристократическим правительственным аппаратом». Во-вторых, то, что неспособная разрешить этот конфликт опричнина выглядит у Ключевского диким, кровавым, но все же частным эпизодом русской истории. Эпизодом, хоть и вызвавшим страшные потрясения Смутного времени, но обязанным, главным образом, личному характеру царя Ивана. Больше того, именно уродством, вычурностью и нелепостью опричнины и аргументирует Ключевский ее исключительность,

ее исторически случайный характер. В этом и состоит, собственно, нигилистический смысл его концепции.

13. Модель тотального рабства

Существенна здесь, конечно, исходная позиция, определяющая все остальные выводы. Но именно она то и представляется недостаточно основательной.

Дело в том, что структура управления абсолютной монархией — и в этом ее специфика — неоднородна, строится из двух отличных друг от друга элементов, из бюрократического и «аристократического правительственного персонала», из совмещения их в самых разных пропорциях, из политического компромисса между ними.

Как Иван III, так и продолжавшая его абсолютистское строительство Избранная рада именно этим совмещением и занимались. Особенно ощутим этот реформистский дух политического компромисса в деятельности Избранной рады. Недаром же фигурирует она в истории под именем «Правительства компромисса». Она ничего не сокрушала. Она всё ограничивала: власть наместников в областях и власть царя в центре, церковное землевладение и местничество. Совмещая боярскую думу с системой центральных приказов, она нащупывала разумное соотношение между аристократическим и бюрократическим персоналом, упорно совершенствуя структуру абсолютистского управления.

Рассмотрим хоть проблему феодальных «кормлений», т.е. порядок, согласно которому целые области страны отдавались сеньорам практически в бесконтрольное владение. Не забудем, что всё олигархическое могущество, например, литовской рады покоилось именно на этом феодальном институте. Политической базой олигархии был фактический раздел страны между

полуавтономными «кормленщиками», хоть формально и подчиненными центру, но на деле выступающими полными хозяевами «кормящих» их областей, «экономические и административные нити местной жизни были в их руках, и рада служила для них только проводником, а не источником их политического влияния. Ее члены были не простые государственные советники, а действительные правители»³⁰. Таков реальный политический механизм олигархии.

В России XVI в. не только не было этого, не только «кормления» были отменены, но и сама власть областных сеньоров последовательно ограничивалась — отчасти изъятием ряда функций в ведение центра, отчасти введением элементов самоуправления. Абсолютистские правительства России отнимали таким образом какую бы то ни было политическую почву из-под притязаний «аристократического персонала», концентрируя в то же время его активность в центральном управлении, искусно превращая его из «действительных правителей» в «простых государственных советников».

Короче говоря, политический процесс в Московском государстве шел в направлении, противоположном польско-литовскому, был по своей природе не олигархическим, но абсолютистским.

Точно так же происходило задолго до Грозного рассредоточение функций между думой и приказами. Разве не сам Ключевский исследовал в своей диссертации эту проблему и пришел к твердому выводу, что «дума ведала все новые чрезвычайные дела, но по мере того, как последние, повторяясь, становились обычными явлениями, они отходили в состав отдельных центральных ведомств... Центральные ведомства формировались, так сказать, из тех административных осадков, какие постепенно отлагались от законодательной деятельности думы по чрезвычайным делам, входя в порядок текущего делопроизводства»³¹. Зна-

чит, как у аристократического, так и у бюрократического персонала были в системе абсолютистского управления свои, отдельные, не перекрещивающиеся друг с другом и не противоречащие друг другу функции.

Но коли так, то где же основания говорить о какой-то конфронтации абсолютизма с «аристократическим персоналом», как о главном конфликте эпохи? О «неестественном отношении их друг к другу»? И почему это не смогли они вдруг «поладить», когда они давно поладили, да так стабильно и прочно, что понадобился тотальный террор, чтобы лад этот разрушить?

Конечно, «поладили» не следует понимать буквально. Конечно, устройство аристократии внутри абсолютизма есть сложный и противоречивый исторический процесс, связанный с острой борьбой и оппозицией. Конечно, в этой борьбе абсолютизм мог опираться и на горожан, и на бюрократию, и на дворянство, и даже на крестьян. И в зависимости от комбинации этих социальных элементов компромисс его с аристократией мог принимать ту или иную политическую форму. Важно, однако, для нас не это. Важно, что как абсолютизм, так и аристократия были элементами одной системы, и целью ставили они себе поэтому не взаимное уничтожение, но лишь выгодную форму компромисса. Спор шел о форме сосуществования, а не о жизни и смерти — вот в чем суть дела. В плоскость взаимного уничтожения поставила его только автократия! Обратите внимание в этой связи на такой любопытный феномен: исследуя абсолютистскую структуру до Грозного, Ключевский и сам не замечал в ней никакого логического противоречия, никакого эпохального конфликта, боярская дума выглядела вполне функциональной... до тех пор, пока автору не пришлось искать объяснения опричнины. Вот тогда только и появился на свет эпохальный

конфликт «абсолютизма» с «аристократическим персоналом».

И поэтому, весьма, как мы видели, неодобительно относясь к Грозному, Ключевский в то же время — в силу самой логики своего рассуждения — вынужден был поставить вопрос в той же плоскости, что и его антипод Белов: либо абсолютизм, либо олигархия, либо боярство устраивает государственный порядок без государевой власти, либо царь управляет-ся без боярского содействия. И третьего не дано!

Но почему, собственно, не дано? Почему всем было дано, и только России не дано? Ведь ни Англия, ни Дания, ни Швеция, на протяжении всего средневековья являвшиеся ареной самой жестокой борьбы между абсолютизмом и аристократией, не превратились из абсолютных монархий во вторую Польшу, в олигархию, призрак которой до сих пор видят в своих страшных снах русские историки. Более того, именно перманентная борьба между абсолютизмом и аристократией и была нормой, естественным состоянием абсолютных монархий. Неестественным было тотальное истребление оппозиции. Патологией была ликвидация этой борьбы. Была полная и окончательная победа бюрократии, исключавшая любую форму общественных гарантий, переносящая любую меру социальных сил из плоскости политической борьбы в плоскость глухой канцелярской интриги, в бесшумную и беспощадную драку бульдогов под ковром.

Биография английского короля Генриха III поразительно напоминает биографию Грозного. Ему было девять лет, когда умер его отец. В малолетстве посмотрелся он картин боярской анархии и всевластия Великого Совета. Достигнув совершеннолетия, заносчивый и высокомерный, как Грозный, попытался он компенсировать уязвленное самолюбие, устранив боярский совет и правя самовластно. Англия стала ареной конфронтации абсолютизма и аристократического

персонала. И что же? Опричниной это кончилось? Или олигархией?

Кончилось парламентом. Кончилось тем, чем и должно было кончиться, — компромиссом между абсолютизмом и аристократией. Компромиссом, который послужил отправной точкой для вековой борьбы, исчерпавшей себя лишь тогда, когда исчерпали свою общественную функцию обе борющиеся силы, эти друзья-враги, ненавидевшие друг друга, но и не умевшие друг без друга жить.

Борьба эта стала локомотивом политического развития европейских абсолютных монархий, великой лабораторией политического мышления. Не в бюрократических канцеляриях и не в пыточных подвалах, как в Москве Грозного, а в открытой политической борьбе испытывалась здесь вся совокупность новых социальных, нравственных, религиозных и политических идей...

Но если исходная позиция, отправная точка всех рассуждений Ключевского сформулирована некорректно, то не должны быть верны и ее следствия. И опричнина со всем ее угрюмством и дикостью не может интерпретироваться как случайный, произвольный исторический кунштюк, не выросший из политической традиции и не оказавший могучего влияния на всё последующее развитие русской политической культуры.

Да ведь связь опричнины с традицией доказывается очень легко анализом самого Ключевского, который, увы, противоречит его собственным выводам. Разве не он утверждал, что «государь, оставаясь верен воззрению удельного вотчинника, согласно с древним правом, пожаловал их (бояр)... в звание холопов государевых»? Разве не он сформулировал преимущества опричнины для царя: «В опричнине он чувствовал себя дома, настоящим древнерусским государем-хозяином среди своих холопов-

страдников»)*. Значит, вовсе не в «личном характере» Грозного дело, а в старинной и мощной политической традиции, которую Грозный просто модернизировал, довел до последнего предела.

Иное дело, что — вопреки мнению ведущих западных историков, включая патриарха английской науки Тойнби, — традиция эта не только не доминировала в русской политической практике, но и с огромным трудом, риском и жертвами прокладывала себе в ней дорогу. Само введение опричнины — неопровержимое тому доказательство! Если бы Москва XVI века действительно «воспроизводила характерные черты Восточно-Римской империи», как постулирует Тойнби, то зачем понадобились бы деспоту государственный переворот, отречение от престола, манифесты к народу, разделение страны на две части, соглашение с боярами, вторая столица и параллельный аппарат управления? Зачем понадобился бы ему весь рискованный драматический антураж этот, если бы мог он просто составить проскрипционные списки и взять в одну прекрасную ночь своих оппонентов голыми, как говорится, руками в их собственных постелях? Ведь византийский автократ поступил бы именно так! Отчего же поступил иначе царь Иван?

И тут самое время поймать меня за руку, Ибо, возражая Тойнби, утверждаю я, что византизм, если понимать под ним автократию, был принципиально новым политическим явлением в Москве XVI в., а возражая Ключевскому, я утверждаю обратное, что этот самый византизм был на Москве явлением традиционным.

И все-таки нет здесь противоречия! Ибо средневековая Россия знала два полярных типа отношений «государства» к «земле». Отношение вотчинника к своим дворовым слугам, к холопам-страдникам и

* Разрядка моя. — А. Я.

кабальным людям, пахавшим княжеский домен — и это было автократическое отношение. И отношение князя-воителя и защитника «земли» к своим дружинникам, боярам-советникам, и связанное с ним отношение к лично свободным крестьянам, сидевшим на боярских землях, которые могли, уплатив «пожилое», хлопнуть в ближайший Юрьев день дверь, — и это было отношение абсолютистское.

Если первое отношение опиралось, как мы уже знаем, на «воззрения удельного вотчинника», то второе уходит своими корнями в обычай легального договора дружинников со своим сеньором, в обычай свободного «отъезда» боярина от князя. Обычай, дававший боярину вполне определенную и сильную гарантию от княжеского произвола. Ибо сеньор тиранического склада, склонный произвольно нарушать неписаный, а тем более писанный договор, «ряд» со своим боярином, быстро лишался военной, а значит и политической, силы и становился уступчив — или погибал. Тираны просто не выживали в ожесточенной борьбе за самостоятельное политическое существование.

Конкурентоспособность князя — таково было самое надежное золотое обеспечение политического положения его бояр-советников, таков был исторический фундамент абсолютистской традиции.

Стало быть, как автократическая революция Грозного, так и абсолютистская оппозиция ей в равной степени опирались на «старину», на культурно-историческое предание, считавшее за собою столетия вполне легального существования. Политическая история России впервые оказалась на решающем перепутье. Возможно было либеральное, компромиссное решение спора двух политических преданий, предложенное Избранной радой, — и это было бы решением в духе абсолютизма. Но возможно было и экстремистское решение, одна традиция могла вос-

стать на другую, добиваясь окончательного ее изничтожения, — и это было решение в духе автократии. Именно с той поры и легло на чело русской политической культуры неизгладимое клеймо экстремизма.

Именно от опричнины ведет счет своих дней российская автократия. Опричнина была ее первой экономической и, что еще важнее, культурной победой. Опричнина сделала автократию необратимой. В этом ее великое историческое значение!

Этого не заметили ни Ключевский, ни Тойнби.

Но почему это важно заметить нам? И вообще зачем нам так углубляться в эти дремучие историко-графические дебри?

Да потому, что для нас это вовсе не отвлеченные архаические сюжеты, а сама судьба наша, потому что опричнина — жива в России. Более чем наивно локализовать ее в Александровской слободе XVI века. Ибо на самом деле опричнина просто есть способ функционирования полуазиатской политической системы, существующий много столетий.

В этом смысле суть опричнины заключается в отчуждении от государственной администрации («земщины») ее политических функций. Суть ее — в двухслойной структуре управления, основанной на двух параллельных иерархиях власти, одна из которых сохраняет при этом верховную суверенность, а другая выступает ее исполнительным органом. Опричнина — это не разделение властей, а разделение функций между политической и административной властями.

То, что опричнина Грозного была непосредственно территориальным разделением страны, автономией политики от администрации, так сказать, в натуре, в пространственном измерении, относится лишь к форме ее, а не к сути. Петру, полтора-два десятилетия спустя введшему свою опричнину, никакой уже не было необходимости в расслоении страны на политическую и административную части, ибо он создал концентри-

рованный аппарат политического контроля в лице своей гвардии.

И тем более не было в этом надобности для Ленина, сконцентрировавшего верхний слой управления в политической партии, поставленной над тем, что он сам назвал «советской властью» («земщиной»). Это был тот же, только адаптированный к условиям XX века, опричный орден Грозного, получивший бесконтрольное право хозяйничать над «Землею». И точно так же, как при Грозном, установление опричнины и в XX в. было лишь прелюдией к введению крепостного права. Иначе говоря, радуясь разгрому «реакционного боярства», историки наши даже не замечают, что тем самым радуются они приходу на Русь векового дремучего крепостничества.

И это вовсе не единственный парадокс, не единственная медвежья ловушка, которую сама себе поставила наша сегодняшняя наука. Вот в 1956 г. (!) акад. Д. Лихачев решительно утверждает, что «из двух борющихся внутри феодального класса групп прогрессивной была несомненно дворянская... К служилому дворянству в известной мере может быть отнесено то, что говорили Маркс и Энгельс о прогрессивном классе... Боярство стремилось сохранить старое. В призыве к этому и заключалась, главным образом, идеология боярства... Идеал Курбского — разделение власти между царем и боярством. Это был явный компромисс между старым и новым (о, бессмертный Горский!) — компромисс, на который должны были идти самые реакционные круги боярства под всепобеждающим давлением исторического поступательного движения»³².

Мы уже знаем, что утверждение «прогрессивного класса» имело своим неукоснительным последствием утверждение на Руси крепостничества, т. е. самого зверского, расточительного и реакционного способа эксплуатации народных сил. Так спрашивается, разве

сопротивлялись этому «прогрессивному классу» только бояре, разве не сопротивлялись ему и трудящиеся массы, загоняемые на века в крепостную кабалу, разве не сопротивлялись они ему, поднимая грандиозные бунты и погибая в крестьянских войнах, своею кровью оплачивая воспетое Лихачевым воцарение «прогрессивного класса»? Так отчего же не назовет он реакционным и это, куда более страшное и кровавое сопротивление «историческому поступательному движению»? Можно ли выступать одновременно апологетом закрепостителей и закрепощаемых, с равным воодушевлением восславляя тех и других? Повторяю, я здесь не спорю, я только спрашиваю: отчего не желает профессиональный ученый следовать правилам профессиональной логики?

Вообще не принято было у нас до самого последнего времени анализировать объективную функцию крестьянских восстаний. И когда акад. Л. Черепнин в докладе на советско-итальянской конференции в 1968 году выступил с утверждением, что «в крестьянской войне можно видеть одну из причин того, что в России более чем на полувековой срок задержался переход к абсолютизму»³³, это безусловно было шагом вперед. Но увы, опять-таки шагом, который вел лишь к очередным парадоксам. В самом деле, абсолютизм в докладе Черепнина трактуется — во всяком случае в начальном своем периоде — как безусловно прогрессивная форма русского политического строительства. Но как же, спрашивается, назвать тогда социальную акцию, на полувековой срок (!) задержавшую торжество прогресса? Не регрессивной ли? Не реакционной?

Этого Л. Черепнин, конечно, не делает, ибо крестьянской войне он сочувствует еще больше, чем абсолютизму. Но ведь сочувствие не снимает логического противоречия!

И дальше — больше. Признавая, что «попытки утвердить абсолютизм, связанные с политикой Ивана

Грозного и выразившиеся в учреждении опричнины, вылились в открытую крепостническую диктатуру, приняли самые уродливые формы деспотизма», на следующей странице Черепнин как ни в чём не бывало утверждает, что «ослабив боярскую аристократию и подкрепив государственную централизацию, опричнина в известной мере расчистила путь абсолютизму»³⁴. Иначе говоря, кровавое воцарение крепостничества сослужило-таки свою службу прогрессу!

А в «Истории СССР», официально утвержденной в 1966 г. в качестве учебника для педагогических вузов, уже простодушно черным по белому написано, что «поскольку опричнина была направлена против знати, она носила прогрессивный характер...»³⁵.

Так мыслима ли вообще концепция, в рамках которой существовали бы столь откровенно непримиренные логические коллизии? Конечно, немислимо. И стало быть, никакой такой концепции русского политического развития историческая наука наша попросту не имеет. И если мы припомним теперь, что в ней отсутствует даже определение «политического прогресса», то поймем, что и не может у нее быть такой концепции. Нечем ей исследовать политическую историю: нет у нее для этого ни методологических предпосылок, ни рабочих гипотез, ни технического инструментария, позволяющего исследовать общественную систему как целое. Ведь ясно же, что если изменился в системе сам тип отношений, то одним политическим сектором изменение это ограничиться не может. Вот почему поражение боярства или буржуазии в секторе политическом предрекало закрепощение крестьянства в секторе социальном. Холопами с воцарением автократии должны были стать не только бояре, или буржуа, или партийные функционеры, или, увы, историки, но и народ в целом. Ибо автократия, как всякая система, требует однородности, предполагает рабство тотальное.

14. Парадокс Покровского

Затронув вопрос о социально-экономическом значении опричнины, мы переходим тем самым к последней, третьей эпохе Иванианы, обнимающей уже, собственно, наше время — XX век.

Если осью первой ее эпохи была личность Грозного, осью второй — политическое значение его деятельности, то главной темой третьей, конечно же, стало ее социально-экономическое содержание, ибо опричнина представляла, оказывается, — при всех своих зверствах — неукротимый экономический прогресс, замечательный «аграрный переворот», как говорил М. Н. Покровский.

А прогресс — он что ж, он, согласно знаменитой марксовой метафоре, подобен языческому идолу, который не желал пить нектар иначе, как из черепов убитых. Прогресс связан с нравственными издержками, лес рубят — щепки летят и т. д. и т. п. В тот самый момент, когда, казалось, ничто уже не могло спасти политическую репутацию царя Ивана после сурового приговора Ключевского, деятельность его вдруг обрела рациональную подкладку, и вновь он — в который уже раз! — подвергся реабилитации...

Но и у этой, казалось бы, гранитно-неуязвимой экономической теории опричнины обнаружились свои проблемы. Требовалось доказать, во-первых, что именно боярское вотчинное землевладение, которое сокрушал Грозный, стало в XVI в. реакционным бастионом на пути экономического прогресса, а во-вторых, что именно дворянское, поместное землевладение, которое насаждал Грозный, искомому прогрессу как раз и отвечало. Доказывать это и взялся Покровский.

«Два условия вели, — писал он, — к быстрой ликвидации тогдашних московских латифундий. Во-первых, их владельцы редко обладали способностью

и охотой по-новому организовать свое хозяйство... Во-вторых, феодальная знатность «обязывала» и в те времена, как позже: большой боярин... должен был по традиции держать обширный «двор», массу тунеядной челяди и дружину... Пока всё это жило на даровых крестьянских хлебах, боярин мог не замечать экономической тяжести своего официального престижа. Но когда многое пришлось покупать на деньги, — деньги, все падавшие в цене год от года по мере развития московского хозяйства, — он стал тяжким бременем на плечах крупного землевладельца... Мелкий вассалитет был в этом случае в гораздо более выгодном положении: он не только не тратил денег на свою службу, он еще сам получал за нее деньги... Если прибавить к этому, что маленькое имение было гораздо легче организовать, чем большое... что мелкому хозяину легко было лично учсть работу своих барщинных крестьян и холопов, а крупный должен был это делать через приказчика... то мы увидим, что в начинавшейся борьбе крупного и среднего землевладения экономически все выгоды были на стороне последнего», и, стало быть, «экспроприируя богатого боярина-вотчинника, опричина шла по пути естественного экономического развития»³⁶.

Эта огромная цитата необычайно удобна тем, что в ней получаем мы разом оба доказательства — и реакционности боярского и прогрессивности дворянского землевладения. Правда, «экономический характер» обоих внушает нам, признаться, некоторые сомнения. Ибо, касаясь главным образом «тяжести официального престижа» и «неохоты по-новому организовать хозяйство», мы остаемся пока все-таки в сфере скорее социально-психологической. Единственным экономическим соображением выглядит здесь обесценение денег и, стало быть, рост хлебных цен. Однако именно эта «революция цен» была вовсе не специально-русским, а общеевропейским явлением.

Но если так, то отчего же связанный с этим явлением прогрессивный «аграрный переворот» в пользу «мелкого вассалитета» оказывается успешным лишь в России и Восточной Европе и нигде на Западе распространения не получает? Разве западные сеньоры испытывали большую, нежели московские бояре, «охоту» по-новому организовать свое хозяйство? Или, может, «феодалная знатность» их менее обязывала, и потому им легче было выносить «экономическую тяжесть своего официального престижа»?

Увы, на эти вопросы у экономической концепции опричнины нет ответа. А ведь есть еще и другие...

Если победа «мелкого вассалитета» и впрямь была воплощением прогресса, то, очевидно, именно Москва, показавшая образец этой победы, должна была получить решительное преимущество над странами Запада, не допустившими у себя такого прогрессивного процесса. Запад неминуемо должен был отстать в историческом соревновании, а лидером мирового прогресса предназначена была стать Москва Грозного...

Между тем, сам Покровский уже в следующей главе своей работы приходит к более чем странным для апологета поместного землевладения выводам. Именуя его по-прежнему «экономически прогрессивным типом», утверждая, что «его победа должна была означать крупный хозяйственный успех», Покровский, тем не менее, вдруг растерянно признается, что «на деле мы видим совсем иное. Натуральные повинности, кристаллизовавшиеся в сложное целое, известное нам под именем «крепостного права», снова появляются в центре сцены и держатся на этот раз цепко и надолго... Во имя экономического прогресса раздавив феодального вотчинника, помещик очень быстро сам становится экономически отсталым типом: вот каким парадоксом заканчивается история русского народного хозяйства эпохи Грозного»³⁷.

В точности так же, как двести лет назад признавался патриарх русской историографии М. М. Щерба-тов, что Иоанн ему «не единым человеком представляется», так и Покровский откровенно признался, что Иоаннова опора и орудие — помещик — ему «не единым типом представляется». Тип, поначалу казавшийся «экономически прогрессивным», вдруг оказался на поверку типом «экономически реакционным»!

Этим парадоксом и могла бы закончиться попытка «экономической реабилитации» Грозного, если бы... если бы стремление доказать экономическую прогрессивность опричнины не стало делом чести для советской историографии. Если бы не занялась этим практически вся советская наука, вырастившая целую «аграрную школу», — по словам Н. Е. Носова, «именно такая точка зрения проводится в трудах Б. Д. Грекова, И. И. Полосина, И. И. Смирнова, А. А. Зимина, Р. Г. Скрынникова, Ю. Г. Алексеева и до сего времени является, пожалуй, наиболее распространенной»³⁸.

Естественно, что странный «парадокс», обнаруженный Покровским, мог заставить историка признаться лишь в собственном банкротстве, но не в банкротстве исповедуемого им вероучения. Не поверить постулатам марксизма он не посмел, возложив все надежды на то, что его «последователи в деле применения материалистического метода к данным русского прошлого будут счастливее». Таково было завещание патриарха марксистской историографии, таков был генеральный вопрос, поставленный им перед последователями.

Последователи, как известно, первым делом бес-трепетно пожертвовали им самим — вместе с его парадоксами и сомнениями. Но ведь это, согласитесь, еще не было ответом на поставленный им вопрос. Ответ содержится в классической работе акад. Б. Гре-

кова «Крестьяне на Руси». Посмотрим же, как разрешен в ней парадокс Покровского.

«По мере разрастания хозяйственной разрухи 70-80-х гг., — пишет Греков, — количество крестьянских переходов росло... служилая масса не смогла оставаться спокойной. Не могла молчать и власть помещичьего государства. Радикальное и немедленное разрешение крестьянского вопроса (так деликатно именует Греков введение крепостного права. — А. Я.) сделалось неизбежным... отмена Юрьева дня сделана была в интересах этой прослойки землевладельцев»³⁹.

Но, позвольте, ведь это же и Покровский говорил! Разве в том вопрос, в чьих интересах было введение крепостничества? Ясно, что не в интересах крестьян и не в интересах бояр, которые в насильственном закреплении крестьянства не нуждались. Вопрос в том, каким же все-таки образом «прогрессивное дворянство» явилось вдруг носителем реакции? Вот на что следовало отвечать. И вот на что нет ответа в классическом труде Грекова.

Нет ответа, но есть уход от вопроса.

И вследствие этого воцарение на Руси крепостничества представало процессом мрачным, но фатальным. Его загадочность и парадоксальность, провозглашенная Покровским, заменилась у Грекова роковой неотвратимостью. Еще бы! Конечно же, «власть помещичьего государства» «по мере разрастания хозяйственной разрухи» «не могла молчать». Вот как всё, оказывается, просто. И никаких парадоксов!

Но во-первых, кто ответит нам на вопрос, откуда взялась вдруг эта всеопределяющая «хозяйственная разруха», следствием чего была она? И с каких это пор московское боярское государство стало вдруг «помещичьим»? И почему оно таким стало? Во-вторых, можно ведь взглянуть на дело и иначе, можно спросить: а если бы «разрухи» не было, то крепостного права могло на Руси и не быть? Казалось бы, эле-

ментарные, сами собою напрашивающиеся вопросы. Но дебатам они не подлежат. Никем они не поставлены.

На самом деле ровно ничего фатального в торжестве крепостного права на Руси не было. Достаточно вспомнить, что экономический процесс в России XVI века был, как и политический ее процесс, противоречив, что он заключал в себе не одну сакральную «необходимость», а по меньшей мере две в равной степени объективные и альтернативные «необходимости», чтобы из факта торжества крепостничества улетучилась всякая тень парадоксальности, а заодно и мрачного фатализма, которыми поочередно вооружались для его объяснения историки-марксисты.

Какой же в самом деле парадокс в том, что в недрах народного хозяйства страны боролись два типа экономического развития, которым соответствовали и два типа социальной дифференциации: вызревавшая на землях черносошного Севера и под защитой боярско-вотчинного землевладения в центре страны крестьянская дифференциация, обещавшая — при условии элементарных гарантий личного и имущественного статуса граждан — обыкновенный абсолютистский прогресс; и зародившаяся с конца XV века в недрах «верхнего класса» дифференциация феодальная, обещавшая в случае торжества дворянско-помещичьей фракции феодальную реакцию и крепостническую автократию?

И ничего нет парадоксального в том, что решающий выбор экономической стратегии оказался в руках государства, что путь, по которому пойдет страна, определился тем, на чью чашу весов положит свою гирию политик. Ведь вся суть дела, ускользнувшая и от Покровского и от Грекова, в том, что экономика вовсе не мистический фетиш, однозначно диктующий политике свою программу, но всего лишь аморфный и противоречивый ее материал. В том, что сама по

себе экономика ничего не творит и никуда не ведет. Творит и ведет она посредством людей, облеченных властью выбирать одни и отвергать другие предложенные ею программы.

Другой вопрос, отчего это люди, облеченные такой властью в Москве XVI в., выбрали не программу крестьянской дифференциации, но программу феодальной реакции, не абсолютизм, но автократию. Ответ на него не может быть заключен лишь в анализе русских экономических процессов. Он — и в анализе общеевропейской политической ситуации XVI в. И в исследовании причин, по которым совпали политико-идеологические устремления русской власти и социальные устремления русского дворянства. И в изучении сравнительной силы конкурирующих политических традиций. И в анализе того, что я назвал «комплексом Грозного» в русском общественном сознании, т. е. феномена русской политической культуры в целом. Коротче говоря, ответ на него заключен в анализе, которым и занялась бы историческая наука, будь она действительно живой наукой, а не служанкой богословия.

Ведь чем по сути было боярско-вотчинное землевладение? Это была частная собственность, во внутренние дела которой государство вмешиваться не могло. Именно поэтому и служила она реальным экономическим ограничением власти. Важно понять, что, именно пытаясь заменить безусловную боярскую собственность условным помещичьим владением, Грозный и устанавливал на деле экономическую диктатуру государства. Вот почему помещик не превратился в «экономически-реакционный тип», как предположил Покровский, а с самого начала был им, вот почему он был лишь орудием автократической революции, предпринятой для сокрушения экономических ограничений власти.

Иначе говоря, вовсе не против боярина направлена была опричнина Грозного, а против крестьянской диф-

ференциации. Опричнина была автократической революцией и феодальной реакцией. В экономическом смысле не менее, чем в политическом.

15. Опричная централизация

Еще цитируя И. Смирнова или Л. Черепнина, мы без конца натывались на одного из самых громоздких китов, на которых держится парадоксальная хаотическая вселенная Иванианы, на канонизированную в советской историографии категорию «централизованного русского государства». И это были не просто наименования глав в учебниках и монографиях, это — некое табу, заклинание духов, перед которым должны рассыпаться в прах любые аргументы неверующих, которым можно научно оправдать массовые убийства и политические процессы, первый русский ГУЛаг и Ливонскую авантюру — все омерзительные подвиги Грозного-царя. «Опричнина создала централизованное государство», «опричнина была школой централизации» — вот они, победные трубы, перед которыми вновь и вновь падают стены любых логических Иерихонов.

Испытаем, однако, содержательность этой формулы. Я не стану уже говорить о том, что она не содержит никакой — ни социальной, ни политической характеристики государства, ибо централизованным может быть и феодальное государство, и буржуазное, и автократическое, и абсолютистское, и деспотия и демократия. Но привычная в устах историков-марксистов бессодержательная абстрактность священной формулы — это еще полбеда. Беда в том, что для России XVI в., к которой они ее применяют, для России Грозного и Избранной Рады, она просто неверна.

Неверна, ибо централизация страны — в той мере, в какой она вообще в феодальной стране возможна, и в том смысле, в котором употребляют эту фор-

мулу наши историки, имея в виду управление всеми ее регионами из единого центра, — завершена была уже в XV в. И издание Судебника 1497 г., означавшее правовую унификацию страны, властно установившее единые нормы социального поведения и хозяйственного функционирования на всей ее территории, было заключительным аккордом этой централизации. Напротив, Россия XVI в. была — в этом средневековом смысле — несопоставимо более централизована, нежели современные ее европейские соседи.

Два столетия интригами и лестью, угрозами и насилием «собирали» московские князья, так же, как французские Капетинги, свою северо-восточную Русь по кусочку, покуда воля их не стала законом для нее из края в край, покуда не смогли они из Кремля указывать, как судить, как ведать и жить в Новгороде, в Твери ли, в Рязани. Отныне никто — ни в стране, ни за ее пределами — не смел усомниться в монопольном праве московского самодержца володеть и княжить на всем пространстве от Белого моря до Путивля, творить здесь законы, назначать и смещать областных сатрапов, казнить и миловать подданных. Управляющий центр системы был создан. И периферия признала его центром. Единство воли и единство программы стали политическим фактом в Московской державе. Какой же еще надобно вам централизации? Нет, после Ивана III это была уже полностью решенная задача.

Не решенной досталась XVI веку совсем другая, принципиально отличная от «собирательства» и воссоединения страны задача — интеграция нового государства. Сращивание его разрозненных, на живую нитку схваченных кусков. Превращение его единства внешнего; административного в единство внутреннее, морально-политическое и хозяйственное, в единство культурное.

Экономическим аспектом этой интеграции было

формирование единого общерусского внутреннего рынка. Моральным — формирование национального сознания. И, наконец, политическим — формирование единых правовых и культурных гарантий личной и имущественной безопасности граждан, которое и было, собственно, основным условием успешного развития державы.

Другое дело, что интеграция эта могла быть абсолютистская или автократическая, могла исходить из начал, заданных в государственной программе Ивана III, или из противоположных начал, заданных в программе Ивана IV. Ведь нельзя забыть, что это было именно начало, что культурные нормы только формировались, что опричная буря захватила и заморозила их в самой ранней поре, в самом нежном цветении, когда они еще не могли ей сопротивляться.

И как только избавимся мы от гипноза священной формулы, как только отдадим себе отчет в действительном содержании той интеграционной задачи, которая стояла перед русским правительством XVI в., мы сразу обречем почву и для принципиальной оценки деятельности Грозного. Сразу поймем, что, насильственно разорвав страну на части, доведя ее до запустения и экономической разлуки, уничтожив все ограничения произвола, легализовав государственный беспорядок в качестве порядка, натравливая Москву на Тверь и Новгород, дворян на бояр, «чернь» на «породу», Опричнину на Земщину, Грозный не интегрировал государство, а дезинтегрировал его.

Централизовал страну — где кнутом, а где лаской и компромиссом — блестящий мастер политической интриги Иван III. Интегрировала государство Избранная рада, продолжавшая в «голубой» период царствования Грозного абсолютистскую традицию его великого деда, традицию умелого и тонкого политического маневрирования и междуклассового компромисса. А Грозный сделал всё, что мог, чтобы погу-

бить труды своих абсолютистских предшественников. И если не распалась страна после него на куски, то доказывает это лишь, что дело централизации сработано было к XVI в. так прочно, что даже державному палачу и его опричникам не удалось его доломать. Мечась и неистовствуя, слепо и яростно разоряя абсолютистскую традицию, он просто паразитировал на прочности этой централизации. На том, что, даже ввергнув страну в многолетнюю смуту и заставив ее заново испытать все прелести иноземного нашествия, разрушить ее окончательно оказалось невозможно.

Деморализацию сеял он, а не централизацию. Ужас перед государством, а не сочувствие национальной идее. Страх, а не привязанность к власти.

Но в этой временной дезинтеграции страны, в этом кратком ренессансе татарщины было еще полбеды. Настоящая беда состояла в том, что, взорвав старый культурно-политический фундамент общества, Грозный заложил на его место другой — опричный. Не забудем, что средневековое право творилось не столько законодательством, сколько прецедентом, что из суммы прецедентов складывалась культурная традиция, которая западала в народное сознание глубже любого закона и которую нельзя было отменить никаким административным распоряжением. Особенно, если замешана она была на массовом терроре и настояна на тотальном ужасе, ставшем судьбою целого поколения. Так создавалась необратимость автократии. Так покинула Россия столбовую дорожку европейско-абсолютистской интеграции и свернула на проселок интеграции автократической.

16. Триумф апологии

Главное политическое изобретение Грозного заключалось в том, что он обрел в опричнине ключ, дававший Управлению возможность преследовать свои,

автономные от Системы и ее социальных элементов стратегические цели. Опричина была идеей дивергенции целей в общественной системе. Идеей, которая на глазах у изумленной публики превратилась в материальную силу. Мне кажется, что, будь наши специалисты внимательнее к политической теории, они могли бы обнаружить концепцию деятельности Грозного еще в «Политике» Аристотеля. В самом деле, разрабатывая классификацию «правильных» и «неправильных» политических форм, Аристотель трактовал, например, тиранию как «отклонение царской власти»: «тирания... та же монархическая власть, но имеющая в виду интересы одного правителя»⁴⁰. Больше того, вся аристотелевская теория «отклонений» и есть по сути теория дивергенции целей Управления и Системы. На своем языке и в своих терминах Аристотель говорит: существуют политические структуры, адекватные целям отдельных социальных сил и, что для нас особенно важно, автономным целям управления. Автократия, созданная Грозным, по всем статьям соответствовала аристотелевской тирании.

Внешне она походила на абсолютизм — «та же монархическая власть». По сути же устроена была так, чтобы преследовать не интересы общества и даже не интересы его «верхнего» класса, но «интересы одного правителя». Это вовсе не противоречит ее способности в разных ситуациях утилизировать те или иные группы социальных интересов и даже балансировать между разными их группами, вступая во временные союзы с той или иной фракцией «верхнего класса». Важно не то, с какими именно фракциями входила автократия во временные политические коалиции, важно то, кому принадлежало в них реальное право выбора политической стратегии, кто на деле определял глобальную программу страны. Ибо управление, как хорошо знают кибернетики, и есть по сути выбор программы.

Если Абсолютист, громко декларируя, что Государство — это Он, осуществлял при всем том программу правящего класса, то Автократор, заявляя, что он отец родной своему народу, осуществляет, тем не менее, свою собственную программу: социальная демагогия — хлеб автократии.

Лишь в периоды, когда очередной Звездный час автократии, доведя страну до пропасти, сменялся очередным Псевдоабсолютистским прозябанием, как, например, после Грозного, Петра I или Сталина, социальная база власти расширялась. Тогда она пыталась опереться на устойчивые интересы той или иной «охранительной» фракции социальной элиты, порою даже попадала под контроль этой фракции, беспомощно барахтаясь в болоте беспрограммности, не будучи в силах выдвинуть никакой самостоятельной стратегии, что, в свою очередь, с роковой неизбежностью вело к новому автократическому взрыву, к новому Звездному ее часу. Так выглядела запрограммированная Грозным на целые столетия основная схема русской политической истории, которой, благодаря культурной революции опричнины, обеспечено было долгое и устойчивое существование.

Ни «государственная» апология XIX в., ни преобладавшая в первые три десятилетия XX в. «экономическая» апология — не могли в силу своих концептуальных установок зафиксировать адекватное понимание этого начального, стартового момента грядущей многовековой опричнины. 40-е годы нашего века были пиком очередного Звездного часа автократии, были новой опричниной. И закономерно, что именно тогда и случилось самое худшее: под видом развенчания школы Покровского произошло фактически слияние «государственной» и «экономической» апологии Грозного. Сам Тиран, интуитивно чувствуя истоки своего происхождения, всем своим подавляющим авторитетом утвердил незыблемость новой апологии

и неприкосновенность фигуры своего прародителя.

Последнее документально зафиксировано в «Записках» Н. К. Черкасова, исполнявшего роль Ивана IV в фильме Эйзенштейна. Аутентичность записок бесспорна: они готовились к печати при жизни Сталина. И сказано в них буквально следующее: «Говоря о государственной деятельности Грозного, тов. И. В. Сталин заметил, что Иван IV был великим и мудрым правителем, который оградил страну от проникновения иностранного влияния и стремился объединить Россию. В частности, говоря о прогрессивной деятельности Грозного, тов. И. В. Сталин подчеркнул, что Иван IV впервые ввел в России монополию внешней торговли, добавив, что после него это сделал только Ленин. Иосиф Виссарионович отметил также прогрессивную роль опричнины... Коснувшись ошибок Ивана Грозного, Иосиф Виссарионович отметил, что одна из его ошибок состояла в том, что он не сумел ликвидировать пять оставшихся крупных феодальных семейств... если бы он это сделал, то на Руси не было бы Смутного времени»⁴¹.

Согласитесь, что для политического историка России записки простодушного актера — документ бесценный. Как мы уже знаем, Петр I тоже был апологетом Грозного. Стало быть, могучее тираническое родство душ российских автократов можно считать доказанным. Далее, никто еще не говорил так откровенно о прямой связи Опричнины и ЧКГБ и о цели, которую ставили себе эти аналогичные учреждения: Смутное время на Руси может быть предупреждено, если успеть дорезать всех «врагов народа»! Значит, главное в том, чтобы успеть! Чтобы дорезать всех! Задача предотвратить новое Смутное время — тяжелая задача. И нет у нее конца. Ибо всегда остаются еще какие-нибудь «пять семейств», которые должны быть дорезаны во имя грядущего благополучия России...

Зачем тирану резать крамольников — само собою понятно. Но как понять писателей? Как понять историков? Им-то зачем понадобилось оправдывать эту политическую уголовщину, эту резню, даже если никто их к тому не обязывал? Откуда у них это влечение — род недуга к самым омерзительным проявлениям деспотизма? Ну и писали бы себе о Владимире-Красное Солнышко, коли так уж непреодолимо потянуло на русскую историю. Так нет, именно о Грозном писали они! Именно на могилах его «посмертно реабилитированных» жертв плясали. Именно его опричникам славали вдохновенные оды.

Когда Алексей Константинович Толстой готовил сто лет назад к печати своего «Князя Серебряного», он писал в предисловии: «Автор сознается, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук, и он бросал перо в негодовании, не столько от мысли, что мог существовать Иван IV, сколько от той, что могло существовать общество, которое смотрело на него без негодования»⁴².

Когда писал в наши дни свою пьесу о Грозном Алексей Николаевич Толстой, о негодовании речи не было. Было почтение и бескорыстный холопский восторг.

Ну, допустим, что писателя обманула его капризная муза. Послушаем историка, профессионала, автора учебников, который отлично знает, что именно «дворяне хотели иметь на престоле сильного царя, способного удовлетворить нужду служилого класса в... крепостном труде» и, наоборот, «бояре были заинтересованы в том, чтобы обезопасить от царского произвола свою жизнь и имущество».

Так что уж, спрашивается, такого дурного в том, чтобы «обезопасить свою жизнь и имущество от царского произвола»? Почему столь естественное человеческое желание заслуживает безоговорочного осуждения как реакционное? Почему так близко к сердцу при-

нимает автор заинтересованность служилого класса в «крепостном труде» и «сильной царской власти»? Чем так любезен ему «царский произвол», что готов он оправдать его, объявляя террор «неизбежным в данных исторических условиях»? Откуда такое странное извращение нормальных человеческих понятий? Такое презрение к ценности человеческой жизни? Такая атрофия нравственного чувства?

Вот тут и подходим мы к прямому вопросу: что же, наконец, такое, этот комплекс Грозного. Это — вера. Языческая вера в Идола Власти, который всё знает, всё видит, всё ведаёт, всех любит. Железом и кровью вкоренено было в народное подсознание, что Власть не только всемогуща, но и всегда права в этом жестоком своем всемогуществе. Что она не только руководитель общества — руководитель может и ошибаться — нет, она еще и пастырь своему народу, и мать ему родная, и строгий учитель его, и его вдохновенный пророк. И человек неправ, протестуя и сопротивляясь Ей, уже потому, что он всего лишь человек, а Она — Бог. Потому что она лучше знает, что нравственно и что безнравственно в греховном и суетном нашем мире.

Нет, языческая эта вера существовала и до Грозного — не проходят даром столетия варварского ига — но только он сделал ее доминирующей в национальном сознании. Его культурная революция, разрушив конкурирующие институты, политические стандарты и моральные нормы, вознесла — на черном пепелище — этого Идола высоко, до небес.

Не спрашивайте сегодняшнего опричника, почему надо насиловать вашу мысль и увечить вашу жизнь. Ему приказано. Приказано свыше. Приказано четыреста лет назад. И он еще досознательно, инстинктивно, рефлекторно верит в моральную правоту этого приказа. Ибо Власти дано высшее, недостижимое для смертных знание. Ибо нравственная правота всегда — за-

ранее, до суда и следствия, — на Ее стороне. И не жалким «людишкам», не холопам ее и приказным оспаривать эту божественную правоту. Нет перед нею ничего святого — ни семьи, ни мысли, ни жизни, ни слез.

Это национальное страдание все мы несем в душе — и пора в нем признаться хотя бы самим себе. Ибо нет другого способа излечиться от этой болезни в стране, где мертвые хватают живых, кроме как честно и открыто исследовать ее симптомы и происхождение.

...Но речь сейчас о другом. О том, что никто иной, как историки — независимо даже от того, веровали они в Христа или нет, — оказались духовными пленниками другой веры. Оказались мощными проповедниками языческого «комплекса Грозного». Это они благословили террор. Это они провозгласили: что хорошо для Власти, то хорошо и для общества. Это они лгали — во имя высшей истины, во имя языческой веры своей, разумеется. И тем самым отрезали себе самую возможность увидеть, что реальная стратегия Грозного, прикрываясь интересами «государства», на самом деле направлена была против государства, что привела она страну лишь на край конечной гибели, к той самой великой «хозяйственной разрухе», которой потом Греков так успешно оправдывал введение на Руси крепостничества. Поистине, надо было быть вконец ослепленным и оскопленным, лишиться всякого подобия человечности, чтобы создать такую, например, оду Грозному, где что ни слово, то ложь, как сделал это, навеки обессмертив свое имя, Бахрушин. Слушайте: «Нам нет нужды идеализировать Ивана Грозного... его дела говорят сами за себя (!) Он создал сильное и мощное (!) феодальное государство... Его реформы, обеспечившие порядок внутри страны (?) и оборону от внешних врагов (?), встретили горячую поддержку русского народа (!). Таким образом, в лице Грозного мы имеем не «ангела добродетели» и не загадочного злодея мелодрамы, а крупного государст-

венного деятеля своей эпохи, верно понимавшего интересы и нужды своего народа (!) и боровшегося за их удовлетворение (!)».

Забыта уже сентиментальная клятва Соловьева: «Не произнесет историк слова оправдания такому человеку». Человек этот был оправдан.

Забыт ужас А. К. Толстого перед тем, что «могло существовать общество, которое смотрело на него без негодования». Общество такое существует...

17. Бунт Дубровского

Согласитесь, что он был неизбежен, этот бунт. И тем более неизбежен в 1956 г. Но напрасно взывал бунтовщик к тому, что «Ивана IV необходимо рассматривать... как царя помещиков-крепостников», что «личность Ивана IV заслонила народ, заслонила эпоху. Народу позволено выступать на историческую сцену лишь для того, чтобы проявить «любовь» к Ивану IV и восхвалять его деятельность»⁴³.

Напрасно взывал проф. С. Дубровский, потому что против него была целое столетие вызревавшая концепция Иванианы, которая закалилась в борьбе и не с такими одинокими рыцарями, научилась за столько лет оправдывать неоправдываемое. Концепция, которую нельзя было одолеть одной апелляцией к очевидным фактам. Которой надо было противопоставить не только другую, альтернативную концепцию, но и другую культурную традицию, идущую от Курбского и Крижанича, от Радищева и Лунина, от Аксакова и Ключевского, но — в отличие от них — способную непротиворечиво объяснить начальную стартовую точку многовековой трагедии России.

Не было в распоряжении Дубровского такой концепции. Не было методологического аппарата, отличного от того, с которым работали его оппоненты. И это ему тотчас продемонстрировал И. И. Смирнов.

Чем он ему отвечал? Тем, что ликвидация феодальной раздробленности, централизация страны была в эпоху Грозного актуальной государственной необходимостью. Согласен с этим Дубровский? Согласен.

Являлся ли абсолютизм закономерным этапом в истории феодального общества и играл ли он прогрессивную роль централизующего государственного начала (см. Сочинения Маркса и Энгельса, т. 10, стр. 721, т. 16, ч. I, стр. 445)? Согласен с этим Дубровский? Никуда не денешься!

Знакома ли была в средневековье всем европейским странам «страшная кровавая борьба» (см. Войну роз, Варфоломеевскую ночь и т. п.)? Согласен с этим Дубровский? Еще бы!

А между тем из всего этого, как дважды два четыре, следовало, что опричнина была закономерной формой борьбы абсолютизма за централизацию страны против феодальных вожделений реакционных бояр.

И все, ловушка захлопнулась. Карательная экспедиция очередного научного опричника против очередного Новгорода завершилась. Бунт был усмирен.

А что до «жестокой формы», до закрепощения крестьян и ужасов террора, то это — что же поделаешь — необходимая плата за прогресс, за светлое будущее...

Даром, что светлое будущее, за которое заплачено было столь непомерной ценою, оказалось непроглядной крепостнической тьмой. Даром, что вожделенный прогресс обернулся вековой хронической отсталостью. Даром, что создала прогрессивная опричнина холопскую культурную традицию, жертвой которой пал на наших глазах сам Смирнов, увы, вместе со своим оппонентом.

Ибо Дубровскому-то возразить ему было нечего. Ибо он и сам вышел из той же «государственной» школы, сам вырос в традиционном презрении к «реакционности боярства», сам считал крепостническую

автократию неизбежной и закономерной доминантой русской истории.

Конечно, это не умаляет его заслуги. Напротив, я отдаю ему дань восхищения. Ведь несокрушимый, казалось, лед апологии все-таки тронулся. И если 8 лет спустя А. А. Зимин мог написать, что «в работах ряда историков давался идиллический образ царя Ивана IV и приукрашенное представление об опричнине... забывая о тех неисчислимых бедствиях, которые принесло народу распространение крепостничества в XVI в.»⁴⁴, то и в этом есть, конечно, заслуга Дубровского.

Но при более внимательном рассмотрении дела нетрудно убедиться, что оппоненты отступили лишь на заранее заготовленные позиции. Причем, заготовленные давно, в сущности, еще Соловьевым. И хотя в комментарии к VI тому «Истории России» и признавалось глухо, что «в отдельных случаях имелась тенденция затушевывать жестокость мероприятий, проводившихся Грозным», то о причинах этой странной, чтоб не сказать чудовищной, тенденции «затушевывать жестокость мероприятий» не было, увы, обронено ни слова. Отрекшись от Ивана как от человека, авторы комментария реабилитировали его как царя, продолжая угрюмо твердить, что «как бы ни были велики те действительные жестокости, с которыми Иван IV осуществлял свою политику, они не могут закрыть того обстоятельства, что борьба против боярско-княжеской знати была исторически обусловленной, неизбежной и прогрессивной»⁴⁵.

Невелика, как видите, была брешь, пробитая в гранитной позиции апологетов страстным протестом Дубровского. Недалеко отступили его оппоненты.

18. Атаки 60-х годов

Что, казалось бы, могло быть радикальнее статьи А. А. Зимина «О политических предпосылках возник-

новения русского абсолютизма», где он один за другим громит все фундаментальные постулаты канонической концепции? Решительно ревизует он, например, основной тезис экономической апологии опричнины, утверждая, что «противопоставление бояр-вотчинников» дворянам-помещикам просто неосновательно». Отрицает он и самое существование «реакционной боярской идеологии», реабилитируя самого даже Курбского: «...теперь уже невозможно указать ни одного русского мыслителя XVI в., взгляды которого могут быть расценены как реакционно-боярские». Больше того, бесстрашно посягнул Зимин на святая святых мифа, на постулат о феодальном боярстве, боровшемся против священной «централизации». «Речь может идти, — заявляет он, — лишь о борьбе за различные пути централизации государства». «Словом, — провозглашает Зимин, — настало время коренного переосмысления вопросов политической истории России XVI в.».

Что ж, начало ревизии, казалось, положено. Тем более, что хотя «вельможная знать не склонна была поступиться своими огромными латифундиями в пользу малоземельной служилой мелкоты», но зато она и «не стремилась к скорейшей ликвидации крестьянского выхода». Отсюда, согласитесь, уже всего один шаг и до признания прогрессивности этой «вельможной знати», собственно спиной защищавшей крестьянскую дифференциацию от крепостнической агрессивности «служилой мелкоты».

И шаг был действительно сделан. Но в обратную сторону: «Потребность дальнейшего наступления на феодальную власть была очевидна...» Что за напасть такая? Из чего она, помилуйте, была очевидна, эта потребность?

Оказывается, что «основным тормозом социально-экономического и политического прогресса России конца XV-XVI вв. было не боярство, а реальные наследни-

ки периода феодальной раздробленности — последние уделы и земли, сохранившие «черты прежней автономии». Отсюда, естественно, не пресловутое столкновение дворянства с боярством, а борьба с пережитками раздробленности составляет основу политической истории того времени»⁴⁶.

Ну что ж, вот мы и приехали. Опять опричнина обрела у нас смысл «завершающего удара» по «последним оплотам удельной раздробленности». Опять встала из гроба подрумяненная «централизаторская» концепция. Опять торжествует «государственный» миф. И конечно же, нет ничего удивительного, что сокрушительной критике подверг концепцию Зимина Р. Г. Скрынников, диссертация которого камня на камне не оставляет от новой «удельной» ревизии мифа.

Более того, исследование Скрынникова и впрямь много нового вносит в понимание самого механизма опричнины. «В обстановке массового террора, всеобщего страха и доносов аппарат насилия, созданный в опричнине, приобрел совершенно непомерное влияние на политическую структуру руководства. В конце концов адская машина террора ускользнула из-под контроля ее творцов. Последними жертвами опричнины оказались все те, кто стоял у ее колыбели».

Если добавить к этому наблюдению и еще два важных тезиса автора о том, что, во-первых, опричнина предопределила «окончательное торжество крепостного права», и, во-вторых, «опричные погромы, кровавая неразбериха террора внесли глубокую деморализацию в общественную жизнь страны», то мы, кажется, могли бы ожидать уже и соответствующих логических выводов. И квалификации опричнины как торжества феодальной реакции.

Не тут-то было! Суждено нам пережить еще одно драматическое разочарование: синтез не только не будет соответствовать тезису, он будет ему противо-

речить. Окажется, что «опричный террор, ограничение компетенции боярской думы... бесспорно способствовали... укреплению централизованной монархии»⁴⁷ и, стало быть, раз уж произнесена священная формула «централизованная монархия», были прогрессивны!

Король умер, да здравствует король! Новая ипостась мифа, выдвинутая Зиминим, ниспровергнута... ради торжества старой.

19. Предпосылки оптимизма

И все-таки, если взглянуть на ход дел в Иваниане в 60-е годы, то внушает он, пожалуй, скорее надежды, нежели разочарование. Все-таки неотвратимо размывается фундамент «государственного» мифа. Пусть не дала результатов радикальная его ревизия, предпринятая Зиминим. Но она ведь и сама по себе — зловеший для него признак. И слишком очевидно у Скрынникова противоречие между посылками и выводами. Критическая, разрушительная сила обоих исследований не может пройти бесследно. Обоим ведь, в сущности, не хватало только малости, только позитивной альтернативы опрличнине.

Но и позитивная альтернатива начинает ведь уже вырисовываться в исследованиях историков. Назову и процитирую хотя бы три важнейших вывода — и читателю, надеюсь, станет ясно, что и в самом деле бьет двенадцатый час диктатуры «государственного» мифа в Иваниане.

Вот вывод С. М. Каштанова (1963): «... рассматривая опрличнину в социальном аспекте, мы убеждаемся, что главное в ней — ее классовая направленность, которая состояла в проведении мероприятий, содействовавших дальнейшему закреплению крестьян. В этом смысле опрличнина была, конечно, в большей степени антикрестьянской, чем антибоярской политикой»⁴⁸.

Вот вывод С. О. Шмидта (1968): «Сегодня становится все более ясным, что политика Избранной рады в гораздо большей степени способствовала дальнейшей централизации государства и развитию в направлении к абсолютизму европейского типа, чем политика опричнины, облегчившая торжество абсолютизма, пропитанного азиатским варварством»⁴⁹.

И наконец вывод Н. Е. Носова (1969): «Именно тогда решался вопрос, по какому пути пойдет Россия: по пути подновления феодализма «изданием» крепостничества или по пути буржуазного развития... Россия была на распутье... И если в России в результате «ивановой опричнины» и «великой крестьянской порухи» конца XVI в. все-таки победило крепостничество и самодержавие... то это отнюдь не доказательство их прогрессивности»⁵⁰.

Согласитесь, что вместе с отрицательными, критическими выводами Зимина и Скрынникова мы имеем здесь — если собрать эти отдельные посылки воедино — почти все «кирпичи» для возведения достаточно солидно аргументированного и логически непротиворечивого здания позитивной концепции Иванианы, которое можно было бы противопоставить заскорузлomu «государственному» мифу.

Теперь мы, кажется, могли убедиться, что генеральная проблема, стоящая сейчас перед русской мыслью, не исчерпывается вовсе тривиальной дихотомией авторитаризма и демократии, что отнюдь не вся истина содержится в этой черно-белой политической философии. Ведь то, что Шмидт сейчас называет «абсолютизмом европейского типа», и было, собственно, Абсолютизмом. То, что называет он «абсолютизмом, пропитанным азиатским варварством», — на самом деле было Автократией. И то роковое «распутье», о котором говорит Носов, оно и было распутьем между Автократией и Абсолютизмом...

Так разве честнейшие из советских историков не

подошли уже сами к осознанию того, что история знала — и знает — несколько классов авторитарных систем? Что один из них (Абсолютизм) мог при всей своей авторитарности повести, тем не менее, систему по столбовой дорожке политического прогресса? Мог повести ее к постепенному установлению контроля Общества над Властью, в котором и заключена сущность демократии? Мог повести к изживанию из народной культуры «комплекса Грозного»?

Ведь очевидно же, что сначала человек должен научиться выбирать себе Бога по собственному разумению, а не по усмотрению Власти, сначала должен он научиться считать свой карман своим карманом, свой дом — своей крепостью, а потом он может уже думать о контроле над Властью. Всему этому учит — исторически учил его — Абсолютизм. От всего этого отучила — Автократия.

А между тем, отсюда — из этой основополагающей разницы — и вытекает не только позитивная концепция Иванианы, которую можно было бы противопоставить диктату «государственного» мифа, но и возможность ниспровергнуть роковой «комплекс Грозного», этот род национального недуга. И новая концепция Иванианы в том, собственно, и состояла бы, чтоб осознать эту основополагающую истину.

И если нужны еще доказательства актуальности столь дотошного «копания в древностях», то вот они: мы и впрямь оказываемся в состоянии обнаружить начало нашей автократической деградации. И как мы уже говорили, всё, что имеет в истории начало, всё имеет в ней и конец.

Конечно, историческая наука сама по себе не в силах изменить судьбы общества, но она может помочь такому изменению, а не мешать ему, как делала это она до сих пор.

Поэтому и адресован мой очерк честному русско-му интеллекту, берущему свое начало от «пяти недо-

резанных семейств», интеллекту, которым — несмотря на всё рвение опричников — Бог не обидел Россию. Осталось ему только понять, что делает он не только историографическую, но и в буквальном смысле этого слова историческую работу.

20. Основа надежды

...Мы так вам верили, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе...

Кто посмеет заподозрить в неискренности и лести автора этой исповеди раба? Кто посмеет сказать, что не был он устами своего народа? Что не был это истинно глас народа? Был.

Но не гласом Божиим был он, тем не менее, но гласом поработившей народ Автократии. Вот в этом и заключается проблема, что русская Автократия — не обман, не мистификация, не ложь, которую можно разоблачить и отбросить, но вера, но плод векового культурного порабощения, что татарское иго над Русью не свергнуто (вернее, было реставрировано автократической контрреволюцией Грозного), что оно глубоко в крови нации, в автоматических реакциях ее поведения, в ее любви и в ее ненависти.

Ну, вот вам и пример. Вряд ли я ошибусь, если скажу, что каждый второй советский человек оправдывает — для себя самого, в глубинах собственного подсознания! — зверства любого тирана, будь то Грозный, Петр или Сталин, «неумолимой поступью истории», «объективной неизбежностью опричнины». Иначе нельзя было, — говорит он себе, — разве создали бы мы могучую индустрию, способную сокрушить Гитлера, разве сумели бы мы отстоять свое государственное существование и стать супердержавой, которой страшится сегодня мир, если бы Сталин вовремя не провел коллективизацию (т. е. не закрепостил крестьянство, как Грозный), не сокрушил потенциальную

«пятую колонну» в стране (т. е. не истребил «изменников-бояр», как Грозный), не обеспечил условий для прогресса русской государственности (опять-таки, как Грозный)? Да, для всего этого понадобилось пролить кровь, порою и кровь невинных, понадобился тотальный террор, но — что поделаешь? — таковы неизбежные пути прогресса (как мы видели, именно в этих терминах говорят сегодня советские историки о Грозном).

Я не стану поднимать здесь вечный, как мир, вопрос о соотношении целей и средств, я спрошу лишь — устойчив ли прогресс, основанный на крови и рабском труде, и вообще прогресс ли он?

Разве не в застое — с тех пор, как Хрущев так неосторожно разрушил ГУЛаг, — советская экономика? Разве жизненные стандарты советского народа — несмотря на то, что его опричный военно-промышленный комплекс исправно забрасывает спутники в космос, — не самые низкие в Европе? Разве моральная деградация, всеобщее пьянство и одичание не поразили его, подобно бичу Божию? Разве сама греза о новом Хозяине, которому так страстно хочется поверить больше, чем собственным глазам, не свидетельствует о том, что недовольны все — сверху донизу, что страна гниет и разлагается? Разве не доказала свою полную бесплодность прославленная советская индустрия, которой сегодня — после всех фанфар сталинской «индустриализации» — приходится обращаться за передовой технологией к Западу, объявленному официально «гнилым»? И разве не у него же, не у гнилого Запада, приходится из года в год униженно просить хлебушка, которым правительство самой передовой в мире страны не в состоянии прокормить собственный народ?

А что было бы, спрашивается, если бы сталинские планы сбылись и «прогресс» его действительно восторжествовал во всемирном масштабе? У кого просили бы мы тогда хлеб и технологию? Или мир, в котором восторжествовал бы этот «прогресс», голодал

бы тотально, поголовно? И экономика была бы в глобальном застое? Да ведь мы и живы потому только, что сталинский «прогресс» не осуществился, что нашлись силы, способные остановить «неумолимую поступь истории»!

Так что же это за прогресс, в результате которого народ деградирует и оказывается не в состоянии себя прокормить и самостоятельно развиваться?

Я ничего не утверждаю, я хочу только, чтобы отечественный интеллект непредвзято оборотился к собственной национальной биографии, чтобы он проанализировал, что именно случалось с нашей страной после Грозного, после Петра, после Николая, после Сталина. И не станет ли тогда ясно, что пробил уже час отрешиться от соблазнительной веры во всемогущего Хозяина, который всё разрешит, всех утешит, всё за нас обдумает, утрет все слезы и утолит все печали... Ведь должны же мы в конце концов чему-нибудь за 400 лет научиться! Для того и пишу я эти строки, чтобы извлечь из нашего векового горчайшего опыта не только боль, но и прозрение.

Заглянув в себя, обнаружим мы не только слепую веру. Обнаружим мы и причины неистребимости и духовной мощи русской оппозиции, русского интеллекта, которых никогда не умели объяснить ни западные мыслители, ни российские пророки. «Умом Россию не понять...» — объявили они и пытались понять иначе. И в результате кто только не оказывался виноват в ее бедах! И византийцы, и татары, и немцы, и нигилисты, и жидаы... Все — кроме автократии!

А что если все-таки попытаться «умом понять Россию»? Может быть, оказалось бы тогда, что так же, как имеет начало русская Автократия, имеет его и русская Оппозиция? И в том коренится она времени, в том кратком, но все-таки вековом промежутке между двумя татарщинами, чужой и отечественной, который называю я Абсолютистским столетием России? Сто-

летием, когда не знала она ни крепостничества материального, ни крепостничества духовного, когда страсти и идеи кипели в ней ярко, когда была она европейским, абсолютистским государством, была экономически сильна, идейно богата и морально здорова, когда «втекали» в нее лучшие люди из сопредельных стран и в ней искали себе отечества?

«Не для того мы, — как сказано, — здесь, чтобы проклясть тьму, а для того, чтобы возжечь светильник». И открытие этого столетия, возвращение его русской истории, может быть, ничего, кроме лишних хлопот, не сулящее «истинной науке», переворачивает зато все представления о ней для свободного русского интеллекта. Значит, не от рождения это у нас. Значит, не было этой гнетущей, этой безысходной непрерывности, этого удручающе монотонного однообразия деспотизма. Не было замкнутого круга. Не было азиатски-пустынной и сокрушающей перспективу монополии опричнины. И какими бы закоулками и тупиками ни вела страну Автократия, как бы ни пыталась она отторгнуть интеллект нации от ее инстинктов, общественное сознание от обыденного, как бы ни старалась искалечить и мистифицировать ее политическую культуру, манипулируя ее судьбою, как бы ни желала она наглухо закрыть своею черной тучей ее небо, но там, за тучей, — всё равно было солнце.

И солнце это, пусть чуть теплое, бледное, средневековое, когда-то ей светило. И тепло этого солнца потихонечку и независимо даже от ее разума обращалось в ее жилах вместе с густою тьмой автократии и не давало ей застыть вечным льдом азиатского деспотизма.

Многие перспективы будут возрождаться с представлением об этом «утраченном рае» европейского абсолютизма в русской истории. Ибо в нем — основа надежды.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ²⁹ В. О. Ключевский. Курс русской истории. Ч. 2. М., 1937, стр. 192-193, 188, 190, 198; В. О. Ключевский. Боярская дума древней Руси. М., 1909, стр. 338.
- ³⁰ В. О. Ключевский. Боярская дума..., стр. 296.
- ³¹ Там же, стр. 162.
- ³² Д. С. Лихачев. Иван Пересветов..., стр. 30, 36.
- ³³ Л. В. Черепнин. К вопросу о складывании абсолютистской монархии в России. В кн.: Документы советско-итальянской конференции историков, стр. 38.
- ³⁴ Там же, стр. 24-25.
- ³⁵ История СССР. М., 1966, ч. I, стр. 212.
- ³⁶ М. Н. Покровский. Избранные произведения. М., 1966. Кн. I, стр. 271-272, 273.
- ³⁷ Там же, стр. 317-318.
- ³⁸ Н. Е. Носов. О двух тенденциях развития феодального землевладения в Северо-Восточной Руси в XV-XVI вв. М., 1970, стр. 12.
- ³⁹ Б. Д. Греков. Крестьяне на Руси. М., 1954. Т. I, стр. 197, 267.
- ⁴⁰ Аристотель. Политика. М., 1911, стр. 112.
- ⁴¹ Н. Черкасов. Записки советского актера. М., 1953, стр. 380.
- ⁴² Н. К. Михайловский. Иван Грозный в русской литературе, стр. 139.
- ⁴³ «Вопросы истории», 1956, № 8, стр. 128-129.
- ⁴⁴ А. А. Зимин. Опричнина Ивана Грозного, стр. 4-5.
- ⁴⁵ С. М. Соловьев. История России, т. 6, стр. 757.
- ⁴⁶ А. А. Зимин. О политических предпосылках возникновения русского абсолютизма. В кн.: Абсолютизм в России. М., 1964, стр. 21, 22, 27, 23, 41, 27, 20.
- ⁴⁷ Р. Г. Скрынников. Опричный террор, стр. 228, 247-248; его же. Опричнина Ивана Грозного. Автореф. докт. дисс. Л., 1967, стр. 41.
- ⁴⁸ «История СССР», 1963, № 2, стр. 108.
- ⁴⁹ «Вопросы истории», 1968, № 5, стр. 24.
- ⁵⁰ Н. Е. Носов. Становление сословно-представительных учреждений в России. Л., 1969, стр. 9.

ИСКУССТВО

Андрей А м а л ь р и к

ГОЛКИ ПЕР-ПРОФЕССИОНАЛ ИЛИ ЖИВОПИСЕЦ-ДИЛЕТАНТ

*Художник, о котором мы много говорим,
но мало пишем*

Молодая женщина, боясь шелохнуться, сидит в кресле. Она слышала, что художникам нужно позировать неподвижно. Но на этот раз она старается зря, с таким же успехом она может повернуть голову, взмахнуть рукой или вообще встать и уйти. Неряшливый тридцатипятилетний мужчина, весь вымазанный в краске, за время сеанса ни разу даже не взглянул на нее. С искаженным от напряжения лицом он прямо из баночек льет на бумагу краску, лихорадочно размазывает ее клочком ваты и процарапывает линии ногтями. Через десять минут он кисточкой или просто пальцем выводит подпись «А. Зверев», облегченно улыбается и вытирает лоб испачканной рукой. Портрет готов. Самое удивительное, что натурщица без труда узнает себя в хаосе пятен и линий.

— Зверев не художник, его картины — это просто бред больного человека, — сказала о его живописи скульптор Екатерина Белашова, первый секретарь Правления Союза художников СССР.

— Это китайский Домье! — воскликнул знаменитый французский художник и поэт Жан Кокто, увидев рисунки Зверева.

— Он способный человек, но у него нет ни школы, ни культуры, — считает Владимир Вейсберг, ху-

дожник и теоретик, строгие полотна которого экспонируются как в Музее Гугенхейма в Нью-Йорке, так и на многих официальных выставках в Москве.

— Зверев талантливее всех нас, — возражает ему известный московский художник Дмитрий Краснопевцев.

Кто из них прав? Может быть, правы все?

Детство Анатолия Зверева прошло на окраине Москвы, в крестьянской семье, после революции переехавшей из деревни в город. Отец получал пенсию как инвалид гражданской войны, мать работала уборщицей, детей было много, и семья жила очень трудно. Вот как описывает Зверев атмосферу своего детства в поэтической «Автобиографии в возрасте тридцати трех лет»:

«По мостовой, мимо колонок с водой, еще не одна останавливалась лошадь, где проезжали телеги с мукой и без муки... Пыльные извозчики-ломовые пили из горлышка дешевую водочку. А на втором этаже деревянного дома, покосенного и разваленного, пелось: «Плыла, качаясь, лодочка...» Я в это время орал: «Курлы-курлы...» — и получился куриный нос, закрученный в непонятном направлении. Лошади, фыркая, стремились как-то быстрее освободить колонку и ведро от воды. Покрытая в пару инеем, шерсть спины дымилась, когда был декабрь; а осенью на желтые спины — желтый упал лист.

Шло время, и пороша сменялась порошею первого снега у скучного московского двора: ворона доедала не последнюю дохлую крысу на помойке. «Я бархатная! Я бархатная!» — орала она — и слышался во вторе во вторник голос гармошки. Еще доневал свою до-революционную песенку неопытный молодой петух, в сарае из щелей доносился голос его, шевеля волок моей маленькой матери и наводя на воспоминания с детства в деревне Тамбовской губернии. Тут я ужаснулся, и было мне — пять, шесть... и семь».

Рисование было чуть ли не единственной радостью маленького Толи. «Я уцепился за карандаш и стал рисовать воробья, — пишет он, — и очень хотел, чтобы мне рисовали коня. Я стал копировать деревья, бабу и траву с картины — лубок висел как образ, мрачный и глухой». Но было еще неизвестно, сохранится ли этот интерес дальше. С четырнадцати лет Зверев стал выступать в юношеских футбольных командах и хотел стать вратарем-профессионалом, как его кумир — необычайно популярный тогда голкипер Леонтьев. Интересно, что антипод Зверева в живописи — Владимир Вейсберг — был несколькими годами раньше центральным нападающим юношеской сборной Москвы. Так им и предстояло в будущем: одному — нападать, другому — защищаться, хотя ни один из них футболистом так и не стал.

Серьезно изучать искусство живописи Зверев начал с пятнадцати лет, бросив среднюю школу. С 1946 по 1950 годы он учился в Художественном ремесленном училище на Преображенке у Дмитрия Лопатникова. Он всегда вспоминает своего учителя с благодарностью, а время учения — как одно из самых радостных в жизни. «Надо дерзать!» — повторял Лопатников, и Зверев напряженно работал, овладевая профессиональными навыками и пытаясь найти свой стиль. Менее удачно сложилось его учение в Художественном училище памяти 1905 года, куда он поступил после двухлетней службы на флоте. Зверев не соглашался с системой преподавания, которая господствовала в училище, и вскоре был вынужден уйти оттуда. С тех пор он работал самостоятельно, первые годы почти в полном одиночестве. Это было грустное время. «Вот я покидаю училище живописи, — пишет он, — и, пофлотски шлепая по бульвару и улице башмаком на правой и валенком на левой ноге, направляюсь в сторону дома, где не поджидает меня никто, кроме кошки».

До 1952 года он писал преимущественно пейзажи, под сильным влиянием Исаака Левитана и Кондрата Саврасова, двух известных русских пейзажистов конца XIX века. Однако их натуралистическая, слегка слащавая манера постепенно перестала удовлетворять Зверева, хотя он до сих пор ценит их обоих. Его начинает привлекать динамизм рисунков Михаила Врубеля, художника, совершившего революцию в русском искусстве конца века и кончившего жизнь в психиатрической больнице. У Врубеля он находит как бы подтверждение права на экспрессию, которая была внутренне присуща Звереву и вступала в явный конфликт с господствующей в живописи академической школой.

В 1953 году Зверев получил новый сильный художественный импульс. После долгого перерыва в Москве были вновь экспонированы картины импрессионистов, Сезанна и фовистов. Сезанн потряс Зверева, но интеллектуальный метод Сезанна оказался ему органически чужд, его тянуло в сторону большей экспрессии за счет меньшей построенности картины. Пожалуй, из всех увиденных художников ближе всех ему был Ван Гог. Он напишет потом, что он «был близок к Ван Гогу как в силу общего восприятия природы, так и в общении с народом». Пока же, по его словам, он начинает энергично работать «на началах эксперимента и какого-то непонятого стремления быть художником независимым». В тот период он пишет только с натуры: пейзажи, портреты, ню, постоянно рисует в зоопарке зверей и птиц.

Этому «количественному» росту не хватало какого-то резкого скачка, чтобы перейти в новое «качество». Зверев работал тогда художником в детском городке Сокольнического парка в Москве. Срочно понадобилось оформлять детский городок к какому-то празднику. Все остальные художники отказывались браться за эту работу, потому что времени оставалось в обрез и они видели, что ничего не успеют сделать.

Тогда Зверев попросил ведро краски и кисти и начал энергично расписывать фанерные щиты. Оставались считанные часы, раздумывать времени не было — и Зверев работал интуитивно, рука двигалась как бы «сама собой». В конце концов он даже отбросил малярные кисти и закончил работу веником, который ему одолжила одна из уборщиц. Впоследствии известный московский коллекционер Георгий Костаки специально приезжал в Сокольники смотреть написанных веником красных петухов. Костаки сказал, что такого сильного впечатления на него не произвели даже работы, которые ему показывал в Париже Шагал.

В 1959 году Зверева подвели к картине Джексона Поллока на американской выставке, кстати тоже в Сокольниках, и сказали: «Вот кому вы подражаете». Зверев увидел Поллока впервые. Внимательно рассмотрев знаменитую картину и вспомнив, как в ста метрах отсюда он писал веником на огромных фанерных листах, Зверев сказал: «Ну, это академизм. Я ушел гораздо дальше».

Вскоре годы духовного одиночества кончились для Зверева. Однажды, делая этюды, он случайно познакомился в Сокольниках с Надеждой Румневой, а потом с ее братом — руководителем театра пантомимы Александром Румневым, ныне покойным. Эта встреча сыграла большую роль для Зверева. Румнев, сам тонкий художник, был удивлен большими способностями своего нового знакомого и много занимался с ним, обучая его не только живописи, но даже иностранным языкам. Большое влияние на Зверева оказало также знакомство с акварелями Артура Фонвизина, старого русского художника, начинавшего работать еще вместе с Гончаровой, Ларионовым и Шагалом.

Зверев пишет теперь не только с натуры, но и без нее, главным образом методом разлива. Работает очень быстро, применяя смешанную технику: масло с акварелью, акварель с тушью и т. д. Он начинает либо

с рисунка, используя его как схему для разлива, либо с разлива, в хаосе пятен нащупывая рисунок. Масляная живопись осваивается им довольно трудно: он либо работает жидким маслом, используя акварельные приемы, либо пишет пастозно, в значительной степени подражая Ван Гогу. В акварели и смешанной технике он достигает гораздо лучших результатов. В рисунке от натурализма он переходит ко всё большей условности, стремясь несколькими экспрессивными, неистовыми линиями «схватить» существо предмета. Работая почти пигментарным цветом, он достигает необычайной цветовой выразительности благодаря смелому и своеобразному сочетанию пятен. Его живопись условно можно назвать спонтанной, хотя он и ставит в процессе работы сознательные задачи в области конструкции и цвета.

За полтора часа он мог написать двадцать-тридцать работ. Естественно, что при таком методе одна из наиболее удачных картин могла соседствовать с совершенно никчемной. Его работу, быструю и лишенную внутреннего отбора, можно было сравнить с беспорядочной стрельбой: хотя большинство пуль пролетает мимо, все же хотя бы одна попадет в цель. Любопытно, что при такой быстроте собственной работы, любимое животное Зверева — это черепаха. Больше всего он мечтает о том, что заведет себе нескольких черепах, с которыми будет совершать спокойные прогулки.

Постепенно круг артистических друзей Зверева расширяется. Его картины начинают собирать известный музыкант Андрей Волконский и коллекционер Георгий Костаки. Этот грек по рождению и русский по образованию оказался гражданином мира по широте своих взглядов на искусство, и вскоре работы Зверева висели в его коллекции рядом с полотнами Малевича, Кандинского, Татлина, Ван Донгена, Шагала и Полякова. К Звереву приходит всё более широкое при-

знание. Его картины появляются в частных собраниях уже не только Москвы и Ленинграда, но и Парижа, Лондона, Рима, Оттавы, Нью-Йорка, Вашингтона и Иерусалима. В 1957 году его гравюры экспонируются на Молодежной выставке в Москве, устроенной к VI Международному фестивалю молодежи и студентов, в 1959 репродукции его картин впервые поместил журнал «Лайф», а в 1961 три его акварели приобретает Нью-Йоркский музей современного искусства.

Однако вот уже более тридцати лет для советской живописи в целом было характерно развитие традиций передвижников. Большинство членов Союза советских художников довольно скептически отнеслись к живописи Зверева, считая, что в его работах больше трюкачества, чем серьезного эксперимента, а известность объясняется рекламой, а вовсе не талантом. «Такую мазню может сделать каждый», — говорили они. График Ярослав Манухин, участник XXXIII венецианской Биеннале, проделал любопытный эксперимент. Он тяп-ляп быстро написал несколько работ «под Зверева», вложил их в папку с подлинными зверевскими акварелями и предложил одному из своих друзей показать их кому-либо из коллекционеров. Приобрести Зверева давно хотел искусствовед Игорь Санович, в чьем собрании были Фальк, Филонов, Пирсменишвили и другие известные мастера. Он долго и придиричиво перебирал работы Зверева и наконец... отобрал для своей коллекции как раз те четыре акварели, которые подложил туда Манухин.

Как бы то ни было, известность Зверева продолжала расти. Не прекращались и насмешки. Однако и среди членов Союза многие начинали пересматривать отношение к Звереву. Особенно важным для них был отзыв Роберта Фалька, признанного главы пластической школы в советской живописи, более десяти лет проработавшего во Франции. Незадолго перед своей смертью, видя, как молодые художники смеются

над ташистскими акварелями Зверева, он сказал: «Берегите Зверева, каждое его прикосновение драгоценно». Однако Фалька и Зверева сблизило не общее понимание живописи: оба они были страстные любители шашек и часто играли друг с другом.

С конца пятидесятых годов Зверев стал делать много портретов на заказ. Он поражал воображение своих заказчиков не столько самими портретами, сколько тем, как он их писал. В его жестах удивляла обезьянья цепкость. Казалось, это не он пишет картину, а через него проявляет себя какое-то подсознательное атавистическое начало. И вместе с тем напряжение творчества где-то неумовимо переходило в актерство, граничащее с хулиганством. Во время работы Зверев стряхивал на свои картины пепел, бросал окурки, вытряхивал мусор, плевал. Однажды он ужасно разозлил одного респектабельного журналиста тем, что высморкался на его портрет, который тот заказал, чтобы подарить своей жене. Пишет Зверев на чем угодно и чем угодно. Жену одного американского дипломата в Москве, заказавшую свой портрет, Зверев встретил опухший и небритый, однако тут же достал лезвие и кисточку для бритья. Смущенная, что он собирается при ней бриться, она подумала: «Что ж, все же лучше поздно, чем никогда». Однако, ни слова не говоря, Зверев ткнул бритвенную кисточку в краски и начал энергично водить ею по бумаге, кое-где делая резкие штрихи бритвой. В другой раз, когда он писал портрет пятилетнего мальчика, Зверев попросил детскую клизмочку и, набрав в нее жидкой краски, начал разбрызгивать ее по холсту. Работает он обычно, разложив холст и бумагу на полу. Если в это время по ним пробежит кошка или собака, оставив следы лап, Зверев не только не раздражается, но говорит: «Они добавили существенные детали, которые мне самому не пришли бы в голову».

В начале шестидесятых годов в его работе насту-

пает годичный перерыв, вызванный, быть может, нервным перенапряжением, так как все пятидесятые годы он работает исключительно много и самоотверженно. Он даже вывихнул руку от напряженной работы. Вместе с женой он уезжает в Тамбовскую область, на родину своих родителей. По возвращении в Москву его живопись становится увереннее и спокойней, но в значительной степени лишается прежнего экспериментального начала и основывается на уже достигнутом. Видно, что Зверев теперь сознательно пытается воспроизвести ту непосредственность и детскость, которые у него раньше получались как бы «сами собой». А это не всегда удастся. Рисунок иногда перегружается второстепенными деталями, цвет отдает слащавостью. Работает он теперь редко и мало. Возможно, по мере старения начинает уже сказываться тот недостаток профессионализма и культуры, о котором давно предупреждали Зверева. Впрочем, в 1962-66 годах он пишет несколько превосходных работ, и давать прогнозы о дальнейшем было бы неосторожно.

Итог десятилетней работе Зверева был подведен персональной выставкой, которая состоялась в 1965 году в Париже и в Женеве, в галерее Мотт, где было представлено свыше ста его работ с 1954 по 1964 годы. Своим открытием выставки обязаны энергии знаменитого франко-итальянского дирижера Игоря Маркевича, русского по происхождению, чьи концерты пользуются в Москве неизменной популярностью. Поддерживая дружеские отношения с самим Зверевым, он в течение нескольких лет собирал его работы, которые впоследствии любезно предоставил для выставки.

Английские и американские газеты встретили выставку одобрительно, французские — довольно сдержанно. Живопись Зверева в целом большинство критиков охарактеризовало как «лирический экспрессионизм». Можно было бы еще назвать ее «гениальным дилетантизмом».

В Москве первая зарубежная выставка советского художника-авангардиста вызвала много толков. Слухи ходили довольно фантастичные, вроде того, что Маркевич прилетел на самолете за Зверевым и увез его в Париж. Пробыв там два дня, Зверев затосковал и попросился обратно... Спокойнее всего к выставке и отзывам о ней отнесся сам Зверев. Он только слегка осудил Луи Арагона за критический отзыв в «Леттр франсез».

Хотя интерес к живописи Зверева падает даже среди его друзей, в 1967 году он участвовал во многих выставках, устраиваемых как советскими официальными организациями, так и частными лицами у нас и за рубежом. Его работы выставлялись на Всесоюзной выставке акварелистов в Москве, на «Выставке двенадцати» в одном из московских рабочих клубов, на выставке русской живописи из частных собраний в США и на двух выставках современной советской живописи во Франции. Может быть, приближается время для более спокойной и объективной оценки его живописи и его места в современном советском искусстве.

Сам Зверев смотрит в будущее без страха и ведет такой же беспокойный образ жизни, как десять лет назад. Хотя он вместе со своей матерью имеет отдельную квартиру, дома он почти не живет. То он снимает комнату, то уезжает в другой город, то ночует у друзей, а в теплую погоду иногда вообще ложится спать где-нибудь на бульваре, сделав себе ложе из опавших листьев. Он привередлив в еде и скорее вообще предпочитает не обедать, чем сядет за стол без вина или водки. Его любимые блюда: грибной суп и жареное мясо. За столом у него появляются те же обезьяньи ухватки, что и во время работы. Ест он подчас прямо руками, а пить предпочитает прямо из бутылки. Как и в живописи, он не знает здесь чувства меры. Быть может, поэтому при росте 172 см его вес

свыше 80 кг. Он брюнет, с непропорционально маленьким личиком и с носом, «закрюченным в непонятном направлении». Он любит веселую шутку, и подчас его стихотворные экспромты заставляют собеседников надрываться от хохота. Его любимые художники — Леонардо да Винчи, Рембрандт и Ван Гог. За исключением трактатов Леонардо да Винчи, книг он почти не читает.

Он был женат два раза, от второй жены у него двое детей, девочка шести лет и мальчик трех. Я встретил недавно его дочь, ее зовут Вера. Хорошенькая девочка со светлыми волосами преобразилась, когда я дал ей в руки карандаш. За одну минуту она нарисовала балерину в танце. На какой-то миг я был уверен, что это рисунок самого Зверева. Между тем Зверев разошелся с женой, когда девочке было три года, и она не видела ни одной его работы — вот еще один аргумент в пользу классической генетики. Я показал Вере свою коллекцию. Она осталась довольно равнодушна к картинам отца. Из увиденных художников ей больше всего понравился Оскар Рабин.

РЕАЛИСТ ВНУТРЕННЕГО МИРА

*Художник, который развивает
«скрытые стороны русского искусства»*

«Весть о художнике Оскаре Рабине пришла к нам из Англии», — удивленно сообщила в 1966 году газета «Советская культура». Однако в Англию весть о Рабине пришла из России. Он родился в Москве и в Москве написал полотна, принесшие ему мировую известность.

Его родители — русский еврей и латвийская немка — были врачами. Отец умер в 1934 году, когда Оскару было шесть лет, и вскоре мать с мальчиком

переехала работать в далекое сибирское село Березово, где жил некогда в ссылке Меншиков, впавший в опалу любимец Петра Великого. Матери очень хотелось, чтобы ее единственный сын выбрал артистическую карьеру. В молодости она играла на скрипке, и теперь маленький Оскар получил в руки сохраненный матерью инструмент. Он учился играть три года, но музыка мало привлекала его. Долгими зимними вечерами Оскар перерисовывал картинки с открыток. Это было его любимое занятие.

По возвращении в Москву мать умерла. Оскару было в то время тринадцать лет. Шел первый, самый суровый год войны. Оскар жил в Москве у больной тетки, предоставленный самому себе. Он бросил школу и без дела слонялся по московским улицам. Решающей для него была встреча с Евгением Кропивницким, пятидесятилетним художником и поэтом. Кропивницкий преподавал живопись в студии Дома пионеров, и Оскар поступил туда. Рабин вспоминает, что его учитель был тогда большим поклонником французских импрессионистов и в студии царила полная художественная свобода.

Когда Оскару исполнилось шестнадцать лет, ему наскучила Москва и он уехал в Ригу, к сестре своей матери. В Риге начались неприятности: у Оскара не было ни паспорта, ни других документов. Ему помог профессор Кирхенштейн, председатель Верховного Совета Латвии, старый друг его матери, с которой они когда-то учились вместе в Цюрихе. Возвращаясь в Москву, Оскар вновь забудет свой паспорт и вновь испытает на себе долгие канцелярские мытарства. С тех пор у него появляется отрицательное и ироническое отношение ко всякого рода справкам и документам, которое видно во многих его картинах.

В 1945 году он поступил в Академию художеств в Риге, где проучился три года у профессора Лео Свемпа. В академии еще господствовала французская

школа, но в то же время Рабин почувствовал здесь более жесткие рамки академического преподавания, чем это было у его старого учителя.

Студенты тогда получали очень маленькую стипендию, и, чтобы как-то прожить, Рабин временами работал бутафором в театре и грузчиком. Иногда он с несколькими друзьями просто ходил собирать выброшенную морем на берег рыбу. Однажды он отравился этой рыбой и едва выжил. Из этой юношеской поры Оскар навсегда вынес неприхотливость в пище и больной желудок. Ест он очень скромно и мало и больше всего любит пить чай. Конечно, кроме чая, он, как всякий русский художник, пьет еще водку.

После нескольких лет жизни в Риге Оскара потянуло в город, где он родился. Он ушел с третьего курса академии и вернулся в Москву. В 1948 году его приняли в Художественный институт имени Сурикова. Суриков, как известно, был автором многих исторических картин, в том числе знаменитого полотна «Меншиков в Березове».

Принимая Рабина в институт, Сергей Герасимов, тогдашний глава реалистической школы, похвалил его живопись, но сказал, что берет его под свою ответственность, потому что у него очень хромает рисунок и им следует серьезно заняться. Рабин был принят сразу на второй курс, но не оправдал доверия Герасимова. Привыкнув к довольно свободному толкованию натуры в рижской академии, он тяготился сухой методой преподавания в Суриковском институте, особенно рисунком. Рабин говорит, что вообще он научился рисовать только в самые последние годы, в своей несколько условной манере.

Учиться в институте было неинтересно; кроме того, нужно было как-то зарабатывать на жизнь. Через год Рабин бросил институт и начал в разных местах подрабатывать как грузчик. Он вновь стал заниматься у своего старого учителя, на дочери кото-

рого, Валентине Кропивницкой, вскоре женился. Сейчас у них двое детей — восемнадцатилетняя дочь Катя и пятнадцатилетний сын Саша.

Нужно было думать о том, как кормить семью. Оскар с Валею поселились в подмосковном поселке Лианозово, и Оскар поступил грузчиком на железную дорогу. Там он проработал шесть лет, сначала рядовым грузчиком, потом бригадиром. Все свободное время он продолжал упорно писать, сперва под руководством Кропивницкого, а затем самостоятельно. Он пишет пейзажи, натюрморты, портреты, всюду стремясь к как можно более иллюзионистскому воспроизведению натуры, хотя и чувствует внутреннюю неудовлетворенность подобной работой. Иллюзионизм, громко именующий себя реализмом, стал к тому времени единственным направлением советской живописи, и никакой начинающий художник не мог себе представить ничего другого. Рабин вспоминает, что, когда в 1957 году он спросил знакомого художника, что тот пишет — натюрморты, пейзажи или портреты — и тот ответил: просто картины, — Рабин был как громом поражен таким смелым ответом.

За время работы на железной дороге мало кто интересовался картинами Рабина. За 7 лет он продал только две картины, причем одну из них — за мешок картошки. Оскар и его жена вспоминают, что они были очень довольны такой выгодной продажей. В 1965 году в Лондоне картины Рабина продавались по цене от 300 до 1000 фунтов стерлингов.

В 1954 году он ушел с железной дороги и начал работать в декоративно-оформительском комбинате, занимаясь оформлением выставок и музеев. Занятия прикладной графикой сказались в дальнейшем на его картинах. В 1957 году он бросил комбинат и занялся книжным оформлением для издательства «Советский писатель». Теперь, наоборот, он перенес в книжное оформление мир образов и технические навыки,

сложившиеся за долгие годы работы над картинами.

В 1957 году в Москве должен был открыться VI Международный фестиваль молодежи и студентов, и к нему готовилась молодежная художественная выставка. Здесь Рабина ждало большое разочарование. Жюри холодно отнеслось к его натуралистическим работам и вместе с тем на его глазах похвалило несколько художников, показавших яркие декоративные полотна, выполненные в довольно условной манере.

Рабин вернулся в Лианозово, еще более остро ощущая неудовлетворенность своей работой и не зная, как же нужно писать. То, что мучило его несколько лет, напротив — не было проблемой для его маленькой дочери. Она рисовала очень смело, уверенно и ярко и даже получила первую премию на выставке детских рисунков в Индии. Желая найти какую-то новую, своеобразную манеру, Рабин традиционными живописными средствами на больших холстах копирует несколько рисунков своей дочери. На этот раз жюри, хотя и не принимает эти работы на выставку, но встречает их с большим интересом. На выставку, в конце концов, было принято несколько довольно натуралистических монотипий. Одна из них была даже отмечена поощрительным дипломом, но Оскар уже знал, что не вернется к подобным работам.

После этой выставки Рабин увидел и понял то, что давно уже ощущал подсознательно: что искусство убедительно только тогда, когда оно не пытается рабски копировать действительность. В поисках своего стиля он начал писать в экспрессивной манере, с довольно мрачным колоритом, сильно деформируя предметы и корпусно накладывая краску. Он работает теперь без натуры, но тема его картин — мир, в котором он живет: железная дорога, бараки, городские переулки, натюрморты с селедками и бутылками, убогие семейные фотографии, кактусы на окнах и пас-

хальные вербочки в стеклянных банках из-под варенья. Или же, наоборот, он изображает лондонские улицы с львом на вывесках и нью-йоркские небоскребы, но так, как увидел бы их на дешевой открытке житель московского пригорода. Этот мир предстает в каком-то не столько живописном, сколько духовном иррациональном смещении, словно Рабин с присущей ему немецкой добросовестностью хочет натуралистически показать не внешний, а внутренний облик вещей. «Тут, с моей точки зрения, и начинается настоящая реалистическая живопись», — говорит он сам. Он пишет эмоционально, мало задумываясь о формальных задачах и прежде всего интересуясь образом. По его словам, для него самое важное — передать в своей картине определенное «настроение». Его не столько живописное, сколько поэтическое восприятие мира находило хорошее понимание и аналогию у его друга поэта Всеволода Некрасова, чьи сюрреалистические и лишённые мнимой приподнятости стихи, в свою очередь, влияли на Рабина. Вот что пишет Некрасов, вдохновлённый одной из его «лондонских» картин:

Город
Лондон

Биг
Бен

Общий тон
Всё туман

Робин Гуд
Рабин — гуд

Ранние работы Рабина носят довольно декоративный характер, с подчас резко контрастирующими цветовыми плоскостями. Как неофит, только-только порвавший с натурализмом и обретший новые идеалы, он часто впадает в крайности, когда экспрессия переходит в карикатурность. Работы этого периода отча-

сти близки к советским театральным эскизам тридцатых годов. Для работ Рабина вообще характерна некоторая театральность, каждая его картина — как бы запечатленный момент какого-то сценического действия, на которое художник и зритель смотрят то из партера, то с галерки, а подчас и из-за кулис. Отсюда, быть может, и его стремление к некоторой объемности, в которой как бы пытается овеществиться ранее отвергнутый иллюзионизм.

Для Рабина, как он теперь видит, его новый стиль был продолжением того, что он писал до поступления в Академию художеств и Суриковский институт. По-видимому, на нем сказалось также неясно опосредованное влияние Шагала, Сутина, Руо и Кокошки. В его работах также подспудно чувствуется передвижническая школа, которая в той или иной степени наложила отпечаток почти на всех советских художников. Многие любители живописи, глядя на декоративные полотна Рабина, предсказывали ему, что вскоре он перейдет к полной беспредметности. Но все произошло совсем не так. «Чем дальше я пишу, тем правдивее, — говорит он, — сначала я увлекался внешними приемами, теперь внутренней стороной».

Постепенно картины Рабина становятся более спокойными и реалистичными, хотя при реалистическом моделировании он сохраняет четкий черный контур декоративного периода. Если ранее он писал темперой с маслом, то теперь переходит только на масло, к которому обычно подмешивает песок. По мере всё возрастающей значимости образных находок, присущий ему колорит становится грубее и определеннее. Для художника становится характерным противопоставление экспрессивного, сильно деформированного натюрморта или пейзажа четким графическим элементам и тщательно выписанным плоскостям — увеличенным почтовым маркам, иконам, фотографиям, этикеткам.

С 1963 года Рабин начинает испытывать некоторое влияние американского поп-арта, или, как сказал один английский критик, «плохо переваренного поп-арта». Интерес к живописной интерпретации и ostrаниению бытовых художественных предметов, вроде открыток, бутылочных этикеток или игральных карт, на какое-то время становится определяющим. Причем здесь уже натюрморт и пейзаж служат контрастирующим элементом или вовсе отсутствуют. Портретов Рабин не пишет, за исключением себя и своей жены, включая их как один из элементов в свои фантастические пейзажи и интерьеры. Рабин редко пользуется коллажем, но в конце прошлого года он впервые попробовал придать одному из городских пейзажей подлинную пространственность, прикрепив к стене дома настоящий фонарь с номером и лампочкой внутри. Он надеется постепенно перейти к объемным картинам, которые отчасти будут напоминать театральные макеты.

Рабин — художник среды. То, что он пишет и как он пишет, зависит от того, где он пишет. В конце 1964 года он переехал из Лианозова в один из районов московских новостроек, и это сразу можно было почувствовать по его картинам: хотя бы по тому, что длинные приземистые бараки уступили на них место коробкам стандартных многоэтажных домов. Так же его живопись можно делить на напряженные городские и лирические деревенские периоды, когда он летом живет и работает в деревне Прилуки на Оке, вместе со своим другом художником Владимиром Немухиным. Колорит его картин становится тогда светлее и мягче, а образы спокойней.

Первыми на его работы обратили в 1958 году внимание искусствовед Олег Прокофьев, сын композитора, и коллекционер Георгий Костаки. Постепенно его картины начинают появляться в собраниях многих московских любителей искусства. Однако большин-

ству художников, критиков и любителей не нравятся его деформации, мрачный колорит и, как они говорят, «литературность».

В 1960 году одну картину Рабина приобрела г-жа Алина Мосби, корреспондент ЮПИ. Она много содействовала популярности Рабина среди иностранной колонии в Москве. Люди, зачастую мало компетентные в искусстве, но по крайней мере интересующиеся Россией, заговорили о таинственном художнике из Лианозова, на полотнах которого современная русская действительность лишена парадности, присущей, по их мнению, остальному советскому искусству. В 1961 году репродукция одной из его работ появилась в лондонской «Обсервер», в следующем — вместе с работами Фалька, Тышлера и Сарьяна — в итальянском журнале «Л'Иллюстрационе Италияна», и с тех пор имя Рабина стало чуть ли не обязательно для западной прессы, когда речь шла о современном советском искусстве.

В начале шестидесятых годов с картинами Рабина, а позднее с ним самим познакомился г-н Эрик Эсторик, английский коммерсант и коллекционер. В течение ряда лет скупая его работы, он в 1964 году показал несколько картин Рабина на групповой выставке «Аспекты современного советского искусства» в Гросвенор-галери (Лондон), а в следующем году там же устроил его персональную выставку. «Во время моих 15 поездок в Россию, которые я совершил за последние пять лет, — заявил г-н Эсторик на неофициальном осмотре выставки, — я пришел к выводу, что Рабин самый совершенный и совершенствующийся художник России».

Выставка открылась в июле 1965 года, а в июне в журнале «Студио» появилась биография Рабина, написанная в приподнятом тоне г-жой Дженнифер Луи, признавшей, что в его картинах «есть какая-то поразительная притягательная сила, которая настоль-

ко увеличивается с длительным знакомством, что вам очень трудно расстаться с картиной, которую вы научились любить». Ее статья была перепечатана в каталоге выставки.

Можно сказать, что английская критика отнеслась к Рабину хорошо. «Самое интересное в работах Рабина — это не его предполагаемая близость к западному «поп-арту», но то, что видим мы перед собой советского художника, достаточно молодого и достаточно хорошего, чтобы развивать скрытые стороны русского искусства», — писал г-н Моррис, художественный критик газеты «Морнинг стар».

«Рабин — подлинный художник», — определенно заявляла газета «Санди телеграф». Правда, она добавляла, что «в его пейзажах есть некоторая мрачная монотонность».

«Крик, доносящийся из далеких глубин русского искусства!» — патетически воскликнула «Обсервер», в свое время первая обратившая внимание на Рабина.

«По-моему, Оскар Рабин — часть главного течения русского искусства, которое достигло наивысшего расцвета в начале века», — неожиданно заключал английский критик и скульптор Л. Х. Бредшоу, пытаясь тонкой ниточкой своего воображения привязать современное русское искусство к эпохе десятих-двадцатых годов.

Однако 70 выставленных в Лондоне работ Рабина вызвали не только одобрение или удивление.

«Смутный, перепуганный, неврастенический мирок встает в холстах художника. Пересказывать, что изображено на этих полотнах, — только смеяться, хотя они вовсе не смешны. Кажется, взвинченность образов вот-вот сорвется на какой-то истерический припадок. Абсурд. Абсурд мысли, эмоций, самой сути художества», — так отозвался на выставленные картины Рабина советский критик В. Ольшевский.

Вот что ответил ему г-н Моррис в газете «Мор-

нинг стар»: «Живопись Рабина, быть может, не является самым лучшим, что может показать нам Советский Союз, но это хорошая, впечатляющая и серьезная живопись, и выставка в Англии выглядела как начало культурного обмена колоссальной ценности для нас и наших советских друзей. Я надеюсь, что мы всё-таки увидим развитие этого обмена и увидим много других произведений советских художников, включая Рабина».

В Советском Союзе Рабин выставился впервые после десятилетнего перерыва в 1967 году в одном из московских рабочих клубов, на так называемой «Выставке двенадцати». В том же году его картины экспонировались на нескольких зарубежных выставках советского искусства.

Он работает сейчас так же спокойно и целеустремленно, как и десять лет назад, когда он был никому не известен. Его не смущают неудачи и не кружит голову успех. В этом году ему исполнилось ровно сорок лет — для художника это еще небольшой возраст. Его подросшие дети, которые в детстве рисовали лучше отца, давно забросили живопись и мало интересуются его работой*. Однако всегда большой поддержкой для Рабина была и остается его молчаливая сдержанная жена. Она сама интересная художница. Она неожиданно стала рисовать несколько лет назад, когда сравнительный достаток семьи оставил ей немного свободного времени. Она как достигла высокой техники карандашного рисунка, так и создала свой собственный мир образов — мир добродушных сказочных зверей, так непохожий на реальный и вместе с тем кошмарный мир ее мужа.

Рабин с вниманием и уважением относится к работе своей жены, как и вообще к работе своих москов-

* Его сын, Александр Рабин, впоследствии стал художником и выставлялся вместе с отцом. (Примечание 1975 г.)

ских коллег. Говоря о ком-либо, он никогда не высказывает ни зависти, ни пренебрежения, прежде всего стараясь быть объективным. Еще более сдержанно говорит он о современном западном искусстве, которое, по его словам, известно ему почти только по репродукциям. Ему близки и интересны не столько отдельные художники, сколько само развитие живописи, прежде всего современные тенденции.

ХУДОЖНИК ИЗ СТРАНЫ ЗАЗЕРКАЛЬЯ

Владимир Вейсберг среди своих мнимых полотен

Увидев этого человека впервые, я даже испугался. Навстречу мне, громко вскрикивая и раздражаясь дребезжащим смехом, шагнул мужчина огромного роста с напряженным взглядом и странно дергающимся лицом. Белая комната, куда он ввел меня, была совершенно пуста, если не считать узкой железной кровати в углу и мольберта, который своими раскоряченными ножками походил скорее на средневековое орудие пыток, чем на станок живописца. Странный контраст с обитателем комнаты представляли развешанные по стенам картины: застывшие в правильном порядке шары, конусы и кубы и неподвижные, как бы бестелесные фигуры. Но даже в почти математической уравновешенности этих картин было что-то драматическое — казалось, каждое прикосновение кисти к холсту стоило художнику мучительных усилий. Его полотна не производили ошеломляющего впечатления сразу, но стоило вам внимательнее посмотреть на них — и глаз постепенно, но неотвратимо погружался в сложные сопряжения цвета, как погружается нога в засасывающую трясину.

Вскоре после окончания гражданской войны сын переехавшего в Россию английского еврея профессор

Григорий Вейсберг, ученик Фрейда и один из основателей русской психоаналитической школы, женился на молоденькой сибирячке Анне Бурцевой. Во время гражданской войны в Сибири она была партизанкой и участвовала в захвате поезда, на котором пытался выехать за границу адмирал Колчак. В 1924 году в семье Вейсбергов родился единственный сын Владимир.

Мальчик мало радовал своих родителей. Учился он неважно и считал своим призванием футбол. Уже в пятнадцать лет он был центральным нападающим юношеской сборной Москвы. Однако вскоре обнаружили первые признаки психического расстройства, которое затем преследовало Вейсберга всю жизнь: внезапно он решил, что должен стать художником, бросил футбол и занялся живописью.

Два года он занимался в Художественной студии ВЦСПС у Сергея Мусатова. Вейсберг всегда с большим уважением вспоминает своего учителя, но после студии нигде уже больше не учился и все время работал самостоятельно. Правда, в 1943 году он поступил в Художественное училище памяти 1905 года, но в первый же день ушел оттуда, разозлившись, что ему достался плохой мольберт. По его собственному выражению, он «учился в музеях». Кроме того, во время войны он, не будучи студентом, тем не менее каждый день ходил в университет и слушал лекции по истории искусств.

Первую половину сороковых годов, занимаясь живописью с большими перерывами, Вейсберг писал под сильным влиянием русских постсезаннистов, таких, как Кончаловский и Машков. Но с 1948 года у него начинается реакция против хаотической поверхности: с одной стороны, он сам чувствует неудовлетворенность своей работой, с другой — общая тенденция советского искусства становится достаточно враждебной постсезаннизму. В течение пяти лет он пишет в

манере, средней между Петровым-Водкиным и необычайно популярным тогда Лактионовым, автором прямо-таки вылизанных иллюзионистских картин. Однако постепенно Вейсберг приходит к мысли, что стиль четкой формы быстро себя исчерпывает, и возвращается к живописной поверхности, на этот раз очень декоративной. Теперь он отталкивается в своей работе от Матисса, слегка разбавленного «русским стилем» Кустодиева. Но чувство неудовлетворенности не покидает Вейсберга. Его искусством мало кто тогда интересовался. Он жил один, и перед ним все время висели его яркие холсты. «На них в конце концов невозможно стало смотреть», — говорит Вейсберг. В это время он часто ходит в музей и часами просиживает перед картинами Сезанна, время от времени пугая своими криками одиноких посетителей. Его поражает необычайно продуманная цветовая конструкция, которую методически строит в своих картинах Сезанн.

Отныне Вейсберг, работая над новыми полотнами, начинает резко обогащать цветовую поверхность и в то же время стремится сохранить цветовую конструкцию. В поисках все большей завершенности своих холстов он идет в сторону крайней дифференцированности цвета, доходящей до пуантилизма, с последующим лессированием зерна по цветовым зонам. Его метод строится на автоматическом наложении краски с последующими автоматическими лессировками и полулессировками. Однако постоянная работа приводит его к выводу, что после Сезанна заниматься чисто цветовыми конструктивно-архитектурными проблемами нет смысла. Внутренняя необходимость самовыражения, физиология творчества, если можно так сказать, толкает его на поиск новых путей в так называемых валёрах, аналогичных неустойчивым звукам в музыке. Он по-прежнему строит ансамбль больших и малых цветовых отношений, однако, в отличие от Сезанна, начинает рассматривать живопись как «со-

пряжение полутонов», постепенно отказываясь от цветового пигмента. Примерно до 1964 года он набирал цветовой ансамбль по сезанновскому методу, только стараясь обогатить полутонами цветовые зоны, но потом решил, что это несовместимые проблемы. Теперь он пытается строить картину полностью на полутонах, неустойчивых звуках, не доводя ни одно из отношений до устойчивого звучания, то есть до звучания полного цвета. Красочный слой он накладывает очень тонко, почти акварельно, но, начиная с 1963 года, с сильными фактурными акцентировками. Особую важность он придает цветовой обработке на краях пятна, считая, что это имеет первое значение для валёрного ряда картины, так что только с большого расстояния видно, как одно отношение переходит в другое. Если смотреть издали, то ни одно пятно не повторяется и легко читаются цветовые зоны, из которых состоит каждое большое отношение.

Теперь постоянные сюжеты Вейсберга — натюрморты из кубов и шаров, расставленных на столе, а также из кувшинов, мензурок и колб, или же это брошенные на стол аморфные тряпки и смятые газеты. Портреты он пишет реже, потому что в портретах не удастся все же избежать столь тщательно изгоняемого им «психологизма». Он и портрет хотел бы превратить в натюрморт, для чего требует от своих моделей совершенной неподвижности и как бы небытия. Позировать ему — адский труд, что в один голос говорят все его модели. Я сам позировал ему в течение двух недель, пока он писал мой портрет, и на одном из сеансов даже упал в обморок. И так как живые люди всё же не шары и не конусы, то реализовать свою художественную задачу Вейсбергу наиболее полно удастся в натюрмортах. Его рисунок более статичен, чем текущая живопись, и является, в сущности, только ее функцией, задача рисунка — «не мешать» живописи.

Основное, к чему Вейсберг, по его словам, стре-

мится, — это «непознаваемость поверхности и сложность ее ощущения», то есть как можно более длительная живописная информация. Неустойчивость цвета без устойчивости центра картины рождает сложнейшую зашифрованность живописной ткани, поэтому чем больше художник совершенствует свое мастерство, тем меньше он может рассчитывать на подлинное понимание зрителей. «Я и сам не понимаю своих картин, — говорит Вейсберг, — они для меня всегда чужие и непонятные, и я не знаю, как они сделаны». Свой стиль он называет «архитектурой валёров».

Однако строгая построенность валёрного ряда, которой Вейсберг подчас достигает, лишает картину внутренней экспрессии и делает ее как бы безударной. Может быть, через какое-то время это поставит перед Вейсбергом задачу сознательных нарушений «идеального» построения. Иной путь, по-видимому, лежит в полной «дематериализации» картин. Кроме того, всё более сложная дифференцированность разрушает ритмическую ясность, которая так хорошо видна у отвергнутого Вейсбергом Матисса и даже у Сезанна.

Несмотря на сугубо «живописный» подход к своему искусству, Вейсберг сначала получил признание у писателей и только потом у художников. Первым на него обратил внимание Назым Хикмет, купивший в 1955 году три его работы. За ним последовали Вениамин Каверин, Илья Эренбург, академик Артемий Алиханян, кинорежиссер Сергей Герасимов, коллекционеры Мясников, Рубинштейн, Костаки и многие другие. Сейчас его картины находятся в частных собраниях многих городов мира: Москвы, Ленинграда, Киева, Женевы, Милана, Лондона, Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анжелеса, Парижа, Праги, Оттавы, Рио-де-Жанейро, Берлина и других, а также в Музее Гугенхайма в США и в Дрезденской галерее в ГДР.

В 1962 году он был принят в Союз художников СССР, однако участвовать в выставках, устраиваемых

Союзом, начал еще с 1957 года. Советская критика положительно отозвалась на его выставленные картины, но впервые его натюрморт был репродуцирован в 1959 году почему-то в юмористическом журнале «Крокодил» вместе с насмешливым текстом. Однако в следующем году репродукцию одного из его портретов поместила газета американских коммунистов «Уоркер», сопроводив его лестным отзывом.

В 1962 году его картины экспонировались на выставке «XXX лет МОСХа», а в 1965 году на «Выставке семи». Критика не была единодушна в оценке его работ.

«Нечто вроде Моранди, сделанного техникой Сёра — техникой деланного цветного пятна, — так отзывается о его стиле чех Иржи Падрта, наиболее серьезный из зарубежных исследователей советского искусства, и заключает: — Окончательное впечатление очень глубокое и непохожее ни на какое другое, полученное от других произведений мировой живописи».

«Он передает максимум информации минимумом цвета», — пишет журнал «Совет лайф», публикуя один из натюрмортов Вейсберга.

«В его картинах всё мертво, всё бесцветно, нет разницы между геометрическими фигурами и людьми», — считает художественный критик Осип Бескин.

«Вейсберг через тончайшие нюансы цвета показывает мир как «духовную ценность», — возражает ему искусствовед Елена Мурина.

А вот оценка одного из старших коллег Вейсберга.

«Мне трудно говорить о полотнах Вейсберга, — сказал на обсуждении «Выставки семи» председатель правления МОСХа Д. Шмаинов, — я способен профессионально оценить их, но стать на его точку зрения и попытаться увидеть мир его глазами не могу. У Вейсберга мир призрачный, отчужденный, воспринятый как бы через «матовое стекло».

С 1963 года Вейсберг начал преподавать живопись

в художественных студиях, сначала для архитекторов, а затем для художников телевидения. Он знакомит студийцев со своими художественными принципами и методами, относясь к преподавательской работе достаточно серьезно и подчас проявляя суровость. Одна из его немолодых уже учениц, протестуя против единообразной системы, заметила, что следует поощрять какие-то оригинальные черты в каждом начинающем художнике. Вейсберг раздраженно возразил: «Я учу живописи, а не оригинальности». Тем не менее он пользуется большим уважением у своих учеников, многие из которых старше его по возрасту, и попасть к нему в группу очень трудно из-за большого числа желающих.

В общении с людьми Вейсберг трудный человек. Он подозрителен и обидчив, но если он видит, что вам действительно нравится его живопись — он может проявить неожиданную широту натуры. Едва он выходит из мнимого мира своих картин в наш, столь далекий от математической ясности, мир, как Алиса, возвращающаяся из зазеркалья, — он приобретает агрессивность и вместе с тем детскую беспомощность. Больше всего он любит щелкать сибирские орешки и пить кубинский ром. Он проявляет при этом умеренность, как и вообще во всей своей размеренной жизни. Он живет вместе с матерью и женой, постоянная забота которых сделали для него возможной его упорную и плодотворную работу. Он ложится всегда в одиннадцать часов, в семь встает и работает до двух — и горе тому, кто потревожит его во время работы. Когда он начинает картину — он знает день и час, когда она будет кончена. Если модель запаздывает против назначенного часа, он в состоянии разорвать на куски — если не модель, то по крайней мере холст.

Вейсберг считает, что самое необходимое для художника — жить в атмосфере искусства. Помимо живописи, эту атмосферу для него создают театр, музыка

и литература. Он завзятый театрал и не пропустил ни одной премьеры, начиная от последних постановок Мейерхольда, которые он видел еще мальчиком, и кончая московскими премьерами 1967 года. Из всего, что он увидел за последний год, он больше всего хвалит «Балладу о невеселом кабачке» Эдварда Олби в «Современнике». Наиболее ценимые им композиторы — Бах и Стравинский, поэты — Данте, Шекспир и Гёте. Его любимый русский писатель — Достоевский, роман которого «Бесы» он постоянно перечитывает. Он считает Льва Толстого незначительным беллетристом и не любит Пушкина, что служит постоянным предметом наших споров. Он говорит, что своей известностью они обязаны прежде всего аристократическим связям, что дворянская читающая публика приняла их как «своих» и отвергла как «чужого» разночинца Достоевского, и эта историческая несправедливость сохранилась даже тогда, когда давно отпали ее причины. Я думаю, в такой оценке подсознательно сыграли роль обстоятельства жизни самого Вейсберга — долгое непризнание его живописи и успех малоспособных товарищей с большими связями и именитыми родственниками.

Он очень высоко ценит китайских художников Сунской эпохи, но считает, что в китайском искусстве не было эксперимента, рожденного позднее только импрессионистами, и китайцы достигли совершенства лишь благодаря своим материалам — шелку и водяным краскам. Из художников нового времени он выше всех ставит Рембрандта и Сезанна, а из своих современников — Дюбюффе.

1967, Москва

АМАЛЬРИК Андрей Алексеевич — драматург и публицист, родился в Москве в 1938 году, в 1963 году исключен из Московского университета за работу «Норманны и Киевская Русь». Опубликовал за рубежом сборник пьес и книги «Просуществует ли СССР до 1984 года?» и «Нежеланное путешествие в Сибирь». Более шести лет провел в тюрьмах, лагерях и ссылке, в июле 1976 года эмигрировал из СССР и сейчас живет в Голландии.

Литературный архив

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

В этом году исполнилось 25 лет со дня смерти большого русского писателя Андрея Платоновича Платонова (5 января). Он широко известен в России, его книги мгновенно расходятся. Однако главные вещи Платонова до сих пор не напечатаны на родине: роман «Чевенгур», повесть «Котлован», пьесы «Шарманка», «14 красных избушек» и другие. Роман «Чевенгур» — своего рода чемпион: написанный в 1928 году, он вышел на Западе только в 1972 (и то не полностью), а в России, даже пролежав в столе более сорока лет, он и теперь не имеет шансов напечататься.

Рассказ «Ерик» опубликован в газете «Красная деревня» (город Воронеж) № 21, 30 января 1921 года, стр. 2-3, за подписью «П» — так Платонов подписывался иногда в местных газетах 1920-24 гг. — и является настоящей редкостью, так как ни в одну книжку никогда не вошёл.

Владимир Марамзин

ЕРИК

Жил на этом свете в Ендовищах один мужик по названью Ерик. Человек он был молодой, а сильный и большой. Бабы не имел и чего-то то и дело чхал.

Не было веселее Ерика на свете: никогда в нем не сокрушалась душа и не скорбело сердце. По этому миру Ерик был как раз впору.

Шли по улице мужики и шел им навстречу Ерик и чхал.

— Во, карежить его, — говорили мужики, — должно воздуха в душу не пролезают. Дух не по ём.

— Да. Должно так... Дерет его чох, поди ж ты!

— Такой уж чудотворный человек.

А Ерик любил дышать, любил всякий дух и чхал для потехи. Радость он чуял во всем и на все отзывался.

Занимался он многими делами — пахал, думал, ходил по полю и считал облака. К вечеру он ворочался на деревню и шупал девок.

Ерик не верил ни в Бога, ни во врага.

Всё человечье, — думал он, — и нет у земли концов. Что захочу, беспременно сделаю. Захочу скорбь произведу, захочу радость.

И Ерик, правда, делал многие дела и был душевный человек, хотя и жил один без бабы, как супостат, и приплясывал, когда звонили к обедне.

Раз приходит к нему враг рода человеческого и говорит:

— Хошь, я тебя научу людей из глины лепить?

— Давай, — сказал Ерик.

— А что дашь?

— Лапоть.

— А еще чего?

— Чего ж еще: бери вон корчажку, чуни, юбку...

Не обижу, не бойсь.

— Да ладно уж, вижу, — сказал враг и научил Ерика людей лепить из глины, из земли и всякой пако-сти, если её наслюнявить.

Наделал Ерик людей целый полк и распустил их по всему пузу земли искать у нее четырех концов. Разо-шлись вражьи и Ериковы дети и пропали: ни слуху, ни духу. И Ерик уж позабыл их и принялся за новое дело — задумал небо проломить и голову в дырку наверх просунуть и поглядеть — есть там Бог иль спрятался.

Ходил он опять по полю под облаками и думал обо всем — отчего так хорошо на свете, когда ничего тут нету хорошего и все дела известны. Ночью небо ближе и глядят с него звезды — змеинные глаза. У де-вок по вечерам сиськи распухают и слезы на глазах.

Отчего еще глаза у них похожи на озера, когда на дне туманом ходят небеса. Колдуны и старухи говорят, что у святых в глазах звезд больше, чем на небе.

Ведьма, дурья голова, — в глазу одна звезда, зато она добрее всей звериной бездны наверху.

С мужиками Ерик водился по-братски — они чуяли друг в друге человек и не смущались, что жили как брошенные, одни в своей деревне без всякого света. Из каждой хаты видно небо, а с неба виден весь свет. И в тихую ночь можно слышать все голоса, как перекликаются люди друг с другом по земле.

И прошел раз слух: объявились гдей-то вражьи дети и выворачивают будто пузо земли наружу кишками и печенками. Всю пакость нутреную будто даром показывают всем на потеху и утешение. Отреклись они от Бога и врага рода человеческого, определили их и задумали переверотить мир и показать всем, что он есть пакость и потеха. Нужно, дескать, самим сделать другую землю сначала.

Заухмылялся Ерик с народом: Бог с врагом — давно други и сватья, ад с раем всегда перекликаются. И хоть вражьи дети задумали дело такое, да сами-то на врага не похожи — не то хуже, не то лучше.

На Егорьев день появилась на небе прорубь, высунулась оттуда насмешливая голая голова и опять спряталась.

— Ах, враг тебя нанюхай, — хохотали мужики.

Вечером девки пошли хороводом и пели до полночи над прудом. Ждали других женихов, не своих ребят с оголтелыми рожам.

Дней через пять обломилось небо и выворотилась земля. Полилась отовсюду пакость и нечистота. Все увидели, что такое был белый свет, и насмеялись над ним.

Мир кончился потешением и радостью. Земля и небо оказались пакостью, курником, и никому не были больше надобны. Ериков полк наделал делов.

Ночью всё пропало, и очутились люди близко друг к другу и остались навсегда одни.

Воротились с пустыми руками пастухи и вдарили в жалейки.

Одно дело кончилось, а другое началось.

МИХАИЛ БУЛГАКОВ

Печатающийся ниже рассказ относится к раннему творчеству Михаила Булгакова. Он появился впервые в 1924 году в сменовеховской газете «Накануне», издававшейся с 1922 по 1924 гг. в Берлине под редакцией Алексея Толстого. С тех пор этот рассказ никогда не переиздавался, ни в России, ни за границей.

Михаил Васильев

БАГРОВЫЙ ОСТРОВ *Роман тов. Жюль Верна С французского на эзоповский перевел Михаил А. Булгаков*

Часть I ВЗРЫВ ОГНЕДЫШАЩЕЙ ГОРЫ

Глава I *История с географией*

В океане, издавна за свои бури и волнения названном Тихим, под 45-м градусом находился крупнейший необитаемый остров, населенный славными и родственными племенами — красными эфиопами, белыми арапами и арапами неопределенной окраски, получившими от мореплавателей почему-то кличку — махровых.

«Надежда», корабль знаменитого лорда Гленарвана, впервые подошедший к острову, обнаружил на нем оригинальные порядки: несмотря на то, что красные эфиопы численностью превышали и белых и махровых арапов в 10 раз, правили островом исключительно арапы. На троне в тени пальмы сидел украшенный рыбьими костями и сардинными коробками повелитель Сизи-Бузи, с ним рядом верховный жрец и еще военачальник Рики-Тики-Тави.

Красные же эфиопы были заняты обработкой маисовых полей, рыбной ловлей и собиранием черепаших яиц.

Лорд Гленарван начал с того, с чего привык начинать всюду, где бы ни появлялся: водрузил на горе флаг и сказал по-английски:

— Этот остров... мой немножко будет.

Произошло недоразумение. Эфиопы, не понимавшие никакого языка, кроме своего, из флага сделали себе штаны. Тогда лорд стал пороть эфиопов под пальмами, а перепоров всех, вступил в переговоры с Сизи-Бузи и от последнего узнал, что этот остров — его — Сизин-Бузин и «флаг не надо».

Оказывается, остров открывали уже два раза. Впервые немцы, а за ними какие-то, которые лопали лягушек. В доказательство Сизи ссылаясь на сардиночные коробки и умильно намекнул, что «огненная вода вкусная очень есть, да».

— Пронюхали, сукины сыны! — проворчал лорд по-английски и, похлопав Сизи по плечу, милостиво разрешил ему и в дальнейшем числить остров за собой.

Затем произошел товарообман. Матросы сгрузили на берег с «Надежды» стеклянные бусы, тухлые сардинки, сахарин и огненную воду. Бурно ликуя, эфиопы свезли на берег бобровые шкуры, слоновую кость, рыбу, яйца и жемчуг.

Сизи-Бузи огненную воду взял себе, сардинки тоже, бусы также, а сахарин подарил эфиопам.

Установились правильные сношения. Суда заходили в бухту, сбрасывали английские ценности, забирали эфиопову дрянь. На острове поселился корреспондент «Нью-Йоркского Таймса» в белых штанах и с трубкой и немедленно заболел тропическим триппером.

Остров в учебниках географии был назван — Эфиопов остров (л'Иль д'Эфиоп).

Глава II

Сизи пьет огненную воду

Засим остров достиг невиданного процветания. Верховный жрец, военачальник и сам Сизи-Бузи буквально плавали в огненной воде. Лицо Сизи сделалось в конце-концов как лакированное и какое-то круглое, без складок. Армия белых арапов, украшенная бусами, лесом копий сверкала у шатра.

Подходившие суда нередко слышали победные крики, несущиеся с острова:

— Да здравствует наш повелитель Сизи-Бузи, а равно и верховный жрец! Ура, ура!

Кричали арапы и громче всех махровые.

Со стороны эфиопов доносилось громкое молчание. Не получая огненного пайка и работая до потери задних ног, означенные эфиопы находились в состоянии томном и даже граничащем с глухим неудовольствием. А так как среди эфиопов, как и среди всех людей, имеются смутьяны, то бывало и так, что у эфиопов зарождались завиральные мысли:

— Это как же, братцы? Ведь, это выходит не побожецки? Водка им (арапам), бусы им, а нам шиш с сахарином? А как работать — это тоже мы?

Кончилось это крупной неприятностью и опять-таки для эфиопов. Сизи-Бузи при самом начале брожения умов послал к эфиоповым вигвамам карательную арапову экспедицию, и та в два счета привела эфиопов к одному знаменателю.

Перепоротые, они кланялись в пояс и говорили:

— И детям закажем.

И, таким образом, вновь наступили ясные времена.

Глава III *Катастрофа*

Вигвамы Сизи и жреца помещались в лучшей части острова у подножия потухшей триста лет назад огнедышащей горы.

Однажды ночью она проснулась совершенно неожиданно, и сейсмографы в Пулкове и Гринвиче показали зловещую чепуху.

Из огнедышащей горы вылетел дым, за ним пламя, потом поперли какие-то камни, а затем, как кипяток из самовара, жаркая лава.

И к утру было чисто. Эфиопы узнали, что они остались без повелителя Сизи-Бузи и без жреца, с одним военачальником. На месте королевских вигвамов громоздились горы лавы.

Глава IV *Гениальный Кири-Куки*

В первое мгновение эфиопы были разбиты громом и даже произошли в толпе слезы, но уже во второе мгновение по головам и эфиопов, и уцелевших арапов во главе с военачальником пронесся совершенно естественный вопрос: «Что же будет дальше?»

Вопрос повлек за собой гудение, сперва неясное, а затем громкое, и неизвестно, во что бы это вылилось, если бы не произошло удивительное событие.

Над толпой, напоминающей маковое поле с редкими белыми пятнами и мохрами, взвилось чье-то испитое лицо и бегающие глаза, а затем, возвышаясь на бочке, всей своей персоной предстал известный всему острову пьяница и бездельник Кири-Куки.

Эфиопов разбило громом второй раз, и причиной этому был поразительный вид Кири-Куки. Все от мала до велика привыкли его видеть околачивающимся то в бухте, где выгружали огненные прелести, то возле

вигвама Сизи и отлично знали, что Кири чистой воды махровый арап. И вот Кири явился перед ошалевшими островитянами раскрашенным с ног до головы в боевые эфиоповы красные цвета, самый опытный глаз не отличил бы вертялого пройдоху от обыкновенного эфиопа.

Кири качнулся на бочке вправо, потом влево и, открыв большой рот, грянул изумительные слова, тотчас занесенные в записную книжку восхищенным корреспондентом «Таймса»:

— Как таперича стали мы свободные эфиопы, объявляю вам спасибо!

Абсолютно ни один из эфиопова моря не понял, почему именно Кири-Куки объявляет спасибо и за что спасибо?! И вся громада ответила ему изумленным громовым:

— Ура!!!

Несколько минут бушевало оно на острове, а затем его прорезал новый вопль Кири-Куки:

— А теперь, братцы, вали присягать!

И когда восхищенные эфиопы взвыли:

— К-кому?!!

Кири ответил пронзительно:

— Мне!!!

На сей раз хлопнуло арапов. Но паралич продолжался недолго. С криком:

— Угодил, каналья, в точку! — военачальник первый бросился качать Кири-Куки.

Всю ночь на острове, играя в небе отблесками, горели веселые костры, и пьяные от радости и от огненной воды, раскупоренной тароватым Кири, плясали вокруг них эфиопы.

Проходящие суда тревожно бороздили небо радиомолниями и собирались остров для порядку обстрелять, но вскоре весь цивилизованный мир был успокоен телеграммой таймсова корреспондента:

— У дураков на острове национальный праздник — байрам точка мошенник гениален.

Глава V
Bount

Затем события покатились со сверхъестественной быстротой. В первый же день, чтобы угодить эфиопам, Кири остров назвал Багровым, в честь основного эфиопова цвета, и этим эфиопов, равнодушных к славе, не прельстил, а арапов обозлил. Во второй день, чтобы угодить арапам, в должности военачальника утвердил арапа же Рики-Тики и этим арапам не угодил, потому что каждый из них хотел быть начальником, а эфиопов обозлил. В третий, чтобы угодить лично себе, соорудил себе из шпровой коробки лохматый головной убор, до чрезвычайности напоминающий корону покойного Сизи. Этим никому не угодил и всех обозлил, ибо арапы полагали, что каждый из них достоин коробки, а эфиопы, развращенные огненной водой, были вообще против коробки, напоминающей им весьма жгуче приведение к одному знаменателю.

Последнее же мероприятие Кири-Куки было направлено по адресу огненной воды, и на нем Кири окончательно и засыпался. Кири объявил, что огненной воды будет всем поровну, и не исполнил. Очень просто. Ежели всем, то ее нужно много. А где же ее взять? В обмен на воду Кири загнал очередной урожай маиса — воды много не добыл, зато не только эфиопам, но и арапам подвело животы и получилось неудовольствие.

В прекрасный жаркий день, когда Кири по обыкновению лежал негодный к употреблению в своем вигваме, к начальнику Рики-Тики явился некий эфиоп, на физиономии коего были явственно выписаны его смутяньские наклонности. В момент его появления Рики

пил огненную воду под аккомпанемент хрустящего жареного поросенка.

— Тебе чего надо, эфиопская морда? — сухо спросил мрачный командир.

Эфиоп пропустил комплимент мимо ушей и прямо приступил к делу.

— Ды, как же это? — заныл он, — ведь это что же? Вам и водка и поросята? Это опять, стало быть, старые порядки?

— Ага. Ты, значит, поросенка захотел? — сдерживаясь спросил воин.

— А как же? Чай, эфиоп тоже человек? — дерзко ответил визитер и нагло отставил ногу.

Рики взял поросенка за хрустящую ножку и, развернув его винтом, хлопнул эфиопа в зубы так, что из поросенка брызнуло масло, изо рта эфиопа — кровь, а из глаз — слезы попеременно с крупными зелеными искрами.

— Вон!!!! — закончил Рики дискуссию.

Неизвестно, что такое учинил эфиоп, вернувшись к себе домой, но хорошо известно, что к концу дня весь остров уже гудел, как улей. А уже ночью фрегат «Ченслер», проходя мимо острова, видел два зарева в южной бухте Голубого Спокойствия и весь мир встревожил телеграммой:

«Острове огни всем признакам ослов эфиопов снова праздник Гаттерас».

Но почтенный капитан ошибся. Правда, огни были, но праздничного в них не заключалось ровно ничего. Просто в бухте горели вигвамы эфиопов, подожженные карательной экспедицией Рики-Тики.

На утро огненные столбы превратились в дымные, причем их было не два, а уже девять. К ночи дымы превратились опять в лапчатые зарева (шестнадцать штук).

Мир был встревожен газетным заголовком в Па-

риже, Лондоне, Риме, Нью-Йорке, Берлине и прочих городах: «В чем дело!»

И вот пришла телеграмма таймсовского корреспондента, поразившая мир:

«Шестой день горят вигвамы арапов. Тучи эфиопов ... (неразборчиво) Кири жулик бежа... (неразборчиво)».

А через день грянула на весь мир ошеломляющая телеграмма, уже не с Острова, а из европейского порта:

«Ephiop sakatil grandiosni bount. Ostrov gorit, povalnaja tschouma. Gori trouпов. Avansom piatsot. Korrespondent».

Часть II ОСТРОВ В ОГНЕ

Глава VI *Таинственные пироги*

На рассвете часовые на европейском берегу крикнули:

— На горизонте суда!!

Лорд Гленарван вышел с подозрной трубой и долго изучал черные точки.

— Мой не понимай, — сказал джентльмен, — похоже, пироги диких?...

— Гром и молния! — воскликнул Мишель Ардан, отбросив Цейсс в сторону, — ставлю вашингтонский доллар против дырявого лимона выпуска 23-го года, если это не арапы!

— И очень просто, — подтвердил Пагонель.

Ардан и Пагонель угадали.

— Что означай-т? — спросил лорд, удивившись в первый раз в жизни.

Вместо ответа, арапы только хныкали. На них было положительно страшно смотреть. Когда они

немного отдышались, выяснились ужасные вещи: эфиопов тучи. Проклятые смутьяны разожгли этих дураков. Требование: арапов к чертям. Рики послал экспедицию и ее перебили. Мерзавец Кири-Куки улизнул первый на пироге. Остатки карательной экспедиции во главе с Рики-Тики вот они — в пирогах. Они мало-мало к лорду приехали.

— Сто сорок чертей и одна ведьма!! — грянул Ардан, — они собираются жить в Европе. Компренэву?!

— Но кто кормить будет? — испугался Гленарван, — нет, вы обратно остров езжай.

— Нам таперича, ваше сиятельство, на остров и носу показать невозможно, — плакали арапы, — эфиопы нас начисто поубивают. А во вторых строках, вигвамы наши к черту попалили. Вот ежели какую ни на есть военную силу послать, смирить этих сволочей...

— Благодарю, — иронически ответил лорд, указывая на телеграмму корреспондента, — у вас там чума. Мой еще с ума не сходил. Один мой матрос дороже, чем ваш паршивый остров весь. Да.

— Точно так, ваше превосходительство, — согласились арапы, — известно, что мы ни черта не стоим. А насчет чумы господин корреспондент верно пишут. Так и косит, так и косит. И опять же голод.

— Тэк-с, — задумчиво сказал лорд, — ладно. Мой будет посмотрейт, — и скомандовал, — в карантин!

Глава VII

Араповы муки

Чего натерпелись арапы в гостях у лорда, и выразить невозможно. Началось с того, что их мыли в карболке и держали за загородкой, как каких-нибудь ослов. Кормили аккуратно, как раз так, чтобы арапы не умирали. А так как установить точную норму при

таким методе невозможно, то четверть арапов все-таки отдала Богу душу.

Наконец, промариновав арапов в карантине, лорд направил их на работы в каменоломни. Там были надсмотрщики, а у надсмотрщиков бичи из воловьих жил...

Глава VIII

Мертвый остров

Суда получили приказ обходить остров на пушечный выстрел. Так они и делали. По ночам было видно слабое догорающее зарево, а днем остров тлел черным дымом. Потом к этому прибавился удушающий смрадный дух. По голубым волнам тянуло трупным запахом.

— Крышка острову, — говорили матросы, глядя в бинокли на коварную зеленую береговую полосу.

Арапы, превратившиеся на хлебах лорда в бледные тени, шляясь в каменоломнях, злорадствовали:

— Так им и надо, прохвостам. Пушай поумирают к свиньям. Когда все издохнут, вернемся и остров займем. А уже этому мерзавцу Кири-Куки кишки выпустим своеручно, где бы ни попался.

Лорд хранил спокойное молчание.

Глава IX

Засмоленная бутылка

Ее выбросила однажды волна на европейский берег. Ее вскрыли с карболовыми предосторожностями в присутствии лорда и в ней оказались неразборчивые каракули эфиопской руки. Переводчик разобрался в них и представил лорду документ:

«Погибаем с голоду. Ребята (через ять) малые дохнут. Чума то же самое. Чай, ведь, мы люди? Хлебца пришлите. Любящие эфиопы».

Рики-Тики посинел и взвыл:

— Ваше сиясь!.. Да, ни за что! Да, пушай поумирают! Да ежели после всего их бунта, да, еще и кормить...

— Я и не собираюсь, — холодно ответил лорд и съездил Рики по уху хлыстом, чтобы он не лез с советами.

— В сущности это свинство... — пробормотал сквозь зубы Мишель Ардан, — можно было бы послать немного маису.

— Благодарю вас за совет, месье, — сухо ответил Гленарван, — интересно знать, кто будет платить за маис? И так эта арапская орава налопала на чёрт знает сколько. В глупых советах я не нуждаюсь.

— Вот как? — прищурившись спросил Ардан, — позвольте узнать, сэр, когда мы стреляемся? И клянусь, дорогой сэр, я попаду в 20 шагах в вас так же легко, как в собор Парижской Богоматери.

— Я не поздравляю вас, месье, если вы окажетесь в 20 шагах от меня, — ответил лорд, — вес вашего тела увеличится на вес пули, которую я всажу вам в один из ваших глаз по вашему выбору.

Филеас Фогг был секундантом лорда, Пагонель — Ардана. Весь Ардан остался прежним и Ардан в лорда не попал. Он попал в одного из арапов, сидевших из любопытства за кустом. Пуля вошла арапу в переносицу и вышла через затылок. Арап умер в то время, когда она была на полпути — посредине мозга.

Ардан и Гленарван пожали друг другу руки и разошлись.

Но этим история с бутылкой не кончилась. Ночью 50 арапов сбежали на пирогах с европейского берега, оставив лорду нахальную записку:

«Спасибо за карболку и воловьи жилы надсмотрщиков. Надеемся, что когда-нибудь мы им переломаем ноги. Едем обратно на остров. С эфиопами замиря-

емся. Лучше от чумы подохнуть дома, чем от вашей тухлой солонины. С почтением, арапы».

Уехавшие уперли с собою надзорную трубу, испорченный пулемет, 100 банок сгущенного молока, шесть дверных блестящих ручек, 10 револьверов и двух европейских женщин.

Лорд перепорол оставшихся арапов и занес в книжку стоимость похищенного.

Часть III БАГРОВЫЙ ОСТРОВ

Глава X *Изумительная депеша*

Прошло 6 лет. Изолированный мертвый остров был забыт. С кораблей изредка издали видели моряки в бинокли пышную зелень его берегов, скалы и пенный прибой. Больше ничего.

Семь лет было назначено, чтобы выветрилась чума и остров стал безопасным. В конце седьмого предполагалась экспедиция на остров с целью вселения арапов обратно. Арапы худые, как скелеты, томились в каменоломнях.

И вот в начале седьмого года цивилизованный мир был потрясен изумительным известием. Радиостанции Америки, Англии, Франции приняли радиотелеграмму:

«Чума кончилась. Слава богу живы здоровы, чего и вам желаем. Ваши уважаемые эфиопы».

На утро во всем мире газеты вышли с аршинными заголовками:

Остров говорит!!

Загадочные радио!!! Эфиопы живы?!

— Клянусь фланелевыми панталонами моей бабушки! — взревел М. Ардан, — это сверхъестественно. Не то удивительно, что они выжили, а то, что они

дают телеграммы. Не дьявол же им соорудил радиостанцию?!

Лорд Гленарван принял известие задумчиво. Арапы же были совершенно разбиты. Рики-Тики-Тави хныкал и просил лорда:

— Теперича, ваше преосвященство, единственно: перебить их — экспедицию послать. Ведь это что ж такое делается?! Остров наш наследственный. До каких же пор мы тут томиться будем?

— Мой будет посмотрейт, — ответил лорд.

Глава XI

Капитан Гаттерас и загадочный баркас

В чудесный майский день у Острова на море показался дым винтом, и вскоре корабль, под командой капитана Гаттераса, командированный лордом Гленарваном, пристал к берегу. Матросы усеяли ванты и борты и с любопытством глядели на остров. Глазам их представилась следующая картина: в бухте мирно дремала вода и неизвестный баркас торчал у самого берега среди целой стаи новеньких, видимо, только что отстроенных пирог. Загадка радиотелеграммы объяснилась тут же: вдали глядел в изумрудном тропическом лесу шпиль чрезвычайно уродливо сооруженной радиостанции.

— Сто дьяволов! — вскричал капитан, — эти остолопы сами построили эту кривую дылду!

Матросы весело хохотали, глядя на корявый плод эфиопова творчества.

Лодка с корабля подошла к берегу и высадила капитана с несколькими матросами.

Первое, что поразило отважных мореплавателей — это чрезвычайное изобилие эфиопов. Гаттераса обступили не только взрослые, но и целая куча молодых. На самом берегу гирляндами сидели толстые малень-

кие эфиопчики и удили рыбу, свесив ноги в голубую воду.

— Чёрт меня возьми, если эта чума не пошла им на пользу! — удивился Гаттерас, — у них такие морды, как будто их кормили кашей «Геркулес»! Ну-с, будем посмотреть дальше...

Дальше его поразил именно старенький баркас, приютившийся в бухте. Одного опытного взгляда было достаточно, чтобы убедиться: баркас с европейской верфи.

— Это мне не нравится, — процедил сквозь зубы Гаттерас, — если только они не украли эту дырявую калошу, то спрашивается, какая каналья шлялась на остров во время карантина? Мне сильно сдается, что баркас немецкий! — И обратившись к эфиопам, он спросил:

— Эй вы! Краснорожие черти! Где вы свистнули лодку?

Эфиопы лукаво заулыбались, показав жемчужные зубы, и ничего не ответили.

— Не желаете отвечать? Ладно, — капитан нахмурился, — я вас сделаю разговорчивее.

С этими словами он направился к баркасу. Но эфиопы преградили ему и матросам путь.

— Прочь! — рявкнул капитан и привычным жестом взялся за задний карман.

Но эфиопы не ушли прочь. В одно мгновение Гаттерас и матросы оказались в тесном и плотном кольце. Шея капитана побагровела. В толпе он вдруг разглядел одного из белых арапов, бежавших из каменоломни.

— Ба-а! Старый знакомый! — воскликнул Гаттерас, — теперь я понимаю, откуда смуты! Подойди сюда, негодяй!

Но негодяй не пожелал подойти. Он так и заявил:

— Не пойду!

Капитан Гаттерас в бешенстве оглянулся, и шея

его стала фиолетовой, составив прекрасный контраст с белым полем его шлема. Дело в том, что в руках у многих эфиопов он разглядел ружья, чрезвычайно похожие на немецкие винтовки, а в руках у арапа — свистнутый у Гленарвана парабеллум. Лица матросов, обычно бойкие, стали серьезно-серенькими. Капитан глянул на жгучее синее небо, затем на рейд, где покачивался его корабль. Оставшиеся на борту матросы пестрели белыми пятнышками на реях и мирно наблюдали берег.

Капитан Гаттерас умел владеть собой. Шея его постепенно приобрела нормальный цвет, говорящий о том, что паралич на сей раз отсрочен.

— Пропустите-ка меня обратно на корабль, — вежливо-хриплым голосом сказал он.

Эфиопы расступились и Гаттерас, эскортируемый моряками, отбыл на корабль. Через час на нем загремели якорные цепи, а через два он уже виднелся лишь маленьким дымком на горизонте солнечного моря.

Глава XII

Непобедимая армада

В бараках, занятых арапами, творилось что-то неопишемое. Арапы выпускали победные клики и ходили на головах. В этот день им ведрами подали золотистый жирный бульон. Лохмотьев на арапах больше не было. Им выдали великолепные ситцевые штаны и сколько угодно краски для боевой татуировки. У барачников стояли в козлах новехонькие скорострельные винтовки и пулеметы.

Рики-Тики-Тави был интереснее всего. Он сверкал кольцами в носу, пестрел развевающимися перьями. Лицо у него сияло, как у живоцерковного попа на Пасху. Он ходил, как помешанный, и говорил только одно:

— Ладно, ладно, ладно. Ужо, таперя, голубчики,

вы у меня попрыгаете. Дай срок доплывем. Вот только доплывем.

И при этом пальцами он делал такие жесты, как будто кому-то невидимому выдирает глаза:

— Стройся! Смирно! Ура! — кричал он и летал перед фронтом отяжелевших от бульона арапов.

Три бронированных громады в порту стали принимать араповы батальоны. И тут произошло событие. На середину перед фронтом вылезла оборванная и истасканная фигурка с головой, стриженной ежиком. Ошеломленные арапы всмотрелись и узнали в фигурке никого иного, как самого Кири-Куки, скитавшегося все это время неизвестно где.

Он имел наглость выйти перед фронтом арапов и с заискивающей улыбочкой обратиться к Рики-Тики:

— А меня-то что ж, братцы, забыли? Чай, я ваш. Тоже арап. И меня на остров возьмите. Я пригожусь...

Он не успел окончить речь. Рики позеленел и вытащил из-за пояса широкий острый ножик.

— Ваше здоровье, — трясущимися губами обратился он к лорду Гленарвану, — этот самый... вот этот, вот и есть Кири-Куки, из-за которого сыр-бор загорелся. Дозвольте мне, ваша светлость, своими руками ему глоточку перерезать?

— Отчего же. С удовольствием, — ответил лорд благодушно, — только скорей, не задерживай посадку.

Кири-Куки успел только раз пискнуть, пока Рики мастерским ударом перекатил ему глотку от уха и до уха.

Затем лорд Гленарван и Мишель Ардан выступили перед фронтом, и лорд произнес напутственную речь:

— Езжайт, эфиопов покоряйт. Мой будет помогать, с корабля стреляйт. Ваш потом будет платийт за этот.

И батальоны арапов под музыку сели на суда.

Глава XIII
Неожиданный финал

Как жемчужина, сияющий предстал в ослепительный день остров. Суда подошли к берегу и начали высаживать вооруженный арапов строй. Рики — полный боевого пламени — соскочил первый и, потрясая саблей, скомандовал:

— Храбрые арапы, за мной!

И арапы устремились за ним.

Затем произошло следующее: из плодоносной земли острова навстречу незванным гостям встала неопишуемая эфиопова сила. Эфиопы ползли густейшими шеренгами. Их было так много, что зеленый остров во мгновение ока стал красным. Они перли тучами со всех сторон, и над их красным океаном, как зубная щетка, густо лезла щетина копий и штыков. Кое-где вкрапленные неслись в качестве отделенных командиров те самые арапы, что дали ходу из каменоломни. Означенные арапы были вдребезги расписаны эфиоповыми знаками, потрясали револьверами. На их лицах ясно было написано, что им нечего терять. Из глоток у них несло только одно: боевой командный вопль:

— В штыки!!

На что эфиопы отвечали таким воем, от которого стыла в жилах кровь:

— Бей их, сукиных сынов!!!

Когда враги встретились, стало ясно, что армия Рики ничто иное, как белый остров в бушующем багровом океане. Он расплеснулся и охватил арапов с флангов.

— Клянусь рогами дьявола! — ахнул на борту флагманского корабля М. Ардан, — я не видал ничего подобного!

— Подкрепите их огнем! — приказал лорд Гленарван, отрываясь от подзорной трубы.

Капитан Гаттерас подкрепил. Бухнула четырнад-

цатидюймовая пушка, и снаряд, дав недолет, лопнул как раз на стыке между арапами и эфиопами. В клочья разорвало 25 эфиопов и 40 арапов. Второй снаряд имел еще больший успех: 50 эфиопов и 130 арапов. Третьего снаряда не последовало, ибо лорд Гленарван, наблюдавший за результатами стрельбы в подзорную трубу, ухватил капитана Гаттераса за глотку и оттащил от пушки с воплем:

— Прекратите это, чёрт бы вас взял! Ведь вы лупите по арапам!!

В шеренгах арапов после первых двух подарков Гаттераса поднялся невероятнейший визг и вой, и ряды их дрогнули.

Взвыл даже Рики-Тики, вокруг которого закрутился бешеный водоворот. В водовороте вынырнуло внезапно искаженное лицо одного из рядовых арапов. Он подскочил к ошалевшему вождю и захрипел, причем пена вылезала у него вместе со словами:

— Как?! Мало того, что ты нас затянул в каменоломни и мариновал семь лет!! А теперь еще!! Загнал под чемоданы?! Спереди эфиопы, а сзади по башке снарядом?!! А-а-а-а!!!

Арап во мгновение выхватил ножик и вдохновенно всадил его Рики-Тики, чрезвычайно метко угадав между 5 и 6-м ребром с левой стороны.

— Помо... — ахнул вождь ...гите, закончил уже на том свете перед престолом всевышнего.

— Ур-ра!! — грянули эфиопы.

— Сдаемси!! Ура! Замиряйся, братцы!! — завывали смятенные арапы, вертясь в бушующих водах эфиоповой необозримой рати.

— Ур-ра!! — ответили эфиопы.

И все смешалось на острове в невообразимой каше.

— Семьсот лихорадок и сибирская язва!! — вскричал М. Ардан, впиваясь глазами в стекла Цейсса, — пусть меня повесят, если эти остолопы не помирились!! Гляньте, сэр! Они братаются!!

— Я вижу, — гробовым голосом ответил лорд, — очень интересно было бы знать, каким образом мы получим теперь вознаграждение за все убытки, связанные с кормлением этой оравы в каменоломнях?

— Бросьте, дорогой сэр, — вдруг задушевно сказал М. Ардан, — ничего вы не получите здесь, кроме тропической малярии. И вообще я советую вам немедленно поднимать якоря. Берегись!!! — вдруг крикнул он и присел. И лорд присел машинально рядом с ним. И вовремя. Как дуновение ветра, над их головами прошла сверкнувшая туча стрел эфиопов и пуль арапов.

— Дайте им!! — взревел лорд Гаттерасу.

Гаттерас дал и неудачно. Лопнуло высоко в воздухе. Соединенная арапо-эфиопская рота ответила повторной тучей, причем она прошла ниже и лорд собственноразлично видел, как в корчах, сразу побагровев, упали семь матросов.

— К чертям эту экспедицию!! — прогремел дальновидный Ардан, — ходу, сэр!! У них отравленные стрелы. Ходу, если вы не хотите привезти чуму в Европу!!!

— Дай на прощание!! — просипел лорд.

Известный сапожник-артиллерист Гаттерас дал на прощание, куда-то криво и косо, и суда снялись с якоря. Третья туча стрел безвредно села в воду.

Через полчаса громады, одевая дымом горизонт, уходили, разрезая гладь океана. В пенистой кормовой струе болтались семь трупов отравленных и выброшенных матросов.

Остров затягивало дымкой и исчезала в ней изумрудная напоенная солнцем береговая полоса.

Глава XIV
Финальный сигнал

В ночь одело огненным заревом тропическое небо над Багровым островом, и суда хлестнули во все радиостанции словами:

«Острове байрам чрезвычайных размеров точка черти пьют кокосовую водку!!»

А засим Эйфелева башня приняла зеленые молнии, сложившиеся в аппаратах в неслыханно наглую телеграмму:

«Гленарвану и Ардану!

На соединенном празднике посылаем вас к (неразборчиво) мат. (неразборчиво).

С почтением эфиопы и арапы».

— Закрывать приемники, — грянул Ардан.

Башня мгновенно потухла. Молнии угасли, и что происходило в дальнейшем, никому неизвестно.

ДЖОРДЖ ОРВЕЛЛ

«1984»

Глава из романа, неизвестная русскому читателю

«1984» в переводе на русский давно ходит в советском самиздате. Я другой такой страны не знаю, где так бесспорна (для тех, кто ухитрился прочесть) гениальность этого предвидения — роман поминутно вызывает у советского читателя печальную радость узнавания «зримых черт коммунизма».

В 60-е годы в Москве мне попадались два самиздатских перевода. В одном из них слово newspeak переводилось как НОВОРЕЧЬ, а Big Brother — как СТАРШИЙ БРАТ. В другом переведено, соответственно, НОВОЯЗ и БОЛЬШОЙ БРАТ. Долгое время я и мои друзья считали, что роман кончается словами ОН ЛЮБИЛ БОЛЬШОГО БРАТА. Но вот мы с трудом раздобыли английское издание и обнаружили, что это не конец — есть еще одна глава: APPENDIX. The Principles of Newspeak. Глава производила сильное впечатление. Было件нятно, что она не переведена потому, что изобилует неологизмами. Мы решили организовать перевод этой главы для самиздата, оставив не поддающиеся переводу слова и фразы в оригинальном английском виде. Дескать, сообразительный читатель поймет. Нашелся переводчик, и работа была сделана (Москва, 1968). Ко мне попал весь первый машинописный тираж — 4 экземпляра. Два из них роздал, кому — мне впоследствии так и не удалось вспомнить, а самиздатских «переизданий» я потом не встречал. Возможно, сама идея такого «частичного» перевода была неудачной. Возможно, распространять было технически сложно — ведь при перепечатке надо было оставлять свободные места и потом вписывать английский текст. Другая же половина тиража в числе прочего самиздата была у меня похищена (с применением силы и без занесения в протокол) группой сотрудников КГБ при СМ СССР во время обыска в декабре 1968 г.

Уже находясь в Израиле, я обнаружил, что во всех западных русскоязычных изданиях «1984»-го эта глава тоже отсутствует. Очевидно, опять же по причине трудности перевода, хотя труднее объяснить отсутствие в этих изданиях упоминаний, что перевод неполный.

В предлагаемом читателю новом переводе я пошел другим путем — путем замены английских слов, искаленных на английский манер, русскими словами, искаженными на советский манер. При этом в двух-трех местах я отступил от буквального следования авторскому тексту, стремясь к точности более высокого порядка. Так, слова «пайковать» и «единопорывабелен» — на совети переводчика. Сохранена любопытная особенность оригинала: автор говорит как о настоящем о двух различных моментах времени — о моменте написания романа и о 1984 годе.

1 мая 1976 г.

Юлиус Телесин

ПРИЛОЖЕНИЕ

Основы новояза

Официальным языком Океании был новояз. Он был предназначен обслуживать идеологические нужды ангсоца (английского социализма). В 1984 году новояз еще ни для кого не был единственным средством общения при письме или в разговоре. На нем, правда, писались передовицы в «Таймс», но такой подвиг был под силу только специалисту. Полагали, что новояз окончательно вытеснит старояз (то есть общепринятый английский) около 2050 года. Пока же первый неуклонно наступал, и члены партии в повседневном общении старались возможно чаще употреблять слова и конструкции новояза. Лексика, используемая в 1984 году и содержавшаяся в 9-м и 10-м изданиях словаря новояза, не была окончательной и включала много лишних слов и отживших форм, подлежащих упразд-

нению в будущем. Мы рассмотрим последнюю, пока наиболее совершенную модификацию, осуществленную в 11-м издании словаря.

Предназначением новояза было не только служить инструментом для выражения мировоззрения и мыслей, которые было положено иметь приверженцам англо-социализма, но и сделать все иные формы мышления невозможными. Надеялись, что когда новояз будет окончательно усвоен, а старояз забыт, еретическая мысль, то есть мысль, отклоняющаяся от принципов англо-социализма, будет буквально немыслима (во всяком случае в той мере, в какой она зависит от слов). Его лексика была сконструирована с таким расчетом, чтобы дать точное и подчас очень тонкое выражение для каждого оттенка смысла, который мог пожелать выразить член партии, и в то же время исключить все другие значения, а также возможность прийти к ним обходным путем. Отчасти это достигалось благодаря изобретению новых слов, но главным образом за счет ликвидации слов нежелательных и очищения оставшихся слов от неортодоксальных значений и — по возможности — вообще от всех других смыслов. Приведем пример. Слово «свободен», правда, в форме СВОБОДАБЕЛЕН до сих пор входило в новояз, но могло употребляться только в утверждениях типа ЭТА СОБАКА СВОБОДАБЕЛЬНА ОТ БЛОХ или ЭТО ПОЛЕ СВОБОДАБЕЛЬНО ОТ СОРНЯКОВ. Оно не могло служить в своем прежнем смысле в конструкциях «политически свободный» или «свободное творчество», так как политической или творческой свободы больше не существовало. Даже понятий таких не было, и потому они, естественно, были безымянны. Не говоря уже об аннулировании явно еретических слов, уменьшение лексики рассматривалось как самоцель, и ни одно слово не имело права на существование, если без него можно было обойтись. Целью новояза было не расширить мысль, а с у з и т ь ее, и сведение вы-

бора слов к минимуму косвенно способствовало достижению этой цели.

Новояз был построен на базе английского в том виде, как мы его знаем, хотя многие новоязовские предложения, даже когда они не содержали новоизобретенных слов, едва ли были бы понятны нашему современнику, владеющему английским. Слова новояза были разбиты на три категории: *А*-словарь, *В*-словарь («Составные слова») и *С*-словарь. Подробный разбор удобно будет производить по категориям, но грамматические особенности языка можно рассмотреть в разделе, посвященном *А*-словарю, так как во всех трех словарях действуют общие правила.

А-словарь состоял из слов, необходимых для обозначения повседневных отправлений, таких, как еда, питье, работа, одевание, подъем и спуск по лестнице, поездка, уход за садом, приготовление пищи и т.п. Этот словарь почти целиком состоял из известных нам слов, таких, как БИТЬ, БЕЖАТЬ, СОБАКА, ДЕРЕВО, САХАР, ДОМ, ПОЛЕ. Но по сравнению с сегодняшним английским их количество было невелико, в то время как их значения были определены гораздо более строго. Все неясности и побочные смысловые оттенки были из них вычищены. В той мере, в какой этого удалось достигнуть, каждое слово новояза из этой категории представляло собой всего лишь отрывистый звук, выражающий о д н о четкое понятие. Было бы абсолютно невозможно употреблять эти слова для литературных целей, в политической или философской дискуссии. Их функция была выражать простые мысли утилитарного назначения, обычно связанные с конкретными предметами или действиями.

Грамматика новояза имела две замечательные особенности. Первой из них была возможность образования всех частей речи от одного корня. Из каждого слова (в принципе это относилось даже к очень

абстрактным словам, таким, как ЕСЛИ и КОГДА) могли быть сделаны и существительное, и прилагательное, и глагол, и наречие. При этом именная и глагольная формы образовывались обязательно только от одного и того же корня, и уже одно это правило приводило к разрушению многих отживших форм. Слова «думать», например, не существовало. Вместо него было слово МЫСЛИТЬ, а форма МЫСЛИЕ служила существительным. При этом не руководствовались никаким этимологическим принципом. В одних случаях решено было сохранить корень существительного, в других — глагола. Даже тогда, когда существительное и глагол со сходными значениями не были связаны этимологически, одно из этих слов зачастую упразднялось. Так, например, не было слова «делить» — его значение достаточно хорошо обслуживалось глаголом ПАЙКОВАТЬ. Прилагательные образовывались прибавлением окончания -АБЕЛЬНЫЙ, а наречия — окончания -АБЕЛЬНО. Так, например, ПЛАТЕЖАБЕЛЬНЫЙ означало «кредитоспособный». Некоторые из сегодняшних прилагательных, такие, как ХОРОШИЙ, СИЛЬНЫЙ, БОЛЬШОЙ, ЧЕРНЫЙ, МЯГКИЙ, сохранились, но их число было невелико. Потребность в них почти не ощущалась, так как любое прилагательное могло быть получено прибавлением -АБЕЛЬНЫЙ к корню имени-глагола. Из наших наречий были оставлены очень немногие. Слово «всегда», к примеру, было заменено на ВСЕГДАБЕЛЬНО.

Кроме того, любое слово могло получить противоположный смысл от добавления приставки НЕ-, или могло быть усилено приставкой ПРЕ-, или же усилено еще больше двумя приставками АРХИПРЕ-. Так, например, НЕХОЛОДАБЕЛЬНО означало «тепло», в то время как ПРЕХОЛОДАБЕЛЬНО и АРХИПРЕХОЛОДАБЕЛЬНО означало, соответственно, «очень холодно» и «чрезвычайно холодно». Можно было, как и в нашем языке, видоизменять почти любое слово по-

средством предлогов-приставок ДО-, ПОСЛЕ-, НАД-, ПОД- и т. д. Все это позволило весьма основательно сократить словарь. При наличии, например, слова ХОРОШИЙ не было нужды в слове «плохой», так как требуемое значение не хуже, а даже лучше передавалось словом НЕХОРОШИЙ. Единственное, что требовалось в каждом случае, когда два слова являлись естественной парой противоположных по смыслу, так это решить, какое из них отбросить. «Темный», например, могло быть заменено на «несветлый», или же «светлый» на «нетемный». Это было делом вкуса.

Второй особенностью грамматики новояза была ее правильность. Если не считать нескольких исключений, отмеченных ниже, все грамматические изменения совершались по единым законам. Так, у всех глаголов настоящего времени в первом лице было окончание -АЮ: ДАВАЮ, КРИЧАЮ. Формы «даю», «кричу» и т. д. были отменены. Множественное число существительных образовывалось прибавлением окончания -И: ЧЕЛОВЕКИ, КОТЕНКИ, УХИ. Сравнительная и превосходная степени прилагательных образовывались посредством -АБЕЛЬНЕЕ и -АБЕЛЬНЕЙШИЙ, а от немногих сохранившихся старых прилагательных — прибавлением -ЕЕ и -ЕЙШИЙ: ХОРОШИЙ — ХОРОШЕЕ — ХОРОШЕЙШИЙ.

Только склонять местоимения и спрягать глагол БЫТЬ разрешалось нерегулярно. Они употреблялись в своих прежних значениях. Осталось также несколько нерегулярностей в словообразовании, продиктованных потребностью сделать речь быстрой и легкой. Слово, которое трудно было произнести или которое могло быть неправильно расслышано, уже в силу этого рассматривалось как негодное. Поэтому иногда ради благозвучия в слово добавлялись буквы или же сохранялась архаичная форма. Потребность в легкости произношения особенно ощущалась в В-словаре, к которому мы и переходим.

В-с л о в а р ь состоял из слов, специально предназначенных для политических целей, — слов, не только имевших политический смысл, но и призванных навязать желательный тип мышления тому, кто этим словарем пользовался. Эти слова трудно было употреблять правильно без ясного понимания принципов англсоца. Иногда они могли быть переведены на староряз или даже словами *А-словаря*, но обычно это требовало громоздкого перефразирования и всегда приводило к утере некоторых обертонов. Слова *В-словаря*, своего рода словесная стенография, подчас вмещали в нескольких слогах целый ряд идей и в то же время были точнее и убедительнее слов обычного языка.

Все *В-слова* были сложными словами (сложные слова вроде ПИСАГОВОРЕНИЕ имелись, конечно, и в *А-словаре*, но они были просто удобными сокращениями, не несущими идеологической нагрузки). Они состояли из двух и более слов или частей слов, сплавленных вместе в легко произносимую формулу. Из полученной комбинации образовывались разные части речи, изменявшиеся по обычным правилам. Возьмем, например, слово ХОРМЫСЛИЕ, означающее (весьма приблизительно) «ортодоксальность», «правильность», или глагол ХОРМЫСЛИТЬ — «думать правильно». Вот еще некоторые части речи от этого слова: причастие настоящего времени и отглагольное существительное ХОРМЫСЛЯЩИЙ, прилагательное ХОРМЫСЛЯБЕЛЬНЫЙ.

В-слова конструировали, невзирая на этимологию. Слова, из которых они были составлены, могли быть любыми частями речи и могли быть расположены в любом порядке и исковерканы любым способом, делающим их легкими для произношения и сохраняющими следы их происхождения. В слове УГОЛОМЫСЛИЕ (уголовное мыслие), например, МЫСЛИЕ стояло на втором месте, тогда как в слове МЫСЛЕМИЛ (милиция мысли) — в обрубленном виде на первом, а стоя-

шая на втором МИЛИЦИЯ тоже потеряла свою вторую часть. Ввиду больших трудностей в деле достижения благозвучия, нерегулярные формы в *В*-словаре встречались чаще, нежели в *А*-словаре. Например, прилагательное от слова МИНИЛЮБОВЬ (Министерство Любви) было МИНИЛЮБАБЕЛЬНЫЙ просто потому, что «минилюбовьябельный» было бы несколько неудобно для произношения. Однако, как правило, разные части речи образовывались от основы *В*-слова стандартным образом.

Некоторые из *В*-слов имели очень тонкий смысл, едва ли доступный пониманию не овладевших языком в совершенстве. Рассмотрим, например, такое типичное предложение из передовицы «Таймс»: СТАРОМЫСЛЫ НЕЕДИНОПОРЫВАБЕЛЬНЫ К АНГСОЦУ. Наиболее коротко это можно перевести на староряз так: тот, чьи идеи сформировались до революции, не может как следует прочувствовать принципы английского социализма. Но это неадекватный перевод. Во-первых, для того, чтобы полностью уяснить смысл процитированной новоязычной фразы, нужно ясно понимать, что такое ангсоц. Затем, только глубоко овладевший ангсоцем мог бы постичь всю суть слова ЕДИНОПОРЫВАБЕЛЕН, которое означало принятие всеми чего-либо слепо и в то же время с энтузиазмом — сочетание, трудно представимое в наши дни. Или взять слово СТАРОМЫСЛИЕ, выражающее идею зла и деградации в самом общем виде. Но особо важная функция ряда слов новояза, к которым принадлежало и СТАРОМЫСЛИЕ, была не столько выражать понятия, сколько разрушать их. Эти слова, которых было не так уж много, уже обладали настолько широким смыслом, что как бы содержали в себе целые батареи слов. Последние, будучи теперь надежно перекрыты единым всеобъемлющим термином, могли быть отброшены и забыты. Величайшая трудность, стоящая перед составителями словаря новояза, заключалась не

в том, чтобы придумывать новые слова, а в том, чтобы придумав их, уяснить, что они означают. Другими словами — инвентаризовать те куски лексики, которые новые слова списывали за ненужностью самим фактом своего существования.

Как мы уже видели на примере слова СВОБОДА-БЕЛЬНЫЙ, слова, имевшие некогда еретический смысл, иногда ради удобства сохранялись — из них только были вычищены нежелательные значения. Многие другие слова, такие, как честь, справедливость, мораль, интернационализм, демократия, наука, религия — просто перестали существовать. Несколько всеобъемлющих слов покрывали их и, покрывая, упраздняли. Все слова, группирующиеся вокруг концепции свободы и равенства, например, охватывались одним словом УГОЛОМЫСЛИЕ, в то время как все слова, связанные с понятием объективности и здравого подхода, содержались в слове СТАРОМЫСЛИЕ. Бóльшая точность могла быть опасной. Что требовалось от члена партии, так это подход, подобный подходу древнего иудея, который знал, не зная многого другого, что все народы, кроме его собственного, поклоняются ложным богам. Ему не нужно было знать, что этих богов зовут Ваал, Озирис, Молох, Астарта и т. д. Вероятно, чем меньше он знал о них, тем лучше было для его ортодоксальности*. Он знал Иегову и его Заповеди. Он знал поэтому, что все боги с другими именами или другими атрибутами были ложными богами. Примерно так же член партии знал точно, в чем заключается правильное поведение, и в очень неопределенных общих терминах — какие существуют отклонения от него. Его половая жизнь, например, полностью регулировалась двумя словами новояза: УГОЛОСЕКС (половая безнравственность) и ХОРСЕКС

* Ваал и Астарта — см., напр., Судьи, 2:13. Молох — см., напр., Левит, 18:21. Описание языческих обрядов — см., напр., Исаия, 40:19-20. — Примеч. перев.

(целомудрие). УГОЛОСЕКС охватывал все половые преступления без исключения. Он включал в себя блуд, прелюбодеяние, гомосексуализм и прочие извращения, а также обычные половые сношения, но совершаемые с целью получить удовольствие. Перечислять их не было надобности, так как все они были равно преступны и в принципе все карались смертью. В С-словаре, состоящем из научных и технических слов, в случае надобности можно было найти специальные термины для тех или иных сексуальных отклонений, но рядовому гражданину они были ни к чему. Он знал, что такое ХОРСЕКС — нормальные половые отношения между мужем и женой с единственной целью произвести детей и без физического удовольствия для женщины. Все остальное было УГОЛОСЕКС. На новоязе было почти невозможно развивать еретическую мысль далее самого осознания, что она еретическая, — за этим пределом просто не существовало нужных слов.

В В-словаре не было слов идеологически нейтральных и было очень много эвфемизмов. Такие слова, как РАДЛАГ (лагерь радости, то есть лагерь принудительного труда) или МИНИМИР (Министерство Мира, то есть министерство войны), означали прямо противоположное тому, что казалось на первый взгляд. С другой стороны, некоторые слова с откровенным цинизмом демонстрировали понимание действительной сущности общества Океании. Например, ШИРМАС-ПОТРЕБ (широкое массовое потребление) означал дешевые развлечения и лживую информацию, которыми партия кормила массы. Были также слова двусмысленные, употреблявшиеся в положительном смысле, когда они относились к партии, и в отрицательном, когда относились к ее врагам. Было также много слов, которые на первый взгляд казались лишь сокращениями и идеологическую окраску которым придавал не смысл, а структура слова. Насколько возможно, все, что имело или могло иметь какой-либо политический

смысл, было включено в *В*-словарь. Названия всех организаций, общественных групп или учений, стран или учреждений, мест общественного пользования — непременно приводились к положенной сокращенной форме, то есть к одному легко произносимому слову с минимальным числом слогов, позволявших установить происхождение сокращения. В МИНИПРАВДЕ (Министерстве Правды), например, отдел документации, где работал Уинстон Смит, назывался ДОКОТДЕЛ, отдел беллетристики — ХУДОТДЕЛ, отдел телепрограмм — ТЕЛЕОТДЕЛ и т. д. Это делалось не только ради экономии времени. Еще в первые десятилетия XX века составные слова и группы их были отличительной чертой политического языка. Уже тогда заметили, что тенденция к такого рода сокращениям наиболее ярко выражена в тоталитарных странах и организациях. Примерами служат такие слова, как наци, гестапо, коминтерн, инпрекор, агитпроп. Вначале этой практике следовали как бы инстинктивно, но в новоязе это насаждалось с ясно осознанной целью. Было установлено, что, сокращая название, вы сужаете и тонко изменяете его смысл, отсекая от слова большинство ассоциаций, которые иначе липли бы к нему. Слова Коммунистический Интернационал, например, вызывают в воображении сложную картину всеобщего братства людей, красные флаги, баррикады, Карла Маркса и Парижскую коммуну. Словом же Коминтерн вам предлагается всего лишь тесно спаянная организация и четко определенная система действий. Этим словом обозначается нечто почти столь же легко распознаваемое и со столь же ограниченным применением, как стол или стул. Коминтерн — слово, которое можно произносить почти не думая, в то время как Коммунистический Интернационал — конструкция, на которой нельзя не задержаться хотя бы мгновение. Точно так же ассоциации, вызываемые, скажем, словом МИНИПРАВДА, малочисленнее и легче кон-

тролируемы, нежели вызываемые конструкцией Министерства Правды. Это объясняет не только обыкновение сокращать всегда, когда возможно, но и особую заботу об удобстве произношения.

В новоязе требования благозвучия перевешивали все прочие соображения, если не считать требования точности смысла. В случае необходимости ради этого жертвовали грамматическим единообразием. В самом деле — для политических целей требовались прежде всего короткие, отрывистые слова с безошибочным смыслом. Эти слова можно было произносить быстро, и они вызывали минимум отголосков в мозгу произносящего. Слова В-словаря даже выигрывали в силе от того, что почти все были похожи друг на друга. Почти всегда эти слова — ХОРМЫСЛИЕ, МИНИМИР, ШИРМАСПОТРЕБ, УГОЛОСЕКС, РАДЛАГ, АНГСОЦ, ЕДИНОПОРЫВ, МЫСЛЕМИЛ и многие другие — были словами из двух или трех слогов, с равномерным распределением ударений между слогами. Употребление их способствовало выработке особого тараторящего стиля речи — прерывистой и в то же время монотонной. Это было как раз то, что нужно. Цель заключалась в том, чтобы сделать речь — особенно же речь идеологически не нейтральную — как можно более независимой от сознания. Конечно, ежедневно произносимые слова заставляли хотя бы изредка задумываться над их смыслом, но член партии, которому поручили высказать политическое или этическое мнение, должен был уметь выпускать правильные взгляды так же автоматически, как пулемет выпускает пули. И он это мог, так как, благодаря обучению, новояз служил ему почти безотказно, а фактура слов с их резким звучанием и несколько нарочитой уродливостью, соответствующей духу ангсоца, еще более способствовала успеху. Способствовало успеху и то, что выбор слов был крайне ограничен. По сравнению с нашим словарем, словарь новояза был крохот-

ный, и изыскивались все новые и новые возможности его сокращения. В отличие от других языков, каждый год словарь новояза уменьшался вместо того, чтобы увеличиваться. Всякое уменьшение было полезно, так как чем меньше был выбор, тем меньше искушение задумываться. Выражалась надежда, что в конце концов удастся заставить членораздельную речь выходить из горла вообще без участия высших мозговых центров. Эта цель откровенно признавалась в новоязе словом КРЯКОГОВОРЕНИЕ (то есть речь, напоминающая утиное кряканье). Подобно ряду других слов В-словаря, КРЯКОГОВОРЕНИЕ имело двойной смысл. Если выкрикиваемые мнения были правильными, оно не означало ничего иного, кроме похвалы. И когда «Таймс» упоминала кого-нибудь из партийных ораторов как АРХИПРЕХОРОШЕГО КРЯКОГОВОРИТЕЛЯ — это означало одобрение и признание.

С-с л о в а р ь дополнял первые два и состоял исключительно из научных и технических терминов. Они были похожи на употребляемые в наше время и имели те же корни. Но, как всегда, нужно было их строго определить и освободить от нежелательного смысла. Они подчинялись тем же грамматическим правилам, что и слова первых двух категорий. В бытовой и политической речи С-слова почти не употреблялись. Любой научный или технический сотрудник мог найти все нужные ему слова в особом перечне слов по его специальности, и, как правило, его сведения о других перечнях ограничивались считанными словами. Лишь очень немногие слова этих перечней были общими, и никакой словарь не определял науку, независимо от той или иной ее отрасли, как умственный навык или метод мышления. Не было даже слова «наука», так как любой ее вообразимый смысл охватывался словом АНГСОЦ.

Из вышесказанного понятно, что попытка выразить на новоязе неправильное мышление, кроме как на

очень уж примитивном уровне, была почти стопроцентно обречена на неудачу. Конечно, в принципе можно было высказать ересь весьма грубого пошиба, вроде богохульства. Можно было бы, например, сказать: **БОЛЬШОЙ БРАТ НЕХОРОШИЙ**. Но такое заявление, представляющее для правильного уха всего лишь явный абсурд, не могло быть подкреплено никакими резонными доводами по той простой причине, что в наличии не имелось нужных слов. Идеи, враждебные англо-американскому обществу, могли восприниматься лишь в расплывчатой бессловесной форме и могли быть обозначены разве что в очень общих терминах, сваливавших в одну кучу и осуждавших целые группы ересей, не определяя их. Пользоваться новоязом с неправильной целью можно было только путем незаконного перевода некоторых слов обратно на старорусский язык. Например, фраза **ВСЕ ЧЕЛОВЕКИ РАВНАБЕЛЬНЫ** была возможна в новоязе, но лишь в том смысле, в каком в старорусском языке была фраза «Все люди рыжие». Тут не было грамматической ошибки, но содержалась явная неправда: будто бы все люди — одинакового роста, веса или силы. Концепции политического равенства больше не существовало, и поэтому второй смысл из слова **РАВНАБЕЛЬНЫЙ** был вычищен. В 1984 году, когда старорусский язык был еще обычным средством общения, теоретически существовала опасность, что, пользуясь словами новояза, будут помнить их первоначальный смысл. В действительности же для всякого, хорошо усвоившего **ДВОЕМЫСЛИЕ**, избегать этого не представляло труда, и через два поколения исчезла бы малейшая возможность такого недоразумения. Тот, кто растет вместе с новоязом как своим родным и единственным языком, будет знать о том, что **РАВНАБЕЛЬНЫЙ** когда-то имело второй смысл — «политически равный» или что **СВОБОДАБЕЛЬНЫЙ** когда-то означало «духовно свободный», не больше чем тот, кто никогда не слыхал о шахматах, знает вторые значения слов

«ладья» и «слон». И многих преступлений и проступков он не совершит просто потому, что у них не будет названий и, чтобы их представить, ему не хватит фантазии. Можно было предвидеть, что с течением времени характерные особенности новояза будут все более усиливаться. При этом слов в нем будет становиться все меньше, их смысл будет делаться все уже, и возможность употреблять слова не по назначению будет все реже.

Когда старояз будет окончательно вытеснен, будет уничтожена последняя связь с прошлым. История была уже переписана заново, но фрагменты литературы прошлого кое-где еще сохранялись недостаточно процenzурованными, и поскольку оставались люди со знанием старояза, все это еще можно было читать. В будущем такие фрагменты, если бы даже они и сохранились по недосмотру, будут непонятны и непереводаемы. Невозможно будет перевести какой-нибудь отрывок со старояза на новояз, если он не относится к техническому процессу или простым повседневным действиям, или уже не несет в себе правильной тенденции (**ХОРМЫСЛЯБЕЛЬНЫЙ** — сказали бы на новоязе). Практически это означало, что ни одна книга, написанная приблизительно до 1960 года, не могла быть переведена полностью. Дореволюционная литература могла быть подвергнута лишь идеологическому переводу, то есть изменению смысла, а равным образом и языка. Возьмем, например, хорошо известный отрывок из Декларации Независимости:

Мы считаем самоочевидными следующие истины: все люди созданы равными и наделены Создателем рядом неотчуждаемых прав, в числе которых право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав среди людей установлены правительства, получающие свою власть с согласия управляемых. Всякий раз, когда то или иное правительство становится на путь разрушения

этих идеалов, право народа — изменить его или же упразднить и установить новое...

Было бы совершенно невозможно перевести это на новояз, сохранив смысл подлинника. Лучшее, что можно было сделать, — это передать весь отрывок единственным словом: УГОЛОМЫСЛИЕ. Более подробный перевод мог быть только идеологическим переводом, причем слова Джефферсона превратились бы в панегирик Абсолютному Правительству.

Многое из литературы прошлого уже было переведено таким образом. Из соображений престижа было желательно сохранить память о некоторых исторических фигурах, в то же время приспособив их свершения к философии англоса. Многие писатели — Шекспир, Мильтон, Свифт, Байрон, Диккенс и ряд других — находились в процессе перевода. Когда эта работа будет завершена, их оригинальные произведения будут уничтожены, как и вообще все, что осталось от литературы прошлого. Эти переводы были тяжелой и медленно продвигавшейся работой, и их не надеялись закончить раньше первого или даже второго десятилетия XXI века. Было также много чисто утилитарной литературы — необходимые технические учебники и т. п., с которой нужно было поступить таким же образом. Именно из-за работы по переводу, требовавшей много времени, окончательное внедрение новояза было намечено на столь поздний срок — 2050 год.

Колонка редактора

ИНЕРЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ КЛИШЕ

Нормальный человек, впервые прибывающий на Запад из тоталитарного мира, долгое время ощущает себя здесь как бы в перевернутом мире: настолько непривычными оказываются в этом новом для него обществе все моральные, духовные, политические точки отсчета, критерии, посылки.

Согласитесь, неискушенному уму трудно усвоить, например, почему во Франции Жан-Поль Сартр, в свое время ярый апологет советских концлагерей, заявивший себя сейчас сторонником самого крайнего социального насилия, является «прогрессивным и передовым интеллектуалом», а великий драматург современности, выступающий за представительную демократию и духовную свободу, Эжен Ионеско занесен в список «крайне правых реакционеров»? Трудно бесхитростному мышлению согласиться также с тем, что фанатический сталинист из Португалии Альваро Куньял числится здесь знаменосцем демократии, а горячий сторонник парламентской системы правления и объединения Германии Франц-Йозеф Штраус окрещен «ястребом холодной войны» и чуть ли не исчадием ада. В той же степени непонятно западному неوفиту, с какой же это стати главный редактор бульварного издания «Штерн» Генри Наннен, в прошлом один из ведущих пропагандистов ведомства Геббельса, охотно публикующий на страницах своего издания просоветские сочинения, заслужил у себя на родине репутацию «левого» публициста, а узник гитлеровских концлагерей, телевизионный обозреватель Бернارد Левенталь, постоянно выступающий в защиту инакомыслящих России и Восточной Европы, склоняется в известной части здешней печат-

ти, как оголтелый консерватор и мракобес. И т. д., и т. д., и т. п.

К счастью, большинство вновь прибывших быстро преодолевает этот психологический шок и продолжает здесь исповедывать те же моральные и общественные принципы, которых оно придерживалось на родине, хотя нельзя отрицать того печального факта, что спекулятивно сообразительное меньшинство (кстати сказать, наименее качественное) быстро приспосабливается к обстоятельствам, или, как говорят теперь, к «политической реальности», начисто забывая, к чему привели нашу страну подобные социальные эксперименты.

Но едва ли эта тема заслуживала бы специального разговора, слишком уж очевидно происхождение вышеуказанных политических клише, если бы они — эти клише — не имели хождения среди определенной части нашей интеллигенции внутри страны. Люди, зарекомендовавшие себя на протяжении многих лет стойкими противниками насилия в любой области общественного существования, легковерно подхватывают штампованные советским пропагандистским аппаратом оценки личностей и событий в современном мире.

Но, на наш взгляд, настало время, когда из горчайшего опыта тотальной лжи, через который мы прошли, каждый из нас должен сделать непреложный вывод: если наши отечественные органы массовой информации пытаются кого-либо политически ошельмовать, значит всё надо понимать наоборот. Примеры кровавых процессов двадцатых-тридцатых годов, дело «врачей-отравителей», кампания против Пастернака, многолетняя травля Сахарова и Солженицына — убедительное тому доказательство.

Нам не следует забывать, как дорого заплатил наш народ за свое почти шестидесятилетнее легковерие.

Критика и библиография

ГУЛАГ ГЛАЗАМИ ФРАНЦУЗА

Западному читателю тюрьма в наши дни представляется хотя и неприятным, но нисколько не страшным местом. Поэтому, по свойственной людям привычке мерить всё на свой аршин, многие на Западе охотно верят, что и в советских лагерях можно, возвышаясь над действительностью, заниматься умственной деятельностью, философствовать о высоких материях, писать на досуге длинные письма и эссе. Видно, тяжелая правда об «Архипелаге ГУЛаг» с трудом укладывается в умах людей, слишком избалованных умственным и материальным комфортом. Разбить эту самоуспокоенность и скептическое равнодушие помогают свидетельства тех иностранцев, которым на собственном опыте довелось испытать цинизм, вероломство и бесчеловечность советского режима по отношению к рядовым людям, ничем от него не защищенным. К числу таких свидетельств принадлежит и книга Армана Малумяна — «Сыновья ГУЛага», — вышедшая недавно на французском языке.

Малумян приехал в Советский Союз не как дипломат, пользующийся неприкосновенностью, не как знатный гость и даже не как турист. Отец его, преподававший в Париже спортивную травматологию, под влиянием пропагандистской шумихи о расцвете советской Армении, заключив на два года договор с Ереванским институтом физкультуры, взял с собой на родину отцов двадцатилетнего сына. Сотрудники КГБ видят общительного, живого юношу, уже служившего, несмотря на молодость, добровольцем во французских войсках и раненного в битве под Эльзасом, то в обществе французских и итальянских дипломатов, то среди посетителей клуба английского и американского посольств. Все, что затем происходит с молодым французом, страшнее кошмаров, мерещившихся Кафке. 31 октября 1948 года возвращавшегося из гостей юношу ночью арестовывают поджидав-

Armand Maloumian. Les fils du Goulag, Paris, Presses de la Cité, 1976.

шие его на улице сотрудники МГБ и запирают в одиночную камеру. Вскоре он узнаёт, что приговорен к смертной казни за измену родине. Его родина — Франция, но МГБ уже смотрит на него как на свою собственность. Улики? Для советских граждан они не требуются. Для Малумяна — также. «Знание иностранных языков свидетельствует о шпионской подготовке», — записывает следователь, забывший, что для молодого иностранца французский язык — родной, а русский (которого он, кстати, и не знает) — иностранный. После угроз и пыток Малумяну предлагают поступить на службу в советскую разведку и заодно принять советское подданство. Он отказывается. Наконец, промучив его год в тюремной одиночке, МВД заменяет ему смертную казнь двадцатью пятью годами лагерей строгого режима. Характерно, что за преступление, совершенное над французским подданным, никто не понес ответа. После восьми лет мучений чудом выжившему Малумяну было объявлено, что истязали его «по ошибке»...

К книге приложена географическая карта Советского Союза. На ней отмечены лагеря и пересыльные пункты, где побывал автор: Баку, Харьков, Москва, республика Коми, Томск, Тайшет... Дольше всего пробыл он в лагере в Воркуте, где отсидели свое генерал Свобода, маршал Рокоссовский, нынешний председатель Закарпатского облисполкома Русин и тысячи иностранных подданных, многие из которых перед войной, спасаясь от фашистского нашествия, доверчиво перешли границу нашей «братской державы». Малумяну довелось попасть на воркутинские угольные шахты уже после войны. Одновременно с ним в известковом карьере трудились пять французских коммунистов, которые, сражаясь в рядах французского батальона, отказались подчиниться вероломному приказу Сталина, направленному против корейцев. Малумян рассказывает о многих других иностранцах, как и он, ставших «сыновьями ГУЛага»: немцах, иранцах, французах, ненависть которых к поработителям доходила до того, что большинство из них отказывалось изучать русский язык.

Французский читатель найдет в книге Малумяна точную информацию об условиях жизни советских заключенных. Побудка в половине пятого утра. Шестикилометровые марши по сугробам и замеченным снегами полям. Окрики и угрозы

конвойных, лай собак. Каторжный, ненормированный труд в шахтах, выматывающий из заключенных последние силы, труд, от которого не спасают ни пятидесятиградусные морозы, ни болезнь. (Процент больных заранее определен. Их не должно быть больше, чем двенадцать на три с половиной тысячи.) Малумян рассказывает, как доведенные до отчаяния эзки увечат себя, жертвуя рукой или ногой, лишь бы получить право на кратковременный отдых... Какой контраст с французскими исправительными тюрьмами, где даже самые тяжелые преступники содержатся в нормальных бытовых условиях; где в камерах их ждет не только постель с чистым бельем, но и письменный стол с книгами; где с ними занимаются спортивные тренеры, устраивают для них состязания и игры, делают максимум возможного, чтобы восстановить их личность... Надо почувствовать, какую иронию вкладывает молодой француз в перечень тех немногих вещей, которыми разрешено пользоваться советскому эзку: «одеяло, наволочка, мешок, который служит матрасом, одна простыня и полотенце величиной с носовой платок». И это лишь в «эпоху максимального благополучия»... «До 1952 года мы такой «роскошью» не пользовались», — рассказывает Малумян. Вслед за Солженицыным, Малумян рисует советские лагеря не как исправительные, а как лагеря уничтожения. Мало того, что человека без всякой вины и суда могут лишить свободы. В лагере существует система материального поощрения охраны за убийство эков. За каждого убитого (будто бы при попытке к бегству) политического, охранникам, завербованным из уголовных преступников, выдают премию. Малумян рассказывает, как органы госбезопасности отдают политических на расправу блатным, потерявшим человеческий образ. Правда, и в этом аду можно устроиться на «тепленькое местечко». Но только в награду за «хорошее поведение». А «хорошим поведением» на языке лагерного начальства называется предательство. «Разносить хлеб и еду, устроиться на работу в душ, в прачечную, в парикмахерскую... Сколько несчастных погибло из-за доносов тех, кто добился этих привилегий», — свидетельствует Малумян. Здесь, в лагере, ценность человека определяется его нравственными качествами, стойкостью и неподкупностью.

Вот виолончелист Титов. Он талантлив, но, чтобы спасти свои руки, он стал стукачом. И в глазах товарищей поступок

его не имеет оправдания. Титов для них уже не человек, а гадина, которую надо уничтожить и обезвредить. Вот киевский инженер Аркадий Чернявский, умница, незаменимый рассказчик еврейских анекдотов, проводивший десять лет в заключении. Но в 1955 году неожиданно выясняется, что он — стукач, выдавший около ста участников Воркутинской забастовки. Товарищи едва не забивают его насмерть... Таким, как Титов, Чернявский, в лагере живет лучше, чем другим. Опасность угрожает им только со стороны тех, кого они предают. Зато мужественных и стойких людей, которые не поддаются ни угрозам, ни соблазнам, в лагерях обрекают на нечеловеческие унижения, каторжный труд и неминуемую гибель. Малумян не раз спрашивает себя: кому нужно это глумление над человеческой личностью и уничтожение цвета советской интеллигенции и иностранных подданных, отказавшихся стать предателями? Постепенно он приходит к убеждению, что именно в этом и заключается сущность советской системы. «Советский Союз не может существовать без лагерей», — пишет Малумян.

Его недоверие к советской системе так велико, что, когда благодаря вмешательству французского правительства, его освобождают, он до последней минуты не верит в свое освобождение и подозревает очередную провокацию. Когда шофер в Москве привозит его и других бывших зэков на Лубянку, все они убеждены, что КГБ отдаст их на расправу уличной толпе. После всего пережитого Малумяном можно понять и этот приступ недоверия к москвичам, и обещание вернуться в Москву «с пулеметом в руках». Тем не менее, Малумян старается быть справедливым к русскому народу, в котором он видит жертву антинародного советского режима. Малумян постоянно рассказывает о сочувствии простых советских людей к заключенным. «Я люблю этот народ, — пишет он. — Народ, который всегда был беден и таким остался, но все-таки сохранил одно достоинство — душу, в которой представление о добре и зле переплетается и органически сосуществует со славянским мистицизмом и марксистским атеизмом».

Рассуждение, впрочем, настолько запутанное, что нелегко добраться до его смысла. Стойкость представлений о добре и зле действительно испокон веков была главным свойством русской души. Однако между этими христиан-

скими представлениями и марксистской идеологией уже больше полувека идет борьба. Никакое «гармоническое существование» между ними невозможно. Малумян слишком поверхностно касается здесь большого вопроса о том ущербе, который нанесен советской идеологией русскому национальному характеру; о разрушении моральных устоев, которыми был крепок русский народ.

Малумян, например, дважды повторяет, что «в Советском Союзе воруют все», потому что нельзя прожить на зарплату, тогда как, несмотря на относительную скудость жизни и даже на то, что ловкачам и жуликам живется легче, честных людей, не поддающихся коррупции, среди русских вряд ли меньше, чем в других странах. Слишком поверхностно и объяснение антисемитизма, раздуваемого в Советском Союзе с помощью прессы и радио и ставшего краеугольным камнем внутренней политики советского правительства, тем, что русские будто бы завидуют евреям, наделенным выдающимися способностями. Досадно и то, что Малумян смешивает сохранившиеся в сердцах заключенных проблески любви к родному народу с преувеличенным национализмом. Знай он лучше русскую историю, он воздержался бы от многих своих упреков. Редкий народ был так восприимчив к западной культуре и развитию западной мысли (особенно французской), как русский. И если в наши дни между Советским Союзом и западными странами искусственно создан «железный занавес», то виновата в этом вовсе не исконная русская нелюбовь к иностранцам, о которой часто говорит Малумян, а политика КПСС. «Этот национализм достигает иногда невообразимой, головокружительной высоты, — рассказывает Малумян. — Итальянский язык, говорят в России, предназначен для оперного пения. Немецкий — для команды. Французский — для дружеской беседы... Русский же, благодаря богатству словаря, пригоден для всех случаев жизни... И это сказано не с иронией, а с искренним убеждением». Русский читатель узнал бы в приведенных Малумяном фразах исковерканную цитату из Ломоносова — поэта, который первым почувствовал могущество и великолепие русского языка. Впрочем, язык, с которым автор воспоминаний познакомился в лагере, непохож на тот, которым восхищался поэт. Это пересыпанный матерщиной язык блатных, по которому так же трудно судить о

русском языке, как о французском — по воровскому аргю. Жаль, что Малумян почти на каждой странице переводит на французский ту матерщину, которая по-русски произносится обычно без всякого смысла. «Я и теперь могу сквернословить по-русски пять минут без перерыва, ни разу не повторяясь, — уверяет автор. — В России это называется десятиэтажным матом». Созданию колорита это не способствует. Сумел же Солженицын создать свои эпопеи о ГУЛаге, не прибегая к воспроизведению нечеловеческого сквернословия конвойных и блатных. К сожалению, не только «русский мат», но даже такие прекрасные русские слова, как «ясно», не вызывают у француза, слышавшего их от охранников, ничего, кроме горьких и болезненных воспоминаний.

Несмотря на отдельные неточности и оплошности, книга Малумяна заслуживает внимания читателя уже оттого, что автор правдиво рассказывает в ней и о собственных страданиях, и о страданиях лучших представителей русского народа. Каторга сделала его непримиримым врагом советского режима, разоблачила перед ним двусмысленность «социалистической» экономики, основанной на подневольном, безвозмездном рабском труде, но одновременно научила чувству солидарности с мужественными и стойкими «сыновьями ГУЛага». Француз, прочитавший эту книгу, разделит и ненависть, и любовь автора. Ради этого и написана книга.

Н. Муравина

ПРОЗА ИВАНА ПЕТРОВИЧА

Есть ли читатель?

Эти страстные повести Марамзина так интимны, что боязно становится — поймет ли кто, кроме нас, его земляков и сверстников, их боль и тоску, и прелесть.

Владимир Марамзин. История женитьбы Ивана Петровича. (1964). «Континент» № 2, 1975

Владимир Марамзин. Блондин обоего цвета. (1973). Изд-во «Ардис», 1975

Они из того же то ли марева, то ли морока сотканы, что и наш город над приневской плоскостью и наши выморочные шестидесятые годы.

В них царит жаркая и влажная атмосфера краткого северного лета, способствующая как разложению, так и завязи новой жизни.

Перечитывая их — впервые не в бледной самиздатской копии, а в ясной печати наших выстрадавших зарубежных изданий — я вспоминал лица, улицы, вечера и обрывки разговоров.

Мне ясно вспомнилось, среди прочего, жаркое июльское предвечерье года два назад, в пятницу, в конце рабочей недели.

Я выскочил из редакции в булочную на нашей тихой Таврической улице — плюшку какую-нибудь купить к чаю.

В пустой булочной в окошко кассы рыдала крупная девица:

— И не пила я водки... Что я, шкура последняя, что ли?... Вина только красного стакан...

Кассирша через окошечко высмаркивала дочкин нос своим платком и слезливо поучала:

— Не слушаете нас, матерей... все лучше знаете... Выбрось ты его из головы!

— Не будет этого! — еще пуще заливалась дочка.

Добыв все же булку, я вышел обратно на жару.

В подъезде соседнего дома причитала грузная старуха.

— Ох, не дай Бог никому такое горе — своих детей хоронить... Ох, сыночек мой... Я ж как чувствовала, пошла в магазин, сумку забыла, возвращаюсь, а он...

Другая, сухонькая, пыталась увести ее в дом.

А еще через несколько шагов, на углу, возле дверей торгующего бормотухой магазина стояла кучка краснорожих, прилизанных после заводского душа (завод «Автоарматура», тут же за углом, в бывшем старообрядческом храме) молодых работяг, и один из них, уходя в подворотню с такой же краснорожей девкой, громко говорил приятелям:

— Заделайте еще бутылку, мужики. А мы с Валькой пока сходим, в параднике перепихнемся.

Мир, в котором живет молодой инженер-экономист Иван Петрович, это мир милой и жуткой ленинградской улицы с

праздниками сладкой сивухи и трехрублевой любви в «парадниках».

Представьте себе, что вы не читали повести и вам предлагают кратко изложенное содержание.

Молодой человек Иван Петрович после разрыва с надоевшей подругой завязывает случайное знакомство на улице и, проводив новую знакомую до дома, тут же, в подъезде, добывается ее любви.

Однако даже те немногие усилия, которые ему понадобились для завоевания девушки, кажутся Ивану Петровичу излишними и оскорбительными, и он решает с нею больше не встречаться.

Тем временем деревенская девушка Дуся, обитательница рабочего общежития, решает продать свою невинность первому встречному покупателю за 30 рублей. Эти 30 рублей нужны Дусе, чтобы раздать неотложные долги полуголодным соседкам и самой не умереть с голоду до получки.

Первым встречным и покупателем волею движимых автором судеб оказывается Иван Петрович.

Проведя ночь с Дусей в комнате общежития, Иван Петрович решает не расставаться с ней никогда, и они живут долго и счастливо.

Что за сюжет — грязь и достоевщина.

Тем не менее, берусь утверждать, что эта повесть — о чистоте, о подлинности любви, незаменимой никакими суррогатами, и, вероятно, единственная пастораль в литературе нашего времени.

Семья, основанная на любви, на той подлинной любви «да прилепится к мужу своему», которая создает полное единомыслие, единодушие, когда разговоры о доверии просто излишни, такая семья — грозный источник опасности для деспотического государства.

Об этом хорошо написано у Шафаревича в сборнике «Из-под глыб».

В этом яичке таится смертоносная иголочка для тоталитарного Кашея.

Поэтому при демагогической заботе об укреплении семьи советское государство всегда фактически разрушало семью, стараясь подsunуть своим подданным суррогатные формы.

С официальной стороны, — комсомольские свадьбы,

трафаретные улыбочки партийных папесс, венчающих во «дворцах бракосочетания», какие-то языческие поклонения и приношения в жертву цветов истукану Ильича молодежниками.

С неофициальной, но всем прекрасно известной, — грязная, нищая проституция для масс и спецсекретные бордели, устраиваемые для себя начальством.

Настоящей семье в советских условиях очень трудно выстоять и по экономическим причинам, потому что выжить можно только тогда, когда работают оба, причем у женщины все послерабочее время занято очередями и домашним хозяйством.

Коммунистам вовсе не пришлось отнимать детей у родителей силой для соответствующего воспитания в инкубаторах, как того боялись полсотни лет назад. Детей отняли незаметно — да так, что вроде бы и сами родители просят-умоляют об этом, — яслями, детсадами, школами-интернатами, пионерлагерями, которые преподносятся как замечательные завоевания социализма.

Вот главная мина, подведенная под вековой человеческий институт семьи.

Причем мина замедленного, особенно в будущем губительного действия.

Многие журналы мира недавно писали об опытах американских биологов по изучению материнского инстинкта.

Новорожденных обезьянок отнимали сразу после рождения у матерей и помещали в условия, где у них было все — тепло, пища, питье, — кроме постоянного присутствия матери (ясли).

По сравнению с контрольными, нормально, при матерях, выросшими сверстниками, эти физически хорошо развитые обезьянки отличались трусостью, пассивностью, непригодностью.

Самое интересное. Выращенные в инкубаторных условиях самочки отличались, как правило, абсолютной половой холодностью, а те, у которых в результате искусственного осеменения появлялось потомство, не проявляли ни малейших материнских чувств и сплошь и рядом тут же, играя, разрывали новорожденное существо на кусочки.

И когда я в СССР неоднократно слышал, как молодые комсо-профактивные инкубаторные макаки в импортных

платьях победоносно (передовая, современная женщина!), как некую свою высокую заслугу, преподносили: «Я с моим (моей) ни одного дня ни сидела! Ясли, детсад...» — я мысленно молил Бога, чтобы Он не подтверждал так ужасно теорию Дарвина*.

Что может противопоставить всему этому детерминированному общегосударственному ужасу маленький человек, искренний Иван Петрович, шутя и всерьез полагающий, что фальшь и кокетство, разрушающие подлинность человеческих отношений, предписаны советским женщинам государством?

Ничего, кроме искренности и любви.

Иван Петрович при всех своих эротических поисках и приключениях есть человек, героически отстаивающий свою чистоту.

Что нелегкая задача среди всеобщей грязи и, особенно, официальной грязи, ханжеской.

По официальной советской установке, счастье — в труде по строительству коммунизма. А между ног у человека (по официальной установке) как бы и нет ничего.

Автор этих строк сравнительно недавно (перед 500-летием Микельанджело, когда это было?) присутствовал на редакционном совещании, где горстка отчаянных вольнодумцев пыталась отстоять публикацию фотографии Микельанджелова Давида во весь рост, но не преуспела, и начальство велело вырезать «фрагмент Давида».

Нужна лозунговая смелость, чтобы воскликнуть, как это делает Иван Петрович: «Какое счастье людям дано между ног!»

Относиться к данной Господом плоти как к счастью, вне грязных ухмылок, значит вести бой за чистоту и нравственность против ползучей лжи. И воюет Дон Кихот Марамзина, чистый Иван Петрович, и завоевывает свою невинную красавицу!

Между «Историей женитьбы Ивана Петровича» и «Блондином обоего цвета» — десять лет.

Если согласиться с тем, о чем так хорошо писал Игнацио Силоне (а с этим трудно не согласиться), что каждый

* А ведь вся эта инкубаторная социдиллия еще и привлекательна для «прогрессивных» феминисток на Западе.

настоящий писатель, в конце концов, пишет всю жизнь одну и ту же историю, только несколько видоизменяя ее, прикладывая к разным обстоятельствам, то «Блондина» можно представить себе как сложную исповедь постаревшего и попавшего в трагический переплет Ивана Петровича.

Ржавчина окружающей пошлости все же проела, развалила трудами созданную ячейку любви, и новый Иван Петрович, уже не наивный Иван Петрович, молодой инженер, а новый Иван Петрович, Иван Петрович — искушенный художник, то ли Николай Живописец, то ли, без обиняков, автор пристально и страстно моделирует записки-личность своего антипода в искусстве и в человечестве «блондина обоего цвета».

Известно, что это произведение инкриминировалось автору на судебном процессе, было квалифицировано КГБ и судом в Ленинграде как антисоветское и, в конечном счете, послужило одной из причин разлуки автора с родиной.

Вспоминая бюрократическое косноязычие прокурорши и мало тронутые мыслью хари кагебешников на процессе Марамзина, я сильно сомневаюсь, что в недрах их учреждений кто-нибудь действительно может прочесть повесть Марамзина. Мне сдается, что им там легче расшифровать какую-нибудь шифрограмму малайзийского резидента своему папуасскому шефу, чем понять эту острую новаторскую прозу, чтение которой требует немалой эстетической подготовленности.

Но дело не в этом.

Если считать сатиру опасной для общества, то для советского общества беспощадно гротескный портрет художника-приспособленца, декоратора, нарисованный Марамзиным, действительно представляет немалую опасность.

Напуганные требованиями «социализма с человеческим лицом» советские бюрократы кряхтя согласились навести кой-какую косметику на свиное (кувшинное, протокольное) рыло своей действительности. Делается это с поистине людоедской грацией. Столовая, которая отродясь была «Столовая ГЖПТУ № 15», получает новую вывеску «Столовая ГЖПТУ № 15 «Ягодка».

Причем, когда полуграмотный областной общепит напряженно рождает список переименований — «Ягодка», «Космос», «Орбита», — это всего лишь выполнение очередной

директивы, от этого в общем балансе российской духовности мало что меняется; а вот когда художник изголяется приспособить доступные ему формы мастерства на те же штукатурно-косметические нужды — это уже моральная проституция и растрепывание душ.

Настойчиво проведенный в повести мотив бисексуальности «блондина», его болезненной пассивной педерастии, стремления «прислониться» к мужскому началу государственности показывает растрепанность как самое характерное и социально-опасное качество этого нового типа люмпен-интеллигента (пользуясь выражением Н. Коржавина).

Подстилка, продажная шкура, «пидарас», как кричат это слово в среде наших люмпенов не столько в смысле обвинения в пerversии, сколько в качестве емкого презрительного ругательства.

И, в известном смысле, вся короткая, одним духом выпаленная повесть Марамзина и есть высокое ругательство. Автор, небрежно придерживающий у лица маску персонажа Николая Живописца, неспроста оговаривается о своих пристрастиях к живописи сиенского Дуччо и к писаниям средневековых святых. Стилль христианского восхваления или поношения не чужд ему, ибо пафос сходен, пафос борьбы за чистоту во имя спасения души.

Однако те святые не по-русски писали. А кто и по-русски, так давно. А у Марамзина в прозе постоянно ощущается поддерживающее присутствие двух великих предшественников — Зоценко и Платонова.

В искусстве прозы прямое ученичество опасно, так как чревато эпитонством, а ученичество у таких мастеров, как вышеупомянутые, и вовсе губительно.

И тот и другой создали собственные артистические универсумы такой силы притяжения, что каждый молодой художник, рискнувший слишком приблизиться, превращается в вечного спутника-эпигона.

В данном случае я не говорю об откровенно воровской прозе, вроде той, что печатается «Огоньком». Там среди остывшей бурды плавают и конструкции из Платонова. Но от того, что в помойке попадают объедки хорошего, помойка не выглядит более привлекательной.

Нет, я имею в виду сверстников Марамзина, одаренных молодых писателей, которые в начале шестидесятых годов

наткнулись на мир Платонова, попали в сферу этого мощного притяжения и закружились по платоновоцентрическим орбитам.

Опримитивленные конструкции Платонова, обнажающие душу, пронзительные, кричащие.

Легко усвоенные (все мощно характерное легко усваивается), они превратились в утомительную манерность.

Марамзин прошел сквозь эти миры, сквозь эти обжиги ученичества и пошел своим путем.

Что дало ему центробежную силу? Исключительная способность к самоотдаче, наверное. Все, что он делает, он делает истово, исчерпывающе. Так, в частности, освоил он Платонова, вплоть до специальных литературоведческих, текстологических и архивных разысканий. Вот так, полностью, восприняв Платонова, он научился у этого мастера находить нерв эпохи, современника, слова. Может быть, тут речь должна идти даже не о литературной школе, а о школе христианства.

От Платонова и от Зощенко ведет корни и это умение Марамзина всегда видеть под кондовой, посконной или там теперь железобетонной личиной советской эпохи ее неверную, призрачную, фантазмагорическую сущность.

Поэтика последней повести Марамзина — вообще явление довольно исключительное в русской прозе последних десятилетий, хотя не завидую, как говорится, его переводчикам. Солецизмы, плеоназмы, оговорки улицы, жвачка газеты, скачки не оформленной ни письменно, ни устно, но ворочающей заготовки языковых клише мысли — все это такая богатая почва, такой чернозем языка, что Бог весть какие сады-огороды еще вырастит на нем Марамзин.

А может быть, так: книги вызывают читателей из небытия?

Л. Лифшиц

ТРИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О СОЦИАЛИЗМЕ

В течение многих десятилетий, когда гибла русская интеллигенция, когда оставшиеся в живых ее представители или творили за границей, или на родине предпочитали молчание бесполезной смерти, — философия на Западе продолжала вольно развиваться и свободно искать дальнейшие пути развития человеческого общества. Еще в период бурной жизнедеятельности молодого капитализма, считавшего либерализм тормозом развития индустриального общества, мыслители, с ужасом наблюдая за жизнью трудовых масс, отказывались от концепции эволюционного развития капитализма и возвращались к панацее от социальных бед всех времен — к социализму. Законы развивающегося свободного рынка требуют, чтобы развитый, ставший международно взаимосвязанным капитализм обслуживался свободными людьми, заинтересованными в прибылях — иначе, за отсутствием свободного — экономически и политически — потребителя, частное предпринимательство становится нерентабельным. Свобода гражданина при развивающихся на Западе товарно-денежных отношениях стала выгодной и государству — для борьбы с чрезвычайно усилившимся частным предпринимательством, и капитализму — для дальнейшего существования и процветания свободного рынка. Кроме того, эта свобода стала необходимой в борьбе с возможным опасным усилением государственного аппарата; необходима и народным массам для борьбы как с государством, так и с капитализмом. Образовавшееся равновесие взаимовыгодной борьбы сил наций привело к довольно быстрой мутации развитых государств и установлению в них либерально парламентских или либерально президентских режимов. Демократические свободы зрели, жили благодаря своей духовной и экономической выгоде, в то время как западная мысль (та, что называет себя передовой с большой буквы) продолжала, словно надев шоры, искать принципиально иной социалистический путь, социалистический выход из несуществующего «тупика истории».

Деятельность западных социалистов различных направлений до сих пор требует серьезного объективного исследования. Например, французские социалисты, играя роль сильного посредника между социальными силами страны, уско-

рили в тридцатых годах широкие демократические преобразования, в то время как немецкие национал-социалисты, придя к власти, постепенно поработили все социальные слои страны, начиная рабочими и крестьянами и кончая крупными промышленниками, остались в истории под ходовым, но весьма смутным названием «фашизм».

Россия, ставшая в начале века СССР, своей закрытостью, недоступностью только сильнее волновала умы западных мыслителей, называющих себя левой интеллигенцией. Некоторые устремились в социалистическую Россию и помогли новой власти создать Коминтерн (кстати, многие из них впоследствии разочаровались в социализме), остальные, глядя с восторгом на замкнутую стену, отделяющую их от первого социалистического государства, пели ему хвалу, славили великий эксперимент. Все отрицательные свидетельства о социалистическом государстве, сумевшие пробиться на Запад, называли клеветой.

Хрущевские съезды внесли некую сумятицу в умы левой западной интеллигенции. Она, стремясь, часто подсознательно, впихнуть в рамки своего мировоззрения внезапно открывшуюся действительность, стала раздроблять советскую власть, искать противоречия между государственным аппаратом и партией, партией и КГБ, КГБ и государством. Солженицынская глыба приостановила эти безуспешные поиски. ...И западная социалистическая мысль, обогнув СССР, всю его историю, но как будто теоретически осознав его ошибки, потекла дальше. Более того, обтекая СССР, социалистическая мысль называет первое социалистическое государство антисоциалистическим. Чего же проще!

Франция, как страна высокоразвитая, но только с недавних пор вошедшая в семью либерально-промышленных государств (еще двадцать лет тому назад она была преимущественно аграрной державой), является довольно выпуклой картиной поисков и противоречий мысли, ищущей либо революционный, либо радикально эволюционный путь развития общества.

На мой взгляд, три труда, принадлежащие перу французских социологов различных направлений, могут позволить углубиться в достоинства и недостатки несколько отрезвленного западного мудролюбия.

Книга «Кухарка и людоед», или «Очерк об отношениях

между государством, марксизмом и концлагерями»* написана Андре Глюксманом, бывшим в молодости маоистом, в настоящее время принадлежащим, пожалуй, к левому крылу левой французской интеллигенции. Творчество Солженицына произвело на Глюксмана неизгладимое впечатление. Сам антимарксист, Глюксман был поражен нашей ужасной правдой, нашим ГУЛАгом, сущностью советского государства. Он в своем труде разоблачает, бичует левую интеллигенцию, смягчающую репрессии, творимые в социалистических государствах. Глюксман полностью согласен с Солженицыным, во всяком случае во всем, что касается репрессий со стороны партии и государства. Он с восторгом наблюдает за протестом Матрены, Ивана Денисовича, простых людей, народа.

Разоблачая левую интеллигенцию, он вспоминает, как Сартр заявил: «Не нужно приводить в отчаяние рабочие предместья, говоря правду о Советском Союзе». Глюксман видит подноготную этой мысли Сартра, эту страшную ошибку для одних и выгодный ход для других — считать советское государство изначально рабоче-крестьянским. И Глюксман правильно утверждает, что слова Сартра равносильны утверждению, что ГУЛАг является делом рук самих рабочих! Глюксман, используя солженицынскую мысль, выступает против иерархии, против государства-насилъника, разоблачает эксплуатацию человека человеком в любом виде. Его чисто интеллектуальная нежность к Матрене, к Ивану Денисовичу может напомнить русскому народнику конца прошлого века, народника из левого крыла славянофилов.

В преступности социалистического государства, коммунистическом терроре Глюксман находит подтверждение преступности буржуазного общества, либерально-буржуазной государственности.

Исконно социалистическое мышление неотделимо от репрессивности капиталистического государства. При социалистических воззрениях любого направления, от А до Я, буржуазное государство всегда должно быть репрессивным. Поэтому без колебаний Глюксман приравнивает существование ГУЛАга к инциденту, случившемуся во Франции в 1972 году:

* André Glucksmann. La cuisinière et le mangeur d'hommes. Essai sur l'Etat, le marxisme, les camps de concentration. Paris, Ed. du Seuil, 1975.

молодой француз, ворвавшись во время забастовки в заводской двор завода «Рено» (принадлежащего государству), напал с железным ломом в руках на охранника и был им убит. Для Глюксмана первое и второе — есть одинаковое проявление сущности государства-насильника.

Крайне отрицательная сторона мировоззрения Глюксмана состоит в том, что он не делает различия между государством-номенклатурой и государством в правовом обществе, между партийным государством, являющимся монопольным руководителем страны, — и либеральным государством, которое является лишь бюстителем и регулятором функционирования стихийных законов свободного рынка при соблюдении демократических норм, обеспечивающих равновесие между социальными силами. Поэтому стремление показать идентичными роли государства в первом и во втором случаях не может не казаться искусственным.

Глюксмана, интеллектуала, специалиста по философии, социологии, экономике, никак нельзя назвать наивным. Гибель парня, бегущего с ломом в руках на охранника завода, — и ГУЛаг! Глюксману необходимо доказать отрицательность существующих государственных систем. Он не ищет наименьшего зла. И он сознательно применяет вышеуказанный метод, при этом дополняя его приемами «левацкой» публицистики, заключающимися в использовании смеси наукообразной терминологии с народным лексиконом, даже с народной бранью... все, чтобы показать, что автор пренебрегает и топчет все табу демократического буржуазного общества.

И все же критика Глюксмана, хотя и однобоко, убедительна даже в глазах той же левой интеллигенции, так как она слева. Она верна во всем, что касается социалистических стран во главе с СССР.

Второй труд принадлежит Алену Безансону*. Его «Краткий трактат по советологии» написан твердо и четко. Введение к книге подписано Раймоном Ароном, одним из лучших международных обозревателей и мыслителей Запада. Р. Арон спрашивает: какова особая черта, отличающая СССР от классических деспотий и тираний? Одно слово дает если не

* Alain Besançon. Petit traité de soviétologie. Paris, Ed. du Seuil, 1975.

ответ, то принцип поиска: идеология. Согласно Арону, советский строй был создан убежденными людьми, которые столкнулись с непреодолимым сопротивлением ряда явлений, исходящих от человека и общества в целом.

Большевики, — пишет Арон, — не бросят (хотя бы в ближайшее время) свою идеологию; несмотря на призывы Солженицына, они не признают своих иллюзий и ошибок, даже если Солженицын полностью прав в том, что власть в СССР давно уже зиждется не на каком-то идеологическом порыве, а исключительно на материальном расчете и на подчинении подданных. Далее Арон напоминает, что на Западе большинство считает режим в СССР «не из ряда вон выходящим», а который можно легко сравнить с другими режимами, известными в прежние века, разумеется, деспотическими. И это, мол, обуславливает теорию конвергенции, т. е. сближение подобного режима с «нормальным западноевропейским обществом по мере развития этого режима и сопряженной с развитием либерализации». Подобную точку зрения Раймон Арон квалифицирует ложной мудростью.

Книга Безансона построена в виде стройной, строгой, почти математической системы. Вкратце теорию Безансона можно резюмировать следующим образом: существует две и только две модели советской политики, которые Безансон условно обозначает первыми их историческими воплощениями — военный коммунизм и нэп. Под военным коммунизмом автор понимает периоды ожесточенного насилия над гражданским обществом, стремление загнать гражданское общество любой ценой в предопределенные идеологией рамки. Под нэпом автор имеет в виду некоторое отступление идеологической власти, некоторую свободу, оставленную гражданскому обществу для организации своей внутренней жизни, причем очередная нэповская фаза непосредственно вытекает из очередного провала фазы военного коммунизма.

Для всеобъемлющего охвата и исчерпывающего объяснения внешней политики советского государства Безансон также применяет весьма ясную биполярную схему. Действия КПСС вне признанных границ СССР характеризуются наличием двух систем воздействия, которые автор для удобства обозначает А и Б. Эти две системы соответствуют вышеуказанным двум сферам идеологической «сверхреальности» (военный коммунизм) и «бытовой реальности» (нэп). Систе-

ма А соотнесена с идеологической сферой там, где можно только условно говорить об «иностранной» политике: с одной стороны, мировой капитализм, с другой — международное коммунистическое движение со всеми его разветвлениями.

Система Б развивается в соприкосновении с бытовой международной реальностью или, точнее, на зыбкой грани между идеологической сферой и бытовой реальностью (тут речь идет о международной политике в обычном смысле этого термина и о межгосударственных отношениях: проблемы разрядки, холодной войны и т. д.).

Книга Безансона является голосом французского интеллигента, предупреждающего Запад о смертельной опасности, призывающего Запад к бдительности. Основное содержание этого призыва заключается в том, что СССР не есть обычная классическая деспотия, что нельзя его сравнивать ни с деспотиями прошлого (по крайней мере в Европе, добавим от себя), ни с авторитарными недемократическими режимами в настоящем. Действительно, поражает невиданный масштаб и вместе с тем устойчивость советской системы, устойчивость, которая была совершенной неожиданностью не только для эмиграции. Казалось, что противоестественная система власти не могла долго просуществовать. Безансон своеобразно объясняет конкретное функционирование советской системы и причины, почему она, вопреки ожиданиям, осталась устойчивой, несмотря на все конвульсии, которые определили мученический путь русского народа за последние полвека.

Большая заслуга автора еще в том, что он показал в своей книге суть основного противоречия между партией и партийным государством.

И все же, при всем восхищении книгой Безансона, при свойственном каждому свободному человеку критическом осмысливании прочитанного, нельзя, как мне кажется, не отметить излишний схематизм «Краткого трактата по советологии», более того, некую отвлеченность схемы. Ее можно объяснить тем, что для многих умов страшные бедствия, невиданные еще в истории Европы, противоестественность и насильственный характер каждого мероприятия, проводимого коммунистической властью, истолковываются исключительно присутствием идеологического фактора. Не

воля людей, не социология, не даже социопсихология, а нечто духовное, возникшее на учении прошлого века, породило и заставляет существовать советскую систему.

Мне кажется, можно полностью согласиться с мнением Арона, согласно которому советское партийное государство действительно черпает свою легитимность в марксистско-ленинской идеологии, но, защищая свои интересы и одновременно интересы своеобразной советской великодержавности, оно постоянно не служит, а приспособливает эту идеологию к нуждам дня, к очередным государственным задачам, собственной безопасности, при этом учитывая временные союзы (пакт с Гитлером, союз с США и т. д. и т. п.), часто жертвуя великодержавности и внешней политике все, вплоть до международного коммунистического движения.

«Искушение тоталитаризма» принадлежит перу Жана-Франсуа Ревеля*, журналиста, видного публициста, политического комментатора одного из важнейших французских еженедельников.

Ревель мастерски обосновывает психосоциологический процесс искушения тоталитаризмом. Перед глазами читателя встает слабая демократия, скатывающаяся в анархию, обряженную в одежды либерального правового государства... Следующий этап падения — самоубийство демократии, т. е. тоталитаризм, в лучшем случае, авторитарное государство. И возникает перед нами человек-гражданин в слабой, дряхлеющей демократии, расшатывающей бытие и веру в прочную свободу. Часто человек приходит в ужас, когда ищет спасения перед непонятной ему зыбкостью бытия в сильной власти. Это и есть искушение тоталитаризма.

Анализ советского строя у Ревеля сходен с анализом Глюксмана, но он метко иронизирует над глюксманской концепцией, по которой правовое государство либерального типа и партийное государство тоталитарного типа — оба суть государства-насилие. В своем труде Ревель, однако, не выступает сторонником дальнейшего эволюционного пути либерального общества, ни тем более сильной буржуазно-либеральной демократии. Он несколько запутывается в своих рассуждениях, когда называет социализмом довольно-таки

* Jean-Francois Revel. La tentation totalitaire. Paris, Ed. Robert Laffont, 1975.

туманную общественную формацию будущего, в которой, по его словам, не человек будет служить экономике, но экономика будет служить человеку. Конечно, у Ревеля проскальзывают кое-какие ссылки на конкретные преобразования социалистического характера, когда речь идет о скандинавских странах или, вернее, о заслугах социал-демократии в этих странах. Но разве нельзя предположить, что в скандинавских странах было бы не менее свободно и столь же благополучно без тяжеловесного опекунства социал-демократии!

Практически западная социал-демократическая мысль заключается, хотя и не в полном, но все же в отрицании взаимовыгодной борьбы сил в высокоразвитых свободных государствах. Для социал-демократии позиции трудящихся и частных предпринимателей не взаимовыгодны, и несправедливость либерально-буржуазного общества состоит в том, что большая часть прибавочного продукта попадает в руки к частным предпринимателям, а государственный аппарат бессил активно бороться за более справедливое распределение благ.

Социал-демократия в своей борьбе за ущемление прав частной собственности на средства производства в пользу трудящихся предполагает значительное усиление как политически, так и экономически государственного аппарата. Вместо бдительного наблюдателя, каким является либеральное государство, социал-демократия проводит политику активного вмешательства в экономическую жизнь страны, часто вплоть до массовой национализации предприятий. В результате усиления государства автоматически возникает угроза нарушения баланса взаимовыгодной борьбы сил в пользу государства, и появляется связанная с этим нарушением потенциальная возможность для государственного аппарата обрести независимость, т. е. перестать зависеть от народа со всеми вытекающими последствиями.

Как видно, не удалось Ревелю дать цельную положительную программу, но зато его книга представляет собой идеальный сборник «вопросов и ответов» для человека, прибывшего из социалистических стран на Запад и доведенного до отчаяния изысканнейшим непониманием левой интеллигенцией сути социализма. В книге Ревеля яснейшим образом обнажена односторонность мировоззрения этой интеллигенции.

Владимир Рыбаков

АЛЬТЕРНАТИВЫ ЭМИГРАЦИИ

Книга Павла Тигрида — результат многолетней работы и размышлений. Четыре ее части написаны в разные годы (первая — в 1965, вторая — в 1967, третья и четвертая датированы 1974). Эта разновременность позволяет судить о политической последовательности и тактическом опыте автора — известного деятеля демократической чешской эмиграции, ныне редактора выходящего в Париже журнала «Сведectви», — не оставляя сомнений в гуманности его целей и идеалов.

«...Эмиграция... как общественное явление — это в основе своей нравственный протест... против несправедливости, грубого насилия, тирании, нищеты, коррупции». Цель эмиграции состоит в том, чтобы перестать быть эмиграцией, вернуться на родину и в свободной стране трудиться ради ее блага. Но эмигрант, и особенно политический эмигрант, т. е. человек, профессионально занимающийся политической деятельностью, не может бездейственно выжидать изменения неблагоприятной ситуации, тем более, что сроки ожидания неизвестны. Кроме того, родина для него не только место, куда он может или не может вернуться, родина — это народ, и народ поработанный и страдающий. И эмиграция, свободная часть народа, не только продолжает жить его жизнью, его стремлениями, но и настойчиво ищет пути, которые могут привести к радикальному изменению положения вещей.

В истории, как отмечает П. Тигрид, известны две возможности, при помощи которых эмиграция добивалась своих целей: вооруженное вмешательство иностранного государства (цели которого далеко не всегда тождественны с целями эмиграции) или переворот внутри страны.

В наше время, когда мир держится на том, что автор называет равновесием ядерного террора, в чистом виде не существует ни одна из этих возможностей. Сверхдержавы, чьей мощью и волей уравновешен мир, предпочитают «уважать» интересы противной стороны, не рискуя вмешательством в локальные конфликты, происходящие в области «чужой» сферы влияния (даже если необходимость такого

вмешательства явно диктуется интересами свободы и справедливости), вызвать угрозу тотальной войны. У малых и зависимых государств, таким образом, почти не осталось свободы исторического действия.

Вторая возможность, т. е. возможность внутреннего переворота (автора интересуют страны восточного блока), существует лишь в виде явной или скрытой оппозиции, которая может быть достаточно сильной по отношению к собственному правительству, но слаба в сравнении с мощью блюдущей свои интересы сверхдержавы.

П. Тигрид показывает, как утверждалось и проявляло себя это «равновесие», доказавшее, что нравственные критерии второстепенны для политики, возможному отдающей предпочтение перед желаемым: Ялтинская конференция, предопределившая, во всяком случае в глазах общественного мнения стран Центральной и Юго-Восточной Европы, раздел мира на сферы влияния, безуспешная попытка демократических сил в этих странах сотрудничать с коммунистами в системе так называемого Народного фронта, коммунистические перевороты, поддержанные силой советского оружия и ничего общего не имеющие со свободным волеизъявлением народа, провал американской «политики освобождения поработенных народов Европы» («...Мы никогда не унизимся до того, — сказал в 1952 г. президент Эйзенхауэр, — чтобы улещать противника низкой и безнравственной торговлей, променяв свою честь на безопасность... вещевой мешок солдата не так тяжел, как цепи раба...»), потопленная в крови Венгерская революция (ООН не приняла ничего конкретного, Эйзенхауэр в ноте Булганину выразил свое «невыразимое потрясение»), неудачная попытка кубинских эмигрантов высадиться на острове в 1961 г. И, наконец, 1968 год в Чехословакии.

Достаточно мрачная картина, чтобы потерять всякий энтузиазм. Однако П. Тигрид настойчиво продолжает разбор и группировку изменений, сдвигов в международной политике, которые могут быть использованы эмиграцией в настоящем и будущем. Теория «национально-освободительных войн» и «права наций на суверенное, самостоятельное и независимое государство» позволяют сверхдержавам всеми средствами, включая военную помощь, поддерживать локальные войны, которые ведут между собой страны, пользу-

яющиеся защитой обеих (например, арабско-израильский конфликт), причем испытание новейшего оружия идет почти одновременно с дипломатическими попытками «найти мирное разрешение проблемы». Если же слишком остро задеваются интересы собственно сверхдержавы, то проблема решается несравненно быстрее (Карибский кризис). Автор отмечает, что при всем этом различие американской (демократической) и советской (тоталитарной) систем определяет разницу отношения к «подопечным», и разница эта явно ведет к тому, что демократия уступает, теряет позиции. А Советский Союз пользуется любой возможностью приобрести нового сателлита, и для СССР, во всяком случае, все усилия сводятся к тому, чтобы не допустить создания в мире третьей силы.

Итак — биполярный мир; Европа отнюдь не является силой, которой хотела бы быть; Китай не достиг уровня сверхдержавы. Где искать союзников малому государству и что может изменить такое союзничество? Пример Румынии убедительно показывает, что поддержка Китая позволила ей достичь значительной самостоятельности во внешней политике. Значит, полицентрические тенденции в мировом коммунистическом движении дают некоторый шанс странам восточного блока. Кроме того, существуют кое-какие внутренние возможности, связанные с тем, что автор называет «насыщенными амбициями» сверхдержав: страны, избежавшие прямой аннексии (в отличие от советской Прибалтики, например), но бесспорно входящие в определенную сферу влияния, что признано сверхдержавой-соперницей, именно поэтому перестают быть предметом борьбы. И чисто военное давление перерастает в отношения, которые регулируются методами более мягкими, т. е. политическими. Разумеется, следует учитывать, что ни сверхдержава, ни связанная с ней верхушка страны-сателлита не допустят ничего, что грозило бы поколебать «систему», но, тем не менее, в области социальной политики, культуры, отчасти в экономике появляется некоторая самостоятельность, которая облегчает жизнь народа, возвращает ему некоторое достоинство, а иногда подобие свободы.

Возможно, будущее создаст новые, может быть опасные, но для малых, стремящихся к независимости стран многообещающие ситуации в их отношениях с крупными

государствами. Возможно, например, представить, что большое государство (не обязательно сверхдержава) использует новейшее оружие в качестве угрожающего политического аргумента, защищая интересы своего слабого союзника. Возможно, что некое правительство попросит об атомной защите. Возможно, что какое-нибудь крупное национальное движение (например, украинское) завладеет таким оружием и будет настаивать на выполнении своих требований. Возможно, и контрабанда новейшего оружия, и совмещение политической деятельности с террористическими методами, которые пока еще не проникли в Центральную Европу, но неизвестно, надолго ли. «Разумеется, основным фактором будет положение в мировом коммунистическом движении, и прежде всего в Советском Союзе»...

Все вышесказанное относится к достаточно неопределенному будущему. Но автор, ни на минуту не упуская этого из виду, предлагает не уклоняться и от использования любых малых возможностей в области международной политики, которые дает настоящее.

Вернемся ко второй надежде эмиграции — к оппозиции внутри страны, на родине (преимущественный интерес автора сосредоточен на оппозиции в Чехословакии). П. Тигрид относится к числу тех, кто после войны и до февраля 1948 года, собственно, и составлял оппозицию по отношению к еще не вполне одержавшему верх коммунистическому режиму, причем оппозиция эта воспринималась как возможная форма сотрудничества в управлении демократическим государством. (Очевидно потому, что автор предполагал и до сих предполагает у марксистов склонность к тому, что сам он называет социализмом, т. е. к справедливому решению социальных проблем.) Но сотрудничество не состоялось, и принципиальный спор с марксистами, спор о свободе, искренние его участники вынуждены были вести шепотом дома и громко — в эмиграции.

Понадобилось много лет, прежде чем оппозиция внутри возвысила голос, и много усилий со стороны той части послефевральской эмиграции, которая считала своим нравственным и политическим долгом выяснение истины. Задачу политической эмиграции П. Тигрид видит в том, чтобы, с одной стороны, восполнить отсутствующую на родине гласность, таким образом поддерживая любые тенденции к демократизации и либерализации, кто бы ни был их инспиратором, и, с другой

стороны, в информации мирового общественного мнения, что в конце концов может так или иначе повлиять на характер развития международных отношений. (Автор подробно развивает эту мысль, мы здесь, к сожалению, не можем изложить все его соображения.) Тому, кто знаком с событиями в Чехословакии 1968 г. и кругом проблем, связанных с понятием «Пражской весны», ясна роль, которую сыграла в процессе либерализации демократическая чехословацкая эмиграция и ее печать.

После 1968 г. началась новая волна эмиграции, значительную часть которой составляли бывшие партийные функционеры. Казалось бы, именно они должны были проявить наибольшую политическую активность, тем более, что огромный интерес, который испытывал к ним Запад, ни в какое сравнение не шел с тем, что выпало на долю первой эмиграции. Но, суммирует свои размышления по этому поводу автор, они «проявили политическую и организационную инертность и пропустили несколько удобных случаев, которые могли значительно повысить чехословацкие акции за границей; этой части эмиграции не удалось сформулировать идейно-политическую программу; она остановилась на туманной концепции «социализма с человеческим лицом», подкрепленной коротким и несовершенным опытом Пражской весны». Заметим, что «туманность» принципов очень удобна для разного рода политических спекуляций, т. к., с одной стороны, не исключает в качестве критерия полезности любой политической акции «отношение к Советскому Союзу», не исключает «руководящей роли» (монопольной власти) одной партии (до сих пор никто из марксистских деятелей в эмиграции, кроме Шика, не высказался достаточно ясно на этот счет), не дает объективного взгляда на исторические события, произошедшие до февраля 1948 года (ошибки, искажения, мол, начались после...), а с другой — использует действительную трагедию чешского народа, которая известна миру лучше, чем «основы марксизма-ленинизма».

Разумеется, это только часть 120-тысячной послеавгустовской эмиграции.

Оценивая положение в сегодняшней Чехословакии, П. Тигрид приходит к печальному выводу: «Апатия, безразличие к политическим и общественным вопросам, чрезмерная сосредоточенность на материальных сторонах жизни... философия

безысходности как результат главным образом эгоизма и лени, теория «все равно ничто не имеет смысла», т. е. последствия чудовищной национальной травмы, господствуют теперь в стране. Может быть, потребуется жизнь поколения, чтобы раны немного зажили и в общественной атмосфере произошли перемены».

Тут необходимо упомянуть о корректирующем и дополняющем этот взгляд мнении одного из тех, кто читает П. Тигрида дома, на родине автора: деидеологизация общества внутри тоталитарного режима сама по себе свидетельствует о глубокой внутренней динамичности процесса, который не замечен поверхностному взгляду. Происходит мучительная переоценка ценностей, процесс, направленный прежде всего против «ценностей» марксизма, т. е. необходимый момент создания новой альтернативы*. Добавим, со своей стороны, что именно этой глубины нехватает многим марксистам послеавгустовской эмиграции.

И, наконец, — общая программа повседневного политического действия, которую формулирует автор: экспериментировать, искать новые способы политической борьбы, «преодолевать национальную или идеологическую ограниченность и искать союзников всюду, где их можно найти (от Франца Иозефа Штрауса до маоистов, с тем чтобы в полемике уяснить принципы, о которых мы говорим), принимать активное участие во всем — в политике, науке, культуре, экономике, технике, торговле, международных отношениях, в организациях, в конгрессах, в органах массовой информации, короче, хотя бы скромно участвовать в движении современной жизни, которое изменяет мир, погрывает и сметает бессмысленные идеологические конструкции, а с ними и их беспринципных знаменосцев. Вот задача политической эмиграции атомного века. И в то же время... твердо придерживаться принципов, мы не боимся добавить — нравственных принципов, необходимость которых в политике, имеющей в виду завтрашний день, нам ясна и без которых люди и общество могут существовать, но не жить».

Н. Артамонова

* Svedeckvi, № 50, стр. 207.

*Ко всем в СССР,
кто по работе или случайно соприкасается с рукописями*

В издательства, в редакции, киностудии и газеты непрерывно попадают различные рукописи. Тут проза и стихи, публицистика, очерки, философия, богословие, пьесы, сценарии, научные статьи и книги. Лучшие из них не могут пробиться в печать даже ценой авторских уступок. Какая-то часть попадает в самиздат.

Пора нам перестать лелеять надежду на перемены сверху. Мы много сделали шагов навстречу властям, давая им возможность проявить разумность. Письменность в наше время составляет главную часть культуры. Непечатание крупного поэта обедняет целые поколения. Но не менее важна и вся срединная волна литературы и мысли. Именно на ней восходят великие писатели. Она рассказывает о многом, что не попадает в поле зрения литературы вершинной.

Поэтому мы призываем всех, кому в руки попадет интересная рукопись, которая не может быть напечатана, снимать с нее копию без всякого уведомления автора (для его же безопасности) и переправлять на Запад, в любую русскую редакцию или издательство — «Континент», «Вестник РХД», «Грани», «Новый журнал», «Русская мысль», «Посев», «ИМКА-Пресс», «Ардис», «Ритм», «Время и мы» и другие.

Помните, что:

- все русские издатели за рубежом тесно связаны друг с другом;
- тайна автора и пересылателя строго сохранится (если не будет другого распоряжения от них);
- рукописи можно посылать не только для печати, но и просто для сохранения — тогда помечайте их словом «Сейф»;
- не нужно заботиться о новых инструкциях по авторскому праву, которые выдумывают власти в борьбе с культурой. Еще Карамзин писал: «Гражданские законы не могут быть сильнее естественного: спастись от мучителя». К рукописям это относится тоже;
- посылайте не только целые рукописи, но если интересны отрывки, главы, отсекаемые при печатании, — шлите их тоже.

Почти вся лучшая русская литература и мысль идут сейчас в редакционные отходы. Не позволим им пропасть, как не позволяет пропасть русскому изобразительному искусству открытый под Парижем «Русский музей в изгнании».

Снимайте на пленку, перепечатывайте, списывайте и шлите всеми доступными вам способами за границу!

Группа писателей

Это обращение пришло из России от группы писателей младшего поколения. Мы не можем назвать их имена, но поддерживаем призыв. Нами внесены в текст некоторые уточнения и дополнения, касающиеся зарубежных издательств.

Редакция «Континента»

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

ВЛАДИМИР КАЗАКОВ

ОШИБКА ЖИВЫХ

Изд. Отто Загнера, Мюнхен, 1976

На правах рукописи

Это странный роман. Роман, написанный мгновениями, как импульсами. Или пульсом — толчками крови, биением с неперенными разрывами затишья. Паузами. Тишиной. Почти каждая фраза в нем могла бы существовать самостоятельно — стихотворной строчкой, ибо она всегда выпукла и внезапна: вспышка. Сила обрности ее настолько велика, что — кирпичик прозы — она почти закукливается в себе, всякий раз поражая вас настолько, что вам не хочется переходить к следующей фразе, пока вы несколько раз не повторили про себя предыдущую. Это делает роман красивым, как живописное полотно, картина.

Движение создается в нем внезапным перескоком от одного предложения к другому, от одного образа к другому, от одного события к другому. От этого он кажется рваным в единообразные

куски, но на самом деле в нем существует крепкая внутренняя связь: она покоится на вынесенном за скобки, но автором нисколько не скрываемом сюжете романа Достоевского «Идиот». На зеркальном его отражении: не наоборот, но иначе, в других пропорциях, ибо зеркало, применяемое Казаковым, — это зеркало времени. Расчет автора именно на том и основан, что читатель должен узнать классический прототип «Ошибки живых». Связь между ними — не прямая, это взгляд, преломленный Блоком и Булгаковым (в романе есть отголоски «Незнакомки» и «Балаганчика», линии взаимоотношений Мастера и Маргариты), ранним Пастернаком и ахматовской «Позмой без героя». Это делается опять-таки не напрямую, но существует в самой ткани повествования как прием, как дыхание произведения. Роман поражает свобо-

дой, с какой автор владеет пером. И, быть может, еще больше поражает то, что свобода эта не переходит в развязность, в попытку эпа-

тажа. Это несомненно одно из самых интересных произведений современной русской литературы.

АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ

ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ

«Возраст человека», Лозанна, 1976

Московский философ и логик Александр Зиновьев выпустил книгу, которой, вероятно, суждено занять особое место в литературе. Само название ее — логический парадокс, отражающий, как в капле, содержание, в свою очередь отражающее тот кафкианский мир, который лишь по невозможности сравнить с другими, более нормальными, люди могут иногда принять за норму. В городе Ибанске всё вертится вокруг таких фундаментальных сооружений, как сортир и Гауптвахта (губа). Имена персонажей — клички, даже не претендующие на сходство с человеческими именами (Распашонка, Мыслитель, Член, Болтун). Наконец, полная серьезность изложения, нарочито короткие фразы — всё это производит впечатление странное, страшное и... изматывает читателя: 560

страниц убористого текста вас вынуждают хохотать!

Как справедливо сказано в аннотации к книге, «кажется, будто все предшественники оставили тут свой след — Платон и Ионеско, Фонвизин и Хармс, моралистическая ода XVII века и многомерная логика XX...» Бурлескная эпопея, сочетание лирического абсурда и абсурдно-документальной сухости речи. Парадоксы и дотошно-верные силлогизмы, шизофренические речи Социолога или Сослуживца и ясная логика того, кто носит имя Шизофреник. Собачий нос Инструктора и отсутствующий Хозяин, которого сменил в этом гигантском городе Глупове некий Заведующий — прозрачный псевдоним Хрущева. Впрочем, некоторые прототипы угадываются столь же просто: под именем Мазилы — Эрнст

Неизвестный, Певца — Александр Галич, дикий хоровод Уклонистов, Учителей, Литераторов, Академиков, Хряков, и всяких прочих. Порой эти имена соответствуют персонажу, его роли, порой даются резко иронически. Так, один из самых порядочных — Клеветник, из самых умных — Шизофреник... Бесчисленные учреждения: Политическое Управление Пустыками (ПУП), Всеибанский Широкозахватный Институт Внеземных Цивилизаций (ВШИВЦ), Союз Распространения Академических Книг... Новое платоновское Государство, гибрид Глупова и первой из тоталитарных утопий — Государ-

ства Солнца Кампанеллы, а точнее — все утопии и антиутопии в бешеном кружении вокруг Изма вообще, Социзма и его высшей стадии Псизма... Но толково пересказать — это значит написать к существующим 560 страницам еще несколько сот страниц комментария... Лучше просто прочесть книгу Александра Зиновьева.

И еще — не забыть лозунг, начертанный на стене Ибанского Крематория: «Уходя, заведи урну со своим прахом с собой». Это пригодится и читателю, если смех на протяжении полутысячи страниц его все-таки доконает...

ГРИГОРИЙ СВИРСКИЙ

ПОЛЯРНАЯ ТРАГЕДИЯ

«Посев», Франкфурт, 1976

Эта книга называется высоким словом — «трагедия», но рассказывает о буднях. О ежедневной жизни геологов и рабочих нефтяных промыслов на Севере России, за Полярным кругом, в бывших и нынешних лагерных местах.

Словом «трагедия» можно определить эту жизнь вчуже,

со стороны. Сами герои книги так ее не называют: они просто работают, любят, ссорятся, поют — живут на свете. Мы понимаем трагедию как нечто внезапное, разрушительное, как событие, способное сломать течение дней, оставить навсегда след, но само по себе ограниченное во времени. А

ежедневное существование на грани слома — как ежедневное существование на войне, в окопах, — перестает восприниматься людьми как трагедия, теряет ощущение остроты, обрастает бытом. Именно это и есть настоящая трагедия — спокойная привычка к потерям. Никто не плачется, не рвет страсть в клочья, наоборот — все рады случаю посмеяться, скаламбурить посолоней. И чем охотнее, чем гуще шутят — тем страшней читать. Нет ничего тяжелее и драматичнее, чем привычка людей к нечеловеческой жизни. Но другой им не дано. Где взять им другую?

В книге — шесть повестей, объединенных только местом (или местами) действия — Крайний Север, Сибирь: не места, а целые страны, где просторно, свежо и могло бы быть вольно, если бы...

Герои повестей — люди и разные, и схожие. Разные событийными поворотами судеб, схожие — дурным их оборотом и застарелой привычкой к несчастью. Еще схожие желанием жить и бороться за разумное, за доброе, хотя все они — отнюдь не ангелы.

Вся их жизнь — в работе. Другого смысла не оставле-

но. И они отстаивают этот смысл — последнее, быть может, что удерживает их на земле. Эта война — хуже нормальной, окопной, с орденами и списками погибших, с линией фронта. Здесь врага не видно. Он далеко наверху — начальство. Начальство материализуется только путем телефонных звонков, приказов, циркуляров — барственный голос или близкие бумажные слова, а результат их — чье-то нечеловеческое напряжение, попытка сделать невозможное, инфаркты, гибель людей и техники, шантаж, убийства, несправедливость, цинизм, отчаянье. Таков ежедневный привычный быт.

Книга Свирского написана в форме очерков. Те, кто знаком с советской журналистикой, увидят наглядное доказательство тому, что и журналистика может быть видом литературы, если не хватать ее за горло рамками дозволенного к публикации. Как только исчезает непрменная патока лжи, присходит обнажение факта, который, как известно, умеет сам за себя говорить. И писателю становится много легче оперировать фактом как основой прозы. Поэтому повести Свирского правильнее было бы назвать

художественными очерками. И нужно сказать, что это — новый жанр в «тамиздате». Были мемуары, проза, поэ-

зия, политическая публицистика, свободного очерка — не было.

ВЕРА КАРПОВИЧ

ТРУДНЫЕ СЛОВА У СОЛЖЕНИЦЫНА

Русско-английский толковый словарь.

Изд. «Технические словари», Нью-Йорк, 1976

Необходимость такой специфической работы, как эта книга, диктуется прежде всего тем, что даже большой части русских читателей за границей — и то приходится сталкиваться с трудностями при чтении произведений Солженицына. Трудности эти вызваны огромным богатством его словаря. Особенно ярко видно это на примере «Архипелага ГУЛаг» — само содержание тут потребовало от писателя такого расширения употребляемых им словесных пластов, что и многим достаточно квалифицированным читателям некоторые слова оказываются неизвестны. И вполне понятно — ведь на территории ГУЛага в лагерных бараках оказывались в тесном соседстве люди всех возможных профессий, слоев общества, поколений, носители различных территориальных

диалектов, профессиональных жаргонов и даже разных языков. И всё это вавилонское столпотворение требовало отражения в языке книги. Тысячи «действующих лиц» — и каждый человек, в сущности, отличается от другого своей речью.

Такое языковое разнообразие особенно трудно для русских читателей, желающих прочесть Солженицына в подлиннике. Словарь В. Карпович составлен прежде всего с целью облегчить эту работу для англоязычного читателя.

В словаре, как правило, даются переводы жаргонизмов и диалектизмов на английский нормальный литературный язык. Автор словаря не пытается найти адекватные жаргонизмы по-английски. Не говоря о том, что такой «художественный»

подход к задаче оказался бы менее точным, хотя в нем была бы попытка передать аромат и сочность языка писателя, строгий перевод

понятий здесь более важен — ведь это именно толковый словарь. И он полностью соответствует своей цели.

ДЖОРДЖЕ НИКОЛИЧ

ПО СТАРЫМ РЕЛЬЕФАМ

Изд. Гарамонд. Иоганнесбург, 1976

Поэтическая миниатюра как жанр не часто встречается в поэзии славянских народов. Стихи Джордже Николича, собранные им в книгу «По старым рельефам», — явление в этом смысле редкостное. Самодевулюющий образ — один, составляющий все стихотворение, и его мысль, и его словесную ткань — напоминает жанр хокку — традиционный в японской поэзии. И вместе с тем, как писал критик Милован Витезович (журн. «Младост», Белград, 1970), «поэзия Николича ассоциируется с самыми глубоко поэтичными образами народного творчества». Вот стихотворение «Дворник»:

Его ведет последний путь
Сквозь улицу,
Искривленную листопадом.

Видимо, странное на первый взгляд сочетание в творчестве одного поэта влияний родного фольклора и мировой культуры дает интересные результаты.

Джордже Николич — сербский поэт. Он родился в 1949 году в селе Рабровец, в 1970 году эмигрировал в США. В 1975 году участвовал в сборнике «Три славянских поэта» (вместе с Иосифом Бродским и польским поэтом Тимотеушем Карповичем), изданном в переводе на английский язык.

Судьба поэта-эмигранта — что она такое? Не на этот ли вопрос отвечает Джордже Николич стихами:

Не презирай
Упавшую звезду.
Она осуждена
Переменить пространство.

А. АВТОРХАНОВ

ЗАГАДКА СМЕРТИ СТАЛИНА

(Заговор Берия)

Изд. «Посев». Франкфурт, 1976

«Технология власти» — первый капитальный труд Авторханова по истории ВКП(б)-КПСС, уже давно стал и библиографической редкостью и классическим произведением своего жанра. Не будет преувеличением сказать, что из русских историко-политических работ, написанных на Западе, именно «Технология власти» — самая популярная в СССР книга. Тем более, что ее разрекламировал... КГБ: не только тем, что она фигурировала на многих процессах, но и тем, что ее попросту перепечатали так называемым «спецтиражом» (изд. «Мысль», Москва) под грифом «Запрещенная литература». Другая книга А. Авторханова — «Происхождение партократии» — двухтомное исследование, истинная история КПСС, вышедшая два с лишним года тому назад, стала в СССР почти столь же популярной. Новая работа историка — «Загадка смерти Сталина» — гораздо шире, чем кажется только по на-

званию: она, по сути дела, может рассматриваться, как продолжение истории КПСС, изложенной в предыдущих книгах. Период с 1948 по 1953 год — один из самых напряженных в истории всей нашей страны — отражен в книге широким фоном. Как всегда у Авторханова — всё строго документировано. Исследование одних лишь советских официальных источников, сопоставление разных описаний одних и тех же событий, разные оценки, даваемые им советскими газетами и книгами в зависимости от нужд политического момента, — даже это одно дает исследователю гораздо больше, чем можно предположить на первый взгляд. Работа, сделанная Авторхановым, — своеобразная «архивная археология»: по обломкам искаженных фактов и по самому характеру их искажения он восстанавливает истинную картину борьбы за власть сначала самого Сталина, а затем — «триумвирата» (Маленков,

Берия, Хрущев) против Сталина. Сходство этого строгого исследования с детективным романом объясняет

ся просто. Автор пишет: «При тиранических режимах политика есть искусство чередующихся интриг».

ПРОГРАММА ПОЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТОРОННИКОВ НЕЗАВИСИМОСТИ

Изд. Оверсиз, Лондон, 1976

На этой брошюрке стоит место издания — Варшава, 1976. Перепечатана она в Англии — традиционном центре польской политической эмиграции. В преамбуле сказано, что Польское объединение сторонников независимости — люди из разных слоев общества, что при разности взглядов на экономические и политические проблемы составители программы согласны в главном — Польша должна быть независимым государством в семье европейских народов.

В программе дается анализ нынешнего положения «в так называемом социалистическом лагере, т. е. в государствах, подчиненных Москве»; отмечается, что они все, включая СССР, находятся «в состоянии тяжелого, хотя и скрываемого кризиса». Констатируется, что распад международного коммунистического движения, «вырывающегося из-под дикта-

та Москвы», быстро прогрессирует.

В преамбуле дальше говорится: «Нельзя предвидеть момента, когда произойдет взрыв кризиса... Он может начаться с Польши».

Вообще анализ положения в странах Восточной Европы достаточно верен, хотя и страдает некоторой абстрактностью изложения.

Что же касается конкретных положений программы, то большая часть их представляется верной и своевременной, как, например, «введение и прочность многопартийной демократии в Польше», требование свободного религиозного воспитания детей, автономии университетов, безусловная отмена партийной монополии в экономике и тем более в идеологии. Программа выдвигает требование свободы слова как необходимого условия независимости страны. «Свобода слова — не предмет

роскоши для интеллектуалов, это предмет первой необходимости для всех».

Одно из центральных положений программы — вопрос «отношений с Россией». Тут, к сожалению, отождествлены Россия и СССР. Пока эти понятия не разделены, ни в одном вопросе не может быть достигнуто четкости. Полностью справедливы напоминания о замалчиваемых польскими властями (как и властями СССР) преступлениях советского государства против польского народа («нападение в 1939 году на Польшу Советского Союза совместно с гитлеровской Германией, позднейший вывоз миллионов польских граждан, их страшные мучения, смерть десятков тысяч, истребление большей части интеллигенции в восточных областях, катынское преступление»), но всё это приписывается русским. В программе не осознан тот простой факт, что СССР — колониальная империя интернационального коммунизма и держит все народы, в том числе и русский, в состоянии порабощения.

С другой стороны, в программе проявляется зрелая политическая мысль: авторы пишут, что ситуация, создаваемая «московским прави-

тельством», «увеличивает неприязнь и порождает даже ненависть поляков к России», и далее говорят: «Интересы Польши и России не обязательно должны сталкиваться, только упорное стремление к захватам и глупость правительств вызывает противоречия». И далее: «Мы не соседствуем с Россией, наши восточные соседи — Украина, Белоруссия, Литва». Тут авторы уже не смешивают понятий Россия и СССР, разграничивая национальное и государственное. Но на той же странице опять: «Мы выражаем этим народам горячую солидарность и поддерживаем их стремление освободиться от русского насилия» — то же самое смешение «русского» и «советского». Это вызывает у нас сожаление, при всем признании ценности этого документа, интересного с точки зрения предложений по аграрному вопросу и по реализации идеи экономического и политического плюрализма. Не «интернационализм», прикрывающий великодержавность «московского правительства», а лозунг, некогда рожденный в Польше: «За нашу и вашу свободу» — вот что могло бы быть руководящей идеей русско-польских отношений.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЧИЛИ

Мы, бывшие политзаключенные СССР, от имени узников Владимирской тюрьмы и концлагерей Пермской области, в частности, В. Буковского, С. Глузмана и многих других, предлагаем Вам принять их представителей, проживающих в настоящее время на Западе, для ознакомления с положением чилийских политических заключенных на месте.

Это позволит нам сделать объективный сравнительный анализ режима содержания и законности ареста находящихся там лиц с аналогичным положением в СССР.

Совершенно искренне

*Вадим Делоне
Иосиф Мешенер*

Адрес И. Мешенера: J. Meshener, Israel, Beer-Sheva, Sderot Jaelim 24/30

Адрес В. Делоне : V. Delaunay, 11, Rue du Docteur Paul Brousse, F-75017 Paris

Париж 7 декабря 1976

Идя навстречу пожеланию гг. Вадима Делоне и Иосифа Мешенера познакомиться с ситуацией политических заключенных Чили, ныне находящихся в лагерях, сообщая, что Декретом чилийского правительства все ранее заключенные по политическим мотивам были освобождены, кроме бывших сенаторов-коммунистов Корвалана и Монтеса, которые будут освобождены в тот момент, когда СССР освободит В. Буковского, а Куба — Х. Матоса.

Тем не менее, мы с удовольствием примем гг. Делоне и Мешенера и познакомим их со всеми юридическими обстоятельствами и теми гуманными мерами, которые чилийское правительство предпринимает по отношению к политическим заключенным.

*Леонидас ИРАПРАЗАВАЛ
Посол Чили во Франции*

Наша анкета

ИНТЕРВЬЮ С АКСЕЛЕМ ШПРИНГЕРОМ



Вопрос. После войны вы создали одно из крупнейших издательств. Какова политическая программа вашего предприятия? Есть ли у вас руководящие директивы как для издательской деятельности, так и для работы ваших сотрудников?

Ответ. Это предприятие росло из семян истин, которые я познал во время национал-социалистического господства и бросил после войны в разрушенную и опустошенную немецкую землю. Это тяга к человеческому слову, к взаимопомощи, к деловой непредвзятой информации и связи в мире, оставшемся без идейного руководства. Эти истины облекались плотью благодаря прилежанию, жертвенности и идейному богатству сотрудников. Обязательной предпосылкой, однако, была уверенность в тех представлениях, которые создались у меня о газетах и журналах нового времени. При этом мой главный замысел был — привлечь новые слои читателей, побудить их к чтению. Это удалось.

Одно мне всегда приходилось решать самому и брать риск на себя одного: в нужный момент делать

что-то новое, т. е. претворять идею в дело, вкладывать средства, отстраивать, расширять, увеличивать предприятие. А для этого надо было твердо знать, что печатное слово в руках свободных предпринимателей в век дорогостоящей техники и высокооплачиваемого труда, в век сложных сетей распространения и упорной конкуренции с телевидением и радио, имеет шансы воздействия, только если оно производится крупным техническим и хозяйственным предприятием.

В середине нашего века во всех важных областях началось образование крупных хозяйственных предприятий, которые, благодаря рационализации труда, организовали производство и предложение более дешево, ускоренно и более высокого качества. Обратите внимание на автоиндустрию, на химическую промышленность, на сталь и уголь, на торговые дома и универсамы. Но обратите внимание и на крупные организации в политике, в профсоюзном движении, в сословных и мировоззренческих группировках. Современное индустриальное общество нуждается в этих крупных организациях. И печатное слово для информации этого общества, для развлечения, для помощи в жизни, для интерпретации злободневных политических решений — во внешнем мире и дома — нуждается в большом предприятии. Как иначе финансировать дорогостоящие технические установки, в которых нуждаются газеты и журналы, чтобы иметь возможность конкурировать с телевидением и радио?

Особенность моего издательства составляют твердые политические принципы, которые я объявил моим издательским долгом. Вот они:

- Деятельность, направленная на мирное воссоздание немецкого единства в свободе, по возможности в составе объединенной Европы.

- Примирение между евреями и немцами и защита права на жизнь государства Израиль.

- Отвержение всякого вида тоталитаризма, все равно «слева» или «справа».

- Защита свободного социального рыночного хозяйства.

Все сотрудники моего предприятия обязуются защищать эти четыре принципа. Они составляют основу нашего политического действия.

Вопрос. Ваше крупное предприятие — одно из немногих, штаб которого уже много лет назад был перенесен вами в Берлин. Почему же вы двинулись из «безопасной» Федеративной Республики в «опасную» и разделенную старую столицу?

Ответ. 27 ноября 1958 года советское правительство ультимативно потребовало от западных держав, чтобы Берлин был совершенно вырезан из Германии и превращен в так называемый «вольный город». На советском жаргоне это означало решить берлинский вопрос превращением Берлина в самостоятельную политическую единицу. Это было генеральное наступление на национальное существование Германии, так как столица остается сердцем и ядром страны, даже если она — как у нас — в результате происшедшей по нашей вине войны и насилием победителя лишена своих функций.

На это генеральное наступление Советского Союза я дал мой личный ответ: днем X, днем истечения ультиматума, было 27-ое мая 1959 года. 25-го мая, т. е. двумя днями раньше, я заложил фундамент нового здания издательства на Кохштрассе — в нескольких метрах от секторальной границы, т. е. от границы советской империи в старой имперской столице и почти точно в географическом центре Берлина, конечно — всего Берлина. Тогдашний правящий бургомистр Берлина — Вилли Брандт — просил меня выбрать именно этот день, чтобы обнадежить население. Так и было.

Во время строительства здания, коммунистические наместники Москвы в Восточном Берлине воз-

двигли непосредственно перед домом стену с колючей проволокой и козлами проволочных заграждений. Но и это не остановило меня. Я построил здание, установил машины, перенес главное управление предприятия в Берлин. На этой границе насилия и несвободы, на глазах у агрессора, который заглядывает нам в окна и направляет на наш фасад специальные подслушивающие установки, мы работаем для свободы нашего Отечества и Европы, против варварства, против террора, против идеологических и расовых химер, за свободное слово, за свободное развитие человека, за свободное рыночное хозяйство, за мир и примирение народов.

Мое предприятие борется против всех видов экстремизма, который всегда несет с собой конец терпимости и прогресса, поэзии и милосердия. Я с умыслом привел эти два последних термина, ибо ваши читатели знают лучше других, что в советской сфере властвования нет места для подлинной поэзии, нет места для подлинного поэта. И также нет места для милосердия — этой центральной основы христианства, которое там, за стеной, отрицается и зажимается. А это одна из причин, почему может так произрастать варварство. В грамоте, замурованной при закладке фундамента берлинского высотного здания, я, среди прочего, распорядился написать: «Закладывая сегодня этот камень в непосредственной близости границы сектора, не ожидая боязливо результатов политических переговоров великих держав, мы выражаем нашу твердую веру в историческое единство этого города и в историческое единство Германии». Вот моя программа. Ради этого я строил. В нее — верую. Именно об этом свидетельствует здание, которое я для того так высоко поднял к берлинскому небу, чтобы оно могло светить как маяк свободного слова в темную часть немецкой столицы: в качестве утешения поработанным; наперекор власть имущим.

Вопрос. Одновременно с Андреем Сахаровым и

другими Еврейский университет в Иерусалиме присудил вам в этом году звание доктора гонорис кауза, и, кроме того, ваше имя широко известно в Израиле. Каковы основы дружественных отношений между вами и израильской общественностью?

Ответ. Мое отношение к Израилю однозначно и многопланово. Оно определяется целой шкалой моих личных — человеческих и политических — понятий о ценностях.

Во-первых, это объясняется тем, что было от немцев сделано с евреями. Это требует попытки возмещения ущерба. Причем для меня речь идет не только о материальном ущербе. Я считаю, что мы должны воспользоваться историческим шансом и стать на сторону Израиля, стать на сторону избежавших уничтожения, в первую очередь на сторону детей, избежавших уничтожения и спасшихся. Стать на их сторону — значит помогать им на всех опасных отрезках пути молодого государства: в политическом, хозяйственном, человеческом, материальном и духовном плане. Не сделка на основе взаимности, а просто в качестве исторического долга, а если это возможно, то хоть немного — из любви. Если мы, немцы, выведем обязательства из нашего новоприобретенного достоинства, нашего свободолюбивого общественного порядка, это достоинство будет нам к лицу, возвысит нашу действительность, а нашему национальному будущему даст шансы выжить исторически и политически.

Но немецко-израильские отношения имеют еще более глубокие корни и роковые связи. Я подразумеваю взаимоотношения между духом и душой, между знанием и верой в наше время. Одна из больших общностей немецкой и еврейской мысли в лице многих ее лучших представителей — уверенность в том, что вера должна быть основой знания, и что человек, и особенно знающий человек, без веры заходит в тупик. Большие вопросы человеческого духа — в конечном счете

религиозные вопросы, которые касаются божественного. Родившийся в Берлине английский нобелевский лауреат сэр Эрнест Борис Чейн так выразил эту мысль в 1974 году в Рамат Гане, где я вместе с ним получал звание доктора гонорис кауза университета Бар Илан: «В поисках кодекса этического поведения, нам приходится считаться с более постоянными ценностями, чем научные открытия и теории».

Это, в конечном счете, проблема Израиля. Но это и наша — немецкая проблема. И это — мой личный символ веры. Он принуждает меня, как немца, верящего в будущее Германии, стать на сторону Израиля.

Вопрос. В 1974 году вы создали предпосылки и для нашей работы. Что побудило вас к этому?

Ответ. Я — политически активный христианин. В этом нет секрета. В христианской истории есть личности, которые ведут меня и оставляют отпечаток на моей жизни и деятельности. К ним принадлежит святой и отшельник средневековья Николай из Флюэ. Я подписываюсь под словами одного из его самых известных толкователей: «Кто хоть в какой-то мере ощущает мистирию брата Николая, тот ощущает, что этот человек все еще невидимо находится в пути и проходит через людское столпотворение, чтобы прошептать на ухо отдельному человеку то важное слово, которое не рассеивается как звук и шум, но остается вечно». Это слово звучит: помощь подвергающимся давлению, угрозе, страдающим, преследуемым. Кратко: любовь к ближнему.

Я — политик, поэтому свою любовь к ближнему практикую не в одном лишь благотворительном плане, но и в политическом. Мой ближний в политическом смысле — это в первую очередь преследуемый немец. По ту сторону, за так называемой государственной границей «Германской Демократической Республики», и за оградой исправительных домов и трудовых лагерей в советской оккупационной зоне и в отделенных

от Германии территориях. И дальше — все люди за невидимыми стенами террора за убеждения. Все люди без свободы. Эмигранты, беженцы, лишённые советского гражданства, которые, как и я, борются за находящихся в тюрьмах и под постоянной угрозой, для меня — попутчики в борьбе за свободу. Это связывает меня с русскими борцами за свободу — с Солженицыным, Сахаровым, Максимовым, Амальриком и их друзьями. Мы все подчиняемся закону политической солидарности, к которому обязывает воля к свободе.

Вопрос. В ваших речах вы снова и снова обращаетесь к центральной теме свободы. Наблюдая за развитием в мире в целом, т. е. не только в Восточной Европе, считаете ли вы действительно, что свобода имеет шанс? Что должно произойти, чтобы ее осуществить?

Ответ. Слово и понятие «свобода» — для меня формула духовного расщепления атома нашей эпохи. Не стоит напоминать, что страдания нашей эпохи невероятно возросли в результате гитлеровской завоевательной войны. Но нельзя осуждать вчерашнюю гитлеровскую политику насилия и принимать сегодняшнюю политику насилия Советского Союза. Система несправедливости остается системой несправедливости. Несвобода остается несвободой. Вне зависимости от того, под каким флагом плавают и под каким цветом маршируют и терроризируют.

Я считаю, что политическая свобода стала настолько центральным вопросом двадцатого века, что я ее ставлю выше, чем границы и суверенитет. В наше время огромные территории могут перенести какую-то нивелировку, продырявливание государственных демаркационных линий, без того, чтобы от этого должны были страдать благосостояние и счастье людей. Но ликвидация свободы и ее разрушение означают конец достойной человека жизни. Поэтому я считаю: не верить в свободу, не бороться за свободу — значит

отрицать Бога и предавать мир чёрту, в каком бы то ни было виде. Таким образом борьба за свободу — этическое требование. В нем есть что-то от задачи спасения. Из-за этого страстный путь свободы, по которому шел и идет круг друзей «Континента», — это подлинное начало, чтобы дать шанс свободе в несвободных странах европейского Востока.

Если удастся привить народам Восточной Европы, включая Советский Союз, иммунитет против лжи их властителей, передавая правду как элексир свободы всеми путями, через стены и заборы, тогда мы подготовим ту революцию духа, которая обезвреживала ложь и свержала диктаторов, насильников и поработителей. Сегодня это звучит как сказка. Но сказка ли это?

Жил когда-то человек по имени Теодор Герцль. В казалось бы безнадежном положении обещал он евреям государство, о котором они в течение двух тысяч лет ежедневно напрасно мечтали. Герцль убеждал евреев: «Если вы захотите, это не будет сказкой». Для нас это означает: если мы захотим, если мы все всё поставим на карту, тогда свобода не будет сказкой. Ни в Германии. Ни в Польше. Ни в Венгрии, Румынии, Чехословакии и в балтийских странах. И ни в России.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»

№№ 1 — 10, 1974 — 1976

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ЭССЕ

Иосиф Богораз. «Наседка». Повесть. III — 5; IV — 219.

Владимир Войнович. Происшествие в «Метрополе». (Быль, похожая на детектив). V — 51.

Анатолий Гладилин. Тигр переходит улицу. Рассказ. VII — 5.

Иржи Гохман. Чешский хэппенинг. Роман. (Перевод с чешского). VI — 9; VII — 37; VIII — 57; IX — 26; X — 100.

Василий Гроссман. Жизнь и судьба. Главы из второй книги романа. IV — 179; V — 7 (в IV и V под названием «За правое дело»); VI — 151; VII — 95; VIII — 111.

Милован Джилас. Сестра. Рассказ VI — 112.

Вл. Корнилов. Без рук, без ног. Повесть. I — 19; II — 95.

Владимир Максимов. Ковчег для незваных. (Из романа). IX — 9.

Владимир Мрамзин. История женитьбы Ивана Петровича. Повесть. II — 5; Тянитолкай. Рассказ с авторским продолжением. VIII — 13.

Виктор Некрасов. Записки зеваки. IV — 13; Взгляд и нечто. X — 11.

Александр Солженицын. Из полного варианта романа «В круге первом» (96 глав). Глава 88. «Диалектический материализм — передовое мировоззрение». I — 125.

Александр Суконик. Мой консультант Болотин. Рассказ. (Из цикла «Омертвление»). III — 79.

Борис Ямпольский. Да здравствует мир без меня. VI — 67; Последняя встреча с Василием Гроссманом. (Вместо послесловия) [ко 2 части романа Гроссмана «Жизнь и судьба»]. VIII — 133.

СТИХИ

Василий Бетаки. Из цикла «Европа — остров». IX — 72.

Казис Брадунас. Крестовый холм. Перевод Василия Бетаки. VIII — 107.

Иосиф Бродский. На смерть Жукова. — Конец прекрасной эпохи. — В озерном краю. I — 13; Посвящается Ялте. VI — 49; Колыбельная Трескового мыса. VII — 25; Часть речи. Цикл стихотворений. X — 86.

Игорь Бурихин. Три стихотворения из цикла «Мой дом слово». VIII — 155. (С послесловием В. Мрамзина. VIII — 159).

Марат Векслер. Стихи под эпитафиями. — Земля. — Бассейн «Москва». VI — 109.

Томас Венцлова. Памяти поэта. Вариант. Перевел с литовского Иосиф Бродский. IX — 5.

Лия Владимировна. Соль-минорная симфония. IV — 173.

Анри Волохонский. Из цикла «Иог и суфий». IX — 67.

Александр Галич. Цикл стихотворений: Опыт ностальгии. — Заклинание добра и зла. — Воспоминание об Одессе. — «Ты прокашляйся, февраль, прометелься». — Слушая Баха. II — 83; Из цикла «Опыты»: Вечерние прогулки. (Маленькая поэма). V — 41; Из новых стихов: Старая песня. — Сказка. — Марш мародеров. X — 5.

Шкое Гасан. «Жив язык, значит — жив народ». — «Брат мой Абас, приди ко мне». — Современный рубайат. Перевод с курдского и предисловие Василия Бетаки. X — 139.

Марина Глазова. «И бьется, вьется пена паутиной». — «Долгим ОООО над могилой дружбы». IX — 78.

Наталья Горбаневская. Из последней книги стихов: «Тень мой, стин мой, тихий стон». — «Остаться одною». — «Как хочется мне». — «Жужжание жука, журчание ручья». — «Мое любимое шоссе». — «О, как на склоне». — «Так ты летишь, смешная?» — «Господи Иисусе, Пресвятая Богородица». — «Не до жиру, быть бы живу». VIII — 49.

Вадим Делоне. «Что-то в белых снегах беспокойное». — «Ветер красной играет листвою». — «Воробьи и грабители, посетители кладбища». IX — 75.

Иван Елагин. «Ты сказал мне, что я под счастливой родился звездой». IV — 217; Цирк. VII — 89.

Елена Игнатова. «Едва ли не с начала сентября». — «Окостенелый свет расправлен в декабре». — Подвал. — «Вечерней влагою полна листва». VI — 105.

Наум Коржавин. Credo. — Двадцатые годы. — В защиту прогресса. — «Люди могут дышать». — «От созидательных идей». III — 71.

Эдвард Коцбек. Понт. — Моя партизанская кличка. — Теперь. — Руки. Вольный перевод со словенского Василия Бетаки. VI — 147.

Виктор Кривулин. Из цикла «В полях Эдема»: Эдем. — Нимфа речи. — Стихи на День авиации и астронавтики. — «Медь — воск». — Тринадцать строк. X — 143.

Лев Мак. В поезде. — «Иконы. Свечи. Спины прихожан». II — 197.

Ирина Одоевцева. «Цветущая сирень в окне». — Из стихов, написанных во время болезни. — «В облаках грохочет гром». VIII — 54.

Польские поэты в переводах Иосифа Бродского: Александр Ват.

Быть мышью. — Збигнев Херберт. Дождь. — Чеслав Милош. Элегия Н. Н. VIII — 7.

Ярослав Сейферт. Праге. Венок сонетов. Перевел с чешского Василий Бетаки. IV — 5.

Странник. Из цикла «О времени»: Тайна времени. — Уходит время. I — 123.

РОССИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Абдурахман Авторханов. Закулисная история пакта «Риббентроп — Молотов». IV — 300.

Михаил Агурский. Либерализм и радикализм как проявления социальной активности творческой интеллигенции в демократическом обществе. V — 143. Национальный вопрос в СССР. X — 149.

Давид Анин. Актуален ли Бухарин? II — 281; «Земля и воля» (Раздел: К столетию народничества). VII — 113.

Яков Виньковецкий. Письмо из России в Россию. (Раздел: По следам русской революции). VII — 183.

Игорь Голомисток. Парадоксы Гренобльской выставки. О неофициальном советском искусстве. I — 191.

Наум Коржавин. Опыт поэтической биографии. II — 199; Психология современного энтузиазма. VIII — 161; IX — 123.

Сергей Левицкий. Трагедия свободы — современный вариант. (О подрыве свободы изнутри). V — 115.

А. Марченко, М. Тарусевич. «Tertium datur» — третье дано. IX — 81.

Анатолий Михайловский. «Национализм» и «интернационализм». К переключке с Вадимом Борисовым. V — 131.

Григорий Померанц. «Эвклидовский» и «неэвклидовский» разум в творчестве Достоевского. III — 109.

Александр Пятигорский. Заметки о «метафизической ситуации». I — 211; Уход Дандарона (Реминисценция). III — 151.

Евгений Терновский. Путем истины. IV — 263.

Абрам Терц (А. Синявский). Литературный процесс в России. I — 143.

Вячеслав Чорновил и Борис Пэнсон. Диалог за колючей проволокой. (Раздел: По следам русской революции. С предисловием: Андрей Синявский. Могу подтвердить). VI — 173.

Ефим Эткинд. Наши присяжные. (Из книги «Диссидент поневоле»). (Раздел: По следам русской революции). VII — 152.

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Беседа с *Милованом Джиласом*. I — 225.

Гайко Борич. Почему в Югославии нет самиздата? II — 334.

Димитар Бочев. Орфография и орфоэпос, или Всеобщая вина и анонимный виновник. V — 200.

Голос из Варшавы (редакция журнала «Культура»). Как я понимаю «Письмо вождям». I — 245.

Иржи Гохман. Письмо доктору Василию Билаку. III — 197.

Витаутас Каволис. Патриотизм отземленных. VI — 252.

Лешек Колаковский. Три главных мотива в марксизме. II — 315.

Иван Кошелівец. Хроника украинского сопротивления. V — 173. (С послесловием «От редакции». V — 199).

Леопольд Лабедз. Судьба писателей в революционных движениях. III — 223 (Раздел: Запад — Восток); IV — 340.

Аделаида Ламберг. Эстонские диссиденты — за независимость. IX — 157.

Альгирдас Ландсбергис. Орвелл и Кафка все еще живы в Литве. V — 207.

Юлиуш Меровевский. Российский «польский комплекс» и территория УЛБ (Украина, Литва, Белоруссия). IV — 321. (С послесловием «От редакции». IV — 338).

Михайло Михайлов. Мистический опыт неволи. V — 220.

Доминик Моравский. Словакия: модель коварного истребления веры. VI — 229.

Эмиль Моргевич. Меморандум. Письмо о польских тюрьмах. VII — 232.

Валентин Мороз. Хроника Сопротивления. III — 161.

Людек Пахман. Новая «Пражская весна» — вопрос и задача. I — 231.

Первый выпуск польской «Хроники». X — 177.

Кардинал Иосиф Слипый. Где найти справедливость? (С предисловием Доминика Моравского). III — 187.

Збигнев Стыпулковский. «Приглашение» в Москву. VIII — 201.

Эдуард Штейн. О «математике души» и «музыке интеллекта» эстонского народа. VII — 219.

ЗАПАД — ВОСТОК

Грэм Грин. Прага, 1948. (Раздел: Наша почта). II — 373.

Анн Дастрэ. «Монд» без прикрас. X — 189.

Исаак Дон Левин. ГУЛаг и Запад. IX — 165.

Артур Кестлер. «Мрак в полдень». V — 251.

Роберт Конквест. «Континент» и Запад. (Раздел: Наша почта). II — 345.

Джордж Мини. Американское рабочее движение и «разрядка напряженности». VI — 265.

Андрей Сахаров. Мир через полвека. VII — 241.

Игнацио Силоне. Еще раз о правде истории. Из предисловия к «Архиву революции» в библиотеке журнала «Культура». (Раздел: Наша почта). II — 360.

Александр Солженицын. Сахаров и критика «Письма вождям». (Раздел: Наша почта). II — 350.

Абрам Терц. Памяти павших: Аркадий Белинков. (Раздел: Наша почта). II — 363.

Хорватские интеллектуалы и студенческие руководители в югославских тюрьмах. III — 221.

Зинаида Шаховская. Общность надежды и опасности. I — 285.

Карл-Густав Штрём. Россия, Германия и будущее Европы. I — 275; Советская политика на Балканах. III — 211; Опасения Китая по поводу советского нападения. Заметки к внешней политике и обороне Пекина. V — 273; Два портрета из Югославии (Эдвард Коцбек. Милован Джилас). VIII — 211.

РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Евгений Барабанов. Судьба христианской культуры. VI — 293.

Василий Розанов. Из «Последних листьев». Публикация Л. Флейшмана. VII — 281.

о. Павел Флоренский. Троице-Сергиева Лавра и Россия. VII — 257. *Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской).* Пневматология веры. (Записки Странника). V — 285.

Лев Шестов. Дневник мыслей. VIII — 235.

ИСТОКИ

Борис Бажанов. Побег из ночи. (Из воспоминаний бывшего секретаря Сталина). VIII — 253; IX — 360; X — 235.

Николас Бетелл. Последняя тайна. (Насильственная выдача русских в 1944-47 годах). IV — 373 (В разделе: Запад — Восток); V — 299; VI — 329; VII — 289.

Франц Варкони-Лебер. «Пока однажды...». III — 323.

Густав Герлинг-Грудзинский. Семь смертей Максима Горького. VIII — 303.

Из документов: Чрезвычайное собрание уполномоченных фабрик и

заводов г. Петрограда. (Публикация и предисловие А. Солженицына). II — 383.

Кардинал Миндсенти. Перед лицом новых испытаний. Мемуары. (С редакционным «Вместо предисловия». I — 291). I — 292; II — 421; III — 362; IV — 393.

Борис Орлов. «Февраль семнадцатого» в канун нэпа. IX — 345.

Людек Пахман. Послесловие к политическому завещанию Й. Смрковского. VII — 327.

Степан Петриченко. Правда о кронштадтских событиях. Публикация Александра Скирды. X — 203.

Йозеф Смрковский. Неоконченный разговор. V — 317; VI — 359; VII — 312.

ИСКУССТВО

Андрей Амальрик. Голкипер-профессионал или живописец-дилетант. X — 309.

Александр Глезер. Двадцать лет спустя. (Заметки о русских художниках-нонконформистах). VI — 389.

Игорь Голомисток. Язык искусства при тоталитаризме. VII — 331.

Евгений Шифферс. Скульптурный алфавит мастера Э. Неизвестного. VIII — 337.

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Алексей Лосев. Ненаписанные репортажи. IX — 267.

Татьяна Ходорович — Леонид Плющ: Татьяна Ходорович. Открытое письмо Леониду Плющу. IX — 225; Леонид Плющ. Ответ Татьяне Ходорович. IX — 244; От редакции. IX — 263.

ИСТОРИЯ

Александр Янов. Комплекс Грозного (Иваниана). (С предисловием А. Пятигорского). IX — 313; X — 265.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

М. Булгаков. Багровый остров. Публикация М. Васильева. X — 343.

Дж. Орвелл. «1984»: Приложение (Основы новояза). Публикация Ю. Телесина. X — 363.

А. Платонов. Ерик. Рассказ. Публикация В. Марамзина. X — 339.

«ИЗ ГЛУБИНЫ» (ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ)

Александр Бахрах. «По памяти, по записям»: Андрей Белый. III — 288; Андре Жид. VIII — 349.

Георгий Иванов. Стихи. (Публикация Кирилла Померанцева). III — 259.

Виолетта Иверни. Попытка времени. (Проза Владимира Корнилова). IX — 395.

Зинаида Шаховская. Бунин. III — 263.

ПИСАТЕЛЬ О ПИСАТЕЛЕ

Виолетта Иверни. «Социализм с человеческим лицом». VII — 393.

Абрам Терц. Люди и звери. (По книге Г. Владимова «Верный Руслан. История караульной собаки»). V — 367. (С послесловием «От редакции». V — 404).

Е. Эткинд. «Человеческая комедия» Александра Галича. V — 405.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

М. Агурский. Безжалостная демифологизация. VIII — 402.

Н. Артамонова. Альтернативы эмиграции. X — 402.

Ю. Вишневская. Невидимкою луна... IX — 421.

Виолетта Иверни. Комедия несовместимости. V — 427.

Прот. А. Князев. Школа веры. VIII — 389.

Лешек Колаковский. На полях последней книги Сахарова. VII — 421.

Л. Лифшиц. Проза Ивана Петровича. X — 386.

М. В. О времени и о себе. VIII — 398.

Н. Муравина. ГУЛаг глазами француза. X — 381.

В. Рыбаков. Летопись страха. VI — 413; Отражения времени. VIII — 393; Три свидетельства о социализме. X — 394.

Ф. Салказанова. Парадоксы одного призрака. VI — 417; «Левая» Франция. VIII — 405.

В. Соколов. Дорога страдания. VIII — 409.

Е. Терновский. Черный лик Гоголя. VI — 423.

Лидия Чуковская. Полумертвая и немая. (Автограф пропущенных строф). VII — 430.

НАША АНКЕТА

Сол Беллоу. Интервью с самим собой. VIII — 415.

Беседа с *Эженом Ионеско.* VII — 437.

Беседа с *Наумом Коржавиным.* VI — 431.

Интервью с *Пьером Дексом.* IX — 433.

Интервью с *Акселем Шпрингером.* X — 429.

Бруно Калниньш. «Борьба за демократию должна быть общей целью». IV — 461.

Александр Солженицын. Испанское интервью. VIII — 429. (С послесловием «От редакции». VIII — 440).

ЗВУКОВЫЕ БАРЬЕРЫ РАДИОВЕЩАНИЯ

А. Ретти. Прощание с «Голосом Америки». IX — 201.

А. Солженицын. О работе русской секции Би-Би-Си. IX — 210.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ

Мария Розанова. Вечное дерево. II — 453.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Комментарий на тему года. I — 401; Продолжение следует... II — 467; Из-под глыб насилия и лжи. III — 399; Один год. IV — 467; Трогательное единодушие. V — 465; Нобелевская премия мира. VI — 411; Опять о Сахарове. VII — 419; Россия и самоопределение наций. VIII — 387; Урок свободы. IX — 419; Инерция политических клише. X — 379.

РЕДАКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОТ РЕДАКЦИИ. I — 3.

СЛОВО К ЖУРНАЛУ: Александр Солженицын. I — 7; Эжен Ионеско. I — 8; Андрей Сахаров. I — 11.

Вниманию читателей: Справка о журнале «Культура». I — 273.

Коротко об авторах. I — 407.

Заявление Владимира Маразмизина. II — 469.

Письма «Континенту»: Международный ПЭН-клуб. III — 401; Ассоциация литовских писателей. III — 402.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ: ГОВОРIT МОСКВА! Москва: Западная интеллигенция против издания нового журнала. III — 409; Издание антисоветского журнала в Англии. III — 410; Радио Москва против Солженицына. III — 411.

И. Бродский, Г. Вишневская, А. Галич, Н. Коржавин, В. Максимов, В. Некрасов, М. Ростропович, А. Синявский. Дело нашей совести. IV — 298.

И. Бродский, А. Волконский, А. Галич, Н. Коржавин, В. Максимов, В. Некрасов, А. Синявский. Мера ответственности. V — 5; А. Сахаров. [Телеграмма]. V — 6.

А. Галич, В. Максимов, А. Синявский. В защиту друга. V — 114.

НАША ПОЧТА. Джанлоренцо Пачини — Владимир Максимов. По следам одной встречи. V — 455.

Анкета «Континента». V — 464.

К сооружению Св. Владимирского храма-памятника в Джаксоне, Н. Дж. США. V — 476.

Письмо Андрея Сахарова. Пагуошской конференции в Киото. VI — 5.

Письмо Александра Солженицына. Конференции народов, поработанных коммунизмом. VI — 66.

Польские друзья. [Телеграмма Сахарову]. VI — 172.

Игнацио Силоне. Революционный акт. VI — 172.

Перевод письма Ф. Кригеля А. Д. Сахарову. VII — 24.

Указ Президиума Верховного Совета СССР. О лишении гражданства СССР Максимова В. Е. VII — 4 стр. обложки.

Ян Дрда. «Не притроньтесь к ним даже пальцем, не дайте им ни капли воды...» VIII — 5.

Доктор Жан-Луи Леви. Говорит внук капитана Дрейфуса. VIII — 12.

Телеграмма Солу Беллоу. VIII — 56.

Некролог. [Г. Подъяпольского, 84 подписи]. VIII — 441.

Наталья Горбаневская, Виктор Файнберг. [В защиту Владимира Буковского]. IX — 7.

[О резолюции Конгресса США, подтверждающей, что США по-прежнему не признают включения Литвы, Латвии и Эстонии в состав СССР]. IX — 25.

Телеграмма Иосифу Бродскому. IX — 418.

В последнюю минуту перед выходом номера. Заявления А. Сахарова и Е. Янкелевича. IX — 442.

Проект резолюции Европейского парламента о Владимире Буковском. IX — 4 стр. обложки.

К. Любарский. Швейцарскому Обществу борьбы за права человека. X — 148.

А. Галич, А. Гладилин, В. Максимов, В. Марамзин, В. Некрасов, Н. Коржавин, Е. Терновский. Еще одна писательская судьба. X — 173.

Положение украинцев во Владимирской тюрьме. X — 174-175.

Письмо Ежи Анджеевского преследуемым участникам рабочего протеста. X — 176.

Обращение к общественности России и ее Зарубежья. X — 264.

Ко всем в СССР, кто по работе или случайно соприкасается с рукописями. X — 408.

Лидия Чуковская. Лицо бесчеловечья. X — Спец. приложение, 3.

Письмо А. Амальрика в газету «Унита». X — Специальное приложение, 8.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ (КОРОТКО О КНИГАХ)

Г. Подъяпольский. Золотой век. *Vers libres*. — А. Авторханов. Происхождение партократии. — Александр Галич. Генеральная репетиция. — Абрам Терц. Голос из хора. I — 404.

А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг. — А. Сахаров в борьбе за мир. (Сборник выступлений). — Д*. Стремя «Тихого Дона». — Григорий Свирский. Заложники. — Роже Гароди. Крутой поворот социализма. II — 472.

«Из-под глыб». Сборник статей. — Роберт Конквест. Большой террор. — Н. С. Арсеньев. Дары и встречи жизненного пути. — Сергей Максимов. Денис Бушуев. Т. I. — Роман Гуль. Азеф. — А. С. Казанцев. Третья сила. — Михаил Нострадамус. Центурии. III — 403.

А. Солженицын. Бодался теленок с дубом. — В. Штрик-Штрикфельдт. Против Сталина и Гитлера. (Генерал Власов и русское освободительное движение). — Странник. Избранная лирика. — Виктор Робсман. Персидские новеллы. — А. Солженицын. Мир и насилие. IV — 471.

Яков Бергер. Английские и другие поэты. — Семейная хроника Зёрновых. — Т. Лопухина-Родзянко. Духовные основы творчества Солженицына. — Всероссийский Социал-Христианский Союз Освобождения Народа. Программа. Суд. В тюрьмах и лагерях. Составитель Джон Дэнлоп. — Николай Арсеньев. О красоте в мире. (Сборник статей). V — 468.

А. Солженицын. Ленин в Цюрихе. — Анна Кузнецова-Буданова. И у меня был край родной. — Владимир Самарин. Песчаная отмель. Тени на стене. — Лия Владимировна. Связь времен. VI — 440. Геннадий Айги. Стихи 1954-1971. — Саша Соколов. Школа для дураков. — Владимир Войнович. Иванькиада. IX — 426.

В. Казаков. Ошибка живых. — А. Зиновьев. Зияющие высоты. — Г. Свирский. Полярная трагедия. — В. Карпович. Трудные слова у Солженицына. Толковый словарь. — Джордже Николич. По старым рельефам. — А. Авторханов. Загадка смерти Сталина. — Программа польского объединения сторонников независимости. X — 409.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ХРОНИКА»

в 1976 году

- «Хроника текущих событий».** Вып. 38. Москва, дек. 1975. Цена 4.50.
Вып. 40. Москва, май 1976. — 5.00. Вып. 41. Москва, авг. 1976.
— 4.50.
«Хроника защиты прав человека в СССР». Вып. 19. (Январь-март 1976).
— 3.00. Вып. 20-21. (Апрель-июнь 1976). — 4.50. Вып. 22.
(Июль-сентябрь 1976). — 3.00.

К Н И Г И

- Андрей Сахаров.** О стране и мире. Сборник. (Нобелевская лекция, «О стране и мире» и др. произведения). — 6.00.
Анатолий Марченко. От Тарусы до Чуны. — 5.00.
Лидия Чуковская. Открытое слово. — 5.00.
Самосознание. Сб. статей. Под ред. П. Литвинова, М. Меерсона-Аксенова, Б. Шрагина. — 9.00.

Б Р О Ш Ю Р Ы

- Дело Ковалева.** (Запись суда над С. Ковалевым и выступления в его защиту). — 4.00.
Дело Твердохлебова. (Запись суда над А. Твердохлебовым). — 4.00.
Судебный процесс по делу Эстонского демократического движения. (Таллин, октябрь 1975). — 1.00.
Мальва Ланда. В защиту прав человека. (Сб. выступлений). — 4.00.
Литературные дела КГБ. (Сб. документов по делам Суперфина, Эткинда, Хейфеца, Марамзина). — 6.00.
Валерий Чалидзе. Лекции о правовом положении рабочих в СССР. — 3.00.
О пытках в Грузии. — 3.00.
Vladimir Bukovsky, Soviet Dissenter. — 1.00.

В П Е Ч А Т И

- В. Чалидзе.** Уголовная Россия. (Очерки преступности в СССР). — 12.00.
В. Турчин. Инерция страха. Социализм и тоталитаризм.
М. Лукин, декабрист. Сочинения и письма. (Перепечатка с книги 1923 года, с добавлением).
Сборник документов Инициативной группы защиты прав человека в СССР. — 3.00.

Цены указаны в долларах. За доставку авиапочтой:
дополнительно 2.00 за книгу и 1.00 за брошюру.

Заказы и чеки направлять по адресу:

KHRONIKA PRESS
505 Eighth Avenue
New York, N.Y. 10018
USA



Михаил Коряков

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ 1917-1975

Вопрос познания послеоктябрьской истории России связан с вопросом самопознания, который ныне с особенной остротой стоит перед поколениями, выросшими в России после октября 1917 года. Вслед за вопросом «Что же произошло в мире?», Андрей Лашков, один из героев романа Владимира Максимова «Семь дней творения», задается вопросом: «Что же с ним, наконец, случилось? Что?».

Уяснению этих вопросов помогает — новая книга Михаила Корякова «Живая история (1917—1975)». Это — серия очерков, каждый из которых посвящен одному году послеоктябрьской истории России. Книга начинается очерком о 1917 году: «От безграничной свободы к безграничному деспотизму» и заканчивается очерком о 1975 году: «Разрядка... международная и внутренняя».

Исторические очерки Михаила Корякова — это не сухой перечень событий, происходивших в послеоктябрьские десятилетия, не «хронология» из учебника, а живые, порой взволнованно написанные рассказы, в которых показана не только история, но человек в истории. Автор книги использовал множество разнообразного материала: из газет, выходявших после 1917 года как в России, так и в Русском Зарубежье; из воспоминаний участников тех или иных событий; из трудов как русских, так и иностранных ученых; наконец, из материалов Самиздата.

Германия 1977 г. 510 стр.

Мягк. пер. ДМ 26.—; Тв. пер. ДМ 32.—

A. NEIMANIS Buchvertrieb GM
BH

Bauerstr. 28 · 8000 München 40 · Germany

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Галич — Из новых стихов	5
Виктор Некрасов — Взгляд и нечто	11
Иосиф Бродский — Часть речи. Цикл стихотворений	86
Иржи Гохман — Чешский хэппенинг. Роман. Окончание	100
СТИХИ	
Шкое Гасан — «Жив язык, значит — жив народ»... Перевод с курдского и предисловие В. Бетаки	139
Виктор Кривулин — Из цикла «В полях Эдема»	143
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Михаил Агурский — Национальный вопрос в СССР	149
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Первый выпуск польской «Хроники»	177
ЗАПАД — ВОСТОК	
Анн Дастрэ — «Монд» без прикрас	189
ИСТОКИ	
Степан Петриченко — Правда о кронштадтских событиях. Публикация Александра Скирды	203
Борис Бажанов — Побег из ночи (Из воспомина- ний бывшего секретаря Сталина). Окончание	235
ИСТОРИЯ	
Александр Янов — Комплекс Грозного (Иваниана). Окончание	265
ИСКУССТВО	
Андрей Амальрик — Голкипер-профессионал или живописец-дилетант	309
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ	
Андрей Платонов — Ерик. Рассказ. Публикация В. Марамзина	339

Михаил Булгаков — Багровый остров. Публикация М. Васильева	343
Джордж Орвелл — «1984». Приложение (Основы новояза). Публикация Ю. Телесина	363
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	379
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Н. Муравина — ГУЛаг глазами француза	381
Л. Лифшиц — Проза Ивана Петровича	386
В. Рыбаков — Три свидетельства о социализме	394
Н. Артамонова — Альтернативы эмиграции	402
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	409
НАША АНКЕТА	
Интервью с Акселем Шпрингером	419
Содержание журнала «Континент» №№ 1 — 10, 1974 — 1976	427

Специальное приложение

ЛИЦО БЕСЧЕЛОВЕЧЬЯ

14 апреля 1976 года в городе Омске судили Мустафу Джемилева.

Почему в Омске? Потому что последний свой срок Мустафа отбывал в лагере неподалеку от Омска. Это раз. Потому что Омск — город, представляющий большие удобства для проведения любого открытого суда: он крепко-накрепко закрыт для иностранцев. Это два. Тут, вдали от корреспондентского глаза, сподручнее производить отбор, кого впустить, кого оставить под дверью. Подобная сортировка производится у нас во всех городах, хотя бы и в Москве. Но в Москве шуму не оберёшься. А в Омске? Кого там заботит татарин Мустафа Джемилев? Он такой же чужак среди тамошних жителей, как тайге вокруг Омска чужды кипарисы.

Однако в полном беззвучьи и безлюдьи процесс Мустафы Джемилева провести не удалось — даже в Омске. Недаром четверть своей жизни прожил Джемилев в тюрьме и в лагере (восемь лет, а ему тридцать три). Трижды откладывался суд, и трижды, за тысячи километров, прилетали в Омск его сородичи и друзья. Прилетели и в четвёртый — из Узбекистана, с Украины, из Орла, из Москвы, всего 16 человек, но мест для них в зале суда не нашлось. Сначала не пустили никого, потом только ближайших родных, да и то не на всё время суда.

Подумайте сами: к чему вообще на суде родные и друзья подсудимого? Это не та публика, в которой нуждается суд. Отойдите, граждане, не мешайте работать. Граждане, зал не резиновый. На всех не напасёшься. Сами видите, сколько народу. (Суд-то ведь у нас не какой-нибудь, а открытый, публичный, как

же без публики? Мы закон соблюдаем: заблаговременно с чёрного хода введена в зал своя родная, особая, отборная публика.) Приезжие посидят за дверью. Мать? Ну, мать, пожалуй, пустим. Она, конечно, мать, а мы, конечно, гуманисты. Как же это — мать не пустить? Разве можно? Когда надо — пустим, когда надо — выведем. Ну ладно уж, братьев и сестру, остальные за дверью. А начнут фордыбачиться — им уготованы синяки и прогулки в милицию: мешают работать суду. Та же заблаговременная публика и руки скрутит, и по коридору проволочит: умельцы, профессионалы, для них это дело привычное.

...Почему я пишу о процессе Мустафы Джемилева? Надеюсь ли помочь ему? Нет. Но на этом суде с такой очевидностью являли себя черты бесчеловечья, что не запечатлеть их грешно. Начинаю с конца. Священное право каждого подсудимого, кем бы он ни был — говорить своё последнее слово, последний раз обратиться к уму и сердцу судей, воззвать к их чувству справедливости, долга и чести. Право подсудимого на последнюю речь, длинную или короткую, охраняется законом во всех странах мира. Охраняется оно и советским законом. На бумаге. В действительности же редко получает подсудимый возможность произнести свою речь до конца, в особенности в тех случаях, когда занят он не опровержением хитро сплетённых кляуз, а обосновывает в последней речи суть своей мысли, причину причин своих действий.

Судья не дал Мустафе Джемилеву произнести последнее слово, а между тем обрывать Мустафу — это не только преступление против закона, но и преступление против человечности.

Джемилев предстал перед судом после 10 месяцев голодовки. «Предстал» тут не совсем уместное обозначение: стоять у него не было сил. Отвечая на вопросы судьи, прокурора, защитника, он кое-как под-

нимался со скамьи подсудимых, поддерживали его с двух сторон конвоиры. Но еще труднее, чем стоять, было ему говорить. Он шевелил губами и шелестел. Каждое слово — пытка, физическая пытка, потому что в течение 10 месяцев его, чтобы он не умер от голода, насильно кормили через зонд, а зонд, ежедневно вставляемый в горло, не может не оцарапать гортань. К тому же Мустафа тяжело болен. Болезнь сердца, болезнь желудка, атрофия печени.

А у судьи — атрофия человеческих чувств. Он — тот сытый, который не понимает голодного, тот здоровый, который не понимает больного, тот судья, чье судейское кресло прочно, всеми четырьмя ногами опёрто на помост КГБ. Он — тот бесчеловечный, кто способен спокойно оборвать последнее слово подсудимого, зная, что оно, быть может, есть последнее слово, выговариваемое Мустафой на земле.

— Не мешайте ему говорить, — просит брат Мустафы. Судья удаляет его из зала, как удалил и сестру, «за нарушение порядка».

Порядка?

О, когда же наконец в Советском Союзе будет нарушен порядок, позволяющий власти затыкать говорящим рты?

Конституция СССР обеспечивает гражданам свободу слова. Законы тоже обеспечивают, но две формулы, необъятные по своей пустоте и ёмкости, «антисоветская пропаганда» и «антисоветская клевета», обеспечивают уничтожение этой свободы, да и человека зараз, вне зависимости от того, говорит он правду или лжёт. Он делает явным нечто, скрываемое властью, — пусть умолкнет. «Что у кого болит, тот о том и говорит». Так, например, у Мустафы Джемилева болит Крым. Он о нём и говорит. Татары, насильственно и бесстыдно выселенные в 1944 году из Крыма, желают вернуться в возделанный ими и возлюбленный ими Крым. Почему в мирной речи

Джемилава надо непременно расслышать «антисоветскую пропаганду», а не вполне естественный призыв к открытому, громкому, всенародному обсуждению гноящегося, саднящего вопроса? Почему надо непременно загнать боль внутрь, а человека в гроб? Почему вообще каждая работающая мысль, рождённая живою болью, есть антисоветчина? Понятие «антисоветчина» столь же неопределённо, сколь и вмести-тельно. Это воистину ненасытная прорва, пожирающая людские мысли и судьбы, сотни и тысячи судеб — безгласно, бесследно, бесплодно.

Сейчас, кроме судьбы Джемилава, меня заботит судьба еще одного человека, причастного к процессу Мустафы. Фамилия — Дворянский, возраст — 26 лет. На нём, на его показаниях весь процесс собственно и держался. Дворянский тоже лагерник, но я не знаю даже — уголовник или политический. Его долагерное прошлое неведомо мне, а от предстоящего волосы становятся дыбом.

Джемилава судили за «антисоветскую пропаганду», которую он будто бы продолжал вести, отбывая срок заключения неподалеку от Омска. Кто слышал от него недозволенные слова? Дворянский. Новое следствие над Джемиловым, уже отбывшим очередной срок, началось, когда до воли ему оставалось три дня. Ворота лагеря откроются перед тобою вот-вот, но напрасно ты считаешь часы, воли тебе не видеть, против тебя начато новое дело. Протестуя против этого обдуманного, изощренного издевательства, Джемилов и объявил голодовку.

Не помогло. Его насильно кормили через зонд и 14 апреля, полуживого, привезли в суд. И тут совершилось чудо, иначе свершившееся я назвать не могу. Свидетель Дворянский — тот самый, на чьих показаниях основывался весь затеянный заново суд, — распрямился в полный человеческий рост и в полный человеческий голос заявил суду, что показания его,

данные им на следствии против Джемилева, — ложь. (Так, наверное, человек выходит из укрытия навстречу пулям.) Дворянский заявил, что ложные показания на следствии были даны им под давлением. В ход были пущены посулы, карцер, угрозы. Он сопротивлялся, в карцер его таскали пять раз. Дашь показания на Джемилева — переведем тебя поближе к дому, сократим тебе срок. Не дашь — худо будет и тебе, и семье твоей, пеняй на себя. Вот он и оболгал Джемилева. А теперь заявляет: ничего порочащего советский строй никогда он от Мустафы не слышал.

Мне не известно, кем Дворянский был ранее, но на суде он повёл себя как человек. Доблестный человек. А вёл ли себя как человек — судья?

Я не юристка, но и не имея юридического образования, на основе простого здравого смысла я знаю, твёрдо и точно знаю, что обязан был сделать в этом случае судья.

Немедленно освободить Джемилева: ведь обвинение-то рухнуло? Немедленно завести уголовное дело против следователей, вымогавших ложные показания у Дворянского.

Но это могло бы произойти в том случае, если бы суд решал дело по правде и по закону. Тогда заявление Дворянского всё изменило бы. Суд же решал дело по неправде и беззаконию, а главное, по зараннее данному распоряжению свыше.

Видела ли я это распоряжение? Нет, не видела. Таких распоряжений никогда не видит никто. Мы испытываем только их результаты.

Суд вынес приговор Мустафе Джемилеву: два с половиной года исправительно-трудовых лагерей строгого режима за антисоветскую пропаганду. Два с половиной года, да еще три дня, не досиженные трое суток, оставшиеся от предыдущего срока.

Суд вынес также «особое определение» привлечь к уголовной ответственности... кого? вы полагаете —

следователей, вымогавших у Дворянского ложные показания? Нет, привлечь к ответственности Дворянского. За что? За дачу ложных показаний. Так. Которых же? Те, что он дал в лагере? Нет, на суде. Вот оно — лицо бесчеловечья.

Письмо Андрея Амальрика в редакцию газеты «Унита»

В редакцию газеты «Унита»,
Рим, Италия

Уважаемые господа!

При этом направляю Вам свое письмо, которое очень прошу напечатать в Вашей газете. Я понимаю, что письмо пространное, но и тема его очень важна. Из-за своей поездки в Грецию и из-за незнания итальянского языка я не имел возможности быстрее откликнуться на статью проф. Радиче.

Я попросил своего друга г-на Мальцева, живущего в Италии, сделать итальянский перевод моего письма, который он перешлет Вам вместе с русским оригиналом, и извещать меня о дальнейшей судьбе моего письма.

Сердечный привет г-ну Сприано, полемика с которым была очень интересна для меня.

С уважением

Амальрик

* * *

Уважаемые господа!

В номере от 17. 10. 1976 Ваша газета поместила изложение моей беседы по телевидению с итальянскими журналистами, а на следующий день статью проф.

Лучо Ломбардо Радиче. То, что представитель ИКП принял участие в беседе, а Ваша газета уделила ей столько места, очень радует и меня, и других советских инакомыслящих. Если ИКП не избегает дискуссии с нами, значит она гораздо более уверена как в своей идеологии, так и в своей независимости от КПСС, чем многие другие европейские компартии.

Однако статья проф. Радиче — выражает она мнение Вашей газеты или нет — оставляет впечатление, что ее автор либо не знает многих фактов, либо неверно истолковывает их. Поэтому мне хотелось бы сделать следующие разъяснения.

1. Проф. Радиче пишет, что ИКП много лет публично выражает несогласие с запрещением высказывать свои мнения и с преследованиями за это.

Однако на протяжении многих лет «Унита» не напечатала ни одного письма, направленного ей советскими инакомыслящими — некоммунистами, как Павел Литвинов и Юрий Орлов, и коммунистами, как Петр Григоренко и Иван Яхимович. Как раз то, что западноевропейские компартии, в том числе ИКП, проявляют безразличие к их борьбе с насилием, привело многих советских инакомыслящих к постепенному разочарованию не только в советской модели социализма, но и в возможности построения демократического социализма.

2. Проф. Радиче считает, что советские инакомыслящие теряют доверие и престиж, если они не заботятся о свободе повсюду, где ее угнетают.

В действительности большинство советских инакомыслящих понимает неделимость свободы и выступает против насилия во всем мире, откуда бы оно ни исходило — справа или слева. Вот примеры: Юрий Галансков перед посольством США в Москве устроил демонстрацию против введения американских войск в Доминиканскую республику; моя жена и я пикетировали английское посольство, протестуя против англий-

ских поставок оружия в Африку как против одной из форм неокOLONиализма; советская группа Международной Амнистии защищает политзаключенных не только в Югославии и в Шри Ланка, но и в Уругвае и в Испании, где ей уже удалось добиться освобождения нескольких коммунистов; весной этого года двадцать инакомыслящих, в том числе акад. Сахаров, проф. Орлов, д-р Турчин, ген. Григоренко и я, обратились с письмом к президенту Уругвая, протестуя против пыток в уругвайских тюрьмах. Кстати сказать, п р а в о подписать это письмо получили только те, кто не боится выступать в защиту политзаключенных и у себя на родине, в СССР.

Но вот обратный пример — когда тот же Юрий Галансков был сначала заключен в лагерь за составление самиздатского сборника, а затем умирал в лагере из-за того, что ему не оказывали медицинской помощи, ни ИКП, ни другие левые партии Запада ничего не сделали для его спасения. Галансков называл себя и был по своим убеждениям пролетарским демократом, его трагическая смерть — упрек не только ИКП, но и всем западным левым.

Мы думаем о свободе для всех в мире, но мы понимаем, что когда чилиец получает возможность публично выступить — он прежде всего говорит о Чили, индонезиец — об Индонезии, испанец — об Испании. Почему же проф. Радиче удивляется, что я говорил о нарушении прав человека в СССР, а не в других странах? Проф. Радиче забыл также, что дискуссия состояла из вопросов и ответов и я мог говорить только о том, о чем меня спрашивали. Если бы кто-либо из журналистов, например член ИКП г-н Сприано, спросил меня об отношении советских инакомыслящих к преследованию свободы в Чили или Уругвае, он получил бы недвусмысленный ответ. Но г-н Сприано не задал мне этого вопроса, он был задан проф. Радиче

уже после дискуссии — и сам же проф. Радиче дал на него неверный ответ.

И если Движение за права человека в СССР, несмотря на свою малочисленность, постоянные аресты и высылки его участников, находит все же силы, чтобы помогать политзаключенным правых диктатур, то находит ли силы полуторамиллионная ИКП, чтобы помогать политзаключенным в СССР и в других восточноевропейских странах?

Недавно мэр Неаполя, коммунист, звонил в тюрьму Луису Корвалану — и это заслуживает уважения, но почему он уклонился от ответа, когда ему предложили позвонить в тюрьму Владимиру Буковскому? Чем ИКП помогла коммунисту Григоренко, который провел пять лет в тюрьме и психбольнице только за то, что он представляет социализм иначе, чем г-н Брежнев? Ведь и г-н Берлингуэр представляет социализм иначе, чем г-н Брежнев.

3. Проф. Радиче негодует, что я назвал СССР самой консервативной и реакционной страной в мире и что таким образом я стал на дорогу антисоветизма, по которой легко скатиться вниз.

Я считаю консервативным режим, который не хочет проводить в своей стране никаких реформ, а если при этом режим пытается свести на нет предыдущие реформы и преследует всех, кто подвергает его малейшей критике, то это реакционный режим. 1956 год — год десталинизации — был началом несбывшихся надежд и незавершенных реформ, а последующие двадцать лет, несмотря на быстрый рост военной мощи и медленный рост благосостояния, не привели ни к каким социальным изменениям в СССР: советский человек не стал более свободным, советская экономика — более эффективной, советская наука после запуска первого спутника сдала свои позиции, даже отношение КПСС к другим компартиям не стало более терпимым, о чем свидетельствует хотя бы цензура речей

г-на Берлингуэра в «Правде». А ведь еще полтора десятилетия назад та же «Правда» полностью напечатала политическое завещание г-на Тольятти. Вот почему я говорю о реакции, а не о прогрессе в СССР.

Не приму упрека и в «антисоветизме». «Советский» происходит от слова «Совет» — советы были созданы во время первой и второй русских революций и включали представителей всех социалистических партий, большевики составляли в них меньшинство. Когда Ленин выдвинул лозунг «Вся власть Советам!» — речь шла именно о власти многопартийных Советов, а не о власти одной партии. Но постепенно большевиками вся реальная власть Советов была ликвидирована и они превратились в простой придаток компартии. Поэтому в 1920 году кронштадтские матросы выдвинули лозунг: «За советскую власть без коммунистов!»

Демократическая оппозиция в СССР не выдвигает такого лозунга. Многие советские коммунисты понимают необходимость демократизации, а многие советские демократы сознают, что компартия, очистившись от бюрократов и карателей, может играть достойную роль в жизни страны. Поэтому я, как и многие мои товарищи, считаю своевременным лозунг: за советскую власть в том числе и с коммунистами! И хотя на свободных выборах КПСС едва ли получит столько голосов, как ИКП, она все же — соревнуясь с другими партиями — сможет сыграть более конструктивную роль в обществе, чем играет сейчас.

Таким образом, я, выступая за восстановление подлинной роли Советов депутатов трудящихся, — настоящий советский человек, а г-н Брежнев, который возглавляет партию, узурпировавшую роль этих Советов, — типичный пример антисоветчика.

4. В связи с «опасностью антисоветизма» проф. Радиче пишет о постепенном движении Солженицына в «сторону от социализма».

Но интересно спросить, почему же наиболее крупный русский писатель шел «от социализма», а не к социализму — ведь в юности Солженицын был убежденным марксистом. А произошло это, по-видимому, потому, что сама практика компартий разочаровала Солженицына: насилие в тех странах, где компартии стоят у власти, как в СССР и Китае, и под разными предложениями оправдание этого насилия там, где компартии находятся в оппозиции, как во Франции и Италии.

Восхищаясь Солженицыным как писателем, я не разделяю многих его политических взглядов и не считаю, что все зло исходит из СССР. В мире есть и другие источники зла. И я не думаю, что Солженицын прав, когда начинает сравнивать, какая диктатура мягче — правая или левая; диктатура всегда остается диктатурой. Но ведь те же самые сравнения делает и проф. Радиче, называя одни диктатуры — правые — «самыми жестокими», а другие — левые — всего лишь «нечистым и несовершенным социализмом, который пока что дала история».

5. Проф. Радиче лишет, что можно и нужно критиковать «ошибки» Сталина, но нельзя забывать, что главным врагом Сталина был Гитлер.

Как главным врагом греческих полковников были не турецкие генералы, а греческая демократия, так и главным врагом Сталина был не Гитлер, а «социализм с человеческим лицом» — потому что Сталин сделал все, чтобы уничтожить возможность такого социализма еще в зародыше.

Борьба между двумя диктаторами, как война между двумя королями, не делает их принципиальными врагами. Проф. Радиче пишет, что ИКП была на стороне Сталина, когда он воевал с Гитлером. А на чьей стороне была ИКП, когда Сталин заключал с Гитлером договор о дружбе? Когда Сталин и Гитлер делили вместе Польшу?

Чемберлен поощрил Гитлера к захвату Чехословакии, Сталин — к захвату Польши; Гитлер, Чемберлен и Сталин — вот три лица, которые несут главную ответственность за вторую мировую войну и миллионы человеческих жертв. Англия заменила Чемберлена Черчиллем, с которым тоже, надо полагать, солидаризуется проф. Радиче, поскольку Черчилль воевал с Гитлером, а наша страна не нашла сил сбросить Сталина — несмотря даже на его дезертирство в первые дни войны — и до сих пор тащит на себе его мертвое тело.

Уничтожение Сталиным интеллигенции, крестьян, своих партийных товарищей, высшего и среднего состава проф. Радиче называет «ошибкой». Но для Сталина как раз это не было ошибкой, со своей людоедской точки зрения он действовал безошибочно — именно благодаря тому, что он уничтожил все активные силы в стране, он смог остаться у власти даже несмотря на свой просчет в дружбе с Гитлером, смог присвоить себе победу советского народа над Гитлером и навсегда очаровать таких людей, как проф. Радиче.

6. Проф. Радиче противопоставляет моему взгляду на будущее советской системы взгляд Роя Медведева.

Сравнение разных взглядов всегда полезно, конечно, при условии, что такое сравнение делается в интересах истины. Я рисую картину разрушения СССР, с тем чтобы указать на опасность такого исхода и, пока есть время, предотвратить его. Рой Медведев разрабатывает план перехода от тоталитарного социализма к демократическому, надеясь, что «верхи» примут его план всерьез. Я возлагаю надежды на демократическую оппозицию, Медведев — на «оппозицию» внутри партаппарата, не имея почти никаких сторонников среди инакомыслящих. Я вовсе не претендую на то, чтобы проф. Радиче соглашался со мной, а не с Медве-

девым, но я против того, что он пытается противопоставить одних инакомыслящих другим на том основании, что одни критикуют взгляды других.

То что Сахаров, Солженицын, Григоренко, Максимов, Плющ, Орлов, Медведев, Амальрик и другие критикуют друг друга, говорит о том, что мы — после долгих лет принудительного единомыслия — понимаем важность разномыслия и взаимной критики, если мы хотим разработать лучшую стратегию перехода нашей страны к демократии. Но у всех есть одно общее: понимание, что никакое справедливое общество невозможно без уважения к правам человека. Движение за права человека — вот что объединяет всех подлинных инакомыслящих в СССР.

Движение за права человека в СССР смотрит сейчас на еврокоммунизм — и прежде всего на ИКП — с двойным чувством: недоверия и надежды. Недоверия, потому что мы хорошо знаем, как часто коммунисты меняли свои лозунги, приходя к власти. Надежды, потому что еврокоммунисты говорят, что социально-экономические изменения возможны в условиях свободы и в новом обществе права человека будут незыблемы.

У нас есть два критерия для оценки искренности еврокоммунистов:

Во-первых, это отношение к оппозиции внутри собственной партии; если внутрипартийной оппозиции не существует, едва ли партия, придя к власти, потерпит оппозицию другой партии или даже отдельно лица.

Во-вторых, это отношение к оппозиции в тех странах, где коммунисты уже находятся у власти. Для нас это прежде всего отношение ИКП к инакомыслящим в СССР.

Пока что мы видели от вас больше пренебрежения, чем понимания, больше безразличия, чем помощи. Но мы хотим верить вашим словам. Наша на-

дежда перевешивает наше недоверие. Мы протягиваем вам руку и спрашиваем вас: с кем вы в СССР? С сильными или со слабыми? С теми, кто сидит в тюрьме за свои убеждения, как Буковский, или с теми, кто сажает в тюрьму за убеждения, как Андропов? С теми, кто считает, что социализм — это советские танки в Праге, или с теми, кто не верит, что социализм можно построить с помощью танков?

Мы протягиваем вам руку и надеемся, что наша рука не повиснет в воздухе. Вы скажете: среди вас есть те, кто не верит в социализм. Да, они есть. Но есть именно потому, что сталинский и брежневский социализм сделал все, чтобы вызвать недоверие ко всякому социализму. Если вы хотите справедливого общества, прислушайтесь к голосу тех, кто говорит вам о трагическом опыте неудавшегося социализма. Не всегда это будут друзья социализма и не всегда они будут говорить вещи, приятные для вас, но их опыт нужен именно вам, если вы не хотите повторения «социализма танков».

Я начал с того, что Ваша газета не публиковала писем советских инакомыслящих — надеюсь, что это письмо будет опубликовано. Чтобы между сторонниками демократического социализма в Италии и противниками тоталитарного социализма в СССР было больше понимания, я предлагаю начать дискуссию между нами, которая может стать плодотворной для обеих сторон.

Когда я был в Риме, ко мне подошел один служащий, пожал мне руку и сказал: как итальянский коммунист я желаю вам успеха в вашей борьбе. Это рукопожатие значило для меня больше, чем статья проф. Радиче, и я хочу, чтобы люди знали подлинные взгляды советских инакомыслящих. Я предлагаю устроить мою встречу с итальянскими коммунистами, чтобы рассказать им о Движении за права человека в

СССР, высказать критику в их адрес и выслушать критику от них.

С уважением и надеждой

Амальрик

1 ноября 1976

4 декабря 1976

Уважаемый Владимир Емельянович,

посылаю Вам по просьбе А. Амальрика его письмо в газету «Унита». История письма такова. После выступления Амальрика по итальянскому телевидению, которое наделало много шума в Италии, газета «Унита» опубликовала статью известного марксиста Ломбардо-Радиче, изобилующую неточностями, чтобы не сказать лживыми утверждениями. Я попросил Андрея ответить на эту статью, перевел его письмо на итальянский и послал в редакцию с уведомлением о вручении. Как следует из уведомления, письмо получено редакцией «Унита» 17 ноября. Я попросил в сопроводительном письме ответить как можно скорее, намерена ли газета напечатать Амальрика. По прошествии 10 дней, не получив никакого ответа, позвонил в редакцию. Попросил коммутатор соединить меня с главным редактором. Ответил мужской голос. Я повторил, что хочу говорить с главным редактором. «Я слушаю», — сказал голос. Когда я изложил свою просьбу, редактор, или человек, выдавший себя за него, ответил, что ему ничего не известно о письме Амальрика, и попросил позвонить в секретариат. Звоню в секретариат редакции, там заявляют, что им тоже ничего не известно, и просят позвонить личной секретарше гл. редактора Паголини. Звоню секретар-

ше, она говорит, что письмо действительно получено, но что оно находится лично у редактора. Какое решение он принял, она не знает и узнать сейчас не может, ибо редактор отсутствует, просит позвонить на следующий день. На следующий день — всеобщая забастовка полиграфических рабочих, все газеты закрыты и «Унита» тоже. Звоню через день, секретарша, синьорина Мариа Ромео, говорит, что еще не видела редактора, и просит перезвонить еще через несколько дней. Буду звонить, но ситуация, по-моему, и так довольно ясна. Статья Ломбардо-Радиче была напечатана на первой странице газеты «Унита», следовательно, полемике с Амальриком газета придает большое значение, и кажется неправдоподобным, чтобы в течение полумесяца редакция не нашла возможным ответить Амальрику, готова ли она напечатать его письмо или нет.

С уважением

Юрий Мальцев

* * *

Через четыре дня я снова дважды звонил, но теперь было невозможно застать даже секретаршу. Дело, по-моему, довольно ясное.

Ю. М.

* * *

Наконец я дозвонился до господина Паголини, который мне недвусмысленно заявил: «Унита» печатает только материалы, которые выражают мнение Итальянской коммунистической партии».

Ю. М.

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуйте каталоги

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany



«ПОСЕВ»

Общественно-политический журнал

Выходит с 1945 г. за рубежом ежемесячно

«Посев» участвует в борьбе за право, свободу и справедливость в России; по мере сил поддерживал и поддерживает российское освободительное движение во всех его проявлениях и на всех этапах его развития; информирует о России и из России; публикует материалы, отражающие развитие политической и общественной мысли нашей страны, аналитические, проблемные, дискуссионные статьи; освещает важнейшие мировые события с российской точки зрения.

Ежеквартальное приложение — «Вольное слово» — сборник избранных самиздатовских материалов: документов, статей, обращений, записей судебных процессов, и т. п.

Удешевленная подписка в издательстве:

«Посев» и «Вольное слово» — 65 н.м., «Посев» — 50 н.м.

Подписка через магазины: «Посев» и «Вольное слово» — 78 н.м., «Посев» — 60 н.м.

Доплата за воздушную доставку «Посева» в Сев. Америку и на Ближний Восток — 20 н.м. В Юж. Америку и на Дальний Восток — 30 н.м.

«Посев» в Австралии с доставкой возд. пакетом и рассылкой на месте — 24 ав. дол.

**Адрес: POSSEV-VERLAG, Flurscheideweg 15,
D - 6230 Frankfurt/Main 80**

Читайте в следующем номере «Континента»

СТИХИ

**К. Богатырева, А. Хвостенко, Странника,
И. Чиннова, И. Елагина**

прозу

**С. Довлатова, К. Орлося,
Г. Снегирева, Д. Шимко**

СТАТЬИ

**Н. Бетелла, И. Качуровского,
Г. Кремпа, С. Рафальского**

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

1. **Марина Цветаева.** Неизданное. «ИМКА-ПРЕСС», 1976.
2. **Лидия Чуковская.** Записки об Анне Ахматовой. Том 1. «ИМКА-ПРЕСС», 1976.
3. **Лидия Чуковская.** Открытое слово. «Хроника», 1976.
4. **Литературные дела КГБ.** «Хроника», 1976.
5. **Дело Ковалева.** «Хроника», 1976.
6. **Дело Твердохлебова.** «Хроника», 1976.
7. **Гюзель Амальрик.** Воспоминания о моем детстве. Фонд им. Герцена, 1976.
8. **Л. Д. Троцкий.** История русской революции. «Леонад» (Нью-Йорк), 1976.
9. **Лев Мак.** Из ночи. Изд. ВкМк, Канзас Сити, 1976.



ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА...

MR. SAUL BELLOW
COMMITTEE OF SOCIAL THOUGHT
UNIVERSITY OF CHICAGO
USA

ДОРОГОЙ ГОСПОДИН БЕЛЛОУ!

ГОРЯЧО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ВЫСОКОЙ И ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ — НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИЕЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ЗА 1976 ГОД, КОТОРАЯ ДОСТОЙНО УВЕНЧАЛА ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП ВАШЕГО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ.

УВЕРЕНЫ, ЧТО ВАМ ПРЕДСТОИТ ЕЩЕ ДОЛГИЙ И ПЛОДОТВОРНЫЙ ТРУД НА БЛАГО МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

РЕДКОЛЛЕГИЯ «КОНТИНЕНТА»

AMERICAN FEDERATION OF LABOR AND CONGRESS OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS

EXECUTIVE COUNCIL
GEORGE MEANY **LANE KIRKLAND**
 PRESIDENT SECRETARY TREASURER

PAUL HALL
 PAUL JENNINGS
 A. J. GROSSIRON
 PETER SOMMARITO
 FLOYD E. SMITH
 JAMES T. HOUSEWRIGHT
 MARTIN J. WARD
 JOSEPH P. TONELLI
 C. L. BELLING
 SOL C. CHAIKIN
 CLYDE M. WEBBER

I. W. ABEL
 MAX GREENBERG
 MATTHEW GUINAN
 THOMAS W. GLEASON
 JERRY WURF
 GEORGE HADY
 WILLIAM STOLL
 ALBERT SHANKER
 FRANCIS S. FLEURY
 HAL C. DAVIS
 ANGELO FUSCO

HUNTER P. WHARTON
 JOHN H. LYONS
 C. L. DENNIS
 FREDERICK D. NEAL
 S. JONAS BATTERY
 AL H. CHESLER
 MURRAY H. FAIRLEY
 SOL STETIN
 GLENN E. WATTS
 EDWARD T. HANLEY
 CHARLES W. PILLARD



815 SIXTEENTH STREET, N.W.
 WASHINGTON, D. C. 20006
 (202) 637-5000

Дорогой друг!

«Мы говорим от имени целого континента восточноевропейской культуры. За нами лежит колоссальный континент тоталитаризма, огромный архипелаг жестокости и насилия... Мы стремимся к созданию вокруг нас континента антитоталитарных сил, объединенного в духовной борьбе за свободу и достоинство человека».

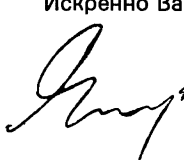
Эти слова взяты из введения к английскому изданию «КОНТИНЕНТА», экземпляра которого АФТ-КПП с признательностью прилагает.

Этот выдающийся журнал (главный редактор его — Владимир Максимов) не только предоставляет трибуну для разных литературных, социальных, политических и религиозных взглядов инакомыслящей советской интеллигенции, но и стал местом их диалога с интеллигенцией Запада. Поэтому в редакционную коллегию «КОНТИНЕНТА» входят Раймон Арон, Сол Беллоу и Эжен Ионеско, равно как Андрей Сахаров, Александр Галич и Милован Джилас.

Не всякий согласится с каждой из тех различных точек зрения, которые выражены в «КОНТИНЕНТЕ». Но мы считаем, что это издание, поставленное в распоряжение творческих талантов, давно подвергающихся преследованию у себя на родине, вносит исключительный вклад в дело интеллектуальной свободы и беспрепятственного обмена идеями.

Именно из-за этого АФТ-КПП предоставляет в ваше распоряжение этот экземпляр «КОНТИНЕНТА» и надеется, что вы захотите подписаться на него.

Искренно Ваш

 
 (Джордж Мини)
 Председатель